# Еремей ПАРНОВ

10

Еремей

# ПАРНОВ

# Еремей ПАРНОВ

## СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕСЯТИ ТОМАХ

# Еремей ПАРНОВ

## СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
## ТОМ ДЕСЯТЫЙ

Атлас Гурагона

Бронзовая улыбка

Корона Гималаев

ТЕРРА

МОСКВА
ТЕРРА—КНИЖНЫЙ КЛУБ
1999

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус) 6
П18

Художник
С. ЛЮБАЕВ

**Парнов Е. И.**
П18 Собрание сочинений: В 10 т. Т. 10: Атлас Гурагона; Бронзовая улыбка; Корона Гималаев: Повести. — М.: ТЕРРА—Книжный клуб, 1999. — 416 с.

ISBN 5-300-02424-4 (т. 10)
ISBN 5-300-01818-X

Еремей Парнов — известный российский писатель, публицист, ученый и путешественник, автор научно-фантастических, приключенческих, исторических и детективных произведений, пользующихся неизменным успехом у читателя.

В десятый том Собрания сочинений включены повести «Атлас Гурагона», «Бронзовая улыбка» и «Корона Гималаев».

**УДК 882**
**ББК 84 (2Рос=Рус) 6**

**ISBN 5-300-02424-4 (т. 10)**
**ISBN 5-300-01818-X**

© Е. И. Парнов, 1999
© ТЕРРА—Книжный клуб, 1999

# Атлас Гурагона

Повесть

В геометрии он был подобен Эвклиду,
а в астрономии — Птолемею.

*Давлетшах*

## От автора

Иероглифы на базальтовой стене Абу-Симбела говорят: «Когда человек узна́ет, что движет звездами, Сфинкс засмеется, и жизнь на земле иссякнет». Мы не знаем еще, что движет звездами. Может быть, никогда не узнаем. Может быть, узнаем завтра. Важен не столько смысл изречения, сколько удивительная научная поэзия. Или, может быть, удивительно опоэтизированная наука?

В 1869 году в Париже вышла в свет любопытная книга «Средства связи с планетами», автором которой был изобретатель Шарль Кро. Насколько мне известно, это был первый научный труд по весьма современной проблеме контакта с внеземными цивилизациями. Наблюдаемые иногда на Венере и на Марсе светящиеся точки Кро принял за попытку жителей этих соседних с Землей миров установить с нами связь и предложил послать ответные сигналы с помощью огромного зеркала. Причем зеркало это мыслилось изготовить с такой ничтожной кривизной, чтобы фокус его приходился как раз на поверхность одной из планет.

Что же, идеи Кро, как и все почти научные идеи, были плодами своего времени, своего века. В равной мере смелыми и ограниченными, крылатыми и приземленными. Ведь и великий Гаусс предложил начертать на земле достаточно большую геометрическую фигуру, из которой любой разумный инопланетянин смог бы понять, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Один венский профессор тут же посоветовал вырыть где-нибудь в Сахаре огромную треугольную траншею, наполнить ее керосином и поджечь. В научных журналах всерьез обсуждались проблемы вроде «смогут ли венериане увидеть свет наших ночных городов» или «сколько пороха нужно одновременно взорвать, чтобы вспышку могли заметить с Марса».

Мы знаем теперь, что обычный земной телескоп, установленный, скажем, на Луне, может уловить солнечные блики на застекленной стене здания ООН. Венериане поэтому могли любоваться огнями Токио, а марсиане — атомными

взрывами. Конечно, в принципе, потому что некому любоваться, некому наблюдать за нами.

Высеянные в питательных средах образцы лунных пород продемонстрировали полное отсутствие всякой жизни. Прямые измерения температуры, давления и газового состава атмосферы планеты Венера не позволяют даже надеяться на существование там белковых тел. Снимки марсианской поверхности рисуют безрадостную картину холодной, покрытой кратерами пустыни. По-видимому, шансы найти разумную жизнь в пределах солнечной системы близки к нулю. Но остаются звезды. Бесчисленные солнца чужих неведомых миров.

Свыше пяти веков минуло с той поры, как великий астроном и государь Самарканда Улугбек Гурагон «исчислил положение всех видимых звезд». Видимых! Значит, гениальный ученый подозревал, что в бескрайней Вселенной есть миры, которые нельзя разглядеть на ночном небосклоне простым невооруженным глазом!

Седой стариной веют древние предания о городе Мерканда, но еще более древней является действительная история Самарканда. Этот город, который не раз был столицей забытых ныне государств, центром исчезнувших цивилизаций, разрушали и грабили орды кочевников, заносили горючие пески пустыни. Но он подымался из руин и пепла, вопреки судьбе, наперекор всеразрушающему течению времен.

Недавно этот современный город с великолепным аэропортом, комфортабельными отелями, заводами, институтами отпраздновал свое 2500-летие. После Еревана Самарканд — самый древний город Советского Союза.

Этому с трудом веришь, когда идешь по широким асфальтированным улицам, застроенным многоэтажными зданиями, или проносишься в автобусе мимо строек, складов хлопка-сырца, серебристых резервуаров нефтехранилищ.

Но стоит пройти на северо-восточную окраину, где на изжелта-серой, иссеченной ветрами возвышенности еще видны осыпавшиеся гребни крепостной стены, и вы ощутите дыхание тысячелетий. Это Афрасиаб — место древних могил и причудливых траншей, прорытых неутомимыми археологами. Здесь, среди заросших колючкой домусульманских кладбищ, стоит Шахи-Зинд — гордость Самарканда, маленький безмолвный город мавзолеев, самому древнему из которых почти тысяча лет...

Но расцвет Самарканда приходится на эпоху «завоевателя мира» Тимура. Железный хромец сгонял в столицу своей обширной империи толпы лучших мастеров, которые украсили город величественными дворцами, мечетями, те-

нистыми садами. Беспощадный завоеватель и разрушитель чужих городов сделал свой Самарканд подлинной жемчужиной Азии. С тех пор все царствующие правители старались затмить друг друга высотой возводимых сооружений, богатством и красотой их глазурованных орнаментов. Эти прекрасные ханаки, мечети и медресе разбросаны по всему городу. Вот в пыльной зелени тополей глазу откроются развалины грандиозной мечети, которую построила любимая жена Тимура, китайская принцесса Биби-Ханым; вот и синий ребристый купол знаменитого «Гур-Эмира» — исполинского мавзолея, где в нефритовом гробу покоится сам Тимур и в сумрачных подземельях стоят каменные саркофаги его потомков — неукротимых тимуридов.

В 1941 году специальная государственная комиссия, в которую входили виднейшие историки и археологи, произвела вскрытие этих древних захоронений. В одном саркофаге были обнаружены останки того, кто, согласно преданию, был убит по приказу родного сына фанатичным изувером.

На скелете отчетливо сохранились следы насильственной смерти. Третий шейный позвонок был рассечен острым оружием. Череп оказался смещенным и повернутым основанием вверх. Фаланги пальцев рук и частью запястья сдвинуты и перепутаны, равно как и все кости ступней.

В отличие от остальных погребений мавзолея, скелет лежал в саркофаге совершенно одетым, хотя ткани одежд и утратили первоначальный цвет, местами совершенно истлели и сильно посеклись. Согласно мусульманскому обычаю, покойника опускают в гроб в одном лишь саване. Только шахидов — мучеников — закон шариата предписывает обязательно хоронить в той же одежде, которую они носили при жизни.

Поэтому все говорило о том, что обнаружен саркофаг царственного мученика. На каменной плите, под которой, собственно, и находилась ниша с этим саркофагом из серого мрамора, лежали окаменевшие от времен витые рога горного козла — чье-то бедное приношение. Еще была на ней надпись на языке фарси. Дата говорила, что захоронение имело место пятьсот лет назад.

Сейчас, по истечении пяти веков с того черного дня, когда был убит великий астроном и толпа фанатиков варварски разрушила его знаменитую обсерваторию, мы можем лишь догадываться о ее облике.

Каменистая возвышенность, раскаленная пыль и сухая колючка на горькой, растрескавшейся земле. Но сдвинем любой камень и, выждав, покуда спрячется в черной трещине потревоженный скорпион, возьмем горсть земли.

Твердые комки ее легко превратятся в шелковистую пыль и, как вода, стекут с ладоней. Эта земля не пачкает рук. Комок за комком и горсть за горстью, пока не блеснет в руках синяя звездочка — капелька древней глазури. Точное местонахождение разрушенной обсерватории долго оставалось неизвестным. Даже название холма, на котором она стояла, было ненавистно воинствующим мусульманским церковникам. И холм Кухек был спешно переименован в «гору Сорока дев».

Но народ не сохранил памяти о «Сорока девах». Холм Кухек навсегда остался для него холмом обсерватории. Более того, подробные записи обо всем, что касалось этого непревзойденного шедевра древней астрономии, оставили нам знаменитейшие историки тех времен.

«Через четыре года после основания медресе, — писал в своей «Самарии» историк Абу-Тахир Ходжа, — мирза Улугбек, по совещании с Казы-заде Руми, мауляной[1] Гияс-ад-дин-Джемшидом и мауляной Маин-ад-дин-Каши, воздвиг у подошвы Кухека, на берегу арыка Абирахмат, здание обсерватории, вокруг которой построил высокие худжры, а у подошвы холма обсерватории разбил прекрасный сад, где и проводил большую часть своего времени».

Бабур говорит о том же, а Мирхону уточняет, как «искусные мастера приступили к постройке обсерватории» и как «в этом участвовали опора астрономической науки, второй Птолемей, лучшее воплощение греческих ученых мауляна Гияс-ад-дин-Джемшид и господин вместилище наук мауляна Низам-ад-дин-ал-Каши». Младший же современник Улугбека — Абу-ар-Раззак Самарканди — подробно и обстоятельно рассказывает в книге «Восход двух счастливых созвездий» о том, как собрал Улугбек «весьма опытных знатоков своего дела: математиков, геометров, астрономов, строителей», и что «в этом участвовали виднейшие ученые того времени: мауляна Али Кушчи — Птолемей своей эпохи... величайший знаток Гияс-ад-дин-ал-Чусти и великий знаток Маин-ад-дин...».

Никаких противоречий нет в этих письменных свидетельствах. Различные историки только дополняли друг друга. Более того, все тот же арык — он и теперь называется Абирахмат — огибает заброшенный холм. Его быстрые струи, дожди и ветры обнажали время от времени яркие брызги глазури и куски обожженной глины. Но разве не погребла эта серая пыль блистательные фрески Хорезма и Согдианы, языческих идолов тюркского каганата и лукомских будд с бессмертной и равнодушной улыбкой? Все сме-

[1] Высшее ученое звание

шала эта горячая и сухая земля. Как узнать тут, осколок какой культуры оживал вдруг ослепительной солнечной точкой?

Медленно и сонно текли века над каменистым холмом. Люди молитвой встречали и провожали солнце, а скорпионы и ящерицы тихо шуршали среди колючек, карабкаясь на те непонятные серые груды, какими возвращаются в лоно природы-праматери творения рук человеческих.

Лишь в 1908 году самаркандский археолог В. Л. Вяткин обнаружил под этими грудами руины знаменитой обсерватории. На это открытие его натолкнул случайно найденный вакуфный документ семнадцатого века. В «Отчете о раскопках обсерватории мирзы Улугбека в 1908 и 1909 гг.» Вяткин писал:

«В числе описанных границ земельного участка и холм обсерватории («тал-и-рассад»), и известные в настоящее время под теми же названиями арык Аб-и Рахмат, и местность Накшиджаган. Документ этот давал настолько точные и вполне определенные указания на место расположения обсерватории, что отыскать в натуре холм, упоминаемый в документе, трудности не представляло».

Есть что-то непостижимое в тех роковых нитях, которые связывают порой через пространство и время людей. Они устремляются вдруг от живых нетерпеливых сердец к тем, чьи останки давным-давно занесены песками забвения. С того дня, как безвестный до того провинциальный археолог наткнулся на старинные документы, жизнь его уподобилась ежедневному подвигу. Установилась таинственная связь. Звезда Улугбека снова взошла над пыльными, посеребренными луной развалинами. Раскопки стали для Вяткина делом всей жизни. Все остальное отошло куда-то, потонуло и угасло...

Теперь он лежит в той самой земле, на вершине холма, рядом с выстроенным недавно музеем Улугбека, возле чудного мраморного секстанта, который отнял у небытия...

Во время недавних раскопок на холме Кухек нашли множество разноцветных глазурованных кирпичиков, фрагменты дивных мозаик, подобных тем, которые украшают великолепное медресе на площади Регистан. Это говорит о том, что обсерватория была столь же искусно украшена, как и дошедшие до нас прекрасные памятники Самарканда и Бухары. Исторические же источники, дополняя данные археологии, свидетельствуют, что мозаики и фрески звездной башни изображали небесную сферу, планеты и звезды, фигуры зодиака, ландшафты Земли.

О грандиозности звездной башни, построенной на вершине высокого холма, можно судить теперь лишь по размерам

уцелевшей части главного инструмента и, конечно, по грудам кирпичей, которые обнажились в результате раскопок. Но те же груды напоминают о той слепой силе, которая сокрушила это беспримерное сооружение, о силе, которой достигают порой невежество и нетерпимость...

В документах XVII—XVIII веков высота главного инструмента приравнивается к высоте знаменитого храма Айя-София в Стамбуле. Часть дуги этого каменного секстанта покоилась в широкой траншее, прорытой сквозь холм в направлении меридиана с юга на север. Именно она-то и уцелела. Мы можем видеть теперь две параллельные дуги, уходящие в сумрак подземелья, и расплавленную каплю солнца, стекающую откуда-то сверху, из маленького круглого отверстия в каменном своде. Эта ослепительная капля медленно скользит вдоль дуг, все ниже и ниже, отмечая ход неумолимого времени. Дуги сложены из обожженного кирпича, оштукатурены алебастром и облицованы мрамором. На них нанесены медные риски с интервалом в 70,2 см, что соответствует делению в один градус.

Теперь мы можем довольно точно представить себе размеры уникального инструмента. При интервале 70,2 см, соответствующем одному градусу, радиус дуг должен достигать 40,4 м, а длина их 63 м! Кроме этого исполинского прибора, в обсерватории, несомненно, хранились и другие инструменты. Но на раскопках были найдены только куски мраморных досок с числами и делениями. Желобки на них позволяют предположить, что на крыше обсерватории был установлен еще и горизонтальный круг.

Все остальное уничтожено: разбито, предано огню или расхищено. Для нас очень важен вывод, к которому пришли в своем отчете археологи. «Обсерватория была сравнена с землей путем последовательного искусственного разрушения. Причем цельный кирпич, крупные обломки, плиты мрамора и крупные куски изразцовых украшений отвозились для других сооружений, а разный мусор сваливался тут же в глубокую траншею квадранта...»

Как знать, в каких постройках сияют бирюзовые изразцы звездной башни великого Улугбека, который за два века до Галилея невооруженным глазом установил координаты всех известных в то время звезд, с удивительной точностью определил наклон экватора к плоскости эклиптики и продолжительность солнечного года. Его звездный атлас «Зидж Гурагони» не знал себе равных. «Все, что наблюдение и опыт узнали о движении планет, сдано на хранение в этой книге», — писал сам Улугбек.

Он был внуком Тимура — беспощадного завоевателя, истребившего сотни тысяч людей. Он был сыном Шахруха —

богобоязненного повелителя Мавераннахра — междуречья Сырдарьи и Амударьи со столицей в Самарканде. В пятнадцать лет он сам стал правителем великого города. Но в историю он вошел как гениальный астроном. Мухаммед-Тарагай — это имя он получил при рождении. Улугбеком — это означает Великий князь — назвали его люди. «Религии рассеиваются как туман»[1], — сказал Улугбек, который навсегда останется в благодарной памяти людей.

Я слежу за тем, как медленно перемещается вдоль мраморных дуг солнечное пятно. Древний инструмент живет и действует по сей день. Даже искалеченный, по-прежнему ловит он звездный свет. И мне начинает казаться, что я слышу чей-то шепот. Может быть, это вздыхает накаленная земля, вобравшая в себя осколки тысячелетий, может быть, еле слышно откликается небо, где летит через межзвездные бездны давным-давно отблиставший свет.

Пока медресе и мечети во прах не падут,
Дела мудрецов-калантаров на лад не пойдут,
Покамест неверием вера, а верой неверье не станут,
Поверь мне, средь божьих рабов мусульман не найдут.

*Омар Хайям*

## Глава первая

В полдень, когда правоверным надлежит совершить вторую молитву Салят аз-зухр, у Восточных ворот Герата остановился караван. Смолкли верблюжьи колокольцы. Подогнув колени, опустились животные в серую шелковистую пыль. И хотя были раскрыты окованные медью ворота, караван не мог войти в город. Стражи на высокой глинобитной стене уже расстелили молитвенные коврики — саджады, повернулись лицом к Мекке. И потому заспешили, засуетились прибывшие из далеких краев купцы. Караван-баши распорядился отвести ишаков и верблюдов к зарослям ферул и саксаула, осыпающегося ломкими и прозрачными, как стрекозиные крылья, семенами. Оттуда мерзкий рев не омрачит тишины святого часа. И вот уже все — стражи, купцы и караванщики — со словами «Аллах акбар» коснулись лбами своих молитвенных ковриков.

Но только смолкли последние славословия, как над склоненными чалмами и округлившимися на согнутых спинах цветными халатами поднялся человек в остроконечном

[1] Сокращенный вариант повести о жизни Улугбека был назван «Звезда в тумане».

колпаке. Взял он свой посох с бронзовым копейным наконечником, кокосовую чашку для подаяний, скатал саджад и заспешил к серым холмам, где в пятнистой тени лениво и сонно жевали колючку верблюды. Шел он прямо по чужим коврам, оставляя на нежном их ворсе пыльные следы босых ступней. И люди почтительно сторонились, не спешили стереть серые отпечатки ороговевших от многолетней ходьбы босиком пальцев. Ибо священны следы дервиша и трижды священны, если дервиш этот, этот странствующий калантар принадлежит к грозному ордену накшбенди.

Калантар отвязал своего ишачка, чьи бока были вытерты и покрыты болячками, а шерсть свалялась вокруг застрявших в ней колючек, поправил переметную суму и зашагал к воротам. Он вошел в город, когда караван-баши только подымал разлегшихся в саксаульной тени верблюдов, а караванщики отвязывали узы пустыни — веревки, соединяющие ноздрю одного верблюда с седлом другого. Лишь в необъятных песках Кызыл или Кара могут идти связанными сотни, а то и тысячи навьюченных животных. В узких и кривых улочках городов каравану не развернуться. Да и стражам труднее осматривать переметные сумы, чтобы взыскать с каждого купца въездную пошлину сообразно ценности его товара.

Но калантар миновал высокую арку с поднятым решетчатым заслоном, ничего не заплатив. Молча показал он начальнику стражи пластину с тамгой, перед которой склоняются иные государи, и, оседлав ишачка, затрусил вдоль глухих глиняных стен, побеленных и подкрашенных синькой, мимо резных чинаровых дверей. Ехал он в гору, все выше да выше, по переулочкам таким узким, что стены хранили глубокие царапины всех проезжавших когда-либо арб.

Начиналось самое жаркое время дня, когда имеющие досуг и деньги спешат укрыться в знаменитых гератских садах, чтобы в тени китайских ив и персиковых деревьев вдохнуть влажную пыль фонтанов и не спеша отведать дынь, истекающих липким зеленоватым соком.

Над плоскими крышами поднималось синеватое марево. Душный запах шипящего на углях курдючного сала, казалось, сочился сквозь трещины в глине и поры горячих от солнца камней.

Калантар проехал базарный купол, в сумраке которого приютились лавки ювелиров, сундучников, менял и продавцов сладостей. Не задержался он и у выложенного прямоугольными плитками водоема, где под чинарами стояли покрытые текинскими и хоросанскими коврами настилы знаменитой в городе чайханы.

Разноцветные чалмы и тюбетейки склонились над пузатыми чайниками и пиалами. В огромном казане уже кипела огненно-красная шурпа, а шашлычники раздували угли и мелко-мелко рубили длинными ножами сладкий и слезно пахучий лук.

После трудного и долгого пути по степи, где ветры катают шары верблюжьей колючки, по пустыне, где солнце покрывает камни черным лаком, было бы так хорошо посидеть над зеленой непрозрачной водой, в которой еле колышется городской сор и желтые узкие листики ивы. Неторопливо наклонить чайник и слушать, как поет бьющая в дно пиалы, окруженная паром, чуть окрашенная струя живительного кок-чая. Три, а может, четыре осторожных глотка — и вот уже усталость покидает ноги, распаренное тело просыхает, набухшие дурной кровью вены съеживаются и уходят под кожу, которая становится эластичной и сухой. Еще два глотка — и зной оттекает от головы, легко дышит грудь, а в желудке оживает здоровый и радостный голод. И тогда рука быстро выплескивает остывший чай в водоем, где волнистая дрожь искажает прямые стены ближнего медресе и пробуждает синеву изразцовых плиток, что предстает вдруг глубокой и чистой, как лазурит. И опять гудит и паром стреляет струя в пиале. Вторая эта пиала изгонит из тела все яды распада, наладит ток крови и смирит желчь разочарований и неудач.

А после этого как удержаться и не съесть нежной и скользкой лапши, плавающей в наперченной подливке среди золотых кругов жира и маслянистых волокон разваренного лука? Потом палочек пять шашлыка и новый, распираемый паром чайник...

Но суровым презрением отвечают калантары на все соблазны мира. С тех пор как прозревшие надели плащи из белой шерсти — суфа и стали суфи — людьми в плащах, сердца их закрылись для вожделений и утех плоти. Что им до мирской суеты и до самого мира, если все лишь круги на воде, минутная рябь в водоеме под капризным дыханием ветра? Мир только зеркало, в котором отражается божественная сущность, как отражаются в этой зеленой воде порталы мечетей и медресе. Путь человека в миру подобен случайно мелькнувшему отражению несуществующего образа. Померещилось что-то — и нет ничего. Так родится в слепоте человек и уходит непрозревшим навсегда из этого суетного мира, который всего лишь зеркало, часто кривое и темное. «Уйди от этой видимости, прозрей для истины и ты увидишь реальность», — учил великий мистик Газали, которого Аллах одарил истинным зрением. Свершилось это в

пятом столетии пророческой хиджры[1]. С той поры существуют суфи — люди в плащах из белой шерсти. Аскеты и кающиеся, устремившиеся из Багдада и Басры во все города мусульманского мира.

«Суфизм состоит скорее из чувств, чем из определений, — попытается объяснить потом Газали. — Цель человека на земле только в одном: в уничтожении фана — собственного «я», которое ослепляет зрение цветными иллюзиями несуществующей жизни. Только уничтожив, только вырвав из сердца фан, можно слиться с единственной реальностью и познать эту реальность, у которой даже названия нет и которую мы по немоте языка своего именуем божеством».

«Существование сотворенных вещей, — писал мудрый Ибн-Теймийя, — есть не что иное, как существование творца, все исходит из божественной сущности, чтобы в конце концов в нее возвратиться».

А потом святой Абд аль-Кадир аль-Гилани основал первую общину суфиев — орден кадирийя, единственным обрядом которого сделался зикр — славословие Аллаху, которое следовало повторять до бесконечности вслух или мысленно, ночью и днем, в гостях и дома, в беседе и трапезе. Вот путь к божеству, дорога к прозрению, верное средство уничтожить фан. Проводником же на этом пути пусть станут четки из ста зерен, по числу имен Аллаха.

Идите же, суфи, в мир и знайте, что он только зеркало Бога, учите других и не забывайте, даже мысленно славословя Аллаха, не забывайте, что все вы в руках наставника, «как труп в руках обмывальщика». Вы не принадлежите себе. Вы зерна четок, которые перебирает наставник. Он — носитель барака, таинственной власти, что переходит невидимо от шейха к шейху, как искра от трута к труту. Первую же искру возжег сам Аллах и отдал ее основателю ордена — первому шейху, святому.

И пошли, и пошли калантары по дорогам Востока, по пыльным и знойным дорогам. Но среди всех орденов суфийских наиболее возлюбило небо орден накшбенди. Молчаливых и постигающих, всезнающих, всеведущих. Суровый орден, которому Аллах через посланцев своих — святых шейхов дал право и мощь устранять всех, стоящих на пути божественной воли.

Идите же, калантары-накшбенди, живите подаянием правоверных, довольствуйтесь малым, ибо мир лишь круги

[1] Мусульманский календарь. Началом счисления хиджры считается первый день первого месяца того года, когда по преданию Магомет переселился из Мекки в Медину (622 г. н. э.).

на зеркальной воде. Идите же, славословьте Аллаха, и вы обретете дорогу к нему. Но помните, накшбенди, что и славословя, станете держать, открытыми глаза и уши. Все постигайте. Но нем пусть останется ваш язык. Только наставнику, только доверенному брату сообщите вы все, что узнаете на путях своих. И помните также всегда, как вы помните имя Аллаха, что вы только трупы в руках обмывальщика, только бусины четок на шелковой нитке, связующей вас в братство. Наставник, шейх ордена, старец суфийский, великий ишан — единая в мире иллюзий реальность. Веленье его, мановение пальца... Вы все понимаете, братья-накшбенди, с Богом, идите.

Ишак закричал горестно и безнадежно, когда ноздри его почуяли сладостные запахи чайханы. Овес, распаренный горох, а то и влажный клевер да еще, конечно, воду почуял ишак в синем и жирном дыме мангалов. Он даже сделал попытку свернуть к чайхане, но суровый седок так пришпорил его заскорузлыми каменными пятками, что в пустом ишачьем животе отдалось глухим барабанным ворчаньем.

Калантар направил ишака прямо ко дворцу правителя. Путь этот хорошо был знаком калантару. Долгие годы жил в том дворце богобоязненный мирза Шахрух — сын железного старца Тимура, завоевателя мира, которого муллы льстиво называли мечом пророка, а дехкане — повелителем. Когда же Тимур умер, то все: и дехкане, и муллы, стали звать его просто Тимурлян, Тимур Ленг точнее, что означает Тимур Хромой. Потому как и вправду он был хромым. И еще, если только не лгут летописцы, властелин плохо владел поврежденной в каком-то сражении рукой.

> «Можете ли вы спасти меня всеми этими деньгами и купить мне на них один день, который я проживу?» И не могли они этого.
>
> *Тысяча и одна ночь*

## Глава вторая

Каждого из сыновей и взрослых внуков Тимур сделал правителем города, области, даже целой страны, ибо своей плотью и кровью скреплял пределы обширной и многоязыкой державы. Богомольному и не слишком любимому сыну Шахруху он отдал Герат. Спокойно и мирно этим городом правил Шахрух. Точнее, жена его Гаухар-Шад. Сам же правитель проводил свое время в молитвах и долгих беседах с божьими избранниками: муллами, улемами и мударриса-

ми. И подобно тому, как другие правители умножают гаремы, Шахрух умножал свою знаменитую библиотеку, в которой собрал творения мудрецов древности и лучших умов Востока и Запада.

Сыновья его — Байсункар, Ибрагим и Мухаммед-Тарагай вырастали при дворе самого Тимурляна. Суровый дед самолично воспитывал внуков, как воспитывал раньше сыновей, и надеялся вырастить правнуков.

В году хиджры 782-м Тимур устроил пышный праздник в честь многочисленных побед над врагами. Словно торопясь, подгоняемый смутным предчувствием, престарелый властитель в тот день оженил своих внуков. Самый умный из них, Мухаммед-Тарагай, получил в жены ханскую дочь — молодую красавицу Ога-бегум. Мухаммед-Тарагай с детских лет обнаружил такое достоинство, простоту и величие, что прозвали его Улуг-беком — Великим князем. После свадьбы он стал Улугбеком Гурагоном, ханским зятем, как был ханским зятем и дед его — грозный Тимур Гурагон. Но поскольку в день свадьбы Улугбеку было всего лишь десять лет, он остался под кровом Тимура. В тот же год определил Тимур внукам и их наделы: Улугбеку — Ташкент, Сайрам, Яны, Ашнара и Моголистан; Ибрагиму — Фергану с Хотаном и Кашгаром.

А год спустя, застигнутый в последнем походе тяжелой болезнью, Тимур умер. Случилось это в городе Отраре, в месяце сафар. Шараф-ад-дин так описал смерть Тимура в своей книге «Зафар-Наме»:

«Хотя мауляна Фазл-Аллах Тебрези, один из искусных врачей, повсюду сопровождавший Тимура, употреблял все свои силы для лечения и давал ему наилучшие лекарства, боль со дня на день усиливалась и появлялись новые болезни, как будто исцеление одной увеличивало другую».

Трудно и долго умирал человек, шутя отнимавший жизнь у многих и многих. В одной Индии велел порубить он почти сто тысяч пленных, безоружных, но непокорных, а потому и опасных. А в Ургенче... Да что там Ургенч! С холодной кровью убивал Тимур, не ведая ни жалости, ни раскаяния, и даже удовольствия не испытывал от убийства. Он просто делал свое привычное дело, уверенный, что лучше отнять жизнь у десяти невиновных, чем пощадить одного, но опасного, могущего стать врагом.

Беспощадный к другим и к себе, привыкший к чужой смерти и к собственной боли, поскольку тело все чаще отказывалось служить неукротимому духу, он вдруг понял бесповоротно, что умирает. И не страх, даже не удивление почувствовал, когда осознал всю безысходность и неотвратимость того, что с ним происходит. Только холод,

сумрачный холод и страшное безразличие. И лишь тогда испугался не ведавший страха Тимур, когда дело всей его жизни вдруг мелькнулось ему безразличным. Он испугался и не дал себе додумать до конца, не позволил себе ощутить, насколько сердце его отстранилось от всего, что есть и тем более будет.

И подхлестываемый нарастающими спазмами боли и подгоняемый страхом перед остановленной в мозгу мыслью, он велел позвать всех своих жен и амиров[1]. И, не давая замершему клубку мысли размотаться, задыхаясь от боли, продиктовал завещание:

«Мое убежище находится у трона Бога, подающего и отнимающего жизнь, когда он хочет, милости и милосердию которого я вас вручаю. Необходимо, чтобы вы не испускали ни криков, ни стонов о моей смерти, так как они ничему не послужат в этом случае. Кто когда-либо прогнал смерть криками?..

...Теперь я требую, чтобы мой внук Пир-Мухаммед Джахангир был моим наследником и преемником, он должен удерживать трон Самарканда под своей суверенной и независимой властью, чтобы он заботился о гражданских и военных делах, а вы должны повиноваться ему и служить, жертвовать вашими жизнями для поддержания его власти».

Стоя на коленях перед одеялами, на которых умирал великий завоеватель, амиры поклялись, что свято выполнят его последнюю волю.

И Тимур умер, так и не додумав до конца, так и не измерив той бездны, которая в урочный час раскрывается вдруг перед внутренним оком человека. Одни при виде ее стонут и плачут, другие в ужасе отшатываются, третьи пристально всматриваются в клубящийся серый туман. Но у всех равно тоскует и сжимается сердце. И никто не знает, что видят люди в роковой миг, удается ли им, пусть немногим, хоть что-то разглядеть в том тумане? Не узнали бы люди и о том, что увидел там и понял Тимур, если бы он позволил себе видеть и понимать. Но он не позволил и умер. И тем вернее никто не проведал о последних думах Тимура. Мертвый вождь показался ветеранам джагатайской гвардии таким же железным, как и при жизни.

Поход продолжался. От армии скрыли смерть повелителя. А тело его тайно перевезли в Самарканд, хотя еще при жизни подготовил себе Тимур подземную усыпальницу в милом своем Шахрисабзе, где родился и построил потом большой дворец. Но весть о смерти властителя мира полетела, как искра вдоль пороховой дорожки. На другой день

[1] Амир (эмир) — правитель.

уже каждый нукер знал о том, что не стало того, кто казался бессмертным.

Мирзы[1] же — сыновья и внуки повелителя и верные амиры отказались признать Пир-Мухаммеда своим государем.

Мировая держава вновь распалась на отдельные, чужие друг другу страны и города.

Порвались веревки, связующие верблюдов в один караван, и горячий ветер пустыни и затмившая солнце песчаная мгла разогнали их в разные стороны. Кровью и плотью своей связал Тимур подвластные города и страны. Но плоть поднялась против плоти, а кровь восстала на кровь.

Не стало больше ни братьев, ни отцов, ни сыновей. Каждый поднялся против всех, и все — против каждого. И добавочным жаром пылала в этой смертельной схватке общая у всех Тимурова кровь.

После четырех лет феодальной смуты и войн Шахрух одолел наконец своего племянника и главного соперника Халиль-Султана. Из всей обширной империи ему удалось сохранить лишь Хорасан и Мавераннахр — междуречье рек Аму и Сыр, ядро распавшейся державы, любимую жемчужину в короне некоронованного хромца.

Хорасан с центром в Герате Шахрух оставил за собой, а междуречье вместе с Самаркандом отдал сыну — Улугбеку Гурагону. Юному властителю было тогда пятнадцать лет. Потому и приставлен был к нему опекуном амир Шах-Мелик.

Но весной семьсот восемьдесят восьмого года хиджры против Шах-Мелика выступил властитель Отрары Шейх-Нур-ад-дин и хисарские опекуны законного наследника Пир-Мухаммеда Джахангира. Шахрух пришел на помощь к сыну и окончательно разбил Шейх-Нур-ад-дина уже в следующем году. Семнадцатилетний Улугбек стал полноправным правителем всего междуречья и прилегающих областей (с северо-запада до Саганака с северо-востока до Ашпары), а еще через три года присоединил к себе и Фергану.

Свыше сорока лет управлял Улугбек Самаркандом. Мир, казалось, воцарился среди неукротимых тимуридов. Но не дано барсам делить одно логово. В 824 году сын Байсункара, Султан Мухаммед, восстал против своего деда Шахруха. Престарелый властитель Герата быстро усмирил свои западные фарсидские земли, но внезапно заболел и умер, не назначив наследника. Приняв командование над армией, Улугбек отдал солдатам страну на три дня и три ночи,

[1] Мирза — точнее, амир-заде, что значит «из дома правителя», в данном случае принц.

после чего посадил в Герате сына Абд-ал-Лятифа и отошел к Амударье. С собой он увозил тело отца и драгоценности матери Гаухар-Шад, взятые из подвалов построенного ею медресе. По пути его войско порядком потрепали летучие отряды хорасанцев и узбеков, отбивших на переправе большую часть обоза. Укрывшись в Бухаре залечивать раны, Улугбек остался там до весны, а тело Шахруха переправил в Самарканд, где покойного государя уже ждал саркофаг в Гур-Эмире.

Царица же Гаухар-Шад, в действительности правившая страной, тайно послала гонца в Герат к своему любимцу Ала-ад-дауля, брату восставшего Султана Мухаммеда, а войска передала под командование Абд-ал-Лятифа, Улугбекова сына, который находился при ней, в зимней ставке Шахруха. Приняв командование, Абд-ал-Лятиф тоже снарядил гонца, к отцу в Самарканд. Но не успели еще гонцы доскакать до обеих столиц, как, оповещенный через тайных своих агентов, выступил из Балха внук Шахруха Абу-Бекр, покойному отцу которого, Мухаммеду Джуки, намеревался отдать трон правитель Герата. Абу-Бекр переправился через Аму и двинулся на Герат. Узнав об этом, Улугбек велел своим войскам занять Балх и утвердился там как единственный из оставшихся в живых сын Шахруха и его прямой наследник.

Но тогда же в войсках, которые возглавил Абд-ал-Лятиф, началась смута. Неукротимые тимуриды, как коршуны, рвали кровоточащую державу. Сын Байсункара Абул-Касим Бабур увел часть нукеров и бежал вместе с сыном Мухаммеда Джахангира Халиль-Султаном в Хорасан, заняв по пути Мазандеран, а вкрадчивый и послушный Ала-ад-дауля вступил по наущению царицы в Мешхед.

Суровый и мужественный Абд-ал-Лятиф навел в войсках порядок и, заключив царицу, приходившуюся ему родной бабкой, под стражу, направился на восток. Но близ Нишапура попал в засаду и оказался в плену у Ала-ад-дауля, который немедля освободил свою покровительницу — царицу Гаухар-Шад. Вчерашний победитель сделался узником, недавний узник возвысился до распорядителя судеб. Абд-ал-Лятиф просидел в гератской крепости Ихтияр-аддин до тех пор, пока не был подписан мирный договор, по которому бассейн Мургаба окончательно отделил Герат от Самарканда.

Принц Абд-ал-Лятиф возвратился к отцу и получил от него правление над всей областью Балха.

Но это был непрочный мир. Весной 826 года хиджры, что соответствует 1448 году последователей распятого Исы, произошла решающая битва в Тарнабе между войсками

Ала-ад-дауля и Улугбека, в которой Ала-ад-дауля был полностью разбит. Улугбек занял Герат и посадил амиром сына Лятифа, которому целиком был обязан победой.

На краткий миг ветер мира повеял над Мавераннахром. Казалось, ядро Тимуровой державы теперь восстановлено. Улугбек вновь спокойно правит Мавераннахром, к которому тяготеют и Балх и Фергана, а любимый сын его воцарился наконец в Хорасане, столица которого Герат столько раз становилась источником смут.

Но, пришпорив босыми пятками облезлого ишака, трусит ко дворцу гератского правителя худой, оборванный калантар. Тело его почернело под солнцем пустыни, вековая пыль Азии въелась в кожу, и время избороздило ее глубокими морщинами. Но сумрачно поблескивают из-под остроконечного колпака глаза калантара, черные угли его зрачков, слоновая кость желтых его белков.

Эй, муфтий, погляди... Мы умней и дельнее, чем ты.
Как с утра мы ни пьяны, мы все же трезвее, чем ты.
Кровь лозы виноградной мы пьем, ты же кровь своих ближних,
Сам суди — кто из нас кровожадней и злее, чем ты

*Омар Хайям*

## Глава третья

Гневно покусывая ногти, лежал на ковре мирза Абд-ал-Лятиф. Из опрокинутого узкогорлого, индийской чеканки кувшина медленно вытекала липкая, густая струя гулаба. Чудесные деревья в цвету, павлины и газели делались от нее темными и тяжелыми. Словно ночь вытекала из медного горла. Мирза недовольно скривился. Резче обозначились на сумрачном лице его монгольские скулы, унаследованные еще от далеких Тимуровых бабок. Тоска и бессильный гнев днем и ночью точили сердце победоносного воина. Любя, подобно отцу, науку и ее самоотверженных ревнителей, он сам наблюдал за светилами, долгие часы проводил над историческими свитками и диванами поэтов. Но все обрыдло Лятифу: и поэзия, и астрономия, в которой так преуспел Улугбек, его кровный отец, соперник и оскорбитель. Хорасанский поход, отделивший навеки Герат от Тимурова Самарканда, лег границей вражды между отцом и сыном, чьи пути дотоле всегда пролегали лишь рядом: на звездной башне, на мушаире, где состязались поэты, на ратном поле и в тугаях в часы веселой охоты на цапель — всюду стремя к стремени, локоть к локтю.

Принц хлопнул в ладоши, и в комнату неслышно проскользнул его верный катиб — секретарь, писец и наперсник — Саманбай.

— Шахматы! — сказал мирза, брезгливо прикрыв лужу шитой золотом шелковой подушкой.

Катиб достал из кораллового ларца костяные фигуры фарсидской работы и расставил их на доске: вначале аккуратно и бережно красную армию принца, затем — свою, черную. Мирза долго глядел на доску, не делая первого хода. Потом вдруг сгреб несколько фигурок и с силой швырнул их прямо в кыблу — восточную стену комнаты, на которой узким золотым месяцем было отмечено направление на священную Мекку.

Саманбай попятился к стене и, шаря позади себя, чтобы не поворачиваться спиной к мирзе, стал собирать шахматы.

С тоской пресыщенности и беспокойства глянул мирза на серебряные подносы, уставленные шербетом, рахат-лукумом, белой бухарской халвой и индийскими орешками в меду. Гератские дыни и черно-густое, как птичья кровь, застывшая на перьях, самаркандское вино, сладкие пирожки и воздушные лепешки — все было равно противно ему.

Он томился и страдал в гератском своем дворце, который так и не стал для него домом. Погладив куцую бородку, что росла у него, как у многих других представителей древних джагатайских родов, отдельными редкими волосками, он лениво ткнул загнутым вверх носком туфли своего катиба, вновь расставлявшего шахматы.

— Когда прибудут мои слоны? — капризно растягивая слова, спросил принц.

— Гонцы сообщили, о солнцеликий мирза, что двенадцать слонов вместе с искуснейшими погонщиками уже давно покинули Серендип и благополучно прибыли в байсорскую гавань. Теперь вместе с большим караваном кабулистанских купцов они следуют в твой, о надежда правоверных, возлюбленный Аллахом Герат.

Слоны! Зачем ему эти нелепые животные, которым нужно столько сена, что можно прокормить бессчетные табуны лошадей. В бою от них нет почти никакого проку. Не сравнить с летучей конницей. Война была окончена, но мысль то и дело возвращалась к войне. Отец, желая, как можно думать, продемонстрировать гератцам, что время Шахруха прошло и область вновь пора пристегнуть как удельное княжество к Мавераннахру, начал с притеснения собственного сына. Он словно вырвал его из сердца, забыв раз и навсегда, что в жилах амира гератского течет та же

Тимурова кровь, что этот амир плоть от плоти его, Мухаммеда-Тарагая, кость от кости. Значит, правду говорят мудрецы, что нет для государя ни отца, ни сына. Только держава, и только рать: нукеры, кони, слоны.

— Когда здесь будут?

— Если милость Аллаха, который...

— Будешь говорить так длинно, велю подрезать тебе язык.

— К святому празднику рамадана, пресветлый мирза, если...

— Подрежу!

Привыкший к капризам принца писец в притворном страхе пригнул голову. Распахнулись резные, изукрашенные куфическим, славословящим Аллаха письмом двери, за которыми днем и ночью стояли двое стражников с секирами.

— От пира Ходжи Ахрара ташкентского к амиру Герата расул![1] — доложил начальник охраны.

Бесшумной тенью скользнул за ковры писец Саманбай.

Мирза еще сильнее нахмурился, что-то сосредоточенно обдумывая, вновь погрыз ногти. Потом велел звать ташкентского посла.

Босоногий калантар прошел, оставляя следы, по ширазскому ковру к мирзе. Двери за ним закрылись.

— Благослови тебя Аллах, мирза, — просто сказал посол.

— Я вот распоряжусь, чтобы тебе дали сотню палок, почтенный расул, — усмехнулся принц, — тогда ты будешь знать, в каком виде достойно предстать перед лицом государя.

— Обидев калантара, ты совершишь великий ходд[2], мирза, — холодно ответил паломник. — В глазах Аллаха и далк[3] дервиша, и золотой халат амира — не более чем пыль на дороге.

— Стража! — хлопнул в ладоши принц.

— Бойся обидеть калантара, мирза, — тихо сказал посол, доставая из-под пыльных лохмотьев золотую пластину с тамгой. — Я мюрид суфийского пира Ходжи Ахрара — ишана всемогущего братства накшбенди.

Но за спиной калантара уже стояли два дюжих джагатая. Под белыми их бешметами поблескивали надетые прямо на халаты румийские кольчуги. Слепящие солнечные пятна переливались на луноподобных секирных лезвиях и острых шлемах, обмотанных зеленым шелком чалмы.

---

[1] Посол.

[2] Ходд — преступление, наказуемое Кораном.

[3] Далк — одеяние дервиша.

— Вспомни башню Ихтияр-ад-дин, мирза, — еле слышно прошептал калантар, сбросив нетерпеливо и резко руки джагатаев со своих плечей.

Мановением кисти мирза прогнал стражей.

Он вспомнил башню и ту серую, прокаленную солнцем крепость, вспомнил, куда привезли его, истерзанного и запыленного, после недолгой и яростной битвы, столь неудачной и позорной, что и думать о ней нельзя без гнева и горечи. И вновь показалось мирзе, что саднят от пота царапины на ладонях, что черная пена коркой запеклась на губах, что зубы противно скрипят песком, а душная пыль скребет опаленное горло и грязной слезою стекает из глаз.

Он и помыслить тогда не мог, что из-за поросших пыльным бурьяном нишапурских холмов выскочит вдруг конница Ала-ад-дауля, брата презренного предателя — Султана Мухаммеда, вероломно поднявшего мятеж против благочестивого деда Шахруха.

Как вылетали тогда лохматые кони из-за холмов! Как закатное солнце туманилось за рыжей тучей, поднятой копытами! С копьями наперевес летели джигиты, пригнувшись к лукам коней, размахивая бебутами, описывая ими в воздухе свистящие круги! Огромный малиновый солнечный шар так и стоит перед глазами. И черная конница в рыжих клубах, и сухой беспощадный блеск оружия и сбруи.

Враги ворвались в самую середину походных колонн, которые так и не успели развернуться для боя. Застигнутые врасплох, они дрогнули и побежали, а вражеская конница давила их копытами, сминала крутыми горячими грудями ржущих коней, полосовала на скаку ослепительными дугами бебутов и сабель.

Лишь сотня его джагатаев устояла перед внезапным и стремительным этим броском. Сгрудившись вокруг своего принца, джагатаи бросались под вражеских коней и рассекали им тугие, напряженные бешенством сухожилия. Как яростно умирали они, падая в серую, прибитую копытами пудру, орошая ее темными пятнами крови. И как быстро их кровь уходила в дорожную пыль, становясь частицей земли, превращаясь в самою землю.

Почетным пленником доставил Лятифа гордый победитель в Герат. Принц понимал, что тот не посмеет, даже если захочет, пролить кровь тимурида, брата. Он мог не бояться за свою жизнь, когда его вели по винтовой лестнице в крепостную башню. Но тем сильнее, тем горше было его унижение. Побежденный, растоптанный, был он привезен в

гератскую крепость Ихтияр-ад-дин. Как рвалось и тосковало тогда сердце от невозможности отомстить!

Мог ли помыслить он, что месть его будет и скорой и полной? Мог ли вновь вообразить себя стоящим во главе войск? Победоносных войск.

О сладостное слово «Тарнаба»!

Отец, мирза Улугбек Гурагон, доверил Лятифу левое крыло. Собрав вместе с Лятифом девяностотысячную армию, он добрую половину ее отдал сыну. Сам, вместе с гвардией и боевыми слонами, расположился в центре, а на правый край поставил другого сына — Азиза. И Аллах внял исступленной мольбе раба своего. Ала-ад-дауля сначала ударил по левому крылу, и крыло устояло. Враг разбился о железную стойкость его и отхлынул. Но поздно: за спиной его уже были спешно переброшенные Улугбеком тумены Азиза.

Славный день, день яростной битвы, день великой победы при Тарнабе.

Вот и сидит он, мирза Абд-ал-Лятиф, в том самом Герате, куда привезли его полоненным, амиром сидит теперь в Герате, правителем сидит в гератском дворце! А бунчук его развевается над той самой крепостью, над той самой башней, куда привезли его с почетом, что только подчеркивало унижение.

Что же еще может припомнить он, мирза Абд-ал-Лятиф, в час своего торжества? Что еще хочет напомнить ему этот оборванец, этот грязный и дерзкий дервиш, которому мало даже сотни палок?

— Вспомни, мирза, крепостную башню, — все так же тихо сказал калантар. — Отчаяние свое вспомни и воду в кувшине, что показалась тебе горькой, как сок алоэ.

Верно, было и так... Косой луч заходящего солнца прорезал круглую комнату башни. В нем танцевали тонкие шерстинки, разноцветные крохотные ворсинки ковров, устилавших глинобитный пол. В забранное узорной мавританской решеткой оконце лился и лился тот знойный солнечный столб. А за окном открывались синие вечереющие дали, смутные холмы и серебристые ленты дорог, влажные густые тени и красная, как вино, полоса над развалинами древнего городища.

И так пылен и сух был солнечный луч, так чист и далек простор, так влажны и прохладны недоступные синие тени вдали, что принц почувствовал жажду. Он налил в пиалу воды из кувшина, облизывая пересохшие губы, следил, как пенится простая вода, подобно весеннему кумысу.

Но жажда осталась неутоленной. Горше полыни и сока мясистых колючих листьев алоэ показалась ему вода, потому что была она водой безнадежности и плена.

— Верно, было такое, — сурово ответил мирза. — Но откуда тебе это ведомо, дервиш?

— Припомни теперь, мирза, — улыбнулся ему калантар, словно дерзко посмел не расслышать вопроса, — припомни, как стала вдруг упоительно сладкой горькая та вода.

— Ты ли это, серый мутакаллим?[1]

— Теперь ты узнал меня, мирза, — ответил калантар и без приглашения сел на ковер.

Серый мутакаллим пришел к нему на третьи сутки после того, как принц, отравленный желчью тоски и отчаяния, отказался от пищи и питья. Лежа на тюфячке, вдали от окна, молча отстранял он лекарей, протягивающих ему чаши с целебными и укрепляющими напитками, готовясь встретить вскоре Азраила — ангела смерти.

Тогда и увидел он у изголовья серого мутакаллима. Синяя ночь тихо светилась за узорной решеткой. Она плыла и сгорала в лунном огне, струилась и таяла, но не могла ни сгореть, ни растаять. И от дивного света ее круглая башня позеленела. Светлый узор на ковре превратился в зеленый, темный окрасился в тот глухой черный цвет, который обретают во тьме все красные вещи. Стена же стала белой, оставаясь при этом зеленой. И тень человека четко-четко чернела на этой стене. А одежда его, простая одежда бродячего мутакаллима под луной была серой. Но серой, как свет, который идет от луны, стремительно летящей навстречу дымчатым облачкам.

— Слушай, бедный мирза, — тихо позвал его серый мутакаллим. — Есть над пропастью адской особенный мост. Мы его называем сиратом. После смерти все души ступают на этот сират, что тонким волосом туго натянут над страшным ущельем. Ты уверен, что сможешь пройти по мосту и не свалишься в смрадную адскую бездну? Уверен? О, мой мирза! Много благочестивых и праведных дел надлежит тебе сделать, чтоб мост тот обрел вдруг перила, когда придет твой черед. Живи же пока, во имя Аллаха, — он склонился над принцем и вновь прошептал, — бисмиллах[2].

Потом достал субха[3] в сто зерен из тигрового глаза, которые желтым огнем загорелись в ночи.

---

[1] Мутакаллим — богослов.

[2] Бисмиллах — во имя Аллаха (первые слова Корана).

[3] Субха — четки.

— Эти четки, мирза, — знак великого тайного братства. Мы поможем тебе возвратить славу и трон, бисмиллах. А покамест живи и не смей отказываться от еды. Ибо нет для правоверного большего греха, чем добровольно лишить себя жизни. Ешь и пей, бисмиллах.

Он взял пиалу и наполнил ее той же самой водой из того же кумгана, хранившего горечь полыни и желчи.

— Выпей, принц. Пусть отныне вода напоит тебя сладостью мира, надежды и веры. И да будет покоен твой сон, бисмиллах.

И вправду вода показалась мирзе ароматной и сладкой, словно гулаб, упоительной и прохладной, как кокосовое молоко. Он осушил пиалу и заснул крепким здоровым сном.

— Простите, что не признал вас сразу, мауляна, — почтительно обратился к калантару принц.

— Я не мауляна, мирза. Ничтожный дервиш и недостойный мюрид суфийского старца, который возложил на меня счастливую ношу и сделал расулом печальной вести.

— Счастливая ноша? Печальная весть? О чем ты?

— Братство наше поручило мне вас, мирза. Денно и нощно я буду молиться за вас, разрушать коварные планы ваших врагов, в меру ничтожных сил своих помогать вам, о светлый мирза, надежда ислама. Это счастливая ноша. Но есть и печальная весть.

— Что это за весть? В Самарканде?..

— В Самарканде. Но прежде позвольте, мирза, задать вам вопрос. Если я верно знаю, а мне надлежит верно знать все, что касается вас... Так вот, если верно я знаю, вы командовали левым крылом в тарнабском сражении, затмившем победоносные битвы Тимура — властителя мира. На правом крыле стояли тумены вашего младшего брата мирзы Абд-ал-Азиза. Так, мирза?

— Так.

— И разве не вам и не вашим туменам обязан мирза Улугбек своей победой? Разве не ваши львиная отвага, победоносный гений, быстрый ум и ратная доблесть опрокинули врага и решили исход битвы?! О, кто не видел этого своими глазами, может, конечно, говорить и другое. Но отсохнет язык и лопнут глаза у лжеца. Я-то видел, как ваш конь, этот благородный из благородных араб, словно Бурак, на котором пророк Мухаммед вознесся к высшим пределам неба, носился по полю битвы. Словно Искандер Двурогий, летели вы на своем благородном Бураке по ратному полю. Вы были в самых опасных местах.

И там, где были вы, там воцарялась победа. Ваши тумены приняли главный удар неприятеля и нанесли ему сокрушительное поражение, от которого он бы уже не оправился, не будь даже туменов вашего младшего брата мирзы Абд-ал-Азиза и слонов Улугбека Гурагона. Разве не так?

Как зачарованный, слушал мирза сладкие речи босого калантара. Дым сражения носился перед его глазами, ржали кони, ревели боевые слоны, и тучи стрел неслись вдоль красной полоски зари. И вправду, то была славная битва. Сам Тимур не постыдился бы приписать ее к своим неисчислимым победам. И может быть, действительно был прав этот дервиш, ведь со стороны виднее... Во всяком случае, именно его, Лятифа, тумены приняли на себя первый удар. Это-то бесспорно. А что там было дальше, кто может знать точно. Со стороны виднее... Ему было не до того. Он воевал, командовал своими туменами, носился, как говорит этот дервиш, по ратному полю.

— Скромный и благородный мирза! Ты молчишь, но я отвечу за тебя. — Калантар возвел руки к небу. — И пусть накажет меня Аллах, если я солгу хоть словом. Это ты, ты один победил при Тарнабе. О эта битва! И через тысячу лет люди будут помнить о ней, а поэты прославят ее в сладких своих касыдах. И тем чернее, презреннее выглядят те, кто похищают у героя его заслуженную, кровью добытую славу, чтобы приписать ее себе. Мерзкие трусливые шакалы, презренные сыновья греха, воры, готовые украсть... Но что говорю я, поддавшись гневу? Да отсохнет мой язык! Я осмелился... Ради Аллаха, прости меня, мирза.

— О чем это вы, почтенный калантар? Кто хочет украсть у меня славу?

— Нет-нет, забудьте, мирза, все, что сказал я, недостойный. — Дервиш обнаружил внезапный испуг. — Я не смею даже называть их имена. Разве червь, ползающий в пыли, может знать о путях льва? Разве ему ведомы эти пути? Не мне судить... Я только видел, как вы носились на своем Бураке в пыли сраженья, и только знаю...

— Что вы знаете? Что?

— Не смею...

— Моего прадеда Тимура никогда не вынуждали спрашивать дважды, дервиш. Говори! — нахмурился гератский амир.

— Правнук превзойдет победоносного властелина мира. Тарнаба — это только первый полет молодого орла. И прав молодой орел, никто не смеет молчать, если он — великий воин — обращается с вопросом. Но может ли ответчик называть имена, о которых даже помыслить нельзя дурно? —

опустил с показным смирением очи долу всеведущий мутакаллим.

— Если ответчик говорит правду, он может называть любые имена.

— Даже имя мирзы младшего брата, о великий амир Герата?

— Так это Абд-ал-Азиз хочет отнять у меня победу?!

— Могу я говорить? — прошептал калантар, придвинувшись почти вплотную к мирзе.

— Да говори, все говори!

— И имя мирзы Мухаммеда-Тарагая, прозванного Улугбеком Гурагоном, я могу называть?

— Говори все, что знаешь! Но берегись моего гнева, если в словах твоих есть ложь. Я никому не позволю... Говори, калантар, не бойся. Только правду говори.

— Хорошо, мирза. Вы так хотели. Я прибыл из Самарканда. Караван, с которым я пришел, только входит в Герат. Не утолив жажды и голода, не совершив омовения и не почистив платье, поспешил я в этот дворец с печальной вестью. С печальной потому, что тайные интриги способны вызвать в благородном сердце не только гнев, совершенно справедливый, надо сказать, гнев, но и печаль. Так вот, мирза. В тот день, когда я покинул Самарканд, правитель его, Улугбек Гурагон, обнародовал грамоту о победе при Тарнабе...

— Ну!..

— И грамота эта... Простите, мирза, даже язык не поворачивается сказать... Грамота эта обнародована от имени одного Абд-ал-Азиза, вашего младшего брата.

— Так... — Мирза подвинул подушку и угодил рукой в липкий гулаб. С отвращением вытер клейкие нити о ковер. — Так, — сказал он, облизывая губы, — значит, это правда?

— Правда, мирза. Рискуя жизнью, удалось мне достать черновик, на котором Улугбек набросал первоначальный текст грамоты. Вот он. — Калантар достал из-за пазухи кожаный футляр и протянул его мирзе.

Тот лихорадочно раскрыл футляр и вытащил измятый листок шелковой самаркандской бумаги. Он сразу узнал четкую, красивую вязь, уверенные точки и черточки над буквами. Изысканный почерк насх, всюду, где положено, проставлен знак забар! Сомнений быть не могло — это писал Улугбек, отец.

— Так! — прошептал принц. — Обо мне здесь не говорится ни слова. Будто это не я командовал туменами на левом крыле, будто это не я...

— Выиграли битву при Тарнабе, — досказал за мирзу калантар.

— Что ж! — Принц сжал кулаки. Он хотел сказать что-то еще, но только пошевелил губами, как рыба, хватающая воздух.

— Верно, у мирзы, отца вашего, были веские причины поступить так, — осторожно сказал калантар. — Можем ли мы, ничтожные, знать, в каких горных высях витает крылатый дух его? Герат, Самарканд, соображения высшей политики...

— Это я, по-твоему, ничтожный? — хрипло спросил принц.

— Я о себе сказал, сиятельный мирза.

— Нет, нет, калантар. Ты прав! — Принц усмехнулся, и узкие глаза его почти закрылись. — Для него я столь же ничтожен, как ты, как последний из его рабов. Он смотрит на небо, великий звездочет. Все остальное — только прах под его ногами. Он никогда не любил меня. Другое дело Азиз, тот умеет угодить Улугбеку. Ябеда, льстец, презренный трусишка. Для него нет ничего святого.

— Он лишь подражает кому-то другому, более вознесенному, — печально вздохнул калантар. — Мирза Улугбек не раз говорил, что религии рассеиваются, как туман. Не о таком повелителе мечтали мы, слуги Аллаха, да простит он меня за эти слова.

— Улугбек хочет отнять у меня победу? Но ему не она нужна. Нет! Он смеется над ратной славой, издевается над шариатом, унижает амиров и вельмож. Звезды и астролябии для него дороже благополучия государства. Нет, не для себя отнял он у меня победу. Здесь вижу я интригу брата. Мне надо объясниться с отцом. Ты отвезешь ему мое письмо, калантар!

— Я только слуга мирзы. И воля его для меня закон. Но не гневайтесь на меня за совет. Не пишите Улугбеку теперь. Я еще не все сказал вам, мирза. Сердце мое разбивается, когда глаза видят, как страдает благородный лев. Вы слишком великодушны, мирза. Хотите видеть в людях только лучшее. Защищаете там, где другие спешат обвинить. Великая душа, поистине великая душа... Но все обстоит сложнее, чем представляется вам. Мне тоже хочется защитить от дурной молвы светлое имя отца вашего и светлое имя брата. Верно, все же были у них особые основания издать этот фирман. Я только червь придорожный, мирза. А вы, конечно, легко сумеете найти истину, когда узнаете все. У меня так не получается. Я хочу оправдать в глубине сердца деяния, о которых и судить-то не смею, но чем больше думаю о них, тем страннее и непонятнее выглядят они для меня. Не обвиняйте брата, во всем видна воля отца, — хочу сказать я вам, но говорю: не обвиняйте ни отца, ни брата.

— Это твой совет, калантар?

— Моя смиренная просьба, сиятельный принц. Ибо поистине странны деяния великих мира сего. Остается лишь верить, что предприняты они на благо государств и народов. Да укрепит Аллах нашу веру, потому что разум отказывается принять все новые и новые печальные свидетельства.

— Язык у тебя, калантар, как у моего Саманбая. Чего ты все кружишь, как шакал, не решающийся напасть? Говори прямо и откровенно! Я требую этого от каждого воина. Не выношу витиеватого кружения. Не терплю.

— Улугбек Гурагон, мой мирза, выпустил еще один фирман. Все ценное имущество, собранное вами в башне крепости, в которой раньше вы страдали пленником, объявлено собственностью Самарканда.

Принц знал, что отец забрал принадлежавшее лично ему, Лятифу, золото из крепости Ихтияр-ад-дин, и это было первое из полученных им оскорблений. Все же он полагал, что это временная мера и в надлежащий день сокровища будут возвращены в Герат. Увы, он ошибся. Политические расчеты, в которых отец никогда не был особенно силен, вновь возобладали над справедливостью, здравым смыслом и голосом родной крови.

— Видимо, Улугбек Гурагон посчитал ваши денежки за дань Герата престолу Самарканда, — подлил масла в огонь калантар.

— Ты лжешь, дервиш! Никогда не поверю!

— И я о том же, мирза, — трудно поверить. Остается думать, что правитель всего Мавераннахра сделал это для высшего государственного блага. Не себе же забрал мирза Улугбек сокровища, которые вы добыли мечом в славнейшей из славных битв? Он присваивает ваши украшенные золотой чеканкой и сиамскими лалами сабли, драгоценные сосуды, ларцы с жемчугом, забирает отнятые вами у врага мешки с серебряными теньгами общей стоимостью в двести туманов, малиновый бархат, сафьян и шагрень — и все это не себе, он отдает вашу военную добычу Тимурову несуществующему государству... — Вкрадчиво замолк калантар и добавил вполне равнодушно: — Наверное, брату вашему, мирзе Абдал-Азизу, поручит он распорядиться всем этим имуществом?

— Не бывать этому! — Лятиф вскочил на ноги, опрокинув поднос со сластями. — Это откровенный разбой, а против разбоя есть одно только средство — меч.

— Против отца? — как будто испуганно прошептал калантар.

— За свое право. Что велел передать шейх?

— Шейх Ходжа Ахрар, мудрость его велика и святость его беспредельна, сурово отнесся к фирманам Улугбека. Он

не пытался, подобно мне, недостойному, оправдать мирзу. Он осудил его. С тем и послал он меня к вам. Ходжа Ахрар сказал нам, что вы, сиятельный принц, надежда ислама. Посему накшбенди не могут стоять в стороне, когда с вами поступают несправедливо, тем более что неправое дело творит, — калантар понизил голос и почти неслышно выдохнул: — Кафир[1].

— Что ты сказал?

— Это не я сказал, мирза. Так говорит Ходжа Ахрар, великий пир, благочестивый старец суфийский. Я только тень его. Он же давно называет Улугбека кафиром, ибо только неверный может смеяться над Кораном и нарушать законы шариата. Другие же шейхи говорят, что Улугбек — шайтан и богохульник.

На миг, на какой-то мелькнувший миг сердце мирзы сжалось. Разве не он, Улугбек, дал тебе жизнь, мирза? Имя твое и твою гордую кровь тимурида? Искусство слова и мудрость следить ход подвижных светил в сонме неподвижных огней Вселенной? Или не он пришел тебе на помощь, когда враги заточили тебя в крепостную башню? Может, кто-то другой назначил тебя правителем богатой области и прекрасного города, который не устают воспевать поэты? Не ты ли плоть от плоти его, и разве Герат твой не часть державы прадеда твоего Тимура? Почему же и не распорядиться ему твоими сокровищами и деньгами, если ты плоть от плоти его? Почему бы и славу твою не отдать другому, если тот, другой, тоже плоть от плоти его? Доверься же духу его, витающему выше самих звезд, доверься мудрости его, которая, как говорят на всем мусульманском Востоке, равна лишь мудрости Сулеймана, сына Даудова, которому подчинен весь видимый и весь невидимый мир. Пусть же делает он, как считает нужным, ибо печется не о благе своем. Пусть непонятны его пути и высоки неведомые цели. Доверься ему, и будет тебе благо. Если же постигнет его неудача, оплачь ее вместе с ним, ибо ты плоть от плоти его и его неудача — твоя неудача...

Но так краток был этот миг сомнения, так неглубок тоскливый укол в сердце, что мирза ничего не понял и ни к чему не прислушался.

— Говорят, что таких сокровищ, которые собраны вами в башне, мирза, никогда не видели даже на рынках Багдада и Дамаска, — сказал калантар, огладив бороду.

— Не даешь мне забыть мое унижение, дервиш? Зря стараешься. Я ведь и так не забуду.

---

[1] Кафир — неверный.

Принц взял обеими руками чашу с густым самаркандским вином и стал пить глубоко и жадно, как истомленный путник, добравшийся до колодца в пустыне. Быстрые черные струи сбежали по его запрокинутому подбородку. Частыми каплями сорвались они с куцей бородки и лениво расплылись вишневыми пятнами на белом шелку расшитого золотом халата.

— Когда приходит хамр[1], уходит хилм[2]. Коран предостерегает нас против вина.

— Поучаешь меня?

— Я только тень ишана. Святой человек, легко читающий книгу судеб, словно заглянув в чашу Джамшида[3], видит в вас будущего государя. Он поручил мне беречь вас, принц. Не гневайтесь.

— Воля государя — закон. Или старец хочет видеть послушного государя?

— Мусульманского государя. Такого, каким был дед ваш, благочестивый Шахрух. Он воздерживался от вина, как подобает мусульманину, и не позволял употреблять его никому. Даже принцам.

— Он воздерживался и от управления страной, предоставив это моей властолюбивой бабке Гаухар-Шад-ата и вам, почтенные муллы, улемы и калантары. Тимуру небось вы не указывали, что ему пить: кумыс или вино. Я глубоко почитаю избранников Аллаха, но править буду сам!

— У каждого свой путь в небе — у кречета, сокола и орла, — бесстрастно заметил суфи. — Молодой орел взлетит еще выше, чем Тимур — повелитель Вселенной, а нам останется лишь целовать его сверкающий след. Но пока... Не от вина я хочу уберечь будущего владыку мира, а от дурной молвы. Пусть пьет на здоровье, если разум его остается ясным. Не надо лишь чашу свою выставлять напоказ. Вот опять ваш отец Улугбек Гурагон. Весь Самарканд и вся Бухара только и говорят о его изумительном саде. У всех на устах этот Баги-Мейдан, раскинувшийся у подножия холма Кухек. Там мирза отдыхает от трудов земных и ночных звездных бдений. Нет, наверное, человека, который бы не видел его там с чашей в руке. Разве так надлежит государю являть свой лик перед чернью? А сотрапезники правителя? Не каждый амир или визирь попадает в тот, раю подобный, сад. Зато нищие поэты, всякие неотесанные горланы и богохульники — там первые гости. Не гости — хозяева. И конечно, все эти его звездочеты — астрологи и

---

[1] Хамр — вино.

[2] Хилм — разум.

[3] Легендарная чаша, в которой открывалось будущее.

математики. Без них он и шагу ступить не может. А они-то и есть первые богохульники. Если поэты только издеваются над верой и прославляют вино, то эти его мауляны всерьез отрицают, прости мне Аллах эти слова, бытие самого господа и вечную жизнь пророка его Мухаммеда. Так-то, мирза.

— Это правда? — быстро спросил Лятиф.

— И должен сказать вам, народ этим очень обижен, — гнул свое калантар. — Так разве правильно будет, если и мирзу Абд-ал-Лятифа станут видеть у мехов да кувшинов с вином? Не секрет, что в Герате и у них в Самарканде свободнее смотрят на мирские утехи, чем в других государствах пророка. Все немного грешны, все охочи до сладостной влаги, веселящей сердце. Но пусть народ видит, что молодой государь чтит религию, на которой стоит государство. Ныне, когда правитель Самарканда преступает запреты ислама, нарушает обычаи, это особенно важно. Пусть поэты читают стихи у фонтанов, пусть струится вино и под чинарами пляшут обнаженные пери — кто б поставил все это в вину Улугбеку? Но его разговоры о боге, о звездах, о мирах во Вселенной, эта обсерватория — капище зла... Тут сливается все воедино. Если ж вы, молодой государь, своей праведной жизнью продолжите примеры почитания Корана, все преграды падут перед вами.

— Это кто говорит: ты или старец?

— Я только тень.

— Но я и сам слежу за движением звезд, калантар.

— Кто не знает об ученых занятиях мирзы? В своих наблюдениях вы далеко превзошли успехи отца. Такова воля Аллаха. Ученик всегда идет дальше учителя. Есть, впрочем, существенная разница. Усилия Улугбека направлены на подрыв ислама, ваши — во славу правоверных. Такую науку шариат одобряет, потому что звездные наблюдения необходимы для процветания народов и государств.

— Так думает пир или это глас его тени?

— У тени нет своего голоса.

— Что же, придется послушаться безгласной тени... Но скажи, калантар: как исполнится предначертание старца, если отцу наследует брат мой Азиз?.. Да и сам отец не так еще стар. Дед мой Шахрух и прадед Тимур жили долго. Или старец считает, что я должен обнажить меч против отца и брата?

— Святой пир не считает так. Жизнь Улугбека священна для Абд-ал-Лятифа. Хотя, если дело касается истинной веры, Коран разрешает любые поступки. Зеленое знамя пророка оправдывает и возвеличивает истинно справедливое деяние. Сын-мусульманин ответчик за душу кафира отца. Так что здесь никаких я препятствий не вижу.

Но, повторяю, суфийский старец в своей доброте не считает мирзу Улугбека кафиром закоренелым. Пусть Улугбек совершит очищение, отправится в Мекку, замолит грехи, пусть потом он безбедно пирует с друзьями в саду. Накшбенди не хотят никаких крайностей. Просто, раз Улугбеку нужно время, чтобы позаботиться о своей душе, пусть делами государства вершит другой... более молодой и к тому же законный наследник, старший сын. А там посмотрим, что будет дальше. На все воля Аллаха.

— Кто же посоветует Улугбеку позаботиться о своей душе? Я? Или, быть может, ваш старец?

— Стечение обстоятельств, в котором умный читает волю Аллаха. Улугбек не любит войн, хоть и задирист. Ему не удалось умножить свои земли, подобно Тимуру, и он разочаровался в походах. Теперь ему хочется жить в мире с соседями, предаваясь пирам в Баги-Мейдане и ночным наблюдениям звезд. Но если его задевают, если кто-то посягает на границы его междуречья, он все же отправляется в поход. Не важно, побеждает ли Улугбек врагов своей рукой или руками других, может быть, более достойных, важно — он побеждает. Пусть в глазах народа он нечестивец, непонятный мудрец и все такое... Но Улугбек государь, и поэтому не упускает случая урвать чужой славы. Доказательством тому — последний его фирман... Вот если бы народ узнал, кто на самом деле является победителем при Тарнабе...

— Пусть! — сжимая унизанные перстнями пальцы, глухо отозвался принц.

— А еще лучше, если этот неведомый пока народу победитель вновь проявит свою доблесть. Заставь этот молодой лев бежать войска Улугбека, с того бы в один миг слезла фальшивая позолота чужой славы. Тогда бы самаркандцы и бухарцы, где ширится недовольство государем, сами прогнали нечестивца, и у него появилось бы время подумать о душе. Но, к сожалению, такое едва ли возможно. Благородный лев не пойдет на отца, он для этого слишком высок сердцем и, может быть, недостаточно благочестив. Так что и думать об этом нечего... Хотя, если как следует поразмыслить, можно найти достойные средства, которые не запятнают великую цель. А цель действительно великая: дать Тимуру достойного преемника.

— Как следует поразмыслить, говоришь? Ужели старец ничего не придумал? Не хитри, калантар. Повторяю, будь прям и прост, как мой воин.

— Шейх Ходжа Ахрар поручил мне быть вашим проводником, мирза. Это я должен придумать и обо всем позаботиться.

— Так чего же ты ждешь? — улыбнулся зловеще Лятиф.

— Всему свой срок. А пока мне нужно всегда быть при молодом государе, стать его тенью, оставаясь при этом тенью пира, потому что без накшбенди нам ничего не достичь.

— Что же могут твои накшбенди?

— Все.

— Я велю тебя высечь, дервиш. Мне с детства не нравились сказки.

— Черновик Улугбека, содержание второго фирмана — это дело накшбенди, всемогущих и всепостигающих. Я бы многое мог открыть вам, мирза, но для этого не настала пора. Не все подвластно накшбенди. Душа Улугбека и ваша душа им неподвластны. Но могут они многое. И верьте в чистоту их помыслов. Они хотят, чтобы процветала держава Тимура и вместе с ней — истинная вера, они хотят видеть в столице Мавераннахра великого мусульманского государя и желают ему счастья и долголетия. И чтобы все это стало возможно...

— Тебе, для начала, надо быть возле меня, калантар?

— Да, мирза.

— И кем бы ты хотел видеть себя в моем Герате? Амиром? Главным муллой? Быть может, великим визирем?

— Нет. Только тенью мирзы, только его сеидом.

— В своем ли ты уме, калантар? Ты хочешь стать моим наставником в вере? Да знаешь ли ты, что сеидами становятся не безвестные дервиши, а потомки великих джагатайских родов, прославленные ученые и богословы?

— Знаю. Но вот золотая тамга, что дает мне право стать и сеидом правителя и, если понадобится, даже кем-то более высоким.

В косых лучах, бьющих из зарешеченного окна, вновь блеснула пластинка с таинственным знаком Гэсера — бога войны.

— Ну, допустим на миг, что я даже соглашусь назначить тебя своим духовным наставником. Представляешь ли ты себе, какой шум поднимется во дворце? И что скажет сеид мой, Ходжа Абул-Касим?

— Абул-Касим во всеуслышание заявит о своем желании отправиться в благочестивое паломничество и порекомендует сиятельному мирзе назначить меня на эту должность.

— А я-то было посчитал тебя за мудреца, калантар. — Мирза облегченно, хоть и с сожалением, рассмеялся. — Ты просто бродячий фантаст. Это солнце пустыни Кызыл напекло тебе голову. Да ни за какие блага в мире почтенный

Абул-Касим не расстанется со своей должностью. И никакая власть не заставит его совершить подобное безумство. Кроме моей, конечно. Но, скажу тебе прямо, я поостерегусь ссориться с моим сеидом.

— Мирза сказал золотые слова. Он во всем прав. Кроме одного. Вот эта тамга заставит Абул-Касима сказать завтра все, что я велю ему. Если, конечно, мирза согласится.

— Дай мне ясное доказательство твоего могущества мюрид-накшбенди, — потребовал принц.

— Разве недостаточно?

— Нет.

— Тогда слушай. — Калантар устремил на Лятифа мертвый немигающий взгляд. — Перед уходом Улугбека из Герата тебе составили гороскоп, где сказано, что сын погибнет от руки отца, если промедлит сделать надлежащий выбор. Так ответили звезды, мирза, а им ты, кажется, веришь больше, чем словам благочестивых людей?

Лятиф молча смотрел на калантара. Казалось, мысли принца были где-то далеко-далеко. Потом он вдруг махнул рукой и сказал:

— Ладно, калантар! Давай пробуй. Посмотрим, на что способна твоя суфийская тамга. Если выйдет — твое счастье. Может, тогда и другое удастся... Мне, во всяком случае, старый шайтан Абул-Касим давно надоел. Но имей в виду, если он прикажет прогнать тебя палками, заступаться не буду.

Ты одинок средь сотни тысяч лиц,
Ты одинок без сотни тысяч лиц.

*Рудаки*

## Глава четвертая

Синим дымом полны кривые улочки Самарканда. И страшен багровый закат над мазарами[1] Афрасиаба. В чайханах и харчевнях, тысячах внутренних двориков жгут на угли сухую виноградную лозу. Она дает сильный устойчивый жар, и быстро гаснут в нежном пепле ее жирные языки, взлетающие вдруг от тяжелой капли бараньего сала. Синей удушливой струйкой уходит в самаркандское небо это сало с горячих углей. Сытным маревом висит оно над базаром и над лавками вдоль дороги на город Ташкент. И чахнут в том мареве малиновые лучи солнца, погружающегося в древнюю пыль. И страшным становится небо над

[1] Мазар — гробница.

древним холмом Афрасиаба. Стоймя поставленная плита и низкий четырехугольник ограды — конец юдоли земной. Уступами спускаются тысячи мазаров с вершины до самой стены у подножия холма. А там, за стеной, уже бегают оборванные мальчишки с корзинами горячих лепешек. Люди спешат домой. День кончен, и душный горячий вечер гонит их во внутренние дворики, под чинары и карагачи, за глухой глинобитный забор. Но что за чай без лепешки? Что без нее шашлык или, скажем, кабоб? Только теплым, чуть влажным хлебом можно собрать коричневую мясную подливку и острый соус из алычи. Невидимый дух хлеба струится вверх и сливается с синью бараньего чада. И не смеют встать мертвецы из сухой накаленной глины. Заклятием короткой, но сочной и яростной жизни земной мреет вечерний воздух над Самаркандом. Только бродячие длинноухие собаки бесшумной тенью мелькают среди немых поселений Афрасиаба, раздразненные и обеспокоенные ароматами воскурений грешному богу утробы.

Зажигаются тусклые красноватые лампы в сумраке харчевен и лавок, торгующих сладостями. У ворот базара уже варят плов, и пламя с треском мечется под черным, сверкающим масляными отблесками котлом.

Но на вершину холма, до древних, наверное домусульманских, мазаров и до стен самых святых мавзолеев Шахи-Зинда, где похоронен святой Кусам — сын Аббаса, двоюродного брата пророка Мухаммеда, уже не долетает вечерняя суета. Там ветерок, напоенный полынью, шуршит в кустах чертополоха, и золотой затухающий свет грустно плавится в синих и голубых изразцах.

Мирза Улугбек задумчиво гладит искривленный ствол миндального дерева. Оно зацвело вдруг вторым в этот год, сумасшедшим цветением над лестницей, ведущей к гробнице святого Кусама — Живого царя, Шахи-Зинда.

Долго молча стоит, а потом поднимается выше и выше, мимо пилонов и стрельчатых арок, мимо звездных орнаментов и густо-синих узоров из сур Корана, выполненных квадратным письмом. По привычке считает про себя ступени. Спускаясь, сосчитает опять. Если числа сойдутся, значит, так угодно Аллаху и будет удача в делах. Нет, не верит мирза суеверной легенде. И все же... Кажется, что может быть проще, чем сосчитать ступени при подъеме и спуске, — однако числа часто выходят разные. «Только безгрешный не собьется в счете», — уверяет легенда. В чем же здесь дело? И вдруг Улугбек понимает и, сбившись, конечно, со счета, тихо смеется. Все ясно! Лишь исступленный фанатик способен забыть все заботы, отвлечься от мира, закрыть глаза на дивную красоту этих глазурованных пило-

нов, не ощущать нежного запаха белых миндальных цветов и соловья не услышать, поющего за стеною в кустах фарсидской сирени. Ему б только считать да считать. Такой никогда не собьется! Мы же, грешные люди, не очень-то веря в душе, считаем ступени лишь краем сознания. Мудрено ли, что часто у нас ничего не выходит?

И, остановившись на середине лестницы, Улугбек поворачивается и начинает спускаться. Хоть сегодня и день святого Кусама, в который правители Самарканда совершают паломничество к мазару Живого царя, а дальше не стоит идти. И годы уже не те, и ночь нынче будет такая, что лучше провести ее в обсерватории. Ведь ожидается выход Зухры[1] из треугольника планеты Зухал[2] — вестницы бед. Благо свита осталась внизу, и никто не узнает, что мирза Улугбек не дошел до плиты Шахи-Зинда.

Он спускается мимо гробниц самаркандских амиров, принцев, беков, принцесс, мимо ниш с саркофагами верных сатрапов Тимура. Все кончается здесь. Но и вся эта каменная мощь и красота не для мертвых. Им уже ничего не надо. Это все для живых. Пусть глупо, немного смешно, но в том есть и тайная мудрость. Надо жить для живых.

Погруженный в себя, что-то шепчет мирза и, все убыстряя шаг, спешит к высокой арке входного портала. Небо в ней уже совсем потемнело. Сзади на холме догорает в пыли закат, а в синей арке появился рожками вверх бледный, как молодое арбузное семечко, месяц.

Улугбек доволен, что так, походя, вовсе того не желая, разгадал тайну лестницы.

Он что-то бормочет, улыбается чему-то своему и, конечно, не видит в тусклом мраке какой-то высокой гробницы черной тени и шепота тоже не слышит: «Кафир! Нечестивец!»

Вот и портал. Он построен самим Улугбеком от имени младшего сына Азиза, любимого сына. Громадная арка, в ней — малый портал и малая арка с резными дверями, купола на стене и синяя вязь из глазури.

Здесь встречают его царедворцы, ученики и охрана. Чадящие факелы рассыпают горячие блики на шлемах и медных щитах, на румийских кольчугах, на лалах чеканных, богато отделанных сабель.

— Ты не забыл ли, какой ныне день? — спрашивает мирза любимого ученика Али-Кушчи.

— День или ночь, господин?

— Это как тебе более мило, — смеется мирза.

---

[1] Зухра — планета Венера.

[2] Зухал — Сатурн.

— День Живого царя, ночь богини Зухры. День кончается. Выехав из Железных ворот, мы успеем к восходу Зухры. От Шахи-Зинда до Кухека час хорошей езды.

Улыбнулся мирза.

— Я вас всех отпускаю, — приложив руку к сердцу, поклонился он свите. — Кончается день амира, наступает пора Звездочета. Рахмат[1]. Благодарю, что разделили со мной тяготы паломничества. Вечер нынче выдался душный и жаркий. В такую пору лучше укрыться в саду у фонтанов, а не бродить по кладбищам. Но да будет с нами милость святого Кусама.

В это же время на другой стороне Афрасиаба, откуда виден базар и минареты великой мечети Биби-Ханым, старый мулла в белой чалме и черном халате запирал небольшую кладбищенскую мечеть. Он шептал суры Корана, готовясь к пятой вечерней молитве. Навесив длинный винтовой замок из красной меди, прочел десятую суру. Запирая ключом, прочел суру шестнадцатую: «Скажи: истинно, от господа твоего низводит его».

Затем сел на ступеньки, поцеловал священные четки из финиковых косточек и совершил глубокий поклон.

Он не видел, как черная тень скользнула откуда-то сверху, из зарослей пыльного чертополоха. Как слилась она с темным квадратом обращенной к восходу стены.

И словно дуновение ветра, словно шелест травы:

— Нечестивец вернулся с полдороги. Не дошел до конца священной лестницы. Что-то шептал и чему-то смеялся. Мысли его были далеки от молитв и благочестия. Он собирается этой ночью на свой богомерзкий Кухек.

— К вам пришел посланник наш, — пробормотал мулла пятую суру, — он ясно укажет вам многое из того, что скрыли вы...

Он быстро спрятал ключи от мечети и финиковые четки. Молча спустился по лестнице, чуть подпрыгивая, поспешил к базару. Со всех минаретов муэдзины уже скликали мусульман к вечерней молитве. Закончился день, закрылась торговля. Пора было обратить сердца и мысли к Аллаху, чтобы достойно встретить опускающуюся на город ночь.

И непостижимым образом после вечерней молитвы, именуемой «салят аль-иша», которую совершают в начале ночи, весь Самарканд уже знал, что мирза Улугбек не исполнил ежегодного паломничества к могиле Живого царя.

— Вон скачет он к Железным воротам, кафир, — шептал налитый кровью здоровенный рыбник, только что загля-

[1] Рахмат — слова благодарности.

нувший в лавку почтенного продавца халвы, и пальцем указывал на двух всадников, проскакавших мимо погруженной в ночную тень базарной стены. И все, кто были в лавке, поспешили выйти на улицу, где не слепил их плавающий в масле красный огонек фитиля.

— В обсерваторию едут, — доверительно сообщил рыжий, чуточку косой меняла, державший контору у ворот Шейх-Заде. — Не знаю, было это или нет, но говорю, что слышал от людей, — они там, на холме Кухек, молятся иблису[1].

— И я это слышал, — кивнул торговец мантами. — А еще говорят, что джинны — духи пустыни — уносят его в небо, чтобы мог он получше разглядеть, как пляшут черти вокруг адских огней.

— Откуда же адские огни в небе? — усомнился вдруг рыбник.

— А разве звезды не адские огни? — запальчиво спросил его торговец мантами, и щека его нервно задергалась.

— Я слышал, что звезды — это очи Аллаха, — пожал плечами рыбник и, сунув руку под ватный халат, поскреб у себя под мышкой.

— Один святой калантар сказал мне, что звезды — костры иблиса! — завизжал торговец мантами.

— И мне так говорили, — подтвердил хозяин лавки — продавец халвы. После этого все вернулись в лавку и сели играть в мейсир[2].

— Мирза Улугбек едет, — тихо улыбаясь, сказал сундучник и поглядел вслед всадникам.

Он сидел под стеной бани, держа в руках лепешку и глиняную пиалу с пловом. Кусок лепешки с горкой риса он отдал присевшему рядом студенту медресе.

Тщательно обсосав острую косточку и вытерев жирные пальцы о засаленный синий халат, студент с сожалением посмотрел на свой хлеб. На ломте его лепешки осталось лишь немного риса с желтыми глазками моркови и разваренные волокна зеленой редьки. Мяса уже не было. Да и много ли мяса в базарном плове, что покупают сундучники? Смахнув рис с лепешки прямо в рот, студент спросил:

— Кто, вы говорите, едет?

— Мирза Улугбек только что проехал, — сказал сундучник. — Вон, поглядите. Там, в конце улицы...

[1] Иблис — дьявол.

[2] Мейсир — азартная игра.

Но только четкими силуэтами, словно вырезанными из черной бумаги, виднелись всадники, скакавшие прямо на вечернюю зарю.

— И это правитель всего Мавераннахра! — покачал головой студент, и конец его грязной чалмы согнал со стены разомлевшую муху. — Вай-вай, какой позор! Без свиты, без охраны, как купец или, извините, ремесленник. Разве так надлежит вести себя государю? Где пышность, величие, блеск? Где суровость, наконец, я вас спрашиваю?

— Говорят, он добрый человек, — вздохнул сундучник.

— Правитель не может быть добрым. При Тимуре вот люди рассказывают, народ в строгости держали. Ни воров, ни смутьянов, ни богохульников — никого не осталось, всех вывели подчистую. А теперь что? Если и казнят кого, то редко, притом без всякой пышности. Чик-чик, и готово. Словно это не казнь, не назидательное всенародное действо, не праздник, а так... что-то досадное, с чем лучше поскорее разделаться. Воры, разбойники всякие и обнаглели. Проходу от них нет. Вольнодумство опять поползло, всяк себя господином мнит, исчезло почтение к власти. Приказов, говорят, на местах не выполняют. А почему все? Бояться царя перестали! А нет боязни — и уважения нет, и послушания тоже! Вот вы говорите — добрый. Не добрый, просто никудышный государь.

— Вам виднее, вы человек ученый, — снова вздохнул сундучник и поставил пиалу.

— Учение учению рознь, — назидательно поднял палец студент и, словно по рассеянности, положил на свой ломоть еще горсть плова.

— Воды! Кому холодной воды? Чистой, сладкой, холодной воды! — прошел мимо, ведя за собой ослика с кувшинами, водонос.

— Есть учение богоугодное, — жуя, поучал студент, — такое, как, скажем, у нас в медресе, а есть богопротивное, что процветает в Бухаре, в медресе Улугбека. Говорят, он велел там высечь на дверях слова: «Стремление к знанию — обязанность каждого мусульманина и мусульманки». У мусульманина одна только обязанность: прославлять Аллаха. Остальное — от иблиса. Мусульманина и мусульманки, видите ли. Пророк учит, что «женщины вырастают в думах только о нарядах и бестолковых спорах»[1]. Улугбек же хочет, чтобы они стремились к знанию. Он разрушил порядок, хочет веру разрушить, разрушит и государство. Попомните мои слова. Нет, при Тимуре было лучше.

[1] Коран (43, 17).

— Но разве могли бы вы так отзываться о Тимуре, как говорите сейчас о мирзе? — улыбаясь, спросил сундучник.

— Тьфу, — плюнул студент и, сунув за пазуху кусок лепешки, взял с земли свою истрепанную книгу. — В том-то и беда, что порядка и строгости нет в государстве. О Тимуре даже думать плохо боялись. Не то что теперь. А все кто виноват? Улугбек!

Он поднялся, отряхнул себя сзади и собрался идти.

— Развратничает с иноземными танцовщицами у себя в саду, — сказал студент, уходя. — А гаремом пренебрегает. Он и мусульманскую семью уничтожит! Вот увидите. Вы знаете, что сегодня этот богоотступник не пожелал почтить гробницу святого Кусама?

— Да-да, — печально поцокав языком, согласился сундучник. — Народ об этом говорил после вечерней молитвы.

— О! — указуя перстом в небо, покачал головой студент. — Народ еще не знает всего. Если бы люди только знали, на что способен этот богохульник. Он... — Студент наклонился к самому уху сундучника и жарко зашептал: — ...плюнул на священные камни и притом расхохотался.

— Аллах акбар! — ужаснулся сундучник.

— Да, почтеннейший. Плюнул и расхохотался. Но тут раздался замогильный голос нашего вечно живого царя: «Не быть кафиру правителем в Самарканде!»

— Ой, что творится в нашем городе! — закатил глаза сундучник.

— Тише, тише, почтеннейший, — зашипел студент. — Не привлекайте внимания. Послушайте лучше, что было дальше. Все это собственными глазами видел и слышал своими ушами один калантар из братства молчаливых и постигающих. Этот благочестивый человек видел, как пошатнулся и побелел Улугбек, услышав голос из каменного склепа. Сломя голову кинулся он прочь от гробниц Шахи-Зинда. А калантар узрел тень самого святого Кусама. «Поведай все, что видел здесь, людям, — велел ему святой, — и пусть каждый, кто узнает об этом, расскажет остальным. Тогда только забуду я оскорбление, которое нанес мне Самарканд в лице своего правителя». И еще сказал калантару святой, что не будет счастья самаркандцам, пока не смыто оскорбление святынь Шахи-Зинда.

— Что же будет теперь? — затосковал простодушный мастер. — Чем кончится?

— Не удивительно, что вы не продали сегодня ни одного сундука. Завтра тоже, верно, так будет. Пока все самаркандцы не узнают правду о посещении Улугбеком мавзоле-

ев Афрасиаба, не будет удачи ни в торговле, ни в ремесле. Так что торопитесь, почтеннейший, исполнить волю святого Кусама. Спасибо вам за угощение.

Один только враг — это много, беда,
А сотни друзей — это мало всегда.

*Рудаки*

## Глава пятая

Звезды уже заблестели на небе, и месяц набрал полную силу, когда Улугбек и верный его Али-Кушчи подъезжали к подножию холма Кухек. Здесь, на этом знаменитом холме, по велению Улугбека, в год хиджры 832-й была построена обсерватория, равной которой не было в то время ни на Западе, ни на Востоке.

«У подошвы Кухека мирза Улугбек воздвиг огромной высоты трехэтажное здание обсерватории для составления астрономических таблиц», — писал потом Захириддин Бабур, государь и поэт, автор великолепной «Бабур-Наме», где есть, в частности, и такие, тоской исполненные, строки:

Что мне хула, что мне хвала, что мне, Бабуру, мненье людей?
Цену познав злу и добру, в мире земном я так одинок!

На скальном грунте, у самого арыка Абирахмат, построил Улугбек громадную круглую башню и покрыл ее самыми лучшими изразцами, на изготовление которых ушло много золота, серебра и бычьей крови. И так чиста, так глубока и прекрасна вышла глазурь, что даже при свете звезд, когда голубая нить неотличима от белой, был виден цветной узор.

Современник Улугбека, великий историк Абу-ар-Раззак Самарканди писал:

«К северу от Самарканда, с отклонением к востоку, было назначено подходящее место. По выбору прославленных астрологов была определена счастливая звезда, соответствующая этому делу. Здание было заложено так же прочно, как основы могущества и базис величия. Укрепление фундамента и возведение опор были уподоблены основанию гор, которые до дня Страшного Суда обеспечены от падения и предохранены от смещения. Образ девяти небес и изображение семи небесных кругов с градусами, минутами, секундами и десятыми долями секунд, небесный свод с кругами семи подвижных светил, изображения неподвижных звезд, климаты, горы, моря, пустыни и все, что к этому относится, было изображено в рисунках восхитительных и начертаниях

несравненных внутри помещений возвышенного здания, высоко воздвигнутого. Так воздвигнут был высокий замок, круглый, с семью мукарнасами. Затем было приказано приступить к регистрации и записям и производить наблюдения за движением Солнца и планет. Были произведены исправления в новых астрономических таблицах Ильхани, составленных высокоученым господином Ходжой Насир-ад-дином Туси, чем увеличились их полезность и достоинства...»

Резвый ахалтекинец мирзы уже почуял прохладу арыка и, прядая чуткими ушами, уловил далекий звон тугой струи в кувшине, а хозяин его различил в ночи белое покрывало красавицы, изогнувшейся над быстрой водой. Али-Кушчи на соловом своем карабаире еле поспевал за Улугбеком. В клубах удушливой пыли летели всадники, высекая искры подковами сытых нетерпеливых коней.

Запахом свежей листвы и мокрой земли повеяла на всадников ночь, когда подъехали они к подножию холма. На излуке арыка под старым карагачем приютилась убогая чайхана. На коврах возлежали богатые дехкане из окрестных кишлаков, мелкие ремесленники и мастера, состоявшие при обсерватории, молодые математики и астрономы. Ароматный кок-чай, свежую лепешку, зимнюю дыню с твердой, цвета обожженной глины кожурой да кувшин мусаляса — густого вина Самарканда — вот все, что мог предложить чайханщик Али своим постоянным клиентам. Зато каждый знал, что после первой молитвы у Али уже готова горячая похлебка из требухи, жирная и клейкая, сулящая здоровье и бодрость до глубокой старости, а сытость — до следующего утра, когда ни свет ни заря на заднем дворе чайханы разведут огонь под котлом и станут толочь чеснок в ступе для соуса, которого каждый кладет в похлебку по вкусу, кто сколько хочет.

Сам мирза Улугбек любил отдохнуть здесь в тени. Он ложился на простую кошму и прихлебывал чай или своими руками резал огромный арбуз, который чайханщик охлаждал прямо в арыке. И вдруг смолкала беседа на ковровых настилах, остывал неразлитый чай, а люди неловко перешептывались, пытаясь не глядеть на мирзу и вести себя как ни в чем не бывало. Улугбек все видел. Но не мог понять, почему это люди так резко преображались. Мирза угощал учеников и шутил над пузом Али, что с каждым годом толстело все больше. И смеялась с ним вся чайхана, но... чуточку громче и чуточку дольше, чем обычно смеялись над пузом Али. Улугбек это чувствовал.

Он покидал чайхану озабоченный, разочарованный, с тайной какой-то тоскою. Но всякий раз, проезжая мимо древнего карагача, придерживал коня, чтобы перекинуться словом с Али, а то и зайти к нему в гости. Может, надеялся правитель, что все будет иначе, чем всегда, или просто старался не помнить о чувстве недоумения, даже обиды, которое уносил из чайханы.

Али, как всегда, поджидал у дороги. Кланяясь и сопя от натуги, руками зазывал он в свою чайхану. Но сегодня Улугбек Гурагон проскакал мимо, только мелкие камешки брызнули из-под копыт ахалтекинца да клубы удушливой пыли тонкой мучицей легли на одежду Али. Амир потому и амир, что, если угодно ему, он может попросту не заметить любого из подданных. И спокойно вернулся Али к своему очагу. Проскакал властитель. Не придержал коня, не одарил мимолетным взглядом. Если бы даже чайханщик распростерся в пыли на дороге, и тогда бы его не заметил мирза. Железные подковы благородного коня ударили бы по телу простертого раба... Но и это бы было как надо. Так и должно вести себя тем, над которыми только Аллах. Посещение же властителем убогой чайханы было просто капризом, странной причудой, от которой всегда становилось неловко. А разве может неловкость испытывать раб за амира!..

Улугбек видел Али, освещенного красной полоской из окна чайханы. Видел он, как огромный сопящий чайханщик пригибался к земле и махал руками, словно перевернутая на спину черепаха. И странная мысль вдруг пришла ему в голову. Он подумал, что жалкая та чайхана переживет и Али, и его, Улугбека, и, наверное, даже далеких потомков его. Время разрушит обсерваторию, пески занесут гордые мраморные дуги звездного инструмента, а эта харчевня так и будет стоять у арыка. Подновляясь время от времени, вечно будет стоять она здесь, потому как нет вокруг более удобного места. Что бы ни случилось с народами и городами, люди будут стремиться всегда к тени дерева и прохладе бегущей воды. Значит, будут стремиться сюда, в чайхану. Разве только арык Абирахмат обмелеет...

Не бог весть какой глубокой была эта мысль, но почему-то остро кольнула она сердце мирзы, глухое обычно к таким исконным человеческим чувствам, как зависть, мелочность и жажда славы. Никому не завидовал Улугбек, был широк душой, неподозрителен, славы хотел, но не загробной, а такой, какая дается при жизни мудрому среди мудрых. И была у него эта слава. В чем же дело? С поворота дороги он видел уже свою башню. Блестела она под луной глянцевитым молочным огнем. Очень прочной каза-

лась, неподвластной превратностям мира, построенной на века.

Но тем сильнее кольнуло в сердце сопоставление ее с жалкой чайханой, что казалось оно нелепым и что где-то в тайне сознания Улугбек увидел вдруг поверженной изразцовую башню и почему-то желтые тыквы на тростниковой крыше чайханы.

Улугбек чуть сильнее сжал чуткие бока коня, и ахалтекинец пронесся мимо согнувшегося чайханщика, высекая песчинки и искры ему в лицо.

У ворот обсерватории встретили Улугбека друзья. Помогли слезть с коня, приняли повод. За оградой заливался соловей и среди черной зелени благоухали цветы. В раскрытых чашечках переливались капли нектара. Мохнатые бабочки носились, гудя, с цветка на цветок, касаясь на лету лепестков хищными изогнутыми хоботками. После душного дня разгоряченному телу особенно приятна была ночная прохлада и эта почти неожиданная свежесть. В лунном неистовом свете, хотя до полной луны оставалось еще шесть дней, лица людей, и дорога, и цветы за оградой казались белыми.

Улугбек оглядел их всех, все еще находясь во власти той мысли. Он почувствовал вдруг, что стал стар, и эти люди его, которых давно знал и любил, тоже постарели вместе с ним. Тоскливо и смутно стало ему. Недавний подъем, лихорадочное какое-то нетерпение, с которым скакал он сюда, сменились усталостью и разочарованием. И еще охватила его щемящая жалость ко всем этим людям и, в этом он не хотел сознаваться, к себе. Часто, очень часто, во время ночных бдений он ощущал величие и недостижимость той высокой цели, к которой стремился. Теперь он познал и тщету ее. Разве звезды хоть что-то изменили в жизни людей? Гончары шлифуют на своем кругу горшки, а медники выбивают чекан на кувшинах, дехкане терзают кетменями сухую глину и мираб обходит арыки, проверяя, высоко ли стоит вода. Что им до звезд? Если исчезнет эта обсерватория у подножия холма, разве хоть что-то изменится в повседневной их жизни? Зачем же это сверхчеловеческое напряжение, зачем эти бессонные, до рези в веках, ночи? Неужели только для себя?

Он видел над собой эти звезды среди чужих равнин ребенком в далеких походах Тимура. Звезды Индии, Армении, Афганистана, холодные звезды Отрары, под которыми умер в последнем походе на Китай дед Тимур. Сколько он помнит себя, желание знать было самым сильным его желанием. Разгадка неведомого всегда была для него самоцелью,

независимо от того, что проистекало потом. Значит, все, что он сделал, было подчинено одному — снедающей его ненасытной жажде? Выходит, что высокое стремление его мало чем отличалось от Тимуровой жажды завоеваний, от любви отца его Шахруха к редким книгам, от фанатизма накшбенди, обжорства чайханщика Али, сластолюбия похотливого Ала-ад-дауля? Что же тогда вообще есть жизнь человека на Земле? Или прав бессмертный Омар Хайям:

Кто мы? — Куклы на нитках, а кукольщик наш — небосвод,
Он в большом балагане своем представленье ведет.
Он сейчас на ковре бытия нас попрыгать заставит,
А потом в свой сундук одного за другим уберет.

И вспомнил Улугбек день, когда закончилось строительство его медресе в Самарканде. С желтизной тигрового глаза сравнил поэт оттенок обливных глазурованных плит, которыми облицевали стены и все четыре минарета. Как в зеркале, отражались в них проходящие мимо люди. Синева четырех ребристых куполов затмила синеву весеннего неба, а роспись квадратная портала превзошла даже роспись на Белом Дворце, построенном в Шахрисабзе Тимуром.

«О, чудо! — восхищался Бабур. — Громада его, подобная горе, твердо стоит, представляя остов, поддерживающий небеса. Величественный фасад его — по высоте двойня небесам. От тяжести его хребет земли приходит в содрогание. Могущественный мастер карнизы высочайшей степени высоты соединил в один образец со сталактитовой работой небесного свода».

Тридцать лет минуло с тех пор... Как один день пролетели они. Куда все это делось, куда ушло безвозвратно? Молодой и стройный стоял тогда он среди мастеров. Каменные блоки, груды битого кирпича, засыпанная щебнем земля. И, словно окошки в облачной завесе, сверкали среди сора и щебня густо--синие осколки глазури.

Стараясь не выпачкать праздничные чекмени и богато расшитые халаты, важно неся среди строительной разрухи белые шелковые чалмы, один за другим подходили к нему придворные мудрецы. Всеми владела одна только мысль — кого назначит мирза главным преподавателем своего медресе, кого сделает мударрисом. Но они не смели его спросить, лишь источали потоки лести, до небес превозносили красоту медресе и мудрость строителя. Наконец кто-то не удержался и все же спросил.

— Где-нибудь, пусть даже в дальних странах, сыщется человек, сведущий во всех науках. Его-то и сделаю я мударрисом, — лукаво ответил тогда Улугбек. — Я найду этого мудреца, даже если придется обойти полсвета.

— Зачем далеко искать, мирза? — поднялся вдруг человек из-за груды битого кирпича, из тени влажной еще стены, которую рабочие собрались только протереть опилками. Был он грязен и бос, весь закапан известкой, халат его казался рыжим от кирпичной пыли. — Я тот человек, который вам нужен!

Придворные мудрецы расхохотались и осыпали оборванца насмешками.

— Зачем вы смеетесь надо мной? — спокойно и просто спросил он их. — Разве виновато железо, что сырость оставляет на нем красные пятна своих слез? Разве не огнем проявляется его сверкающая сущность? Испытайте меня огнем словесной битвы, потому что я заявляю о своем праве быть мударрисом этого медресе.

— Подойдите ко мне, достойный человек, — обратился к нему Улугбек. — И докажите ваше право.

Молодой мирза задал оборванцу добрую сотню вопросов. Он спросил о звездах неподвижных и путях, по которым идут светила подвижные, о тайной природе семи планет и влиянии четырех стихий на жизнь человека, о дальних странах и живущих там народах, об искусстве лечить болезни и варить цветное стекло. И убедился Улугбек, что перед ним человек высочайшей мудрости и великих знаний. Тогда велел он отвести его в баню и облачить в дорогие одежды. Так пришел к Улугбеку мауляна Мухаммед. А в день открытия медресе он читал уже лекцию в качестве мударриса. Историк записал тогда в своей книге, что никто из присутствовавших на открытии девяноста ученых ничего не понял из лекции мауляны, кроме «самого Улугбека и Казы-заде Руми».

Где теперь мауляна Мухаммед? И где несравненный Казы-заде Руми? Где этот непревзойденный астролог и математик, один из первых преподавателей медресе? Где тот, кого все называли не иначе как «Афлотуни замон» — «Платон своей эпохи»? Где он?

Он спит теперь в глине Афрасиаба, в мавзолее, который велел воздвигнуть Улугбек вблизи самого Шахи-Зинда. Но что с того бедному Руми? Все лишь для живых, не для мертвых...

— Я рад, что опять с вами, — приложив руку к сердцу, низко кланяется мирза, не как властитель, как путник, после долгого отсутствия возвратившийся домой.

— Вы чем-то опечалены, господин? — целует руку ему юный Мерием Челеби.

— Ничего, все пройдет когда-нибудь, мальчик. Ты поймешь это, когда станешь таким же, как твой дед. — И, кивая головой, грустно улыбается мирза этому деду — Казы-заде, любимому ученику.

Вот все они тут, живые и полные сил, пусть постаревшие, но разве в том дело? Тем и славен человек, что в поте лица, с душою, израненной скорбями и потерями, делает свое дело. Живет, пока живется. Будто и вправду он бессмертен, будто и вправду дано ему увидеть когда-нибудь плоды на воткнутом в землю черенке.

Вот рядом с ним верный Али-Кушчи. Слуги только что увели в конюшню его могучего карабаира. И вдруг Улугбек улыбается не грустной и мудрой улыбкой, а по-детски широко и открыто, и морщины под узкими глазами веселеют, бородка взлетает вверх. Он просто вдруг вспомнил, что его Али-Кушчи пышно именуют «Птолемеем своей эпохи». Почему это вдруг рассмешило мирзу? Кто это может знать? И не знает никто, чему вообще он смеется. Но если смеется, значит, ему хорошо. И словно гнетущая тяжесть, висевшая над всеми, вдруг пропадает неведомо куда. Всем становится весело. Тут только придворные замечают, что пришли с факелами поэты Хэяли-йи-Бухари и Дурбек, в прошлый раз всех растрогавший чтением из поэмы своей «Юсуф и Зулейка».

— Будет пир, господин? — Дурбек крутит факел над головой, и смоляные брызги летят светляками. — Все уже для веселья готово в вашем Баги-Мейдане.

Улугбек огорченно разводит руками и кивает, притворно зевая, на Мансура-Каши и Мухаммеда Бирджанди.

— Видишь, ждут астрологи, поэт? Мы идем на свидание с Зухрой, так не прельщай нас своею Зулейкой. — И он идет за ограду.

Все его пропускают и идут за ним шумной толпой.

— Не слепи меня факелом, — улыбается он огорченному Дурбеку, освещающему дорожку в саду. — Я вижу в темноте, как камышовый кот.

— Для господина приготовлено столько подарков, — притворно вздыхает Дурбек.

— И один неожиданный! — быстро вставляет Бухари.

— Наверное, твои касыды, — решает мирза. — Хотя, видит Аллах, что после божественного Низами только глупец способен пойти в поэты.

— Низами, конечно, превзойти трудно, — возразил Бухари, — но каждому времени — свой светоч. Иначе некому будет прославлять деяния государей.

— Я вот велю есаулу отвесить тебе плетей, — то ли шутит, то ли гневается вдруг Улугбек. — До завтра, друзья, — прощается он у дверей своей башни.

Все послушно расходятся, а он еще долго стоит и смотрит, как по темным аллеям мелькают огни уходящих. Он не спешит на свидание с утренней и самой яркой звездой.

Есть еще время. Его астрологи и математики уже поднялись по винтовой лестнице и ожидают на плоской крыше, где в огромных горшках цветут померанцы, благоухая на весь этот сад и на всю эту ночь.

Может быть, ожидание, предвкушение того, что только сбыться должно, когда неясно еще, каким оно будет, и есть то главное, для чего мы живем? Жизнь подобна погоне за всегда убегающей дичью.

Он досадует на себя. Только что было в груди предчувствие истины. Сердцем своим он уже понимал, вернее, чувствовал то, что зовут смыслом жизни. Но лишь попытался излить это чувство в словах, как все исчезло. Осталось недоумение и досада. А тут еще Бухари так некстати подвернулся. Он, кажется, обидел его, но не беда: несправедливость к подданным — добродетель государя... А чувство то странное даже вспомнить нельзя. Все прогнало нелепое уподобление жизни убегающей дичи. Так всегда убиваем мы сущность словами. Слова — это мертвые тени вещей. Еще сильнее досадует он. Вспомнил о дичи и тут же припомнил потерю. Недавно пропал его список, который он вел аккуратно, наверное, лет с десяти. Пропал этот список им лично подстреленной дичи. Пропали все тигры, газели, олени, коты камышовые, рыси, фазаны и цапли, болотные вепри, лебеди и каракалы — все безвозвратно пропали, хотя жили давно лишь на бумаге, жили, как тени, в словах. Как будто не столь тяжела потеря. Он многое в жизни терял, а сколько еще суждено потерять! Даже себя мы ежедневно, нет, ежесекундно теряем, превращаясь в других, никому неизвестных людей. Только медлительность внешней формы позволяет узнавать друг друга и не видеть тех изменений, которые время постоянно приносит. Мы едва узнаем друзей, которых не видели с детства, а часто даже не узнаем. И немудрено. Это совершенно чужие нам люди. Чужие не только по внешнему виду. С ними вновь предстоит познакомиться, попытаться проникнуть в их души. Но зачем? Чтобы вновь и терять и знакомиться, борясь с постоянной утратой? Да, борьба с постоянной утратой — это больше похоже на жизнь, чем охота за дичью... Снова о дичи. Как будто и вправду потеря невелика. Но почему так жаль ему список? Так жаль его первой строки? Он писал ее, макая тростинку в китайскую тушь под бдительным оком строгой бабушки Сарай-Мульк-ханым. Как давно это было!..

Дед часто хвалил его память. А что, если вправду попробовать вспомнить тот список? Припомнить все эти ловитвы, погони в лесах, скачки в степи, стрельбу из лука, собачью травлю, засады у водопоя, охоту с соколом и беркутом, когтящим рукавицу, нахохлившимся под черным

колпачком? Если все это припомнить? Увидеть вновь, какая и кого стрела настигла, кого достал беркут...

И, твердо надумав возобновить утраченный список, Улугбек решительно входит в башню. Уединяется в своем кабинете на втором этаже, где достает из индийского перламутрового ларца бумагу и пенал с писчими принадлежностями.

При свете бронзовой лампы, изображающей дракона, — подарок деда — он вспоминает и записывает, вспоминает и записывает, пока не настает время подняться на крышу наблюдать противостояние колдовской зеленой звезды.

И ночь та навсегда останется в памяти людей, хотя узнают они о ней лишь от комментатора ученых трудов Улугбека, молодого Мериема Челеби.

«В ночь святой пятницы седьмого дня месяца раби ас-сани в год хиджры... когда Зухра...»

Но что, собственно, случилось в ту ночь? Мирза Улугбек по памяти восстановил список убитых им птиц и зверей — он вел его с самого детства, — а потом наблюдал противостояние яркой звезды, которую все народы отождествляют с богиней любви и материнской силой природы. Вот и все. Больше ничего не случилось в ту ночь накануне седьмого дня месяца раби ас-сани.

Смертным ядом из розовой чаши ладоней твоих
Я, как сладким гулабом, как чистым вином, упоен

*Саади*

Когда красавицу Шираза своим кумиром изберу,
За родинку ее отдам я и Самарканд и Бухару

*Хафиз*

## Глава шестая

А ежели что и случилось, об этом не сказано в комментариях Мериема Челеби, поскольку писал тот лишь об ученых трудах Улугбека. О личной же жизни мирзы писали другие историки. Но даже у государей личная жизнь не всегда протекает на людских глазах.

Сразу, как сделалось небо зеленым, но еще до зари и до первой молитвы ас-субх, которой встречают зарю, Улугбек покинул башню. Его астрологи разбрелись по кельям, чтоб хоть немного соснуть, а он, никому не сказавшись, спустился по лестнице и скрылся в саду. Он шел по тяжелому после ночи песку, раздвигая росистые, приятно холодные ветви.

Все твари ночные давно возвратились домой, а птицы еще не проснулись, и было так тихо, что гулким казался скрипящий песок под ногами. А шелест змеи показался мирзе свистом ветра. Она проскользнула в траве, оставляя серебряный след. Ночные цветы еще не закрылись, и запах их, свежий и горький, казался разлитым в росе. Он долго чудился Улугбеку, пока не вышла дорожка к воде. Здесь пахло травой, знобким молочным туманом и еще, конечно, темной бегущей водой.

За арыком дорога пошла по холму среди кольев, к которым были подвязаны старые лозы. Улугбек пересек виноградник и свернул к небольшой, хорошо защищенной от ветра ложбине, где стоял одинокий шалаш. Над черным отверстием входа сушились долбленые желтые тыквочки с грубым узором. На базарах они продаются десяток за грош. Их задумал Аллах специально для наса. Ядовито-зеленые горы этого зелья, что всегда продается у входа, такая же непременная принадлежность базара, как и тыквы. Но вряд ли о тыквах он думал. Точно такие же желтые тыквы мелькнули вдруг прошлым вечером на тростниковой крыше чайханы, когда внутренним оком увидел ту чайхану невредимой через многие тысячи лет. Но утро прогоняет и тени, и страхи, и думы ночные. Мирза рассмеялся теперь, когда тыквы увидел. И, тут же забыв о них, влез осторожно в шалаш.

— Я пришел к тебе, любимая, как только расстался с небесным твоим двойником, — прошептал Улугбек, опускаясь на вялые влажные листья.

— У меня есть двойник, государь? — еле слышно спросили из душной тьмы шалаша.

— Только самая красивая звезда в небе. Так же, как и ты, она приходит лишь вечером или утром, потому что ночи ее принадлежат другим. Ее, как и тебя, зовут Зухрою.

— Но у меня другое имя, государь!

— Ах, оставь мне хоть имя! Пусть другие зовут тебя, как им угодно. Для меня ты Зухра — яркая и недостижимая звезда, чей путь в небе с тоской и восторгом следят астрологи.

— Но на земле для государя нет недостижимых звезд.

— Потому и люблю тебя столь жадно и горько, что ты так же недостижима, как и она.

— О, государь, если бы только ты пожелал...

— Нет, Зухра, нет! Правитель может любую девушку взять к себе в дом, он может даже возвысить ее и сделать женой, не слушая людских пересудов. Несправедливый, жестокий правитель забирает жену у любого из своих поддан-

ных. Но только слепой тиран способен отнять жену у друга. Потому-то надзвездные бездны нас разделяют, Зухра! Мухаммед-Тарагай не может того, что, наверное, сделал бы амир Улугбек, будь он слепым, неразумным тираном.

— Я понимаю тебя, государь. Но разве сейчас не отнимаешь ты жену у друга, разве не оскорбляешь?.. Прости неразумную, государь! Я просто обмолвилась. Это слово обидно, и его нельзя отнести к государю.

— Может, я лгу себе, Зухра, но мне кажется... Понимаешь, я обманываю и, конечно, оскорбляю друга, но не как правитель, а как грешный простой человек. Сейчас мы равны с ним. Он может подстеречь нас и послать справедливую стрелу не в амира — в ночного вора. Разве можно понять на рассвете, кто прокрался в шалаш...

— О, спаси нас, Аллах! Пусть на меня одну падет его гнев! Я умру счастливой, зная, что ты невредим, мой амир.

— Не амир, Мухаммед-Тарагай. Это воистину так, звезда позднего моего рассвета. Воруя счастье, я перестаю быть правителем. В этом можно печальное даже найти утешение. Поступи я, как мог поступить неразумный тиран, покажу я тем самым, что я выше, что я недоступен ни гневу, ни мести его, оскорбленного. Ты понимаешь? А воруя, я будто бы всем говорю, что просто боюсь, как боится простой и счастливый любовник. Понимаешь? Я выгляжу ниже, чем он. Я боюсь его! Значит, унижен не он. Я унижен...

— А я? Обо мне ты не думаешь, мой государь?

— Со слезами я буду целовать твои следы, когда ты уйдешь. Я прожгу себе сердце невидимыми для мира слезами, когда возвращусь в Самарканд. Но я не могу быть справедливым к тебе, как не могу быть справедливым к себе. Я не отделяю тебя от себя. Я несправедлив к нам обоим, но я лишь один за то расплачусь. Мы не можем унизить его. Понимаешь? Если скажешь хоть слово, я велю его тайно убить. Только можешь ли ты мне сказать это слово?

— А ты будешь любить меня, если скажу?

— Не знаю, Зухра. Ты еще не сказала, и ты — это ты. Та, что скажет, другой уже будет. Я не знаю, какой она будет. И не знаю, смогу ли любить ту, другую.

— Ты не такой государь, как другие. И не такой человек, как другие. Я так понимаю в тебе человека и так непонятен мне мой государь.

— Так ты можешь сказать?

— Нет, конечно.

— Ну вот видишь! Значит, все нам дозволено, кроме нашего счастья. Нам остается только красть его понемногу,

потому что не можем мы унизить человека, которого не решаемся просто убить.

— Мне так страшно любить тебя, государь.

— Страшно?

— Страшно. Я боюсь, что уже никогда не увижу тебя после того, как расстанемся. Я боюсь всего, чего даже не знаю сама.

— Я уж стар, Зухра, и поверь мне, что страх этот, который горчит в поцелуях, и эта тоска, которая гонит нас друг к другу за новой горечью, и есть любовь. Как ошибаются люди, надеясь, что и страх, и тоска пройдут и останется только чистый хмельной эликсир, что зовут любовью. Горести проходят вместе с любовью, вместе с этим волшебным недугом, безумным, стократ добровольным мучением... Ты вечером бегала по воду? Откинув свое покрывало, согнувшись пленительным луком, ты струи ловила в кувшин?

— Откуда ты знаешь это, государь?

— Я видел с дороги мелькание белого шелка в листве.

— С дороги нельзя это видеть.

— Больной это видит.

— А я только слышала цокот копыт. Но сразу различила бег твоего благородного скакуна, хотя он скакал не один.

— За шумом воды разве можно услышать коня на дороге?

— Больная услышит.

И вновь безвременье узнал Улугбек. Ему дано было забыть, что он сед и, наверное, болен. Он понял, как может человек настолько забыться от привычных забот, что сумеет счесть дурацкие ступеньки. Он понял, что человек способен не думать даже о ступеньках, способен забыться и видеть вместе с тем себя худощавым и юным, как сорок лет назад. Но главное понял тогда Улугбек, зачем человеку звезды. Он понял это сразу и до конца, как бывает только во сне. Но ему было дано счастье такого забвения, в котором потонула даже эта, может быть, самая важная истина в его жизни. Она потонула, и он не вспомнил о ней потом. Но никогда, сколько ему оставалось жить, он уже не спрашивал себя, зачем человеку звезды. Словно познал это раз и навсегда и не забыл, просто не вспоминал об этом, как, не забывая и не вспоминая, всегда знаем мы, что солнце горячее, а морская вода неизбывно горька.

Но крыша шалаша сделалась вдруг видимой, и душная влажная тьма внутри перестала быть тьмой.

— Как скоро наступило это утро, любимый! Я так не хочу уходить! Так больно и трудно прощаться каждый раз навсегда. Но вот-вот закричит муэдзин...

И они расстались и разошлись, каждый в свою жизнь, о которой забыли, а она вдруг прорезалась из небытия, и зов ее рванулся в уши, как нарастающий рокот барабана. И, вначале оглохшие от немоты, а потом оглушенные тем барабаном, они не заметили, как метнулась бесшумная тень в винограднике.

Что это было?

Может, лиса, хоть еще не поспел виноград? Может, красный шакал, привлеченный криком барашка у той чайханы, за ручьем? Кто его знает... Они ничего не видели. Больше же никого, как будто, не было там.

Как будто...

Ты от судьбы обмана жди и лжи.
Будь мудр, как листья ивы, не дрожи.
Ты нас учил: цвет черный — цвет последний.
Что ж головой я побелел, скажи?

*Хафиз*

## Глава седьмая

Первый, кого встретил Улугбек, подойдя к своей башне, был человек, которого меньше всего хотелось ему видеть сейчас. Он бы многое дал, чтобы не встретить его хотя бы сегодня, больше того, хотя бы не первым увидеть его.

И, пряча глаза и стараясь, чтоб в голосе прозвучало и равнодушие, и участие вместе с тем, спросил Улугбек, притворяясь таким озабоченным трудной судьбою правителя:

— Что тебе, верный Камиль? Ты сегодня так рано...

— Я вчера прискакал глубокой ночью, мирза. Повсюду искал вас... И вот уже час, как жду здесь. Есть срочные вести.

Мирза, зорко прищурясь, разглядывал такое знакомое это лицо. Верный темник его говорил так же спокойно и просто, как всегда.

— Что за вести?

— О мирзе Абд-ал-Лятифе. Прибыл срочный гонец от нашего человека в Герате. Он доносит, что принц Абд-ал-Лятиф готовится к походу на Самарканд.

— Пустое, Камиль... Он не решится.

— Уже решился.

— Однажды мне говорили, что он прячется от меня под предлогом болезни. И что же? Я настоял и вызвал его к

себе. Лятиф и вправду был болен. Его привезли на носилках в горячечном бреду. Не то же теперь?

— Абд-ал-Лятиф открыто отложился от Самарканда. Он овладел всеми судами на Аму и отменил в своем уделе вашу тамгу. Отныне в Балхе, через который идет путь в Индию, не взимают торговые сборы.

— Пусть так. Это очень серьезно, но восстать на отца?

— Он ненавидит вас.

— Не верю, хотя это очень возможно. Но все же восстать на отца?

— Помните ли, великолепный мирза, как вы дали приют человеку, о котором говорили, что он покушался на жизнь родителя вашего, да будет земля ему пухом?

...Верно, было такое когда-то. В последние годы Шахруха жил в Герате азербайджанец — шейх Касим-и Анвар. Разное о нем говорили. Для одних он был мистик великий, для других — откровенный безбожник, но все знали, что шариат он не ставит и в медную теньгу. Только он появлялся на улице, как сразу вокруг собиралась толпа. Он ходил как пророк, в окружении учеников. Говорили, что шейх очень близок к фанатичным раскольникам — хуруфитам. Только вряд ли он был хуруфитом. Он всегда был только самим собой. Когда он говорил, все вокруг застывали с открытыми ртами. Ловили каждое слово пророка. Он так говорил! Казалось, начни прославлять он иблиса — и все мусульмане ринутся мечети громить, проклиная Аллаха. В Герате о нем только и толковали. Когда появлялся Шахрух, известный в народе как благочестивый правитель и книжник, то толпы на улицах не собирались. Глазели, конечно, и уступали дорогу, и низко кланялись — все же великий амир. Но если рядом оказывался Касим-и Анвар, все бросались к нему, в тот же миг позабыв о Шахрухе. Одного этого было бы достаточно, чтобы тайно пророка убить или, на худой конец, выгнать из города. Но Шахрух не спешил, хотя был он весьма озабочен и следил за пророком ревниво и пристально. И кто знает, чем бы кончилось тайное это соперничество, не будь того покушения.

Когда Шахрух молился в соборной мечети, на него вдруг кинулся с ножом какой-то безумец. Он несколько раз ударил простертого в молитве правителя и бросился бежать. Но был схвачен у выхода из мечети дворцовой охраной.

После допроса покушавшийся назвал свое имя. Это был некий Ахмед-лур — фанатичный и яростный хуруфит. Следствие далее показало, что его часто видели в свите шейха. Появилась необходимая нить, потянув за которую, было бы

можно обвинить Касим-и Анвара пусть в соучастии, если не в самом покушении. Но Шахрух был очень тяжел. Лекарь даже не ручался за жизнь правителя. Поэтому казнили одного Ахмед-лура, заверив все его показания на допросах, чтобы, если будет на то надобность, предъявить обвинение шейху.

Вопреки усилиям врачей, Шахрух, однако, поправился и делу тайно дали ход. Но по городу все же поползли слухи, что правитель намерен казнить пророка. Люди не скрывали своего возмущения. Никто не верил в причастность Касим-и Анвара к покушению. Напротив, говорили даже, что покушение было подстроено и раны Шахруха далеко не так опасны, как оповестил о том везир.

Опасаясь народного возмущения, Шахрух не решился казнить шейха, но изгнал его из Герата.

И тогда Касим-и Анвар отправился в Самарканд. Ясно помнит Улугбек, как поразили его глаза шейха. Казалось, что светилось в них понимание всех проклятых вопросов Вселенной и ленивая снисходительность к человеческим слабостям. Беседа с Анваром совершенно же покорила мирзу. Он приблизил пророка к себе и дарил его нежною дружбой до самой кончины Анвара...

Значит, теперь ему ставят в вину, что он дал приют чуть ли не убийце Шахруха.

— Кто говорит обо мне и Анваре в Герате, Камиль?

— Весь двор мирзы Абд-ал-Лятифа.

— А кто за этим стоит?

— Есть указания на то, что сильнее всех настраивает мирзу против вас его новый сеид — никому не известный дервиш из братства накшбенди.

— Значит, вновь нити тянутся к Ходже Ахрару — суфийскому пиру?

— Нет прямых указаний. Никому не известно в Герате, откуда прибыл тот всевластный сеид. Но все говорят, что царевич готовится идти на кафира-отца, да простит меня мирза за эти слова, кафира и сеятеля смуты.

— И эти обвинения, брошенные родному отцу, хоть как-то обоснованы? — темнея от гнева, спросил Улугбек.

— В вещах убитого Мираншаха, поднявшего восстание против царевича, якобы найдено ваше письмо, повелитель.

— Мое письмо?

— Абд-ал-Лятиф, во всяком случае, ссылается на него.

— Интрига довольно ясна. И неплохо задумана... Кафир, богоотступник, к тому же пригрел убийцу известного

кротостью и благочестием Шахруха. Знаешь, Камиль, это дело Ходжи Ахрара. Чувствую его руку.

— Шейх ненавидит вас за тот случай, когда вы повелели своим есаулам выпороть калаитаров. Сам он, как говорят, только чудом увернулся от наказания.

— Не помню такого, — покачал головой Улугбек и добавил несколько непоследовательно: — Да и давно это случилось. И я, и Ахрар были молоды. Мы можем как-нибудь зацепить его, Камиль? Я стар и не желаю войны.

— Ходжа Ахрар скупает земельные участки по всем областям. Лично или через доверенных лиц владеет он тысячью тремястами земельными наделами.

— Что в том незаконного?

— Есть нечестные сделки, принуждения к продаже угрозой, неуплата налога в казну...

— Этим никого не удивишь, мой Камиль, никого... Так нам шейха не взять. К тому же он в Ташкенте. Что еще говорят о Касим-и Анваре в Герате?

— Все то же, простите за прямоту: еретик, говорят, пригрел еретика и убийцу...

— Все понятно, Камиль... Будем ждать. Следить, как зреет зло, как постепенно сметает оно все преграды в сердце человека. Мы будем наблюдать, как созревает отцеубийца. Мне предсказали по звездам, что Лятиф принесет беду.

— Не лучше ли, мирза...

— Нет, не лучше. Мы будем ждать. Не так уж скоро он решится... А там увидим...

— Все же...

— Я скверный государь, Камиль. Ты, наверное, знаешь это лучше, чем все. Не всегда мне сопутствовало военное счастье. Удвой своих людей в Герате. Мы будем ждать!.. И что бы ни случилось, знай, Камиль, что я люблю тебя.

— Спасибо, государь... Я знаю.

И ушел мирза Улугбек в изразцовую башню, чтоб немного поспать после бессонной ночи. Еще одна ожидала его бессонная ночь — в Баги-Мейдане.

Он заснул сразу, как только лег. В это время творили уже мусульмане молитву. Но спал повелитель Мавераннахра, а в соседних кельях храпели его астрологи. На противоположном же склоне холма, в знаменитых садах Улугбека, отмолившись, стали готовиться к пиру. Об этих великолепных садах долго-долго потом говорили в народе. Постепенно рассказы о прелестях Баги-Мейдана стали очень похожи на легенду о висячих садах Семирамиды. И не будь Захириддина Бабура — неукротимого тимурида и страдающего поэта, о садах Улугбека осталась бы только смутная, сонной улыбке подобная память.

Но говорит амир Бабур, сам не раз пировавший в Баги-Мейдане:

«У подножия холма Кухек, на западной стороне, Улугбек разбил сад, известный под названием Баги-Мейдан. Посреди этого сада воздвигнуто высокое здание в два яруса, называемое Чиль-Сутун. Все его столбы — каменные. По четырем углам этого здания пристроили четыре башенки в виде минаретов, ходы, ведущие наверх, находятся в этих четырех башнях. В других местах — всюду каменные столбы, некоторые из них сделаны витыми или коническими. В верхнем ярусе по четырем сторонам — айваны. На каменных столбах, посередине, беседка с четырьмя дверями, фундамент этого здания весь выложен камнем...

За этой постройкой, у подножия холма, Улугбек-мирза разбил еще маленький сад. Там он построил большой айван, в айване поставил огромный каменный престол... Такой огромный камень привезли из очень отдаленных мест. Посреди него — трещина, говорят, что эта трещина появилась уже после того, как камень привезли. В этом садике тоже есть беседка, все стены до сводов в ней из фарфора, ее называют Чини-Хана».

Проведенные через пятьсот с лишним лет археологические раскопки показали, насколько документально точен рассказ Бабура. Потому и верим мы рассказам, что в садах Улугбека были собраны почти все растения тогдашнего мира. Ведь еще Тимур, его дед, вывозил из поверженных в прах городов семена, черенки и большие деревья вместе с их материнской землей. Улугбек же во многом стремился следовать любимому деду. Строил неподражаемые мечети и ханаки для божьих людей, чтил военный порядок, унаследованный Тимуром от чингизидов, и собирал редкости.

Разбудить правителя решился лишь самый близкий к нему Али-Кушчи. Он вошел в его келью, осторожно ступая босыми ногами, потому что мирза пугался, когда будили его внезапно. Сквозь решетку оконца бил золотой дымный луч. Улугбек спал, повернувшись к стене, в самом темном углу. На ковре, рядом с ним, лежали его инструменты, параллактические линейки, арабская астролябия, циркуль и солнечные часы из далекой Венеции. В длинногорлом и узком кувшине с водой сонно билась жужжащая муха.

Али-Кушчи осторожно присел, не решаясь коснуться спящего. А тот вдруг спросил:

— Чего тебе, Али? Пора мне вставать? Я, наверное, спал очень долго?

— Вы не спите, мирза?

— Так, немного дремлю... Знаешь, я как будто нашел другое решение той самой задачи, которую так красиво решил наш Джемшид.

— Великий Джемшид! Он так высоко отозвался об атласе вашем «Зидж Гурагони», мирза, о ваших таблицах.

— Мне приятна похвала такого ученого, как Гияс-ад-дин-Джемшид. Мы с ним, правда, немного поспорили на обсуждении. Но, по-моему, мне удалось убедить мауляну.

— Все уверены в этом.

— Откуда ты знаешь, Али? Ты, мне помнится, был в это время в Ходженте.

— Рассказывал ваш Челеби.

— Мерием Челеби? Этот мальчик истину ставит превыше всего. Ему можно верить. Как он рассказывал?

— Наш мулла Гияс-ад-дин-Джемшид, говорил Челеби, спросил на собрании нескольких султанов принца, автора таблиц, почему в трактатах по астрономии сказано, что в апогее и перигее никакого уравнения нет, тогда как мы находим определение его в таблицах. Его величество ответил: «В мои намерения не входит установить в моих таблицах уравнения для этих двух точек».

— Все верно, так оно и было.

— Да, мирза. А от себя Челеби добавил, что ваш ответ Джемшиду, очевидно, правилен, и он, Челеби, обоснует это в своих комментариях.

— Ладно, пусть обоснует. Я бы хотел поразмыслить с тобою, Али, о той задаче. Она сводится к уравнению... Дайка мне листик бумаги.

— Простите, мирза! Я шел к вам не с этим. У меня к вам глубокая личная просьба!

— Говори, мой кушчи[1].

— Все мы, ученики ваши, просим выслушать нашу нижайшую просьбу.

— Я сказал: говори.

— О, великий мирза! Мы хотим вас сегодня увидеть в соборной мечети во время молитвы аль-аср.

— Что это с вами случилось?

— Сегодня день святой пятницы. Заткните врагам своим глотки, мирза.

— Мне так жалко времени, Али. У меня его мало осталось. Вы ошибаетесь, надеясь на чудо. Мое появление в мечети ничего не изменит. Напротив, оно лишь раздует угли тлеющей злобы. Ничего не получится.

---

[1] Кушчи — то есть сокольничий, придворный чин Али.

— Попробуйте, принц. Умоляю!
— Кто сегодня там служит?
— Сам мухтасиб Сейид-Ашик.

Как же, старый знакомец. Он однажды незваный явился на пир во дворец. Руки к небу поднял и, к мирзе обращаясь, в глаза ему прямо сказал: «Ты уничтожил веру Мухаммеда и ввел обычай кафиров!» Какая настала тогда тишина. Чреватая взрывом, сухая, как трут. Посмел бы сказать он такое Тимуру... Отсечь ему голову? Это значит — война. Они только ждут, что правитель казнит мухтасиба. Это вызов. Оскорбление при всех, о котором сегодня узнает весь Самарканд. Но жизнь научила мирзу не торопиться. Он достаточно повоевал с самаркандскими муфтиями и бухарскими богословами, чтобы надеяться на чудо. Чуда не будет. В борьбе со служителями Аллаха победа достанется не ему. Срезать голову мухтасибу — не значит победить. Это лишь смоет оскорбление. Но начнется война, и он ее, безусловно, не выиграет... Истинный оскорбитель Ходжа Ахрар останется невредимым. Что ему какой-то мухтасиб, злобный старец, разбивающий кувшины с запретным вином? Только мизинец! Сруби — тут же вырастет новый. Нет, если уж война — так война, но с людьми, а не с Богом. Враги только и ждут ошибки. Они готовы к удару. Просто выхода нет — захватили врасплох. Бледный от гнева поднялся мирза в заколдованной тишине остановленного мира. Все с ужасом ждали, что скажет и сделает он. Но недаром великий Тимур хвалил быстроту и находчивость внука.

«Что, пришел за славой шахида? — деланно рассмеялся мирза. — Не получишь ее. Умирай дураком, балаганной куклой, которую вертят другие. — И еще он сказал те роковые слова, о которых узнали во всех городах мусульманских: — Религия рассеивается, как туман, царства разрушаются, но труды ученых остаются на вечные времена». Так и сказал тогда мухтасибу мирза, про себя задыхаясь от гнева. Пожалуй, не стоило так говорить... А может, и стоило! Это их испугало. Они затаились, как змеи в камнях, и только шипели: «Безумен мирза! Ислам он посмел уподобить туману. Туман-де рассеется... Царства, сказал, разрушаются. Так надо разрушить его нечестивое царство, пока он не разрушил ислам».

— Я как-то встречался с Сейидом, Али, — задумчиво сказал Улугбек, поднимаясь с подушек. — Стар, видно, стал я, если мне предлагают идти на поклон к мухтасибу.

— Не на поклон, государь!

— Ах, мой Али! Ты же знаешь, что старый дурак не упустит случая сказать мне новую дерзость. Я его не карал, и он не боится меня. А в мечеть я и так хожу, как добрый мусульманин. Государь может позволить себе воздать славу Аллаху в придворной мечети.

— Он вас боится, мирза, — сказал Али, пропуская мимо ушей последнюю реплику. — Смертельно боится! Потому и лезут они на рожон, что боятся. Не понимают и потому боятся вдвойне.

— И сильней ненавидят.

— Да, мирза. Но в главную мечеть пойти надо. Не для них — для народа. Вы покажете всем, что чтите закон Мухаммеда, и чтобы ни говорили тогда муллы, люди не очень-то им поверят. А так вы сами каждый раз подтверждаете все, что о вас говорят... Не дошли до мазара Живого царя...

— Недаром тебя называют «Птоломеем нашей эпохи», сокольничий, — вдруг рассмеялся мирза. — Ты меня, кажется, убедил. Да, кстати, я слышал, Сейида-Ашика тоже как-то зовут и не менее пышно?

— Старый Ходжа Ахрар отзывается о нем очень лестно Он говорит, что не было и нет проповедников, равных Сейиду, разве что сам Моисей.

— Ух ты! Как высоко! Это правда, Али?

Говорят, государь, а там кто его знает...

— Ну, ладно, вели, чтоб седлали коней.

Покамест ты жив — не обижай никого,
Пламенем гнева не обжигай никого
Если ты хочешь вкусить покоя и мира,
Вечно страдай, но не обижай никого

*Омар Хайям*

## Глава восьмая

Миновав главные Железные ворота города, едет со свитой мирза Улугбек мимо базара к соборной мечети Биби-Ханым. Он вдыхает пряные ароматы базара: перец, чеснок, верблюжий кизяк, запах жареной рыбы и угля в мангалах Он видит его пестроту, слышит рокот прибоя. Это бьет человечье море о стены базара.

Самаркандский базар! Это мелькание разноплеменных лиц и одежд, это мешанина языков, которой не было и во времена вавилонского столпотворения. Его не обойти и за

день. Вон ковровый ряд, где продаются самые дорогие в мире темно-красные с хитрым узором туркменские ковры корня Теке, ковры из Шираза — рисунок их, в котором преобладают голубые тона, считается самым сложным и тонким, торгуют тут и бухарскими, и дамасскими, и шемаханскими коврами, всевозможными паласами и кошмами, попонами для лошадей, слонов и верблюдов. Нет на свете более ярких и неожиданных красок, чем те, которые сверкают под солнцем Самарканда в ковровом ряду. Разве что фруктовые и овощные лавки могут поспорить с ним. Но ведь и они расположены на том же базаре!

Белый лук с шелковой шелухой и горный лук анзури, незаменимая для плова зеленая редька, морковь, баклажаны и перцы всех форм и оттенков — грудами лежат на прилавках, и на серебряную теньгу можно накупить целую арбу. А сказочные персики, сладчайший виноград, оранжевые и белые, как воск, абрикосы, и, словом, чего только нет! Сто сортов черного кишмиша и сабзы и прозрачный зеленый изюм, который сушат, не срезая гроздей с лозы, фисташки, всевозможные орехи — от индийских до грецких, яблоки, бананы, финики, нежнейшие фиги, плоды кокосовых и масличных пальм, про дыни же и арбузы нечего даже говорить! Там ревут верблюды и брыкаются ишаки, кричат разносчики лепешек, сладостей, розовой воды и каленых орешков. Там можно съесть пиалу плова, горячих наперченных мантов, жареного барашка или обваленную в муке рыбу, которая в котле с кипящим маслом мгновенно покрывается упоительной коричневой корочкой. Вам разрежут там лучший арбуз или дыню, угостят медовой пахлавой, нежнейшими пирожками, на которых крохотными пузырьками вскипает курдючный жир. Вас будут долго благодарить, чтобы вы ни купили: десяток барашков, гуся или утку, персиков или только горсть сиренево-серых от соли, каленых абрикосовых косточек.

К вашим услугам лучшие банщики, цирюльники и зубодеры, зеленый сладковато-удушливый дым гашиша зовет предаться тайному пороку, а продавцы священных книг, молитвенных ковриков и четок взывают о благочестии. Каждый ряд — это особый мир со своими неписаными, но нерушимыми обычаями. На невольничьем рынке торгуют рабами, голыми, умащенными маслом для привлекательности. И торговцы девушками ведут себя совсем иначе, чем, скажем, торговцы детьми или учеными писцами. У каждого свой товар. Что же сказать тогда о тех, кто торгует верблюдами или верховыми лошадьми? Конечно, каждый ряд — это отдельное государство со своей политикой и языком.

Вон продают бесценные бухарские шкурки. Этот каракуль светится в темноте голубым призрачным сиянием. Только в пустыне Кызыл растет такая колючка, от которой овцы дают светящихся ягнят. У красного, как хна, фарсидского каракуля свой секрет, и нужно большое искусство, чтобы его разгадать. И нет, наверное, человека, для которого открыты все тайны самаркандского базара. Одни умеют читать узор ковров, другие знают тайный язык тюбетеев и никогда не спутают черную с серебром шапочку бухарца с шитым золотой нитью тюбетеем невесты. У каждой вещи — своя тайна. Для той же невесты нужны золотые тапочки, а остроносые туфли с загнутым вверх носком подходят для пожилого евнуха. Но с этим, пожалуй, легко разберется любой, чего не скажешь, конечно, о тайнах самоцветов. Здесь часто ошибаются даже самые искушенные. И все же все норовят побывать в ювелирном ряду.

Есть секреты весов, на которых взвешивают золото или серебро, есть секреты проб драгоценных этих металлов, и с пробами, бывает, разобраться куда труднее, чем с весами. При покупке же жемчуга ни весы не помогут, ни пробы. Здесь нужно уметь видеть десять цветов, где простые люди видят всего лишь один. Только тогда прихотливая игра розовых или бледных, как слезы на белых щеках юной вдовы, горошин станет открытой книгой. Но и у розового, и у белого жемчуга есть сотни оттенков, а у редких зеленых, синих и черных перлов их и того больше. И надо знать, в какое время года и суток какой жемчуг покупать. Розовый берут рано утром, сразу после первой молитвы, когда солнце не дает ему алой краски своих многоцветных лучей; белый лучше поглядеть на закате, если под оранжевым огнем вечерней зари он все равно останется белым, значит, это настоящий холодный перл, который не имеет цены. И так для каждого сорта, кроме черного, конечно, потому что, во избежание несчастья, покупающему черную жемчужину лучше свериться со своим гороскопом. Для этого и сидит в ювелирном ряду особый астролог. И синие жемчужины — ведь это цвет смерти — надо покупать, сообразуясь с велением звезд. То же относится и к самоцветам. Одни родились под звездой, которой соответствует лал, другим надобен изумруд, алмаз, лунный камень или, скажем, янтарь, хризолит и гранат. Упаси Аллах перепутать. Страшная может постигнуть беда. Но, кроме звездных, есть еще камни на разные случаи жизни, ведь каждый камень что-нибудь да значит. Один способствует удаче в любви, другие охраняют от яда, третьи сопутствуют успеху в делах. Тут тоже надо

держать ухо востро: знать свой гороскоп и гороскопы людей, на которых желаешь повлиять, оттенки воды в самоцветах, красоту их огранки и много других очень важных вещей.

Но всего привлекательнее мелочная торговля. Она как острая приправа к тяжелому блюду. Без нее нет восточного базара, как нет его без убогих и нищих, слепцов и шарлатанов.

Вот влажные кучки зеленого наса. Попробуй-ка отличи один сорт от другого. Но знаток, бросив щепотку под язык, закатит глаза, посидит в холодке, и ему уже ясно, какое зелье и какая известь пошли на изготовление наса, добавил ли хозяин в него виноградной золы или белого молока опийного мака. Нас всегда продают на земле. Его горки насыпаны на белые чистые тряпки, на которых остаются масляные желто-зеленые пятна. Рядом на ковриках разложены калебаски для этого вездесущего наса, с кистями для дехкан и с серебряной пробкой — для тех, кто богаче. Садись на корточки и пробуй. Нас утоляет голод, снимает жару и усталость. Тут же ленты, бисер и трубочки для пеленашек, свои — для мальчиков и для девочек, чтобы никогда не промокали их пеленки, связки черных бусинок с белыми пупырышками тоже для детей — от дурного глаза, а это уже для мужчин — узбекские ножи в узорных ножнах, с мутной роговой рукояткой и знаком луны, выгравированным на беспощадном лезвии.

А если проехать подальше, к площади Регистан, где стоит медресе Улугбека, а в илистых берегах сонно струятся мутные воды канала, попадешь в торгово-промышленный ряд — тим[1], знаменитый «Тильпак-Фурушан». Он стоит как раз на скрещении шести главных улиц. Там одни мастерские и лавки, в которых торгуют оружием, сбруей, кольчугами, замками, кожами, гончарным товаром и шорным, шагренью, сафьяном, шелком и шерстью. Все улочки вокруг медресе Тилля-Кари и караван-сарая Мирзан буквально забиты лавчонками и мастерскими. День и ночь там звенят молоточки и пыхтят мехи у горнов.

Пусть Регистан — старая площадь, «Место песка» древнейшего города забытой согдийской державы, но все здесь построено при Улугбеке! Разве что одно медресе Тилля-Кари воздвигнуто по заказу жены Тимура по имени Туманока. Все остальное строил он, Улугбек Гурагон. Вот рядом с медресе — просторная ханака[2], забитая оборванными дервишами, как муравейник под трухлявым пнем. Над хана-

[1] Тим — пассаж.

[2] Ханака — приют для странствующих дервишей.

кой самый большой в мире купол из молочно-зеленой майолики. А вон мечети в южной части Регистана. Одна, соборная, построенная султаном Кукельдашем, другая — крохотная, как игрушка, подземная мечеть Мукатта, известная в Каире и Дамаске под названием Захрет Омара, а дальше лучшие на всем Востоке бани, ряды железников, огромный медный ряд и каменный помост, на нем сидят слепые дервиши, которые без перерыва весь день читают наизусть Коран, лишь изредка прихлебывая из пиалы холодный чай. Какая толпа вокруг них собирается! Кому не охота послушать святые слова? И летят медяки в чашки слепцов.

Но путь мирзы лежит не на любимый Регистан. Миновав базар, едет он прямо к минаретам и колоссальной арке, под которой все люди кажутся козявками, заползшими под тень ливанских кедров. Но ведь и впрямь они козявки на мизинце Бога. Пусть напомнит об этом лишний раз великая мечеть. И о величии, и о вечности власти пусть напомнит она.

Ее построила любимая жена Тимура, китайская принцесса, которую за красоту прозвали Биби-Ханым — прекраснейшей дамой. Проводив в очередной поход стареющего мужа — великого хромца, — она решила порадовать его при возвращении мечетью, больше и прекраснее которой нет во вселенной. Все свои наряды, драгоценности и все подарки мужа, награбленные в разных городах, отдала Биби-Ханым на строительство мечети. Но главный зодчий не торопился возводить строение. Он полюбил Биби-Ханым и жил мечтой о следующем дне, когда вновь сможет увидеть ее хоть на мгновение. А так как прекрасная китаянка приезжала на строительство каждое утро, зодчий мечтал только о том, чтобы работа затянулась до бесконечности. Но, заметив нетерпение царицы, он загорелся дерзкой мыслью и предложил ей мечеть в обмен на поцелуй. А тут еще царица узнала, что Тимур возвращается домой с победой и скоро будет в Самарканде. Что ей оставалось делать? Она, конечно, согласилась, и мечеть стала расти со скоростью бамбукового побега. Но в день отделки главного портала майоликой строитель потребовал обещанной награды. Пришло, видимо, время расплаты. Зодчий обнял царицу и потянулся к ней губами. В последнюю минуту едва успела она прикрыть лицо, и жгучий поцелуй пришелся только в руку. Но жар его был столь велик, так горяча и так нетерпелива была любовь строителя, что поцелуй прожег ладонь и навсегда остался багровым следом на щеке Ханым.

Войдя в столицу, Тимур был поражен и восхищен. Царь-разрушитель был для Самарканда царем-строителем,

и лучшего подарка ему нельзя было преподнести. Но мечеть мечетью, а след от поцелуя горел, взывая о мести. И было велено виновника схватить. Но зодчий взбежал на минарет и, бросившись оттуда, на самодельных крыльях улетел в Иран.

Откуда взялись эти самые крылья? Но так говорят люди...

Эту сказку, конечно, слышал и Улугбек, и каждый раз дивился народной фантазии, которая стремится все облагородить, подкрасить, все показать какой-то волшебной стороной. Уж он-то знал отлично Биби-Ханым — так прозвали родную бабушку его Сарай-Мульк-ханым — она его воспитывала с детства. И вовсе не она велела мечеть строить, а сам Тимур, он был тогда уже стар, и бабушка навряд ли тоже могла воспламенить хоть чье-то сердце...

Вот так-то... В честь знаменитого индийского похода, в котором завладел несметными сокровищами могольских властителей, и велел построить Тимур соборную мечеть. Он специально согнал для этого сотни иноземных мастеров, и посмел бы кто-нибудь из них не так взглянуть на царицу!.. Лишь в одном права легенда — Тимур хотел видеть соборную мечеть первейшей в мире, чтобы по пятницам могли в ней собираться все взрослые мужчины Самарканда, все мусульмане старше тринадцати лет. А строилась она не год, не два и не три... не с быстротой растущего бамбука, конечно. За это время успел Тимур сходить и против турок, и в Египет, успел приумножить и добычу, и славу. Пора было подумать уже о том дне, когда предстанет он перед ликом Аллаха.

Биби-Ханым же, видно, тоже подумав о душе, решила построить как раз напротив мечети мужа свое собственное, конечно, необыкновенное медресе. Больше того, она ловко перекупала кирпич и глазурованную плитку с соседнего строительства и переманивала рабочих. Когда Тимур возвратился в Самарканд, то с удивлением и гневом обнаружил, что в его мечети и входной портал ниже, и плитка хуже, чем в медресе царицы. Он тут же велел повесить приставленных к строительству обоих своих султанов: Ходжу Мухаммеда Давида и Мухаммеда Джельда. И если его историки не решились сделать о том соответствующую запись, а Улугбек не считал нужным разрушать возникшую на его глазах цветистую легенду, то все равно тому был свидетель — испанский посол при Тимуровом дворе, кавалер Рюи Гонзалес де Клавихо. Он писал в своем дневнике, что больного, неспособного самостоятельно передвигаться Тимура ежедневно привозили на строительство. Лежа на носилках, престарелый властитель

покрикивал на рабочих и бросал им в котлован деньги и куски вареного мяса, чем и «возбуждал их так, что на удивление». Только при бурном объяснении Тимура с царицей не оказалось свидетелей. Но зато весь двор на другой день заметил на щеке Сарай-Мульк-ханым длинную багровую полосу.

Но все равно властитель мира опоздал. Начался снегопад, и работы пришлось остановить. А вскоре великий Тимур скончался. В родном Шахрисабзе ждал его тайный подземный мавзолей и мраморный саркофаг с тяжелой плитой. Но суждено ему было упокоиться здесь, в Самарканде, в грандиозном «Гур-Эмире», бирюзовый купол которого словно напоминает о древних мистериях Согдианы — поклонении силе мужской, фаллических культах, тайной цепочкой объединивших Индию, Грузию, вайнахов и персов, Микены и Крит.

Невеселы были думы мирзы Улугбека. Уж видел он восьмигранные минареты и синий купол главной мечети, майоликовые ромбы, мог рассмотреть узор квадратного письма, что прославляют Аллаха и истинную веру пророка его Мухаммеда. Но вдали, в пыльной дымке раскаленного неба, бесстыдной и дерзкой языческой мощью вставал круглый барабан с ребристым куполом «Гур-Эмира». Словно в насмешку над мечом ислама, который спал там в зеленом нефритовом гробу. Так весенние воды вымывают порой из глины Афрасиаба безгрешные в немудреной своей простоте терракотовые лингамы. Так прячется языческая мощь за глазурью благочестивых изречений этого мавзолея. Никуда не уйти от природы, как нельзя уйти от судьбы. Тимур опоздал со своей мечетью. Она не ляжет исполинской каменной тяжестью на чашу весов, которая должна была уравновесить злые его дела. Он опоздал. И даже тайная гробница его в Шахрисабзе, воздух в которой всегда холоден и чист, как в усыпальницах фараонов, пребудет пустой. Ее занесут пески...

И понял вдруг Улугбек, сын своего времени, что мрачный фанатизм служителей веры — всего лишь безнадежная попытка бороться с природой, с человеческим в человеке, ханжеское целомудрие тайных развратников.

И с веселой улыбкой, готовый к борьбе, спешился он у ворот Биби-Ханым, у пештака ее — главного восточного входа. Прошел вдоль галереи резных колонн и, разувшись, ступил на мраморные, украшенные цветной мозаикой плиты двора. Вслед за ним, оставляя сапоги и туфли, вошли придворные. У главного айвана[1] он задержался, поджидая

[1] Айван — портал с обширной сводчатой нишей.

спутников. Все вместе миновали раскрытые створки знаменитых на весь свет ворот, изготовленных из сплава семи металлов, и, согнув спины, ступили на цветные матрасы мечети. Осторожно прокрались на царское место.

Служба уже началась. На минбаре[1] стоял Сейид-Ашик и пел скороговоркой суры Корана. Клинышек седой и куцей его бороды хищной тенью метался в овале минбара.

«Аллах слушает того, кто воздает ему хвалу...»

Мирза Улугбек и его приближенные, готовясь к молитве, опустились на колени и подняли руки к плечам. Но Сейид на минбаре ничем не показал, что заметил вошедших, будто это пришли водоносы или, скажем, чесальщики шерсти. Да и чем лучше чесальщика шерсти великий амир в глазах предвечного? Ничем. И он начал салят.

По примеру его каждый пропел «Аллах акбар» и, вложив левую руку в правую, прочел первую суру. В глубоком поклоне коснулся колен, распрямился и поднял высоко свою левую руку.

— Аллах слушает того, кто воздает ему свою хвалу, — слились воедино слова молитвы.

Опустившись на колени и носом коснувшись земли, мусульмане распрямились, не вставая с колен, и вновь распростерлись на полу соборной мечети.

И сразу же после молитвы аль-аср, стал Сейид обличать Улугбека. Он начал как будто бы издалека, сказав, что среди прихожан есть такие, которые своим поведением смущают других.

— Среди многих своих погрешений, — сказал Сейид-Ашик, — они небрежны в исполнении веры. Не постятся, к примеру, весь месяц святой рамадан, а пророк наш велит нам поститься; оскорбляют этот святой месяц сближением с женщиной; забывают и то, что в рамадан добавляется еще одна молитва, вечерняя, в двадцать ракатов. Но что добавочная молитва для того, кто вообще не знает благочестия молитвы, — снизил до тихого шепота голос Сейид и вдруг закричал: — Что же будет, о мусульмане?! Что будет с исламом, если в небрежении верой пример подает наш мирза Улугбек?

Стоя, как все, на коленях, слушал мирза обличения старого мухтасиба — ревнителя шариата, будто его они не касались, будто Сейид говорил о другом.

— Зачем ты хочешь ввести в Самарканде обычаи кафиров? — спросил Сейид, обратившись наконец прямо к мирзе.

Тот медленно встал, ибо негоже стоять на коленях амиру. Только в молитве он может стоять на коленях, но мух-

[1] Минбар — кафедра.

тасиб уже закончил салят. Теперь начался просто диспут или, коли угодно, беседа.

— Если я правильно понял, Сейид, то вы уже не считаете меня блюстителем толка и удовлетворителем веры? — спокойно спросил Улугбек.

— Нет, не считаю! И никогда не считал! — запальчиво ответил старец.

— Прекрасно. Тогда мне остается спросить: считаете ли вы меня повелителем правоверных, властителем Мавераннахра, амиром Самарканда и города Бухара-и-Шерив?

Ничего не ответил Сейид, только глаза его сухо блестели.

— Хорошо, — все так же тихо, неторопливо и как-то весело продолжал Улугбек. — Я считаю молчание ваше согласием, иначе пришлось бы казнить вас как бунтовщика.

Вздох пролетел по мечети и тут же замер. Но Улугбек будто не слышал ни вздоха, ни наступившей затем тишины, спокойно беседовал с мухтасибом, словно были они одни с глазу на глаз.

— Итак, считая, что вы признаете во мне своего государя, я не гневаюсь на ваши упреки по части веры, хотя несправедливы они и недопустимы по форме. Но пусть нас рассудит Аллах... Прощаем же мы ворчание старых наставников, даже наших рабов, что потеряли и зубы и волосы, ходя за нами еще с малолетства. Но мне больно за народ мой. Ведь я государь Самарканда! Вы сказали, что не считаете и никогда не считали меня ни хранителем толка, ни удовлетворителем веры... Посмотрите же сюда! — Царственным жестом, но весело улыбаясь, указал мирза на огромный ляух[1] из серого мрамора, стоящий в центре мечети, прямо под куполом. — Посмотрите и поймете, почему больно мне за народ мой, у которого такие наставники в вере.

И опять вздох пролетел по мечети. Все, кто умел читать, вдруг зашептали, а неграмотные жадно ловили этот шепот и, словно эхо, повторяли его.

А мирза Улугбек, не опуская руки, повелительно указывал на трехгранные призмы ляуха, которые с боков удерживают переплет божественной книги. На их полированных гранях, среди узоров из листьев и гроздьев лозы, куфической вязью написано было:

«Великий султан, милостивейший хаган, покровитель веры, блюститель толка Ханифи, чистейший султан, сын султана, удовлетворитель веры, Улугбек Гурагон».

[1] Ляух — подставка для гигантского раскрытого Корана

— Читайте же, Сейид! — сурово сказал Улугбек. — Или я велю прогнать вас как неграмотного, незаконно присвоившего себе звание муллы.

И, повинуясь примеру тысяч шепчущих губ и повинуясь властному приказу амира, еле слышно повторил Сейид высеченные в мраморе слова:

— ...удовлетворитель веры, Улугбек Гурагон...

— Так-то, Сейид, — сказал Улугбек. — Каюсь, если в чем-то по неведению согрешил, и очищу себя постом и молитвой. Но и вы покайтесь! Разве не знаете, что любая надпись в мечети считается Богом написанной, кто бы ее ни сделал, о чем бы она ни говорила? Будем считать, что вы согрешили по забывчивости и в забывчивости солгали. Я прощаю вас. Покайтесь и, быть может, простит вас Аллах. Вы перед ним виновны в оскорблении мечети, а Мухаммед-Тарагай прощает вас, амиру Улугбеку хватает своих дел, он не станет лечить вашу память. Обратитесь к Аллаху, к нему одному.

Оглядел всю мечеть мирза Улугбек и, приложив руку к сердцу, чуть поклонился народу. Ибо стояли все на коленях, незаметно для себя повернувшись к амиру лицом, словно и не было в мечети Сейида, стоящего на минбаре.

И тут только очнулся старый Сейид-Ашик от сковавшего его оцепенения. Не помня себя, стал он сыпать проклятиями. Но мирза Улугбек незаметно мигнул своим есаулам Двое из них подбежали к Сейиду и, схватив его под руки, сволокли вниз. Тот так и замер с разинутым ртом, ожидая, что его тут же отправят на плаху.

И знал Улугбек, что сегодня он мог бы казнить старика. Сегодня самаркандцы правильно поняли бы поступок амира, не осудили. Не мулла-обличитель, дрожа, стоял перед Улугбеком, а старый, выживший из ума богохульник, неблагодарный раб, которого следовало казнить за дерзость. То, что вчера было невозможным, а завтра, наверное, опять станет неосуществимым, сегодня давалось в руки мирзы. Вот она голова Сейида-Ашика, голова врага, чей слюнявый рот стал ртом всех врагов, изливающих хулу и клевету на правителя Мавераннахра.

И знал Улугбек, оборвавший однажды во гневе жизнь четвертой своей жены, что ничего не решится, если слетит с плеч эта трясущаяся голова в зеленой чалме. Тут же появится новая, отрастет, как у сказочного дракона.

И знал Улугбек, что придворные ждут от него этой головы и, может быть, ждут этого и люди в мечети. Надо показать свою силу, хоть ненадолго заткнуть шипящие рты, взмахом палаческой сабли добыть передышку. Но,

кроме Самарканда, была под его рукой и благородная Бухара. Он хорошо помнил, что бухарское духовенство, злобное, непримиримое, низложило предыдущего самаркандского амира. Именно в Бухаре черные калантары раздули невидимыми мехами пламя народного гнева против него, «удовлетворителя веры», и подняли восстание, которое лишь с трудом удалось подавить.

— Правда ли, Сейид, что вас сравнивают с Моисеем? — покусывая нижнюю губу, спросил Улугбек.

Старик испуганно закивал.

А потом случилось то, о чем поведал нам Абу-Тахир Ходжа в своей «Самарии»: «...в резких выражениях говорил наставник мирзе Улугбеку. Последний спросил: «Скажите, Сейид, кто хуже — я или фараон?» Сейид отвечал: «Фараон хуже». Мирза опять спросил: «Теперь скажите, кто лучше — Моисей или вы?» Сейид отвечал: «Моисей лучше». После этого мирза обратился к нему с вопросом: «Если господь приказал Моисею не говорить с фараоном в грубых выражениях и даже сказал «скажи ему мягко», почему же вы, который хуже Моисея, говорите мне, который лучше фараона, таким грубым образом?»

И, не дожидаясь ответа, повернулся и вышел мирза из мечети, а за ним вышли придворные.

А в мечети произошло такое, чего раньше никогда не бывало в храмах правоверных и, конечно, никогда не случится впредь.

Вся мечеть хохотала! Смеялись купцы и ремесленники, садоводы и огородники, водоносы и нукеры, писцы и менялы, местные воры и даже слепые бродячие дервиши. Хохотали веселые самаркандцы, знающие толк в остром слове, хохотали, закатывая глаза и тряся бородками, забыв на миг, что находятся в доме Аллаха и святотатствуют там.

А Сейид-Ашик так и остался стоять с открытым ртом посреди хохочущего люда.

Надо ли говорить, что тут же об этом узнал весь город? Ведь не мудрено — весь город был в это время в мечети.

Непонятно другое: как могли узнать о том в Бухаре и Герате, а также и в других городах, задолго до того, как пришли туда караваны из Самарканда и прискакали туда гонцы?

И хохотали студенты в медресе благородной Бухары, которое построил в годы юности Улугбек, дабы успокоить ревнивое недоверие могущественных дервишей.

Все богатства земли и слезинки не стоят твоей!
Все услады земли не искупят неволь и цепей!
И веселье земли — всех семи ее тысячелетий, —
Бог свидетель, — не стоят семи твоих горестных дней!

*Хафиз*

## Глава девятая

Шумно и весело было в тот вечер и в Баги-Мейдане. Пир продолжался всю ночь. Пили самаркандское и сладкое ширванское, терпкое вино Шираза и ароматные, пенящиеся вина далекой Кахетии. Вспоминали, как во времена богобоязненного Шахруха мухтасибы ходили по частным домам и били горшки с вином, не обходя своей высокой заботой даже сиятельных тимуридов. Под такие воспоминания приятно было лишний раз приложиться к хмельной чаше. Потом мирза танцевал с верным своим Али-Кушчи, а юный Челеби ходил вокруг них с тугим рокочущим бубном.

Лежа на шелковых подушках, уставленных подносами с фруктами и сластями, долго любовались танцем азербайджанских красавиц, совершенные прелести которых смутно лучились сквозь тончайшие дымчатые шальвары. Поэты читали стихи, острословы-шуты высмеивали мирзу на потеху самому хозяину и славным его гостям. Чагатайский поэт Секкаки поднес властителю диван стихов и с гордостью произнес:

— Небо должно еще много лет совершать свой круговорот, прежде чем оно вновь создаст такого турецкого поэта, как я, и такого ученого царя, как ты.

Все шло, как заведено было. И всем было весело. Астрологи уговорили мирзу спеть что-нибудь из рубайат Хафиза, без которых не обходится ни один веселый пир.

Улугбек вдруг тряхнул головой, взял дутар и, как-то сразу помолодев, ударил по рокочущим струнам.

Фиал вина мне нацеди, приди!
От стража злобного уйди, приди!
Врага не слушай! Внемли зову мысли
И песне у меня в груди! Приди!

В ночь летел этот страстный призыв, и разноцветные мохнатые бабочки отовсюду слетались на него. Кружились вокруг пылающих факелов и падали с тихим треском в коптящее пламя.

...Внемли зову мысли
И песне у меня в груди! Приди!

Подернулись влагой глаза гостей. Не мигая, смотрел на огонь Али, что-то шептал, раскачиваясь всем телом, поэт

Бухари. А молодой Челеби, казалось, глотал слезы. Только рябое, все в старых шрамах, лицо темника Камиля оставалось таким же бесстрастным, как и всегда. Он дослушал песню, встал и сошел с освещенного ковра в ночную влажную ночь.

Восхищенными возгласами наградили гости певца, а он, смеясь, передал дутар мауляне Джемшиду, сказав, что даже великому ученому негоже в такую минуту предаваться умным мыслям. Все тут же начали упрашивать мауляну спеть. Но вдруг поднялся поэт Бухари и потребовал тишины.

— Господи, как мне надоели эти стихи, — шепнул Али Улугбеку.

— Терпи, — так же тихо ответил мирза и, обращаясь к гостям, громко сказал: — Вот власть, перед которой склоняются государи. Слово амиру касыд! Нашему дорогому Бухари слово.

— О, великолепный мирза! — поклонился поэт Улугбеку и, набок склонив голову, бессильно простер к небу вялые, тонкие длани.

Улугбек улыбнулся ему, подивившись в который уж раз, как объедала Бухари, быстрый и неутомимый за пловом, вдруг поникшей становится куклой в сундуке балаганщика, как только выходит читать стихи.

— О, надежда Вселенной! О, затмевающий мудростью самых великих ученых! Позволь мне в этот радостный день торжества и веселья вручить тебе то, что наполнит твое сердце неожиданной сладостью! — И, встав на колени, он обеими руками протянул мирзе несколько свернутых трубкой листов.

Улугбек, поднялся с подушек, усадил с собой рядом поэта и своей рукой положил ему в рот халву и рахат-лукум. После этого только он принял подарок, подивившись, что Бухари не прочитал ему вслух эти новые, очевидно, касыды. Но, развернув свиток, он тихо вскрикнул и со слезами на глазах обнял и расцеловал поэта.

Тут же Бухари вскочил, полный сил и здоровья, и во всю мощь своего голоса крикнул удивленным гостям:

— Друзья дорогие! Сегодня трижды счастливый для нашего светоча день! Я, поэт Хэяли-йи-Бухари, разыскал — если б только вы знали, чего это стоило, — победный перечень нашего принца, царственный список трофеев, добытых в степи, в камышах, в облаках.

Все знали, как жалел мирза об утрате этого списка, и втайне немного потешались над этим. Но весть о находке встретили шумной радостью и кинулись поздравлять мирзу и поэта. А Бухари, окрыленный успехом, вновь потребовал тишины.

— Я открою вам маленькую тайну, друзья! — сказал он. — Наш несравненный мирза по памяти восстановил этот список! Пусть же сегодняшний день, эта дивная ночь, эти нами любимые звезды станут свидетелями нового чуда и нового торжества этого светоча мысли, перед сиянием которого стыдливо скрывается самое солнце! — И, уронив голову на грудь, поэт вновь протянул руки к Улугбеку. Его белая бухарская ермолка упала на ковер, что было встречено веселым смехом.

Но когда смех, шумные поздравления и радостные восклицания смолкли, он подозвал к себе маленького чернокожего скорохода.

— Подними мою ермолку, Юсуф, — шепнул ему Бухари и, возвысив голос, объявил: — Сейчас я отдаю приказания! Только я! Поспеши же, о быстрый, как ветер, Юсуф, в обсерваторию! Там, в келье мирзы, ты возьмешь вновь составленный список охоты и с ним возвратишься сюда. Мы здесь сличим оба списка и станем счастливыми очевидцами великого дива!.. А потом я прочту вам касыду, которую специально сочинил в честь этого дня. Я посвятил ее не ведающей поражений памяти нашего мирзы!

— Откуда ты знаешь, мой Бухари, что память эту не ожидает сейчас постыдное поражение? — спросил Улугбек. — Боюсь, что ты поторопился с касыдой и получишь сейчас печальный урок, как не надо писать стихи загодя.

— Нет, мирза! — гордо ответил поэт. — Твоя блистательная память прославит мою касыду, а моя касыда прославит твою блистательную память.

Улугбек сам не прочь был сличить оба списка. Он даже подивился тому, что ожидает возвращения скорохода с некоторым волнением. И с внутренней улыбкой снисходя к возвратившемуся на миг детству, решил, что это будет проверкой того, насколько он постарел.

Прибежал Юсуф, и Бухари, забрав у мирзы драгоценную находку, уединился с Али сличать списки. Пока же возобновилось веселье.

Улугбек рассеянно следил за неистовым танцем обнаженной индийской апсары[1]. Подивился, что ступни и ладони ее были окрашены пурпуром.

На запястьях и над локтевыми сгибами были надеты браслеты. Они тонко позвякивали в такт стремительным движениям танцовщицы. Улугбек плохо знал мудру — тайный язык пальцев, — и потому смысл танца остался для него непонятен.

---

[1] Апсара — танцовщица.

Он думал о вновь обретенной потере. Омар Хайям, как всегда, удивительно прав:

Все тайны мира ты открыл.. Но все же
Тоскуешь, втихомолку слезы льешь,
Все здесь не по твоей вершится воле.
Будь мудр, доволен тем, чем ты живешь.

Поистине судьба преподала ему хороший урок. Он подумал, что тот, кто хочет сохранить все как есть, уже потерял это все. Хочешь уберечь свое сегодня, борись за завтра. Может быть, нам просто кажется, что старости обязательно сопутствует мудрость. А если не мудрость, а всего лишь успокоение, смиренный ток остывающей крови?

Сделать это сейчас, пока есть еще хоть какие-то силы, а потери хотя и ждут своей неизбежной доли, но еще медлят напасть или унести с собой в могилу? Может быть, эта находка — тайный ободряющий знак к действию? Или предостережение щедрой и беспощадной судьбы? В юности он бы не задумываясь ринулся в открытый бой. Быть может, даже победил в нем. Теперь победы не будет. Смерть всегда первой бросает свои кости. Вот и дедушка проиграл в извечной этой игре. О мудрость старости! Не обман ли ты? Щадящий нас обман... И все же, если выскажет он свою истину и падет потом во имя ее, останется ли она в живых? Может, только усугубит его крушение, как очевидное свидетельство помешательства. Очевидное... в том-то и суть, что очевидное. Людей не заставишь поверить отвлеченным рассуждениям вопреки той очевидности, которая каждый день предстает перед ними. Солнце всходит на востоке и заходит на западе, заходит и всходит, его встречают молитвой ас-субх и провожают молитвой аль-магриб. И так от начала мира, от деда к внуку. Что же поделаешь тут? Только обрадуешь тех, кто неминуемо скажет: «Совсем рехнулся старый кафир. Теперь-то вы это видите сами, мусульмане!»

И не прав ли трижды никогда не ошибающийся Хайям?

Тайны мира, что я изложил в сокровенной тетради,
От людей утаил я, своей безопасности ради.
Никому не могу рассказать, что скрываю в душе,
Слишком много невежд в этом злом человеческом стаде.

Не о том ли самом говорит в своих рубайат великий мудрец и астролог? Сколько звездочетов до него и до нас приходили, наверное, к тому же, но прятали свои огни в пещерах, не смея поведать о них людям? Но если так будет всегда, то истина вечно пребудет сокрытой. Восходы, закаты, салят ас-субх и салят аль-магриб. Очевидность иллюзии, ее цветистый занавес, за которым в черном небе ночном — истина, равнодушная, страшная.

— Подойди ко мне, мой Челеби! — поманил к себе юношу Улугбек и улыбнулся старику факиру, который ловко уложил в корзину танцевавшую перед восхищенными гостями кобру. Факир опустил флейту из тростника и двоякоизогнутой тыквы и облизал сухой, воспалившийся рот.

Улугбек бросил старику кошелек с серебром и велел слугам угостить его холодной дыней.

Когда под рокот дутаров и бубнов на ковер вышли гимнасты, мирза усадил на подушки Мериема Челеби и подвинул ему турецкий серебряный кальян, куда только что налили свежей розовой воды.

— Я верю в твой не по годам холодный и ясный разум, мальчик, — наклонился к нему Улугбек. — Помоги мне разрешить гложущее мое сердце сомнение.

— Вы все о том же, мирза?

— Все о том, Челеби, все о том... Я не думаю, что нам должно молчать, уподобляясь осторожному и мудрому Хайяму, и знаю твердо, что нельзя говорить. Как сказать нам, умалчивая, и как умолчать, говоря, чтобы поняли те, кто в состоянии это понять?

— В своих комментариях я нашел как будто такие слова, государь. Почему бы не сказать нам, что «точкой, наиболее удобной для того, чтобы можно было относить к ней сложное движение, является не Земля как центр мира, однако обычно ее относят именно к этому центру»?

— Не слишком ли осторожен этот намек?

— Те, кому надо, поймут, мирза. А враги все равно станут жалить.

— Верно... ужалят... Но мы сможем смело сказать, что, не посягая на скрижали Вселенной, придумали лишь отвлеченные вычисления для удобства наших караванов и кораблей.

— Только так, государь. Мы громко заявим вслед за Бируни, что изучение небесных тел не чуждо религии. Одно это изучение позволяет узнать часы молитвы, время восхода зари, когда собирающийся поститься должен воздержаться от пищи и питья, конец вечерних сумерек, предел обетов и религиозных обязательств, время затмений, о которых нужно знать заранее, чтобы приготовиться к молитве, которую следует совершать в таких случаях. Это изучение необходимо, чтобы поворачиваться во время молитвы к Каабе, чтобы определить начало месяца, чтобы знать некоторые сомнительные дни, время посева, роста деревьев, сбора плодов, положение одного места по отношению к другому и чтобы находить направление, не сбиваясь с пути.

— Золотые слова! — прошептал Улугбек и своей рукой набил рот покрасневшего от гордости юноши ароматным пловом из длинного шахского риса с шафраном и кардамоном.

— Послушать тебя, так надо при каждой мечети построить обсерваторию.

— Угу! — закивал с полным ртом молодой Челеби.

— Знаешь, мальчик, я все же провижу упреки в опасной ереси...

— Внимание! Почтенные гости! — растолкав музыкантов, откуда-то выбежал Бухари, таща за руку смущенного Али-Кушчи. — Прочь, прочь, музыканты! Потом... Обратитесь же в слух, почтенные гости. Вот список, который наш мудрый мирза начал вести еще в годы амира Тимура! В нем перечислено семь тысяч четыреста двадцать животных и птиц, добытых не знающей промаха стрелой мирзы и его несравненными ловчими птицами. — Бухари потряс над головой списком. — А вот... — он поднял вверх и второй свиток, — тот славный перечень, который мирза восстановил по памяти... Здесь семь тысяч четыреста шестнадцать! — воскликнул поэт и, стараясь перекричать возгласы восхищения, разъяснил: — Не хватает одной косули, одного барана горного и пары зайцев...

Поистине это был удачный день, завершившийся счастливой ночью. Когда гости, отяжелев от еды и основательно захмелев, разбрелись, кто в поисках ночлега, а кто — и ночных приключений, мирза тихонько проскользнул в сад и быстро зашагал по дорожке, голубой и пятнистой от залитых луной листьев.

Но кто-то его осторожно окликнул. Сразу узнав этот голос, мирза помрачнел. Сами собой сошлись его брови, которые все еще почему-то щадила седина.

— Чего тебе, верный Камиль? — обернулся мирза к коренастому темнику, который казался в ночи каменной бабой, поставленной стражем пустыни. Такие фигуры нередко встречал Улугбек на караванных путях, всякий раз вспоминая при этом о монгольских походах.

— Пресветлый мирза! Здесь один человек, он назвался кабульским купцом, просит вас уделить ему час для беседы. Он сказал, что дело касается тайной тетради поэта Омара Хайяма и уверил меня, что мирзе очень важно об этой тетради узнать.

— Вот как?.. — протянул Улугбек, почувствовав снова руку судьбы. Она влекла и толкала его. Темный поток, уносящий под своды пещеры тростинку. Нет сил ни замедлить движение, ни к берегу тихо пристать — не видно вблизи берегов. Кабульский купец... Длится, длится арабская сказка. Ленивый и сонный Восток, одуревший от зноя

и скуки. Здесь сплетаются вымыслы с правдой, одинаково верят бродячим певцам на базарах, мореходам-купцам и цирюльнику, что не отличает сна от яви. Здесь верят легко и жестоко карают потом за обман.

— Что еще сказал этот купец?

— Он сказал, о мирза, что его род известен в Герате и в Самарканде, а его дед был личным купцом великого вашего деда амира Тимура, да пребудет он в садах Аллаха. Купец этот также предъявил мне медную пайцзу, выданную покойным властителем мира его деду для беспрепятственной торговли во всех городах.

— Почему он пришел среди ночи?

— Говорит, что боится, как бы кто не проведал про эту тетрадь. От этого, говорит, ему будет большая беда. Завтра же, после вечерней молитвы, его караван выступает в Хиву, чтобы идти по пустыне не под солнцем.

— Это разумно, — кивнул Улугбек. — Мы примем купца. Попрошу тебя, верный Камиль, угостить, и как следует, этого гостя. А на рассвете, после первой молитвы, сведи его в башню — я буду там. Но смотри, до тех пор не спускай с него глаз! И побольше проведай, кто он, откуда, кого знает здесь в городе и кто знает его. Но помягче, за чашей вина и за пловом. Понял?

— Будет исполнено! Живи вечно, мирза.

Но исчез Улугбек в черной и неразличимой листве, где мерцали ночные алмазы росы. Он, неслышно ступая, спешил проторенной дорогой в сад Звездной башни и дальше к арыку, за которым на склоне холма к крепким кольям подвязаны старые лозы.

Колдовскую планету Зухру можно раньше всего увидеть как раз над холмом, на котором разбит виноградник и сушатся тыквы на сплетенных жердях шалаша.

Шел мирза Улугбек навстречу восходящей звезде, ощущая, что ступил он на новый, судьбой уготованный круг.

Тот, кто клялся мне в верности, стал мне врагом.
Муж — вчера добродетельный — стал подлецом.
Ночь делами, что завтра свершатся, чревата.
Но едва ль она добрым чревата плодом.

*Хафиз*

## Глава десятая

«Звездочеты и звездословы, основу всех дел и судеб связующие с указаниями звезд, втайне гадали о предстоящем

по сочетанию благоприятных и зловещих созвездий», — писал о том славный Гияс-ад-дин.

Но что бы там ни видели в небе звездочеты и как ни толковали звездословы эти знамения, кто-то перетолковывал все по-своему, и выходило каждый раз, что должна затмиться звезда Улугбека. Весь базар о том шептался, а значит, и весь Самарканд.

Из Герата новых вестей не поступало. Скорее всего, перехватили там засланных беком Камилем соглядатаев, а может, просто те не могли выбраться из города. Купцы рассказывали, что все покидающие Герат караваны тщательно осматривают и каждого расспрашивают: кто он, откуда, куда и зачем идет.

Поймали дервиша-накшбенди, у которого нашли фирман из Ташкента, из самого медресе Кукельдаша, в котором сидел со своими мюридами Ходжа Ахрар. Но смысл фирмана был темен, и дознаться, кому он адресован и о чем говорит, не сумели. Дервиш держался того, что фирман предназначен для калантаров и содержит толкование тайной суфийской премудрости, понять которую может только посвященный. О премудрости этой он отзывался весьма туманно, напирая на то, что в фирмане говорится о грядущем пророке, подобно тому как богоотступники-шииты толкуют о своем скрытом имаме. И вправду что-то похожее в грамоте калантара было. Больше ничего из него люди бека Камиля не вытянули ни огнем, ни щипцами.

Мираншах — хаким[1] Самарканда взялся допросить его сам, но тоже ничего не достиг, а назавтра нашли того дервиша мертвым. Он отравился в своей клетке, в сырой каменной нише подземной тюрьмы. Камиль рвал на себе бороду, допытываясь у надзирателей, кто мог дать дервишу яд. При аресте его тщательно обыскали, за этим лично проследил бек. Но надзиратели клялись и божились, что они тут ни при чем, на все, дескать, воля Аллаха, жил человек и помер, значит, пришел его срок, а в клетку к нему после допроса, учиненного хакимом, никто не входил.

Камиль потребовал у мирзы отставки Мираншаха, но Улугбек не согласился, сказав, что на основе одного подозрения нельзя обижать человека, верой и правдой служившего вот уже двадцать лет.

А потом стало и вовсе не до хакима. Разведчики донесли, что Абд-ал-Лятиф выступил из Герата во главе большого войска и движется прямиком к Самарканду.

---

[1] Хаким — начальник города.

Зажгли кизяк на сторожевых башнях, а хриплые медные карнаи и гулкие барабаны объявили поход.

Улугбек спешно готовился выступить из города. Гарнизон на внешней стене был утроен. Особо усилили охрану городских ворот. У Шейх-Заде, Фирузы, Игольных и главных, Железных, ворот поставили отборных лучников, подвезли туда котлы со смолой и оловом. День и ночь там палили костры. А потом настало утро, и со стен вновь протрубили тревогу хриплые трубы — карнаи. Самаркандская армия выступила в поход. Это был уже второй поход Улугбека против восставшего Абд-ал-Лятифа. Первый закончился неудачно, ибо пришлось ему вернуться назад, в Самарканд,. где крутые меры заносчивого Азиза, вздумавшего так не вовремя притеснить семьи Улугбековых амиров, чуть не привели к мятежу. Мирзе угрожала реальная опасность быть схваченным в собственном войске и выданным Лятифу. С трудом успокоив взбешенных амиров, он отправил Азизу послание, в коем угрозы мешались с увещеваниями, а вскоре и сам ушел с берегов Аму, где стоял войском против мятежного сына.

Была осень, и полуденное солнце жгло уже не столь яро. И это радовало Улугбека, который всегда избегал жары. Он выступил из города тремя колоннами и двинулся навстречу неприятелю — сыну своему Абд-ал-Лятифу. Во главе первой колонны поставил любимого младшего сына Азиза, не решившись на сей раз оставить его в Самарканде, вторую повел сам, а кольчужную конницу и замыкающий тумен отдал беку Камилю — верному из вернейших темнику.

Выслав разведчиков и отрядив головные заставы, решено было идти боевой колонной до большого караван-сарая Кублукбобо, а там разделиться: Камиль-бека послать в засаду, а Улугбеку и Азизу идти двумя колоннами в обхват наступающих войск, которые, как донесла разведка, переправились через Аму. Шли весь день и часть ночи.

Краснели листья лозы, доходили под осенним солнцем дыни, исполинскими проржавелыми доспехами тянулись вдоль дорог хлопковые поля. Над плоскими крышами ютящихся один на другом у речных берегов и холмистых подножий домов из сырцового кирпича поднимались удушливые сырые дымки. Люди готовились к зиме, о которой уже давали знать первые ее вестники — пыльные глинистые бури из пустыни. И никого не интересовала война, которая шла меж отцом и сыном.

У караван-сарая войскам был дан однодневный отдых. Разбили палатки, разожгли костры. Чинили сбрую, точили и чистили оружие. Десятники придирчиво проверяли, все

ли в порядке у их нукеров, крепка ли обувь, хватает ли стрел.

Улугбек объезжал войска. Сколько раз видел он такой вот военный лагерь накануне битвы. В походах Тимура, отца и в своих не всегда удачных баталиях. Вроде все было спокойно, не хуже и не лучше, чем обычно. Но что-то носилось в воздухе, что-то носилось...

Безнадежностью пахло в лагере.

Всех беспокоило отсутствие разведчиков. Давно бы должны были возвратиться они в лагерь. Прождали всю ночь, но и к первой молитве они не вернулись. Улугбек послал по их следам свою сотню. К полудню сотня возвратилась, везя тела убитых разведчиков. Всех их поразили сзади. Видимо, стреляли из засады.

— Это дело тайных врагов, — сказал Камиль Улугбеку. — Абд-ал-Лятиф досюда еще не дошел.

— А откуда мы знаем, когда он действительно выступил? — спросил Улугбек. — Ведь говорят же, что, взяв Термез с Шахрисабзом, он стал лагерем, ожидая подмоги местных племен.

— Как — откуда? Разведка донесла, мирза, да и те купцы, которых мы вчера застали в караван-сарае, это подтвердили.

— Купцы? А ну доставь мне этих купцов, Камиль.

Камиль-бек выбежал из палатки мирзы и велел тотчас же сыскать вчерашних купцов. Но возвратились посланные и доложили, что купцов и след простыл. Ночью они ушли пешими, бросив ослов и лошадей, а в тюках у них оказались только скатанные кошмы и гнилые, плохо продубленные кожи.

— Далеко не уйдут! — взвился Камиль-бек. — Верхами мы их быстро догоним.

— Пустое, — устало махнул рукой проведший бессонную ночь Улугбек. — Теперь это уже не очень нужно. Мы не знаем, где враг, и это сейчас хуже всего.

— Я вышлю усиленную разведку и цепью расставлю сигнальщиков, кто первый увидит неприятеля, сразу же оповестит нас костром, — предложил Камиль.

— Нет, не годится, — подумав, сказал Улугбек. — Пока разведчики будут искать, нас могут застать врасплох. Не успеем даже развернуться. Придется отходить назад, к городу. Думал я встретить Лятифа в степи, да видно, предстоит выдерживать осаду. Ты прикроешь нас, мой Камиль.

— Живи вечно, мирза! — ответил темник, где-то слыхавший, что так отвечали Искандеру Двурогому его македонские амиры, а может, было то вовсе промеж румийским

царем и его военачальниками... Но говорить так нравилось Камилю, а Улугбеку было все равно.

Когда остыла заря, тайно снялись и выступили в обратный путь. Впереди опять пошел Абд-ал-Азиз, и уж за ним Улугбек со своими туменами. Приказано было не греметь железом и разговоров не вести. Лошадям для предосторожности завязали морды. Но все равно гулко цокали копыта о прибитую звонкую глину, натертую до блеска обитыми железом ободами. Казалось, что даже звезды отблескивают в этих наезженных колеях.

Ехали степью, где слабо белели в ночи осыпающиеся семенами мохнатые ветви саксаула. Кое-где в прибитой глине, как слюда в граните, посверкивали глазурованные черепки. Видно, были здесь когда-то караванные пути, которыми возили в пустыню воду. Сколько кувшинов побили на тех путях, сколько пролили воды, сколько живой человеческой плоти легло в эту вечную глину.

Ведь задолго до нас ночь сменялась блистающим днем,
И созвездья всходили над миром своим чередом.
Осторожно ступай по земле! Каждый глины комок,
Каждый пыльный комок был красавицы юной зрачком

Опять прав незабвенный Хайям. До каких высот он поднялся, в какие бездны сумел заглянуть? Тут бы бросить все и отправиться на поиски той «сокровенной тетради», о которой все, что знал, поведал ему кабульский купец как-то утром в Звездной башне. Как давно это было... Всего лишь минувшей весной, и как давно, кажется, это было...

Но как ведет человека судьба, как закручивает жизнь! Не до нее сейчас, совсем не до нее, хоть нет в мире ничего драгоценнее заветной той тетради. Что наш мир без Платона, без Аристотеля — никем не превзойденного наставника Искандера, без Плутарха и Птолемея, Фергани, Бируни, Абу-Али Ибн-Сины, Мухаммеда Ибн-Мусы Хорезми? И что он без сокровенных тайн Омара Хайяма, о которых не знает пока никто?

Но надо садиться в седло, в поход на родного сына идти надо, который — ты слышишь, Аллах? — во имя твое возненавидел собственного родителя. И годы совсем не те, чтобы воевать. Это дедушка в походы ходил до последнего дня, но на то и был он железным, и, кроме походов тех, мало что занимало его в жизни. Но и отцу пришлось в преклонные годы взять саблю, отстаивать свое право тихо умереть, за власть бороться. Да и умер он в походе, как и дед... Значит, и вправду такая судьба всему роду: никогда не знать покоя и душу Аллаху вручить вдали от родной столицы. Но сын еще не восставал на отца...

И вдруг далеко впереди затрубили карнаи.

Это Азиз! Это тревога! Это внезапно атаковали Азиза!

Верный сын, любимый сын. Воистину плоть от плоти, дух от духа. Что с ним сейчас? Жив ли еще или пал уже от предательской стрелы братоубийцы?

— Омар Халиб! Ко мне! — наклонившись к луке седла, крикнул мирза.

Возникла впереди минутная суматоха. Но сразу стихла. Раздвинулись невидимые всадники, пропуская кого-то, и вновь сошлись, как воды Чермного моря. И вот уже скачет навстречу мирзе испытанный сотник его, над иными тысячниками и темниками вознесенный начальник дворцовой сотни, каждый нукер которой лично знаком Улугбеку.

— Скачи быстрее, Омар Халиб, к темнику Камилю. Скажи, что атаковали Азиза. Пусть идет к нему на выручку левой дорогой, а я зайду справа, со стороны Бухары, там ты меня и нагонишь. Как ветер, скачи!

И только пыль защекотала в ноздрях. Поднял коня на дыбы Омар Халиб, повернул и крикнул на скаку свою сотню. И унеслись они в непроглядную ночь, навстречу грозовому теплому ветру.

А Улугбек остановил свои тумены, перестроил их наспех и повернул на правую дорогу, к Димишку, прикрывавшему Самарканд. Теперь все зависело от быстроты и поворотливости Камиля. Успеет подойти вовремя, быть Лятифу в клещах, не успеет — плохо дело... И Азизу подольше бы суметь продержаться, чтоб не успел враг приготовиться к новому бою, чтоб застать его еще в пылу сражения.

Как на крыльях мчался Омар Халиб во главе своей сотни. С гиканьем и свистом летел, а полы его чекменя и впрямь раздувались на встречном ветру и неслись над степью, как крылья.

Но что там? Что там впереди? Стадо овец? А ну их плетью, плетью да саблей! Порубать пастухов, а отару разогнать по степи! Не видать пастухов? Все равно, чтоб расчистить дорогу в минуту!

Но не видно ничего во тьме да в пыли. Только бестолковый топот и блеянье, крики нукеров, и не разобрать, где тут овцы, где лошади, где объезд, где дорога... Ага, вот какая-то арба посреди сумасшедшего стада. Поперек дороги, одна, без лошади, без осла, без быков. Значит, это нарочно! Значит, это засада.

— Ко мне, нукеры! В сабли! — И, наклоняясь к этой крытой проклятой арбе: — Кто здесь есть? Выходи! Шкуру сдеру!

— Это ты, Омар Халиб? — тихий голос из мрака. — Ну-ка вели своей сотне ехать в объезд. Да скорей, сын греха, и скажи им, что никого нет в арбе.

— Тут нет никого! А ну, давайте в объезд!

Этот голос... нет, Омар Халиб его не забыл и до гроба его не забудет.

— Постой, сотник. Куда же ты? Что велел передать Улугбек Камиль-беку?

— Не могу знать, брат великий мюрид. Велел просто быстрее идти на помощь мирзе Абд-ал-Азизу.

— Какой дорогой?

— О том не сказал.

— А ты что, брат мой Омар Халиб, забыл все? Так я тебе живо напомню! А ну, говори, что велел передать твой кафир, и догоняй свою сотню... Что ты мнешься, дурак! С Улугбеком покончено. О себе и о брате подумай, о сыновьях. Дай твою руку. Да здесь я! Куда ты суешь? Вот так... Вот кольцо тебе. Отныне ты не есаул, а темник властителя Мавераннахра, мирзы Абд-ал-Лятифа. Что велел Улугбек?

— Чтоб шел Камиль-бек по левой дороге, а сам мирза зайдет со стороны Бухары, у Димишка.

— Так... Скачи же скорее к Камилю и передай, что велел Улугбек идти ему правой дорогой! Скачи же, во имя Аллаха!

— А как же... Куда я потом?.. Ведь меня...

— Чего же ты медлишь, иблис? Скачи, передай, а там делай что хочешь... Затаись, пережди, а потом приходи во дворец.

Задыхаясь, догнал свою сотню Омар Халиб.

— Никого не нашел... Это, верно, засада. Не думали, черти, что нас целая сотня, и разбежались. Ну, быстрее, быстрее... Мирза Улугбек ждет!

Две неполные тысячи остались у мирзы Улугбека, когда он, пробившись к Абд-ал-Азизу, оторвался наконец от наседавшего неприятеля. Дорога на Самарканд была открыта. Темник Камиль не поспел, а может быть, перехваченный на полпути, рубился где-нибудь в степи, обагряя кровью своей и чужой сухую колючку. Но была ли чужой любая капля крови в той братоубийственной сече, где сын восстал на отца, брат на брата, джагатай на джагатая, фарс на фарса, узбек на узбека?

Не возвратился и Омар Халиб. Может, лежит он сейчас со своею сотней, лицом в глину, со стрелой в затылке, как лежали сраженные из засады разведчики? И не ведает Ка-

миль-бек, что его повелитель разбит и бежит сейчас с горсткой нукеров к Самарканду.

Порубаны и рассеяны по степи тумены мирзы. И одна у него только мысль, одна надежда: укрыться за зубчатой стеной арка[1].

Хорошо, что Абд-ал-Азиз устоял. Окруженный плотной стеной верных людей отбивался он от брата Лятифа, пока не поспел на выручку Улугбек. Вместе и пробились они, вместе, лука к луке, вырвались из западни.

Разослав к своим рассеянным темникам гонцов и наказав им ехать тайно, избегая дорог, где могли повстречаться враги, отрядил Улугбек две десятки к Камилю, хоть и жаль ему было их отпускать. Каждого обещал сделать сотником, если хоть один прорвется к Камилю и передаст ему приказ собрать какие можно войска и спешить к Самарканду, избегая сражений. Начальнику же отряда была обещана дворцовая тысяча.

Забирая в лежащих на пути караван-сараях и поселениях всех лошадей, спешил Улугбек под защиту стен.

Лятифу города не взять. Не все еще потеряно. А если сумеет Камиль подойти на подмогу...

Ели в седлах, не останавливались даже для молитв. И когда показалась в пыльной дали серая стена арка, Улугбек повеселел. Уже можно было разглядеть дымки стражи и башенки городских ворот, когда более зоркий Абд-ал-Азиз вцепился в горячую мокрую гриву отцовского ахалтекинца и крикнул:

— Они закрывают ворота, отец!

— Наверное, не узнали нас, думают, что неприятель.

— Нет, отец, нет. Им сверху виднее. Это измена!

Измена! Значит, прав был Камиль насчет Мираншаха-каучина, городского хакима. Это он и отравил тогда дервиша, чтоб не проговорился тот на допросе, а теперь закрыл ворота арка. Может, дервиш и пробивался к хакиму, чтобы толкнуть его на измену, закрыть ворота. Оставить беззащитного, преследуемого повелителя под стеной, а город сдать врагу? Нет, верно, еще раньше мюриды Ходжи Ахрара проложили дорожку к дому хакима! Иначе зачем ему было спускаться в тюрьму к дервишу, когда не его это дело? Слишком усерден! Как затмило глаза! И ведь говорил Камиль-бек, убеждал...

Повсюду измена. Как песчаные осы, источившие гнездами берега пересохшей реки, наводнили изменники город и, наверное, армию.

А что, если и верный Камиль? Если он узнал или тайный свидетель ему рассказал? Вот единственная измена,

[1] Арк — крепость, укрепленная городская стена.

которую нет права проклясть. Но если Камиль изменил, то все кончено, не спасут даже стены. Да и так все погибло.

Они скачут еще к Самарканду, подчиняясь закону бездумного бега, не сознавая еще до конца, что свершилось коварнейшее из предательств.

Но уже видно, как блестят островерхие шлемы воинов на стене и зеленеют обитые старой медью ворота между двух круглых зубчатых башен из серого камня.

Не могут не видеть с высокой стены, что скачет к воротам своего Самарканда законный повелитель, мирза Улугбек.

Но закрыты ворота, неподвижны воины на стене, и столбом поднимается дым в безветренное небо. Словно приготовились в Самарканде встретить врага.

Обмелевшая речка в широком галечном ложе, глинистая вода в арыках на сельских полях, гнезда аистов на древних карагачах — все настолько знакомо и близко, что не задерживает взгляда. Незнакомо одно — позеленевшая медь закрытых ворот. А теперь вот словно кто-то проделал болезненную операцию над глазами, и как будто впервые увидены эти бирюзовые капельки куполов, развалины серых древних покинутых городищ и эти гнезда на старых деревьях. Какая острая ясная боль! Непривычная грустная четкость!

Копыта выплескивают воду из речки, гремят по камням, и мутная глина стекает с бабок взмыленных лошадей, и капли тотчас покрываются пылью.

Остается одна лишь надежда, что воины не послушают изменника хакима и откроют ворота. А если откроют, не станут ли окованные створки входом в ловушку?

Но что там краснеет на башне? Халат хакима?

— Дальше ехать не надо, — говорит Улугбек и придерживает коня.

Но царевич Абд-ал-Азиз рвется к самой стене, чтоб хоть крикнуть изменнику снизу слова презрения.

— Не надо, мирза, — говорит Улугбек и, перехватив повод, вслед за собой поворачивает коня Абд-ал-Азиза.

И вот уже сотники объезжают десятников, передавая приказ Улугбека ехать к Шахрухии.

И опять выделяет отряд Улугбек из поредевших рядов и посылает новый приказ Камилю. Отменяет прежнее повеление идти к Самарканду, назначает свидание в Шахрухии.

Устали лошади, бока их ходят, как мехи у горна. Да и нукеры шатаются в седлах. Все черны от пыли и пота. Пахнет дымом и пропотевшими кожами. И остро пахнет, куда острее, чем в ту ночь у караван-сарая, безнадежностью. Как будто где-то все уже твердо решено, и что бы ты

ни делал, все пойдет прахом. Когда все слепо и покорно поворотили лошадей к Шахрухии и было безразлично, остаться под стеной у запертых ворот или скакать в другую крепость, тогда, быть может, каждый почувствовал, как пахнет безнадежностью. А старые вояки промеж собой шептались, что ясно чуют запах смерти.

Вы бьете в барабан у царских врат,
Литавры ваши в городе гремят,
Но знайте, что от одного удара
Ни города не станет, ни базара.

*Кабир*

## Глава одиннадцатая

Вечерело...

После вечерней молитвы, когда честный мусульманин, воздав должное Аллаху, может и о себе подумать, к продавцу халвы, что держит лавку на торговой улице близ базара, пришли приятели сыграть, как всегда, в мейсир. Хозяин выставил на ковер дымчатые самаркандские вазочки со всевозможными сластями, кувшин с кумысом и чудные исфаринские персики. Гости развязали пояса, достали деньги. Потом скинули халаты и осторожно, чтоб не размотались, сняли чалмы. Остались в исподнем да в тюбетейках. А рыбник даже свой зеленый шахрисабзский тюбетей снял — такой уж жаркий и душный выдался вечер. Даже пот каплями проступает на бритой голове.

Рыжий меняла, который пришел сюда от самых ворот Шейх-Заде, сразу потянулся к кумысу. Жадно выпил одну пиалу, затем другую.

— Ух, жарко! — отдуваясь, продохнул он и вытер локтем разгоряченное лицо.

— Да, жаркая выдалась осень, — подтвердил торговец мантами. — Старики говорят, что это не к добру.

— Какое уж тут добро? — кланяясь, как на молитве, запричитал хозяин, отделяя от кона две серебряных мири — обычную хозяйскую долю. — Слава Аллаху, если живы останемся и имущество сохраним.

— И я о том же, — кивнул торговец мантами. — Не знаю, что и будет с нами. На базаре говорят, будто наш кафир нечестивый еще вернется к городу, так не отступится. Значит, будет осада, нехватки всякие, все подорожает... — Щека его, как обычно, подергивалась.

— Чего же вы огорчаетесь, если подорожает? — удивился меняла. — Вам это, кажется, не в убыток! Добро, если подорожанием ограничится. А коли попробуют взять город силой? Начнут громить конторы и лавки? Что вы тогда запоете, почтеннейший?

— Избави Аллах, — все еще отдуваясь после кумыса, поднял руки к голове рыбник. — Это будет всеобщая погибель. Но что касается вздорожания, почтенный Хасан, — наклонился он к меняле, — это не каждому выгодно. Все знают, что вы даете деньги в рост, поэтому для вас подорожание сущая благодать. И почтенный Рахим, наш радушный хозяин, — приложил руку к сердцу рыбник, — не очень на этом прогадает... Но я? Скажите мне, где я возьму рыбу, если город окружат войска? Это же чистое разорение!

— А сколько мне придется платить за мясо? — встрепенулся торговец мантов и сразу же возвратился в обычное состояние, похожее на сон, но щека его дергалась, и за игрой следил зорко.

— Ну, ничего, вы свое вернете, почтеннейший, — успокоил его меняла. — Сколько переплатите, столько и спросите, а то и еще больше.

— Это-то так... — вздохнул хозяин. — Но вы не представляете, сколько приходится платить за продукты, едва сводишь концы с концами. Если и заработаешь медяк на серебряную теньгу, то и тот грозят отнять. — И понизив голос: — Кто же будет теперь над нами, а, мусульмане?

— Может, Улугбек вернется? — покачал головой продавец мантов. — Говорят, он ушел собирать стотысячное войско, чтобы взять город и сурово наказать всех, кто ему изменил.

— Конец теперь вашему Улугбеку! — махнул рукой рыбник. — Слышал, что он разбит в пух и прах, а к городу подходит большое гератское войско. — Он вдруг тоже понизил голос и доверительно поделился: — Один очень осведомленный мулла говорил, будто нами станет править теперь молодой мирза Абд-ал-Лятиф и будто этот мирза известен своим благочестием, уважает законы шариата, заветы дедов и прежде всего печется о процветании торговли. Не знаю, правда или нет, но я так слышал.

— И я так слышал, — кивнул меняла. — Только мне рассказывали, что молодой царевич обещался освободить торговых людей от всех налогов.

— Не может так быть, чтоб вообще без налогов, — недоверчиво покачал головой хозяин.

— Мне так рассказывали! — стоял на своем меняла. — А еще рассказывали, что сам пророк Мухаммед вдохновил его на этот поход. Явился во сне и велел идти спасать

ислам. И будто в Ташкенте, в соборной мечети Джами, которую построил святой шейх Ходжа Ахрар, слышали голос пророка...

— И что сказал наш великий пророк? — спросил нетерпеливый хозяин.

— А сказал он, что правлению нечестивого Улугбека пришел конец.

— А откуда известно, что это говорил сам пророк? — спросил недоверчивый рыбник.

— Уж, наверное, известно! — оборвал его меняла.

— Это так. Там все известно, — согласился хозяин.

Продавец мантов еще пуще задергался, печально закивал головой.

Игра сегодня явно не клеилась. Да и пора было расходиться по домам. В соседних лавках уже давно погасли масляные огни. Первым ушел меняла, ему было идти дальше всех.

Постукивая посохом и прижимая рукой пояс с деньгами, осторожно пробирался он темными кривыми улочками, мимо глухих глинобитных стен и запертых дверей. Стены казались густо-синими, как небо, только потемнее, конечно, а земля под ногами была черна, как горная смола. В непроглядной тени переулков мерещились всякие страхи. Меняла клялся Аллаху никогда больше не засиживаться до темноты.

Когда вышел на открытое место, чуть перевел дух. Уже светился в ночном небе купол «Гур-Эмира», и было рукой подать до мавзолея Рухабад и ханаки, за которым начиналась тенистая улица, где под старым абрикосом стоял его дом.

— Живешь в одном месте, — ворчал он, постукивая посохом, — контору держишь в другом, а в гости ходишь к самому базару! Что за жизнь такая пошла? И ограбить могут, и убить...

И словно в подтверждение самых страшных его опасений, раздался пронзительный крик.

— За что? За что? Что я такого сделал? — кто-то истошно кричал совсем рядом.

Меняла быстро юркнул в тень маленькой старой мечети и притаился в арке, всем телом прижавшись к нагретым за день изразцам.

Человек продолжал кричать, но крики его заглушила чья-то сердитая ругань, шарканье и тяжелый шелест и скрип, будто волочили по земле мешки.

«Наверное, тащут кого-то, а он упирается», — догадался меняла и еще глубже ушел в спасительную темень айвана.

Наконец, он увидел двух стражников, которые, путаясь ногами в свисающих до земли саблях и гремя щитами, с проклятиями волокли за руки арестанта. Ноги несчастного подгибались в коленях и тащились по земле. Все было так, как представилось это меняле.

«Значит, есть за что, — удовлетворенно подумал он. — Может, разбойника поймали, который нападает на ночных одиноких прохожих».

Таких разбойников, а еще лихих грабителей, срывающих замки с дверей контор и лавок, он больше всего боялся и ненавидел.

На шум, позвякивая доспехами, прибежал из соседней улицы еще один ночной дозор.

«В глухие края города небось не ходят, — подумал меняла. — Все здесь собрались, где просторно и тихо. Дармоеды проклятые. Ишь какие шеи отъели, все равно как у почтенного рыбника!»

В дозоре было трое: впереди в богатой шелковой чалме и с одной только саблей, наверное, начальник, сзади два стражника при саблях и щитах. Один из них нес сильно чадящий факел. В красноватом мятущемся свете могучие шеи стражников и впрямь казались налитыми кровью.

— Что тут у вас происходит? — строго спросил начальник стражников, которые волокли человека.

— Да вот тут, господин... — начал было один, но голос его перекрыл новый отчаянный вопль.

— А ну замолчи! — рявкнул начальник. — Не то тебе тут же отрубят башку.

Человек сразу замолк и только икал, тихонечко подвывая.

— Он говорил, если сын встает на отца...

— Замолчи! — остановил стражника начальник. — Потом расскажешь, что он говорил.

— И еще он говорил, что сиятельный хаким Мираншах... — рвался высказаться дозорный.

— Я сказал — потом! — вновь оборвал его начальник. — Вы все правильно делаете. Незачем только шум поднимать. Ведите его! А ты им помоги, — обернулся он к одному из своих.

Втроем стражники быстро управились с задержанным и, заломив ему за спину руки, уже не потащили, а повели к Синему дворцу в караулку.

Когда все прошли мимо арки, в которой таился меняла, тот увидел освещенное факелом лицо задержанного и узнал кроткого, улыбчивого Махмуда-сундучника, у которого не далее как на прошлой неделе заказал новый, обитый железом сундук, с особым запором.

«Не видать мне теперь моего сундука», — подумал меняла и хотел уже выйти из арки, чтобы продолжить путь. Но тут он услышал тихие шаги и юркнул обратно.

Мимо прошел человек с книгой под мышкой — не то мулла, не то ученик медресе, а может, и писец. По тому, как он крался за стражниками, уведшими несчастного Махмуда, догадливый меняла смекнул, что у него в этом деле свой интерес.

«Да, лихие наступают времена», — вздохнул про себя меняла, и, когда стихли крадущиеся шаги в переулке, посох его снова застучал по растрескавшейся от сухости и жары каменной глине.

В мир пришел я, но не было небо встревожено.
Умер я, но сиянье светил не умножено.
И никто не сказал мне — зачем я рожден
И зачем второпях моя жизнь уничтожена?

*Омар Хайям*

## Глава двенадцатая

Улугбек не спешил. Поредевший отряд его далеко растянулся по дороге. Чтобы дать отдых своему ахалтекинцу, он пересел на вороного араба. Высокое, обитое сафьяном персидское седло с острой лукой, ковровый чепрак и серебряная чеканная сбруя — последние отличия повелителя Мавераннахра от любого из его нукеров. А так все, как у них: пропыленная одежда, черное от грязи и копоти лицо.

Почему не спешил Улугбек, когда в любую минуту враг мог отрезать ему дорогу к последней крепости? Почему резвый скакун мирзы шел шагом, а не летел рысью, почему боевые кони воинов неторопливо и мерно мотали головами, словно водовозные клячи?

Кто знает...

Быть может, усталые люди дремали в седлах, а мирза хотел дать им хоть такой недолгий и обманчивый отдых? Или хотел он, чтобы отдохнули кони, которые тоже устали скакать?

Но вернее всего, что просто оттягивал Улугбек неизбежный конец невеселого этого бегства. Сердцем уже не верил ни во встречу с Камилем, которому послал приказ идти к Шахрухии, ни в саму Шахрухию... Что эта крепость без войска Камиля? Она не выдержит долгой осады и падет, а то еще и выдаст его, Улугбека, врагам, чтобы спасти свои стены.

Остановились у колодца с мутной солоноватой водой. Сначала напились сами, потом стали поить лошадей. Улугбек слез с коня и, чтобы немного размяться, решил пройтись. Сквозь поредевшие ветви саксаула виднелись серые холмы какого-то заброшенного городища.

Ветры обнажили кое-где цветные черепки, редкие бусины из бирюзы и сердолика. Шест с посеревшим от времени белым флажком указывал святое место. В проломах куполов колыхались сухие метелки тростника, среди осыпавшихся стен бегали черные, как камни пустыни, бескрылые жучки. Известковые шары скарабеев. Пыльные ящерицы, исчезающие вдруг в бесчисленных дырах и трещинах.

Вот где по-настоящему запахло безнадежностью. Когда-то кипела здесь жизнь. Люди пекли лепешки, враждовали, молились, укрепляли стены. Но пришел их час — и все исчезло. Они ушли и унесли с собой свой маленький мир. Но что-то осталось, пережило их и теперь медлительно и сонно умирает под солнцем, ветрами и редким, очень редким дождем.

Из-под камня, на который ступил Улугбек, сонно вытекла черная мутная струйка и пропала в колючих кустах. И только шорох, печальный и тихий, остался в ушах.

— Осторожно, отец! Змея! — испуганно крикнул царевич.

Улугбек обернулся. Оказывается, Абд-ал-Азиз тихо следовал за ним в этой странной прогулке по серым холмам, которые постепенно обретали черты гениального хаоса мертвой природы.

— Не бойся, мирза. Змеи жалят, если на них наступают ногой. Они не устраивают засад и не выпрыгивают из тайных укрытий. Змеи просто уходят, когда их потревожат, не вступая в борьбу ни из-за жилища, ни из-за земли. Но когда мы уйдем, эта змея возвратится на свое место. Она просто умеет ждать, мирза... Пойдем назад. Пора ехать и надо спешить. Смертным не дано возможности оттягивать встречу с судьбой... Вели подтянуть подпруги и проверить оружие, мирза. Нам не уготовано право увидеть заранее даже песчинку из тех строений, которые небо выстраивает на нашем пути. Так будем же готовы ко всему. Пойди, распорядись...

Абд-ал-Азиз поклонился и сбежал с осыпи, бывшей когда-то стеной городища.

Что-то приоткрылось вдруг в сознании Улугбека, но сейчас же захлопнулось, и он не успел даже понять, что это было. Может быть, приблизился он в тот миг к пониманию смысла тех неумолимых законов, по которым создаются и рушатся города? Или был близок в отгадке той

жестокой и однообразной шутки, которой вот уже столько веков забавляется небо?

Просто что-то мелькнуло и тут же исчезло, потому что мысли исчезают, как озера и пальмы, которые возникают вдруг в пустыне перед изумленными глазами караванщиков. И тут же пришли на память строфы Хайяма, о котором все чаще и чаще думал теперь Улугбек:

Звездный купол — не кровля покоя сердец,
Не для счастья воздвиг это небо творец.

И тот протест, который рос и крепнул в его сердце, вырвался на свободу. Почему он должен ехать в ту безнадежную крепость? Почему он должен сражаться за царство, которое уже потерял и которого, если признаться честно, ему не очень и жаль? Может, проститься сейчас с войсками, одарить сотников и распустить их всех по домам? Взять только нескольких провожатых и отправиться вместе с Абдал-Азизом за «сокровенной тетрадью», в которой спрятал Омар Хайям великие и страшные истины.

Он думал о том, постепенно освобождаясь от оболочки привычных забот правителя, и мир вокруг ширился и расцветал ярчайшими красками. Все, что казалось раньше недоступным и далеким, манило неожиданной близостью, испарялись запреты, спадали засовы неотложных государственных дел, и тайные желания, запрятанные в темные закоулки души, медленно выходили на свет, недоверчиво щурясь и принюхиваясь к непривычной свежести распахнутых горизонтов.

Но где-то, словно был он одновременно и самим собой, который стоял здесь и думал, готовя решение, и кем-то другим, посторонним, следящим за всеми метаморфозами этой мятежной души, но где-то, знал Улугбек, что сядет сейчас в седло и поведет свое войско в последний поход.

Тот, посторонний, следящий, думал еще о садах Баги-Мейдана, о математиках и астрологах, о шалаше в винограднике, о Звездной башне и таблицах, в которых разгадана тайна тысячи неподвижных светил.

Что станет со всем этим?

И этот вопрос отозвался тоскливым эхом в сердце того Улугбека, который готовился вновь стать Мухаммедом-Тарагаем, ответственным перед Аллахом только за тело и душу, что некогда от него получил. Сразу сузился мир, померкли слепящие краски и бесцветное небо степное упало, как занавес, вокруг мирзы. Исчезла раздвоенность, стал он вновь государем, ответственным за всю страну, которую терял, и за эту горстку не бросивших его в беде людей.

Но мятежный порыв, но чувство почти животного стремления к свободе все же разбудили запрятанные в голове слова Хайяма:

...Ведь купол звездный —
Он тоже рухнет. Не забудь о том.

С мстительной радостью повторил Улугбек в душе эти кощунственные, бунтарные слова. И, как волшебный талисман, как кольцо Сулеймана, открыли они стареющему мирзе тайну жизни, тайну тайн, которую искали и вечно будут искать поэты и звездочеты.

И необъятное ночное небо с неисчислимыми глазами далеких звезд вдруг стало как бы равным городищу, забытому среди степей. Оно не вечно. Его устои рухнут когда-нибудь, как эти стены, которые осыпались и стали пылью, неразличимой, первозданной пылью, из которой неведомый гончар налепит новых кирпичей. И даже знать не будет о том, что глина в его руках когда-то жила иной, теперь забытой жизнью. Не это ли извечный и единственный притом закон природы?

Всему обозначены пределы жизни, но из смерти опять родится жизнь, хотя и не дана ей память о прошлом... А небо? Небо, которое нам посылает утраты, горести, которое обманывает нас! Да, даже это небо само подвластно своему закону, и однажды звезды обрушатся и превратятся в пыль! Вот мы и сравнялись, небо... Подумать только, смертный, затравленный старик проведал твою судьбу. Он своей судьбы еще до конца не знает, а твою проведал и увидел, что в итоге она не лучше, чем его судьба. Какая разница тогда меж нами? Кто выше, а кто ниже?

И еще одно было дано Улугбеку судьбой в ответ на его кощунственный вызов. Он понял в этот миг, какая тайна скрывалась в «сокровенной тетради» Хайяма. Лиловой вспышкой молнии всплыли в ночной черноте его памяти строки:

Не сетуй! Не век юдоль скорбей,
И есть в веках предел вселенной всей.
Твой прах на кирпичи пойдет и станет
Стеною дома будущих людей.

И тут только стала ясна ему тайная связь, протянутая через века, от его сердца к вечно живому сердцу давно умершего поэта. Понял мирза, что Омар Хайям — суфийский философ, богохульник, поклонник женской красоты и хорошего вина, ученейший астролог и еретик — во всем был подобен ему, Улугбеку. Стремлением к истине, мукой сердца и смертной страдой оба они расплатились с небом за тайну, которую вырвали у него на закате жизни.

Но сразу сомнение холодным змеиным телом проскользнуло в разгоряченную душу Улугбека.

Разве вырвал он эту тайну у неба? Разве, если взглянуть на все это как-то иначе, не выйдет, что оно само даровало ее? А может, вернее всего будет сказать, что небо вообще не дарует и не сохраняет никаких тайн. Оно равнодушно к человеку. В нем нет ни добра, ни зла.

Людям самим дано постигать высокие и страшные истины. И каждый, наверное, приходит к той разгадке великого круговращения мира, которая далась Хайяму и вот теперь ему...

Но нет, не каждый. Только мятущийся, пытливый ум, только умеющий страдать и знающий любовь к тому приходит. Нет, далеко не каждый! Тут мало только чувствовать и недостаточно только понять. Все должно стать ясным, как первозданные истины, которые ребенок получает в день прихода в мир: мать, отец, земля, небо и солнце.

Все приходит и уходит, исчезают царства, и религии рассеиваются, как туман. Вечен лишь круговорот природы. И может быть, вечны поиски истины.

Улугбек вернулся к колодцу, велел перенести свое седло на отдохнувшего ахалтекинца. Сел с помощью сына и сотника на коня и дал приказ сниматься.

До Шахрухии оставался один переход. Его прошли на рысях.

Как только со стены арка увидели Улугбека, сразу же ударили в барабаны, тонко и хрипло запели трубы. Гостеприимно распахнулись ворота крепости.

Но запах человеческого жилья, свежего хлеба и осеннего горького дыма не мог забить ту слабую и настойчивую струйку, которая вот уже три дня тревожила всех. Не исчезало ощущение безнадежности.

И может, оно да еще особое, непередаваемое чутье, которое обретают хорошие воины в трудных походах, спасло на этот раз Улугбека.

Когда он вместе с Абд-ал-Азизом и ближайшими нукерами проехал сквозь строй копейников в гостеприимно распахнутые ворота, охранявшие крепость стрелки вдруг бросились с башен вниз, к боковым внутренним аркам. Но прежде чем застигнутые врасплох поняли, что происходит, и прежде, чем копейники успели перерезать входящую в крепость колонну и захлопнуть ворота, в бой вступили тревога и настороженность. Это они скомандовали рукам Улугбековых нукеров выхватить сабли и натянуть удила.

И за миг до того, как Абд-ал-Азиз крикнул слово «Измена!», проникшие в крепость поворотили коней и стали полосовать саблями спины закрывавших ворота копейников.

Те же, кто остался снаружи, пустили стрелы в сбегавших со стен лучников.

— Измена! — крикнул Абд-ал-Азиз, и сабля его снесла полчерепа какому-то из шахрухийцев.

Но были в тот миг они уже у ворот. Стремительно поворачиваясь к этим воротам, Улугбек поднял коня и, добавив к удару сабли всю его тяжесть, наискосок рубанул кого-то по голове и плечу. Другого копейника он сбил конской грудью, а третьего — уже у самых ворот загородившего ему путь — ткнул острием сабли прямо в лицо.

Так вырвались они из крепости, в которой подстерегала их всех та же измена, от которой уже давно, повсюду, где бы они ни были, провонял воздух.

Начальник и этой цитадели, мамлюк Ибрахим, сын Пурада, оказался предателем.

Какое-то время скакали, разгоряченные, прочь от коварных ворот, потом сдержали коней и, собравшись все вместе, широким крылом двинулись обратно. Хотели, сгоряча, взять эту крепость, растоптать и обезглавить всех сидящих за ее стенами изменников.

Но тучи стрел полетели им навстречу. Стрелы падали, вздымая облачка пыли, далеко еще от копыт передних коней. За той свистящей пылевой дугой они обещали смерть многим из тех, кто летел сейчас к крепости. И смерть эта пришла бы прежде, чем остальные доскакали до стен. А что им там делать, у этих утолщающихся к основанию зубчатых стен без таранов и лестниц, без крюков и огненных смоляных горшков, которыми нападающие забрасывают осажденных?

И велел Улугбек поворотить коней и уходить прочь от предательских стен.

А мамлюк, начальник Шахрухии, топтал ногами раненых и павших своих воинов, рвал бороды невредимых...

Не смогли захватить дети греха кафира, который так доверчиво первым въехал в крепость. Разжирели бездельники, стали неповоротливыми, как каплуны. А теперь он ушел и унес с собой ваше, трусливые шакалы, счастье, обещанную вам за него награду унес.

И этих каплунов, этих шакалов начальник ненавидел сейчас едва ли не больше, чем Улугбека, которого пытался предательски захватить.

Черной точкой вдали был виден уже конь Улугбека. Это уходили в степь от начальника большой сад под Самаркандом, доходная должность и титул ильхана[1]. И как оправдаться перед мирзой Абд-ал-Латифом, что не смог пленить Улугбе-

[1] Ильхан — владыка народа.

ка, проворонил... А если, сохрани нас Аллах, этот кафир опять утвердится в Самарканде? Что тогда?

Но о том даже подумать было страшно...

Сам не знал Улугбек, куда ехал, куда вел за собою людей. Надо было заехать в какой-нибудь кишлак, чтобы они отдохнули, поели как следует, взяли с собой запас воды. А там что? Что потом?

Вокруг лежала ровная степь, впереди темнела полоса щебневой пустыни, в бледном небе вставали голубые и ослепительно белые острые тени далеких гор.

У трех старых раскидистых ив, выросших на излуке мутной стремительной речки, остановились на ночлег. До сумерек было еще далеко, но все измотались уже до предела. Притом некуда было спешить.

Натянули войлочные палатки, поставили охрану, разожгли костры, на которые пошли ветви ив. Но топлива было мало, и костры скоро угасли.

Ночь выдалась холодная. В морозной ее тишине часто слышался шум — то, наверное, шумела река — и дальний топот коней. Но охрана тревоги не подавала, и никто не хотел вылезать из тепла.

А рано утром, выйдя из палатки на белую от инея, мерзлую землю, Улугбек узнал, что почти все его нукеры бежали этой ночью из лагеря. Только шесть палаток чернели среди побелевшего поля, только шестьдесят скакунов было привязано к кольям. Хорошо, что не увели за собой всех лошадей.

Спали, укрытые попонами, лошади, растения казались вылепленными из паутины. И такая стояла кругом тишина!

Улугбек глубоко вдохнул льдистый, удивительно свежий воздух. Словно к чему-то прислушиваясь, прищурил глаза и потянул носом. Навязчивый запах исчез. Определенно исчез...

В лагере больше не пахло безнадежностью! И Улугбек осознал, что отныне у него нет армии. Люди, над которыми висела его звезда, ушли, и он предоставлен теперь собственной судьбе.

Он решил ехать в Самарканд, чтобы объясниться там с мятежным сыном своим мирзой Абд-ал-Лятифом. По пути хотел посетить Баги-Мейдан и собрать своих астрологов, а то как бы не приключилось с ними беды. Уж для них-то он сумеет — выговорить свободу и неприкосновенность. А еще, конечно, хотел заглянуть в тот виноградник, в последний раз, верно.

А там... что выйдет... Все зависит от того, насколько сумеет он убедить Абд-ал-Лятифа. Пусть мрачный изувер, фанатик, но сын все же... К тому же он доблестный воин...

Самолюбие его должно быть удовлетворено победой... Но чего он захочет? Даже в детстве желания его для всех оставались загадкой. Никто не знал, чего хочет на самом деле мрачный и молчаливый принц.

По мне, исчезни память об эмире,
Но только бы остался сам эмир
К чему о мертвом память? Мертв умерший,
Ушел ушедший, — так устроен мир

*Рудаки*

## Глава тринадцатая

Улугбек вошел в свой Самарканд как мирза, но не как правитель. Ему были оказаны все почести, но улицы, по которым его провезли во дворец, казались вымершими. Только синие кольчуги стражников видел вокруг себя поверженный правитель Мавераннахра.

Во дворце ему отвели специальное помещение, покинуть которое по своей воле он уже не мог. С Абд-ал-Азизом, равно как и с математиками и астрологами, его тоже разлучили, одному только Али-Кушчи дозволялось иногда навещать Улугбека, чтобы сыграть с ним в шахматы. Разговаривать о делах обсерватории, о звездах и ожидающей их всех судьбе было строго запрещено. За этим бдительно следил специально приставленный к Улугбеку мулла, не покидавший его ни днем ни ночью.

Улугбек несколько раз обращался к мулле с просьбой передать мирзе Абд-ал-Лятифу свое настоятельное желание свидеться, но мулла всякий раз отвечал, что ему приказано никуда не отлучаться из этой комнаты. А больше послать к Абд-ал-Лятифу было некого. Прислуживали Улугбеку глухонемые слуги, а его Али приводила и уводила стража.

Но однажды утром, в начале святого месяца рамадана, когда мулла предписал Улугбеку пост, а повар строго предписание выполнил, вошел смуглый сеид в суфийском плаще и, поклонившись Улугбеку, сказал:

— Великий султан, сын султана и внук султана Адб-ал-Лятиф Бахадур, правитель Герата, шлет вам привет и просит вас пожаловать к нему в гости.

Улугбек молча кивнул, гадая про себя, не этот ли сеид с нечистыми белками и есть тот самый калантар, который столь сказочно вознесся при дворе его сына Лятифа?

История не сохранила нам сцену свидания Улугбека с сыном. Известно лишь, что при ней присутствовал сеид мирзы Абд-ал-Лятифа и, короткое время, писец, за которым послали уже в самом конце.

Когда Улугбек вышел наконец из покоев сына, которые еще недавно были его покоями, был он, может быть, лишь немного бледен, но держал себя, как обычно, спокойно и просто.

Когда же вечером к нему допустили Али, он сказал своему любимцу, не обращая внимания на муллу:

— Я только что подписал отречение в пользу сына своего, мирзы Абд-ал-Лятифа. Но всем вам я выговорил прощение и безопасность. Через три дня все вы сможете покинуть этот дворец, чтобы уехать в другие города или остаться здесь. Прощай, мой сокольничий, и простись от меня со всеми. В ближайшие дни отправлюсь в Мекку замаливать грехи. Мне нечем наградить тебя за верную службу. Возьми себе «Зидж», просто на память, и молись за меня. Только не медли с молитвами, они мне помогут на трудном пути, пока священная земля пророка не облегчит мои грехи. Ты понял меня?

— Понял все, государь. В эту же ночь святого для мусульман месяца я начну молить за вас Аллаха. — Он пал ниц и поцеловал пыль у ног Улугбека.

Тот поднял его, поцеловал в глаза и тихонько толкнул от себя:

— Ты у меня в груди. Иди!

И вспомнил Али тот радостный пир в Баги-Мейдане, когда пел мирза под рокот дутара:

...Внемли зову мысли
И песне у меня в груди! Приди!

И, плача, покинул он своего повелителя. Той же ночью Али-Кушчи бежал из дворца. И в ту же ночь в дворцовой мечети в полном составе собрался священный совет. Все главные муллы Самарканда, Герата и Бухары сошлись на встрече, мударрисы святых медресе, улемы и шейхи. Председательствовал гостивший в Самарканде Ходжа Ахрар — святой шейх всемогущего братства накшбенди. По левую руку от него сидел всевластный сеид нового властителя Мавераннахра, великого амира гератского Абд-ал-Лятифа. Были там и другие высшие мюриды — накшбенди, приехавшие вместе с Ходжой Ахраром из Ташкента благословить Абд-ал-Лятифа на долгое и счастливое царствование.

Утром было объявлено, что священный совет одобрил решение мирзы Улугбека Гурагона передать правление законному наследнику — старшему сыну мирзе Абд-ал-Ля-

тифу Бахадуру, а самому совершить священный хадж в Мекку.

При этом мирзе рекомендовалось, дабы не рассеять благочестивого сосредоточения, не брать с собой никого из тех, кто может отвлечь его суетными разговорами о науках, походах или управлении страной, от мыслей о Боге и душе.

Кроме того, святые шейхи, муфтии, мухтасибы и мударрисы выразили пожелание, заботясь о душе мирзы Улугбека Гурагона, чтобы оный мирза семь раз прочел на пути в священную землю все сто четырнадцать сур Корана, памятуя, что вера — лучшая добродетель, а ислам означает вручение себя Аллаху.

Заботясь о душе мирзы Улугбека Гурагона, священный совет выбрал и день, угодный Аллаху, в который мирзе надлежит покинуть Самарканд, и день этот приходится на десятое число месяца рамадана 853 года пророческой хиджры.

Как и положено паломникам, мирзе надлежит покрыть левое плечо, грудь и спину ридой и иметь с собой все, что надобно для салята: саджад, четки и сосуд для омовений.

Кроме пяти канонических молитв и добавочной вечерней молитвы по случаю рамадана, мирзе Улугбеку Гурагону предписывается еще тахара[1], в том числе и таяммум[2].

Исполнив таслим[3] в пути и совершив все положенные очищения и молитвы, мирза Улугбек Гурагон по воле Аллаха прибудет на священную землю. На священной земле паломнику Мухаммеду-Тарагаю предстоит облобызать все четыре угла святой Каабы: иракский, сирийский, йеменский и черный, трижды поцеловать священный черный камень у черного угла, а также совершить паломничество со всеми необходимыми для этого обрядами к могиле пророка нашего Мухаммеда в священной Медине и святым местам Мекки, Мины, Сафы и Марвы.

Возвратится же в родной Самарканд мирза Улугбек Гурагон со священной реликвией — лоскутом кисвы[4]. В спутники же ему дан был благочестивый мусульманин Ходжа Мухаммед-Хосрау, совершивший уже святой хадж.

Обо всем этом во всеуслышание объявили во дворце и в самом Самарканде, ибо народу надлежит знать, какой теперь над ним правитель и какая судьба постигла правителя прежнего. И народ радовался, что вместо нечестивого кафи-

---

[1] Тахара — очищение.

[2] Таяммум — очищение песком.

[3] Таслим — предание себя Богу.

[4] Кисва — черная одежда Каабы.

ра в Самарканде воцарился теперь новый, благочестивый амир. Нравилось людям и то, что, хотя порок заслуживает сурового наказания, с Улугбеком обошлись почтительно и мягко. Ибо должен сын чтить отца своего, кем бы тот ни был. Радовались и за самого Улугбека, что вернулся он в лоно ислама и спасет свою душу, совершив хадж.

И как-то само собой решено было разрушить нечестивое сооружение на холме Кухек, который на самом деле — вдруг об этом узнал весь Самарканд — есть место погребения сорока дев. Каких дев? Почему дев? Об этом не спрашивали. Разве и так не ясно? Место погребения сорока дев... Недаром ислам унаследовал древнюю веру в непорочных созданий от давних домусульманских преданий.

О том же, что младший брат нового властителя Абд-ал-Азиз взят под стражу, народу не сообщили.

Раздобыв у верных людей коня и немного денег, закутавшись в далк — убогое одеяние дервишей, выбрался Али-Кушчи из города. Нет, не так выезжал он из этих ворот еще месяц назад. Вместе с любимым своим повелителем, вместе с другом, уздечка в уздечку, пролетал он мимо почтительных стражников, целовавших следы благородных коней. А теперь, выкрасив бороду хной, лицо намазав растительным соком, отчего оно стало серым, как от навсегда въевшейся в поры пыли, робко заплатил он пошлину и на поводу вывел коня из ворот.

— Не украл ли? — спросил его стражник. — Больно хорош такой конь для нищего брата.

Хорошо, что вступился другой.

— Оставь божьего человека в покое... Иди себе, странник, иди! — И тихо шепнул товарищу: — Хочешь прослыть богохульником? Голове не сидится на шее?

И подумал Али, что лихие дни настали для Самарканда, очень лихие.

Он поехал знакомой дорогой, вопреки воле сдерживая коня, ибо некуда торопиться дервишу, у которого в запасе целая вечность. Но сердце Али торопилось, и память его неслась по дороге, обгоняя медлительный шаг коня.

Лишь у знакомой чайханы он проехал как можно быстрее, низко опустив голову, как бы погруженный в молитвы. И толстый чайханщик его не узнал и не стал зазывать в чайхану. Зачем ему нужен дервиш, который бесплатно поест да, того и гляди, потребует денег на Бога?

Никому не мог довериться Али-Кушчи: ни слугам Баги-Мейдана, ни сторожам Звездной башни, ни садоводам, ни гуриям — никому. Привязав коня под чинарой, он осторож-

но забрался в сад. Прокрался в уединенную беседку, стараясь, чтоб не увидали из окон китайского павильона, затаился там в углу. Только дождавшись ночи, Али-Кушчи направился к башне.

Черной громадой смутно виднелась она в ночном осеннем небе. Он знал здесь каждый камень, каждый завиток глазури. Только через дверь можно было проникнуть в башню. Потому и пришлось ему постучать по медным скобам тяжелым медным кольцом. Казалось, вся ночь встрепенулась от этого стука, где-то забрехала собака, спросонья затрепыхалась какая-то птица под самой крышей. Лишь в самой башне все было тихо. Али налег на дверь плечом, но она даже не скрипнула. Тогда он опять постучал кольцом о скобу. Особым стуком, который знали все астрологи, приходившие сюда по большей части ночью. Услышав этот стук, сторожа стремглав бросались к двери. Ведь сколько раз бывало, что так стучал сам мирза.

— Кто это стучится? — спросили глухо из-за двери. — Не велено впускать.

— А ну открой, не то я прикажу, чтоб выломали дверь! — грозно сказал Али. — Кто не велел впускать? Ты что, не узнаешь? — Он нащупал костяную ручку ножа.

— Как можно, господин, как можно, — залепетал сторож. — Я сразу узнал вас, сразу! Но я маленький человек, не велели пускать, вот я и не пускаю.

— Кто не велел?

— Новый амир.

— Он что, приезжал сюда и лично тебе приказал никого не впускать. Так, что ли?

— Шутите, господин! Виданное ли дело! Молодой мирза послал сюда своего сеида, который вызвал к себе господина управляющего, а уж господин управляющий...

— Замолчи, дурак! Виданное ли дело, говоришь? Что, уже забыл то время, когда сам великий мирза снисходил до разговора с таким червем, как ты? Виданное ли дело! Быстро приспособился к новым временам! Наш Улугбек еще правитель Мавераннахра, и именем его я требую открыть мне!

— Я маленький человек, — захныкал сторож. — Что велят, то я и делаю. Один говорит: не впускай, другой говорит: впускай. Кого слушать? О Аллах! И все грозятся... Ну что тут будешь делать? Как уберечься?..

— Еще одно слово, вонючий ишак...

— Сейчас, господин, сейчас.

Лязгнул засов, и дверь приоткрылась. Красноватая полоска брызнула под ноги Али. Он оглянулся в темноту и тихо, но внятно приказал воображаемым спутникам:

— Всем оставаться на местах и никого не подпускать сюда.

Затем толкнул дверь и, вырвав у старика лампу, велел ему идти наверх и оставаться там до тех пор, пока его не позовут. Когда смолкли шаркающие по винтовой лестнице шаги, Али осторожно прокрался в худжру Улугбека.

Поставил лампу на пол и набрав полную грудь воздуха, рванул со стены исфаганский ковер. В носу защекотала пыль. Али чихнул и, отмерив от пола около трех локтей, сунул нож в трещину и осторожно нажал.

Бесшумно отвалилась дверца тайника. Али пошарил в провале рукой и облегченно вздохнул. «Зидж» был на месте.

Благоговейно вынул из тайника Али-Кушчи этот великий труд, завещанный ему повелителем. Как смотрел тогда мирза на своего сокольничего! «Только не медли с молитвами!» Нет, он не промедлил, он не опоздал, он здесь, чтобы спасти и сохранить беспримерное сокровище человеческой мысли.

«Зидж Гурагони», «Новые гурагонские астрономические таблицы».

Али благоговейно вынул рукопись и поднес ее к фонарю. Быстро перелистал. Вот способы летосчисления народов земли: эра пророка, греки, эра Ездигерда, соотношения разных систем, эры Джалаледдина, уйгур и китайцев, о праздничных днях... Вот таблицы, примеры вычислений, наставления, как мерить высоту звезды и расстояния на небе, как определять дни затемнения светил... Вот наука о том, как звезды определяют наши судьбы, вот цифры, по которым в урочный час на небе можно найти любую из известных звезд...

Все, все на месте. Но не может удержаться Али-Кушчи! Перевернув, он снова раскрывает книгу и, пропуская вводные страницы, читает. И как будто слышит голос Улугбека:

«Мусульмане ведут счет месяцев хиджры от одной новой луны до следующей за ней новой луны, этот промежуток времени не превышает 30 дней и никогда не бывает меньше 29, так что можно считать попеременно четыре месяца по 30 дней и 3 месяца по 29 дней без всякого остатка, двенадцать месяцев образуют один год, годы и месяцы по этому способу являются истинными, лунными. Астрономы считают, что Мохаррам содержит 30 дней, Сафар — 29 дней, и так далее до последнего месяца года, но только на протяжении 30 лет месяц Зульхиджа одиннадцать раз исчисляется в 30 дней. Добавочный день вставляется в годы: 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26 и 29-й, и эти одиннадцать лет, называемые високосными, заключены в следующих трех словах...»

— Господин, господин! — вдруг слышит над собой Али, поспешно хватает нож и, резко обернувшись, видит испуганного сторожа.

— Как ты посмел?..

— О, господин! Сюда идут!

Али захлопывает «Зидж» и прячет за пазуху. Потом вставляет на место крышку тайника.

— Если скажешь хоть слово о том, что видел... — Схватив старика за халат, он притягивает его к себе.

— Сюда идут! — шепчет сторож, и выпученные глаза его становятся похожими на крутые яйца.

— Молчи, старик!

Али сбегает вниз по лестнице и осторожно приоткрывает дверь. По трем аллеям качаются огни. И слышен шум и рокот. Неповторимый страшный голос подступающей толпы.

Он тихо выбирается наружу и прячется в ночной тени. Прижавшись спиной к холодным изразцам, обходит башню и, оказавшись по другую сторону, бросается в колючие кусты. Весь исцарапанный, в разорванной одежде, прислушиваясь к грохоту и шуму, он спешит из сада к той чинаре, где мерно жует какие-то травинки его конь.

Уже далеко от Баги-Мейдана, по дороге в Персию, увидел он красное зарево над холмом Кухек.

Кому чужая по сердцу жена,
Того погубит ложная услада:
Как сахар, вкусной кажется она,
Но этот сладкий сахар полон яда.

*Кабир*

## Глава четырнадцатая

Как быстро все переменилось в этой виноградной ложбинке. Откуда взялись эти желтые и красные пятна кругом, прозрачность какая-то, легкость. Словно в преддверии иных времен застыли просветлевшие сады. Неровными волнистыми углами тянулись птичьи стаи. Сквозь влажный шелк латунных листьев проглядывали устремленные в бесцветную даль утреннего неба ветви и старые ивовые корзины пустых гнезд. В пазухах листьев стыли капли холодной росы, словно не было сил пролиться на землю. А она пахла уже влажной далью, точно тайно холодными ночами успела высосать небо.

Та же тусклая просветленность ощущалась и в шалаше, как будто могла, словно крона живого дерева, поредеть и расшириться облегченными ветвями его крыша.

Все, все переменилось на земле. Из садов за арыком еще тянуло гарью. Опустела дорога. Никто не приходил за осенними дынями. Спелые и забытые, грустно мокли они на земле, и только медлительные улитки дремали на их росистых боках.

К полудню солнце разогрелось, и воздух становился волнистым от испарений. Появлялись ящерицы, прилетали какие-то птицы, и земля возвращала украденные за ночь запахи. Откуда-то кисло тянуло виноградным уксусом, паленым кизяком и пылью. Но запах остывшего пепелища не улетал, и лишенные крова голуби приглушенно стонали в садах за арыком.

И так остро и безнадежно было это ощущение всеобщей неотвратимости перемен, что Огэ-Гюль находила в нем грустное утешение. Никто не придет уже в этот шалаш, и незачем больше, откинув покрывало, склоняться над арыком и долго слушать, как булькает и тихо звенит вода в кувшине. И поздние дыни никто не станет срезать. И птицы, наверное, уже никогда не вернутся к своим гнездам.

Ветер шелестел в сквозной листве и продувал шалаш и гнал куда-то бесформенные тени облаков. Все прошло, и незачем было вспоминать. Нет памяти у ветра, и у листа ее нет, когда, тихо кружась, пускается он в неведомый путь, навсегда оторвавшись от милого дерева. Даже птицы, которым Аллах по доброте своей даровал память, не всегда возвращаются в оставленные дома. Может, они пропадают в полете, а может, просто не хотят возвращаться туда, где было им так хорошо, как, верно, уж никогда не будет. Одни не возвращаются, потому что забывают, другие — потому что не могут забыть.

Нельзя вспоминать, иначе ощущение утраты будет длиться, как мучительный сон, от которого невозможно проснуться.

Но тихий шорох, но легкий треск сухого стебля под ногой, но тень, вдруг закрывшая вход. Неужели такое возможно?! Горячая кровь бросается к голове, и сердце колотится прямо о ребра. Неужели возможно?..

— Не пугайся, прекрасная госпожа! Я всего лишь божий странник и не причиню тебе никакого вреда.

И впрямь бродячий калантар. Босой, с кокосовой чашкой и посохом, острым, что твое копье.

— Чего ты здесь ищешь, святой человек? Пройди лучше в дом, тебя там покормят и дадут на дорогу лепешек и денег.

— А ты что делаешь здесь, госпожа? Твое ли это дело, сторожить пустой виноградник? Разве не разгневается твой почтенный супруг, не найдя тебя на женской половине?

— Кто ты?

— Твой друг, Огэ-Гюль.

— Ты знаешь мое имя?

— Я знаю все... Я знаю даже, как некий вознесенный над простыми людьми звездочет спускался сюда с высокой башни наблюдать Зухру — волшебную звезду, чей путь среди неподвижных светил могут проследить только мудрейшие. Правда, моя прекрасная госпожа?

— Чего ты хочешь от меня? Кто ты? Говори, или я кликну слуг.

— Не гневайся, прекрасная ханым. Я не обижу тебя. Скажи мне только, раз уж этот шалаш ближе к небу, чем даже недавно сгоревшая башня, скажи мне, что слышала светлая Зухра, когда проходила в последний раз через созвездие Льва.

— Твои речи темны. Чего ты хочешь от меня, божий странник? Я ничего не понимаю в звездах. Пойди лучше в дом, что стоит внизу за этой горой, и скажи, что госпожа велела хорошо накормить тебя и дать на твои благочестивые дела сотню серебряных теньга.

— Скажи мне только, о чем шепнул Лев утренней звезде перед разлукой, и я...

— Я же ответила, что не понимаю твоих речей, божий странник!

— Смотри, госпожа! Суровы законы звезд. Если Стрельцу станет известно, что путь изменчивой планеты лежал сквозь созвездие Льва... Послушай меня, госпожа! Солнце покинуло Льва, но судьба Стрельца в руках Зухры... Так вот, чтобы звезды Стрельца еще ярче воссияли, поднявшись в самый зенит, а сам Стрелец, не дай Аллах, не проведал о путях Зухры, я должен знать, о чем говорили в то последнее утро Лев и Зухра.

— Они прощались, прощались навсегда, божий странник! — Она кричит, будто опять, как тогда, разрывается сердце.

— Не поведал ли Лев прекрасной звезде о каких-нибудь особых своих намерениях?

— Нет, не поведал. Он отправляется в страну пророка.

— О том знает весь Самарканд, женщина. Не играй со мной, как змея, раздвоенным язычком. И торопись, потому что доблестный бек Камиль, твой супруг и повелитель, скачет сюда! Он уже близко.

— Но я сказала тебе все, что знала!

— Не лукавь, прекрасная госпожа. Если не жалеешь себя, пощади хотя бы мужа своего — сурового, храброго воина. От тебя одной зависит теперь, простит ли его молодой государь. Или ты хочешь, чтобы его объявили мятежником и казнили? Но мало того: подумай, как будут шептаться люди, когда узнают о позоре бека? Чем он заслужил такую участь? А что с тобой потом станет? Об этом ты подумала?

— Зачем ты мучаешь меня, божий странник? Что я сделала тебе?

— Торопись, женщина! Камиль-бек близко. Слышишь цокот копыт на дороге? Сейчас он вылетит из-за поворота, где стоит чайхана. Ну?

— Правитель хочет разыскать тетрадь какого-то фарсидского поэта. В ней будто бы сокрыты все тайны мира... Прости меня, Аллах!

— Аллах простит... Вот, значит, как... Ну что ж, спасибо, госпожа. Ничего не бойся! Молчи сама, и никто ничего не узнает.

И опять неярко блестит серебряное небо в дырке входа. Исчез, как тень. Ни шороха, ни треска сучка под ногой. Но как гремят копыта! Тяжелый, видно, конь... Успеть бы добежать!

Пропыленный, весь расцарапанный, с повязкой на глазу, подъехал Камиль-бек к воротам своего загородного сада. Скакал во весь опор, чуть не загнал коня...

Зачем спешил сюда, когда надо ему бежать из Самарканда, спасать свою голову? Едва пробился сквозь окружение... Собрал кое-как разбитые войска... Потом узнал о Самарканде, о Шахрухии, а там и остальное... Так подальше же от Самарканда! Куда угодно — в Хорасан, Сайрам, Шираз, Курган, Хиву, — но только не сюда!

И все же он здесь...

Огэ-Гюль встречает. Целует стремя. Быстро что-то говорит. А он вместо привета осипшим голосом:

— Он был уже?

— Кто — он?

— Дервиш бродячий был здесь?!

Молчит Огэ-Гюль, зачем-то гладит стремя. И что сказать ей? Что сказать?

— Он был?

Лицо Камиля искажает гнев. И тихо выступает кровь из чуть присохшей царапины под левым глазом.

Как он страшен! И всего страшнее искривленный в крике, но издающий только хриплый шепот рот и черные запекшиеся губы.

— Был. Только что ушел.

— О чем он спрашивал?

Огэ-Гюль кажется, что она отвечает, что-то так горячо, горячо говорит, но на самом-то деле едва шевелит губами.

Вдруг бросается она к мужу, обхватывает пропотевший, насквозь пропыленный сапог и, прижавшись к нему лицом, беззвучно плачет, и спина ее часто-часто дрожит.

Нетерпеливое движение ноги, и стремя больно бьет в плечо. Она отшатывается, закрывает лицо руками, размазывая грязь по щекам и по лбу.

— О чем он спрашивал?

— Он спрашивал... он спрашивал... — Глотая слезы, она шепчет что-то и вдруг кричит: — Что хочет делать мирза, он спрашивал!

И воет, воет, как раненая волчица.

— И ты сказала?

— Что сказала? Что сказала?! Что я знаю? Сказала, что он хочет найти какую-то тетрадь!

Свесившись с седла, Камиль хватает ее за волосы и плетью по лицу. Раз! Раз! Еще раз!

— Дура! Дура! Дура! Предательница подлая! Как ты смела сказать, ты лучше б откусила поганый свой язык!

Три красных полосы по грязному, опухшему от слез лицу. Три жгучих полосы. Наверное, так же вдруг загорелось то пятно на щеке Биби-Ханым, когда Тимур узнал всю правду о том, как строилась его мечеть. Не осознав еще слепящей боли, перехватившей ей дыхание, поняла Огэ-Гюль, что Камиль-бек все знает.

— Дрянь! — Он резко рванул ее за волосы и оттолкнул.

«Но не за то, не за то он ударил меня... За предательство. За то, что я рассказала тому калантару...» — успела подумать она, падая на твердую глину, в нежную, как шагрень, пыль.

А Камиль-бек хлестнул заржавшего и взвившегося коня, ударил его острыми каблуками и понесся, понесся... Куда? Знал ли он это сам? Или, быть может, хотел перехватить проклятого калантара, который только что был здесь, а часом раньше приходил к Камиль-беку послом нового правителя Самарканда. Он предлагал прощение и высокую должность, он посмел... Не будь он расулом, Камиль-бек велел бы привязать его к лошади.

Думал ли он, что страшная казнь эта ожидает его самого, когда, спустя всего только день, шагал в цепях по улицам Самарканда? Может быть, и думал. Он шел, опустив

голову, в толпе осужденных, среди безвестных купцов и мастеровых, сказавших где-то неосторожное слово; недальновидных ученых, промедливших затаиться, дехкан и горстки придворных, которые, подобно ему, сохранили слепую и ненужную теперь верность свергнутому правителю.

Когда их провели по торговой улице, из лавки торговца халвой осторожно высунулись его неизменные гости: рыбник и продавец мантов. Осторожный меняла не пришел, и игра сегодня не сладилась.

— Лихие дни настают для нашего Самарканда, — прошептал продавец мантов, но тут же испуганно оглянулся. Щека его задергалась.

— Ничего! — отрезал жестокий рыбник. — В государстве должен быть порядок. А все эти богохульники с бунтовщиками знали, на что шли. Пусть теперь не жалуются. Каждому — по его заслугам. Чего им не хватало, спрашивается?

— Так-то оно так, — вздохнул осторожный хозяин, — но уж больно налоги повысили... раньше так не было...

— Ничего! — опять сказал рыбник. — Осады, слава Аллаху, никакой не было, и рыба поступает в город беспрепятственно. А свое всегда можно вернуть. Зато порядок!

— А все-таки, за что их? — шепотом спросил торговец мантами.

— Кафиры и бунтовщики! — крикнул рыбник и еще пуще побагровел.

Но тут они увидели в задних рядах кроткого Махмуда-сундучника, которого хорошо знали. Он шел, спотыкаясь, еле волоча опутавшую его чугунную цепь.

— Махмуд тоже, по-вашему, бунтовщик и богохульник? — спросил торговец мантами.

— Может, есть за ним что-то? — неуверенно развел руками рыбник.

— Да-а, такого еще не бывало, — покачал головой хозяин.

— Наш Улугбек был не так уж плох, вот что я вам скажу, — прошептал торговец мантами. — Он добрый был.

— Тише! Всюду полно шпионов, — зашипели на него рыбник и хозяин, и все вместе шмыгнули они назад, в лавку.

А ты, хоть скройся рыбой в глубь морскую,
Иль темной тенью спрячься в тьму ночную,
Иль поднимись на небо, как звезда,
Знай, на земле ты проклят навсегда.
Нигде тебе от мести не укрыться,
Весть об убийстве по земле промчится.

*Фирдоуси*

## Глава пятнадцатая

Вечером десятого дня рамадана с небольшим караваном отправился в Мекку Улугбек Гурагон, бывший правитель Мавераннахра. Только что прошел дождь. Вода в реках вздулась и пожелтела от глины. Сырой и холодный ветер срывал с деревьев листья, гнал тучи пыли и мусора. Раздувал грозно чадящие факелы городской стражи.

Люди укрылись от непогоды в домах. Крепко заперев двери своих двориков, калили под навесом орехи на угольях или пекли лепешки. От яростно гудящего в очагах огня и на душе делалось теплее, а ветер, бегущий по улицам, и мятущиеся в слепом небе мокрые ветки только подчеркивали домашний уют, довольство и безопасность. Недаром и назывался великий город Самарканд «городом безопасности».

В такой унылый и темный вечер, в такую проклятую погоду выехал из Самарканда Улугбек, одинокий, забытый. Только несколько нукеров провожали его, а глухонемые слуги, приставленные еще во дворце, а теперь увозящие его в изгнание, не слышали слов и не могли, если бы и слышали, ему ответить.

Только спутник его — Ходжа Мухаммед-Хосрау — мог один во всем караване слушать и говорить. Но молчал свергнутый государь, видно, не о чем было ему говорить с этим человеком, которого не он выбирал себе в попутчики. Молчал и Ходжа Мухаммед-Хосрау, не осмеливаясь заговорить первым. Никого уже не мог наказать или возвысить мирза Улугбек, но государь — всегда государь, даже лишенный власти и удаленный из своей страны. О чем думал Улугбек, когда ехал по пустым улицам, отворачиваясь от мокрой пыли и сора, летевших ему в лицо? О чем думал он, когда молчаливый его караван выехал за городские ворота?

Кто может знать это, если никому не поведал Улугбек тех, наверное, не очень веселых мыслей? Да и кому ему было поведать их?

Сохранился лишь рассказ Мирохонда, записанный со слов того самого Ходжи Мухаммеда-Хосрау, о том, как встретил

Улугбек свою смерть. О последних же мыслях великого звездочета не знает никто.

«В сырой и холодный день Улугбек выехал из Самарканда вместе с указанным Ходжой, который был дан ему в спутники, — пишет Мирохонд. — Только несколько нукеров сопровождали недавно могущественного правителя. Не успели они утомить в первом перегоне своих лошадей, как их догнал какой-то джагатай и передал предписание — заехать в соседнее селение, где им надлежало получить нужное снаряжение, подобающее Улугбеку, чтобы достойно отправиться в путь».

Вот и все. Вот и кончено все для тебя. Жизнь проносится перед глазами. Оживают тени мертвых, когда-то любимых тобою, оживают тени врагов, приходят друзья, и нельзя уже отличить, кто из них умер, а кто просто уехал в другие края. И все они здесь, все беззвучно с тобой говорят, и каждому мысленно ты успеваешь ответить. Припоминается то, что казалось навеки забытым, и волнующие картины жизни проплывают перед глазами такими, какими они были на самом деле и какими могли только быть, поступи кто-то иначе. Так ясно и красочно видится несбывшееся, словно действительно было оно, и опять же нельзя отличить то, что случилось, от того, что случиться могло.

И так увлекателен этот поток, так правдоподобен, что волнуется сердце бедой, которой давно нет, и радостью, которая двадцать лет как прошла. Так увлекателен этот поток, что не видно дороги и тусклых огней в недалеком селении, не слышно бормотания вздувшегося арыка. Едешь и едешь, не зная куда, невидимый сам для себя, свои рассекаешь видения, а они все плывут и плывут сквозь тебя, это годы плывут сквозь минуты.

Мы умираем раз и навсегда.
Страшна не смерть, а смертная страда.
Коль этот глины ком и капля крови
Исчезнут вдруг — не велика беда.

Бедный Хайям... Когда ты писал так, не дано тебе было почувствовать, какова она, смертная эта страда. Когда же пришла она к тебе, ты не мог уж писать. И никто не знает, как подступает смерть к человеку, пока не приходит его черед умирать, а там уж некогда и некому рассказывать.

И затосковало, заколотилось сердце от близости той непонятной минуты, когда кончается и исчезает все.

Въехали во двор какого-то дома. Хозяин вышел с лампой встречать гостей. Помог мирзе слезть с лошади. Улугбек огляделся. Словно пробудившись от долгого сна, пристально

смотрел на коновязь и кошму с подушками, покосившуюся арбу и корыто с клевером. До тех пор смотрел, пока сущность и назначение всех этих забытых вещей не начинали проясняться в его голове. Он немного успокоился и собрался даже пойти осмотреть худжру, в которую хозяин дома хотел поместить высокого гостя.

Было холодно. Улугбек попросил затопить очаг и сварить мясо. Выстреливший из пламени уголек упал на его плащ и прожег черную дырку. Улугбек грустно взглянул на огонь и, обращаясь к его живой душе, произнес на тюркском наречии:

— Сен хем бельдин[1].

Все изменяло ему в мире. Даже огонь.

Послышался конский топот. Хозяин опять выбежал во двор с фонарем, видно, ждал еще гостей и спешил указать им свой дом. Значит, так было нужно, потому что если бы те, кто скакали сейчас сюда, побывали здесь раньше, то нашли бы дорогу и теперь. Но, видно, никогда они здесь не бывали...

Дом стоял у самой дороги, и через двор его протекал арык. У арыка и повесил хозяин фонарь, который тихо закачался под ветром. Красным прерывистым копьем ушел в черную воду неровный отсвет. А с дороги, наверное, показалось, что над невидимой глинобитной стеной кто-то стал раздувать уголек.

Топот усилился. Вот уж у самых ворот застучали подковы. А вот Улугбек и увидел в них первого всадника. И когда разглядел его, то сразу все понял. В красноватом и хмуром свете различил он широкие скулы, тени ввалившихся щек, косые прорези глаз, низкий лоб, надбровные мощные дуги и губы, которых никогда не удлиняла улыбка.

Вот кого, значит, избрали они... Аббас! Суфийский фанатик и сын фанатика. Его отцу отрубили голову на самаркандской площади.

Редко казнил Улугбек. Чаще наказывал плетью и палками. И в тот раз, хоть и бесспорны были доказательства ужасного изуверства и гнусной измены, он пожалел заговорщиков. Только их главаря разрешил обезглавить мирза, остальных же помиловал, в том числе старшего сына казненного — молодого мюрида Аббаса.

Долго искал Улугбек хоть искру мысли в ненавидящих этих глазах, хоть блестку простой человечности в этом тупом озлоблении. Он отпустил Аббаса, про себя пожалев его

[1] Ты тоже узнал.

за то, что в непроглядной темноте ощупью бродит душа этого человека, что ей незнакомо сомнение и неведома жалость.

И опять, как тогда, подивился мирза, до чего беспросветной, убогой и низменной была эта ненависть. И вот теперь снова этот бессмысленный взгляд, за которым ничто, только вечная ночь, встретил Улугбек.

Медленно попятился назад Улугбек, под тень навеса. Его люди куда-то попрятались. Он был один против Аббаса и четырех его дюжих мюридов. Стоял и ждал своего часа, не вытащив даже кинжала из ножен. Аббас подступал, играя свернутой в кольца веревкой.

Аббасовы люди спешились и, не привязав лошадей, сразу кинулись на Улугбека. Молча, не сопротивляясь, дал он себя связать. Он все знал, ни на что не надеялся и не думал бежать из этой последней ловушки, от этой последней измены.

Но вдруг, не помня себя, бросился на убийцу и ударил его в грудь слабым старческим кулаком. Один из мюридов сдержал поверженного государя и сорвал с его плеч дорогую алтайскую шубу.

Его выволокли из-под навеса под тусклый кровавый свет фонаря. Потащили к арыку. Поближе к тому фонарю.

— Оставьте его, я сам, — сказал Аббас и стал расстегивать чекмень. Он толкнул Улугбека, и старый правитель упал на песок, как подрубленный кедр — руки его уже были крепко привязаны к телу. Аббас поднял его, словно куклу, и сам усадил над водой, прямо под фонарем.

Увидел Улугбек, как большие короткопалые руки расстегнули чекмень и сошлись у резной рукоятки. Он увидел, как из кожаных, изукрашенных медными бляшками ножен выполз клинок. Красный свет заиграл в его зеркале, засверкала на нем золотая арабская вязь, а он все вытекал, все тянулся из ножен прямо к небу. Но качнулся и меч, и чекмень, все ушло в сторону. Сопение Аббаса уже слышалось сзади.

Поднял глаза Улугбек. Может, хотел в последний раз попрощаться со звездами, может, увидеть хотел поднятый меч... Но красная тьма фонаря ослепила ночное небо, да и было оно все в мокрых, отороченных рваными волокнами и несущихся куда-то облаках.

«Вот оно... пришло... Сейчас все исчезнет. И не страшно совсем...»

— Гх-ха! — грозно выдохнул Аббас, и обезглавленное тело свалилось в арык.

Как будто бы не было непосредственных свидетелей убийства, но весть о нем быстро облетела Мавераннахр и сопредельные с ним страны и города. Из уст в уста передавалась она. Все узнали и имя убийцы, и страшные подробности самого убийства. Словно в ту ночь у арыка, под фонарем, кроме палача и жертвы, стоял еще кто-то невидимый третий.

Узнали и то, что происходило на тайном священном совете.

Нет, не о том, чтобы отправить Улугбека в святое паломничество, шла там речь. Даже не о судьбе Улугбека, ибо была она давно решена. По всем законам святое собрание составило фетву — писаное мнение религиозных авторитетов, а в данном случае обоснование убийства.

Вся жизнь и деятельность Улугбека были расценены как страшный ходд — преступление, наказуемое Кораном. И сколько ни справлялись со святой книгой, на все она давала только один ответ, только одну укубу[1] готовил Коран кафиру-мирзе — смерть.

И высший мусульманский духовник, дающий фетву муфтий, ишан братства накшбенди Ходжа Ахрар осудил Улугбека на смерть. И все мударрисы, улемы и муллы, присутствовавшие на высоком совете, согласились с ним и приложили к фетве свои печати.

Народ не сохранил в своей памяти нечестивые имена этих убийц. Но от отца к сыну передал он имя кадия[2] Шемс-ад-дина Мухаммеда Мискина, отказавшегося скрепить незаконный приговор. Хоть и часто поругивал он отступника-государя за святотатство, но несправедливый приговор скрепить не пожелал.

Абд-ал-Лятиф не присутствовал на этом совете. Ему не полагалось там быть, ибо не носил он священного сана. Да и государем, по закону, вовсе не он считался. Как и во времена Тимура, который по форме был лишь тенью какого-то нищего чингизида в ханском достоинстве, нашли очередного высокородного побирушку, коего и нарекли ханом. По наущению Лятифа, перед новым владыкой преклонил колени мрачный полуидиот, чей отец был убит по приказу Улугбека, сверженного амира Мавераннахра. Сын просил теперь у хана права на отмщение, согласно шариату.

— Исполнить все, что требует шариат, — произнес по подсказке хан — жалкая кукла на нитках.

И это было делом рук Лятифа.

Это с его ведома прошел во дворец смертельный враг Улугбека Аббас, которому было запрещено даже появляться

[1] Укуба — наказание по шариату.

[2] Кадий — судья.

в Самарканде. А все же он прошел во дворец, потому что лицезреть его хотели и Лятиф, и священный совет, хоть не был он ни муллой, ни богословом.

Он даже читать не умел и плохо знал Коран, и едва ли понимал, о чем идет речь, когда благородный кадий привел строки из святой книги: «Всякому, имеющему душу, надобно умереть не иначе, как по воле Бога, сообразно книге, в которой определено время жизни».

Но он хорошо понял, когда Ходжа Ахрар ответил на это, что, во-первых, Улугбек лишен души, а во-вторых, все, что постановит собрание, исходит от Бога.

А когда ишан привел в заключение слова из той же священной книги Корана: «Когда мы отменяем какое-либо знамение или повелеваем забыть его, тогда даем мы другое, лучшее того или равное ему», Аббас понял, что его враг осужден и отдан в его руки. Оставалось только обдумать, как это сделать, но это уже частное дело, которое ишан может решить вдвоем с ним, Аббасом. Священному совету незачем вникать в такие низменные дела. У благочестивых членов его есть иные, возвышенные заботы. Пусть они обоснуют всеобщее убеждение, что Бог велит истребить до последнего колена всех, кто не исповедует ислам. И пусть сделают они это в том самом медресе, которое построил кафир Улугбек и где предавался своим нечестивым занятиям.

Народная легенда повествует, что убийцу великого звездочета — фанатика Аббаса — настигла меткая стрела неизвестного мстителя. Сердце народа инстинктивно стремится к справедливости, оно хочет покарать злодеев, воздать им смертью за смерть. История ничего не говорит о судьбе Аббаса. Так что с одинаковым основанием можно верить или не верить легенде. Что же касается другого мрачного изувера и презренного отцеубийцы Абд-ал-Лятифа, который не замедлил зарезать и брата своего Азиза, то здесь история явила справедливость. Он пал жертвой заговора в ночь на святую для мусульман пятницу, когда отправлялся в город на богослужение из загородного сада Чинеры. Перед этим мирзе, если верить историку Масуду Кухистани, приснилось, что ему поднесли на блюде собственную усекновенную голову. Испугавшись будто бы сна, стал Лятиф гадать по стихам Низами, которые так любил его злодейски погубленный отец. Книга раскрылась на стихе: «Отцеубийце не может достаться царство, а если достанется, то не больше, чем на шесть месяцев». Не прошло и года после преступления на берегу арыка, как отрубленная голова Абд-ал-Лятифа красовалась на входной арке медресе Улугбека, на площади Регистан. Меж рвом у городской стены и садом

Лятифа в лоб поразила стрела, пущенная Баба-Хусейн-бахадуром. С криком «Аллах! Стрела попала!» упал он с коня и был покинут перепуганной свитой. Заговорщики — бывшие нукеры Улугбека и Абд-ал-Азиза — поспешили броситься на еще живого принца и отрезали ему голову.

Но главный вдохновитель преступления — Ходжа Ахрар — избежал возмездия. Он жил спокойно и безбедно и умер своей смертью. Долгие годы оставался он фактическим правителем Самарканда, насаждая повсюду нетерпимость и фанатизм.

Нравится ли нам это или нет, но история — не легенда, ее приходится принимать такой, какая она есть.

Но как бы там ни было, а верный Али-Кушчи спас «Зидж», и благодаря ему эта звездная книга стала достоянием человечества. В масштабах истории разум всегда побеждает, истина рано или поздно торжествует над мракобесием. Но может ли это служить утешением, когда речь заходит о судьбах людей? Улугбек погиб, а Ходжа Ахрар прожил долгую благополучную жизнь. Справедливо ли это? Конечно, несправедливо. Но если мы и знаем презренные имена Ходжи Ахрара, Абд-ал-Лятифа или Аббаса, то лишь потому, что они связаны с именем Улугбека Гурагона.

Это о нем писал потом Алишер Навои:

«Султан Улугбек, потомок хана Тимура, был царем, подобного которому мир еще не знал. Все его сородичи ушли в небытие. Кто о них вспоминает в наше время? Но он, Улугбек, протянул руку наукам и добился многого. Перед его глазами небо стало близким и опустилось ниже. До конца света люди всех времен будут списывать законы и правила с его законов».

Бессмертие и забвение — и то, и другое обретается уже за гробом, и для тех, к кому они приходят, нет в том ни кары, ни воздаяния. Но для потомков в них — высший суд и высшая справедливость.

Улугбека похоронили в мавзолее «Гур-Эмир», где рядом со своими наследниками спал в огромном саркофаге из зеленого монгольского нефрита завоеватель мира Тимур. А надпись на надгробной плите Улугбека гласит:

«Эта светоносная могила, это славное место мученичества, этот благоуханный сад, эта недосягаемая гробница есть место успокоения государя, нисхождением которого услаждены сады рая, осчастливлен цветник райских обитателей, — он же — прощенный султан, образованный халиф, помогающий миру и вере, Улугбек — султан, — да озарит Аллах его могилу! — счастливое рождение которого совершилось в месяцы 796 года в Султанийе, в месяц же зул-хид-

же 810 года в «городе безопасности», в Самарканде, он стал полновластным в наместническом достоинстве, подчиняясь же приказаниям Аллаха, — «каждый плывет до назначенного ему срока», когда время его жизни достигло до положенного предела, а предназначенный ему судьбою срок дошел до грани, указанной неугасимым роком, — его сын совершил в отношении его беззаконие и поразил отца острием меча, вследствие чего тот принял мученическую смерть, направившись к дому милосердия своего всепрощающего господа, 10 числа месяца рамадана 853 года пророческой хиджры»[1].

По словам же Давлетшаха, Улугбека убили на два дня раньше, восьмого числа, что соответствует 25 октября 1449 года.

Но это уже несущественная подробность...

[1] Надпись дешифрована проф. А.А.Семеновым.

# Бронзовая улыбка

Повесть

## ЖИВОЙ БОГ

Уходят мудрые от дома,
Как лебеди, покинув пруд.
Им наша жажда незнакома —
Увидеть завершенным труд.
Им ничего не жаль на свете —
Ни босых ног своих, ни лет.
Их путь непостижим и светел,
Как в небе лебединый след.

Дхаммапада, VII, 91 и 92
(Здесь и далее тексты даются в стихотворном переложении автора.)

Немногим видеть тот дано
Далекий и туманный берег.
И снова, как давным-давно,
Мы падаем у черной двери.
Толпимся шумно у реки,
Как будто бы достигли цели...
Но незаметны и редки,
Кто сумрак вод преодолели,
Сквозь частую проплыли сеть,
Спокойны к злу и милосердью.
Они не победили смерть —
Они возвысились над смертью.

Дхаммапада, XI, 85 и 86

В Тибете его называют Тугчжэ Чэньпо Шэньрэзиг — «всемилостивейший Авалокитешвара». Он никогда не умирает, хотя порой, огорченный беззакониями мира, удаляется в рай Сукавати, далекий Западный рай. Древние летописи этой страны говорят, что на Земле он появлялся всего лишь четырнадцать раз в течение восемнадцати столетий, прошедших от смерти Будды до начала XV века.

В 1474 году родился Гэдунь-чжяцо, «перерожденец» Гэдунь-дуба, в котором воплотился сам Авалокитешвара. Это

был первый из далай-лам. Ему наследовал Сонам-чжяцо, приглашенный в Монголию победоносным Алтан-ханом. Когда Сонам-чжяцо прибыл в лагерь хана, могущественный завоеватель назвал его монгольским именем «далай-лама». По-монгольски «далай» — то же, что по-тибетски «чжяцо», и слово это означает «океан». Просто хан принял слово «чжяцо», которое случайно входило и в имя предшественника Сонам-чжяцо, за родовое, фамильное. С тех пор «перерожденцев» великого ламы стали называть далай-ламами...

Цыбиков и Цэрен пришли сюда, чтобы лицезреть того, кто никогда не умирает...

В одеждах бурятов-паломников стоят они в преддверии бога, прислонившись к колоннам, которые обвивает дракон. Приемная полна ламаитов, пришедших издалека, чтобы взглянуть на того, кому небо дало «вязать и разрешать» людские судьбы. Ни один европеец не видел его лица. Лишь понаслышке знает мир о святилищах поднебесной столицы и ее удивительных мистериях.

Четырехтрубные броненосцы бороздят океаны, государственные деятели обретают бессмертие на экране синематографа, биржи манипулируют стальными заводами и рудниками, и только здесь, в Лхасе, застыло неудержимое время. Ротационные машины, фотографические аппараты, лампочка Эдисона и граммофон — все это осталось у подножия великих гор. Да и была ли она, эта жизнь, наполненная удивительными достижениями цивилизации, ясная, свободная от загадок, которые блистательно разрешила наука? Здесь, где все дышит тайной, где вещи имеют двоякий, расплывчатый смысл, вся прежняя жизнь представляется полузабытым удивительным сном.

Три дня назад через монгольского переводчика, состоящего в штате далай-ламы в звании цзэдуна, они внесли по восемь ланов местных монет, что на русские деньги составляет 10 рублей 66 копеек. Но здесь это огромная сумма. Простому человеку требуется полгода, чтобы заработать ее. Из этих денег пять ланов поступают в казну, остальные идут на угощение.

Переводчик, приставленный к паломникам-монголам, велел им прийти во дворец немного позже полудня. Вместе с тремя ламами, пожелавшими отправиться на поклонение, они подошли к воротам Поталы, когда солнце только начало склоняться к синим и аметистовым горным хребтам. Небо выглядело невероятно зеленым и страшным. Красные крыши Поталы тихо таяли в этом всевидящем небе, от которого нельзя укрыться даже в исполненных древней колдовской мощи пещерах.

Они поднялись по каменным лестницам, мимо святых ступ и портиков, украшенных символами святости и счастья: слонами, колесами, двойными рыбами и красными конями. В приемной собрались и другие паломники из верхних цайдамских монголов, во главе которых был дряхлый старик, принявший под старость обеты гэлона и приехавший с сыном на последнее, вероятно, в этой своей жизни поклонение далай-ламе. Как потом выяснилось, он тоже внес восемь ланов серебра, и права на поклонение были у него равные со всеми.

Приемная была совершенно голой. Только раскрашенные стены, колонны да пол, глинобитный, но с впрессованными камешками и отполированный, как мрамор.

Паломники стояли, прислонившись к колоннам, или бродили бесцельно и сонно, как священные карпы в храмовых бассейнах. Среди них внимание Цэрена привлек один. Был он видом индиец и одет, как положено ученому панditу. Это удивило Цэрена — насколько он знал, далай-лама не принимал смешанных депутаций. Последнее время и он, и Цыбиков часто встречали этого пандита во время своих занятий и прогулок. Они видели его в храмах, монастырях, на рынке и даже в частных домах сановников. Цыбиков посчитал его за шпиона, хотя и удивился, что к ним приставили такого заметного человека, а не туземца, которого нельзя различить в толпе. Но потом произошло одно событие, которое прояснило и запутало вместе с тем многое. Все оказалось значительно сложнее, чем они предполагали. И вот сегодня, когда взойдет луна, они, возможно, узнают... Впрочем, сейчас лучше не думать об этом...

Цыбиков подошел к стоящему у окна цуайдамскому монголу. Он пришел на аудиенцию вместе с женой. Цэрен и Цыбиков познакомились с ним у оракула, где, так же вот ожидая приема, он поведал им свою историю. Эта супружеская чета, осмелившаяся, вернее, вынужденная, отправиться в дорогу только вдвоем, подверглась возле перевала Данла нападению разбойников-егpаев, которые отняли у несчастных всю кладь и лошадей, избили и бросили на произвол судьбы. Они погибли бы, если бы не караван камских купцов, которые помогли им добраться до Накчу. Там они оправились немного и пешком добрались до Лхасы, где их взяли на попечение сородичи. Интересно, что столь смелая поездка их была вызвана не столько религиозным рвением, сколько романтическими обстоятельствами. Цайдамец просто-напросто украл жену у соседа и, чтобы избежать преследования закона, совершил паломничество. Любовники решили, что им покровительствует сам Сакья-Муни, Багаван — Победоносный Будда.

Что ж, у каждого свои победы. И победа над человеческим сердцем, может быть, лучшая из побед.

Во время скучного и долгого ожидания изредка выходил переводчик и забирал принесенные для подношений шелковые шарфы — хадаки. Лишь перед самым закатом, подобном густеющей бычьей крови, появился первый советник далай-ламы — чжишаб-хамбо.

Тотчас же всех пригласили подняться еще на один этаж. Паломники прошли под загнутой кверху крышей Красного дворца по решетчатой галерее мимо сотен ярко раскрашенных дверей. Куда вели они? В Потале 999 комнат, но только в одной из них пребывал Бог. Сквозь зарешеченные окна можно было видеть то кусок белой стены, то золотую верхушку ступы, хранящей прах одного из предшествующих далай-лам.

С закатом солнца депутацию провели еще на этаж вверх. Одолев деревянную и очень крутую лестницу, они очутились вдруг под открытым небом. Тускло-желтое и беспощадное, смотрело оно белесыми точками проявляющихся звезд. Все лестницы кончились. Потала лежала внизу, массивная и расходящаяся, как исполинская пирамида.

Они стояли на широкой площадке перед тяжелыми резными дверьми. Пронзительно раскрашенные драконы и водяные кони равнодушно смотрели на них. Скольких людей видели эти чудовища на своем веку? Люди приходили, уходили, возвращались иногда, но потом опять уходили, когда-нибудь обязательно уходили, чтобы уже не возвратиться. А они, сказочные дивы, продолжали жить, найдя смысл существования в покое и созерцании, а не в мирской суете... Они охраняли приемный зал далай-ламы, мудрые чудовища.

По обе стороны дверей на высоких скамьях сидели самые знатные ламы. Желтый и красный атлас горел под закатным небом жестоким и грустным огнем. На ламах висели белые ожерелья с черепами и священными колесами. На синих парчовых поясах извивались драконы, на красных атласных — бежал золотой узор из право- и левосторонних эмблем благополучия.

Под прямым углом к этим огненным и золотым скамьям на длинных коврах сидели, скрестив ноги, простые ламы из придворного штата. Халаты их были засалены, шапки потерты.

А паломники стояли, уставившись в затылок друг другу, и молча ожидали аудиенции. Впереди Цыбикова был пандит и старый уйгурский лама, сзади — Цэрен и все остальные.

Переводчик в который раз уж повторил правила предстоящей церемонии. Нетерпение ожидающих только разго-

ралось. Ламы перебирали длинные четки с причудливыми хвостами. Ветер скрипел в флюгерах, приводя во вращение молитвенные цилиндры.

Наконец двери распахнулись, и всех провели в зал. На высоком троне неподвижно, как Будда на лотосе, сидел юноша, почти мальчик, в желтой, богато расшитой мантии. Остроконечная желтая шапочка с длинными завязками делала его удивительно похожим на легендарного реформатора буддизма Цзонхаву. Трон далай-ламы, без спинки и ножек, скорее напоминал сундук из черного дерева. Цыбиков плохо различал подробности, потому что все время смотрел на мальчика, олицетворяющего собой власть над душами миллионов людей. Ему запомнились почему-то только стоящие на задних лапах резные львы, которые как бы поддерживали сидящего на троне, узоры из цветов и листьев, сложная вязь магических символов.

Как и во всех тибетских помещениях, в зале было довольно сумрачно. Тускло поблескивала золотая материя тог, и скупым холодным блеском горели кумиры по стенам. Так вот что окружено такой тайной, так вот к чему стремятся люди за тысячу верст! Цыбиков испытал досаду и разочарование.

По обе стороны престола стояли два красавца телохранителя из высшего духовенства. Чуть поодаль застыли еще какие-то важные сановники. Но было их немного.

Лишь только паломники вошли в зал, началась какая-то нервная, суетливая спешка. Приставленные к ним ламы все время торопили, почти толкали их, то и дело понукая: «Скорее, скорее! Вперед, идите скорее вперед...»

Вместе со всеми Цыбиков и Цэрен подошли к трону и трижды поклонились, держа на вытянутых руках самые красивые хадаки. Мальчик чуть повернул окаменевшее в улыбке лицо. Принял хадаки и благословил каждого наложением правой руки на голову. Такой же милости удостоились старый цайдамец и пандит, который, как успел заметить Цэрен, передал далай-ламе вместе с хадаком кусочек золота. Остальные дары принял стоящий справа от трона свитский прислужник.

Далай-ламе подали несколько шелковых шнурков. Он ловко связал на каждом из них сложнейший узел, дунул на него и положил по шнурку на склоненные перед ним шеи.

Бессмертный, он мог вязать таинственную нить причин и следствий, разрешать запутанные клубки людских судеб.

Шнурок с узлом называется по-монгольски «узангя», а по-тибетски «срун-дуд», что значит «охранительный узел». Освященный дуновением Бога, после прочтения известного

заклинания он превращается в талисман, предохраняющий от несчастий.

Два служителя расстелили перед престолом тоненький коврик, на который паломникам разрешили сесть правым боком к далай-ламе и спиной к его приближенным. Потом в огромном серебряном кувшине принесли чай. Каждый встал и подошел с заранее припасенной чашкой к престолу.

Слуга плеснул в чашки. Паломники тут же выпили и трижды поклонились. После этого налили самому далай-ламе. Он обвел всех своей равнодушной улыбкой, но лишь пригубил чашку. Пятясь в поклоне, все возвратились на свои места.

И вдруг живой бог заговорил. Обыкновенным человеческим голосом, приятным и довольно громким:

— Хорошо ли вы совершили путь и благополучно ли на вашей родине?

Смятение пронеслось по лицам сидящих паломников. По церемониалу они не должны были ничего отвечать, а лишь слегка приподняться и отдать легкий поклон переводчику. Он трижды предупредил об этом. Но старый цайдамец все же издал какой-то благоговейный храп.

Переводчик молча передал от пришельцев поклон далай-ламе. После этой церемонии принесли чашки с припущенным рисом. Далай-лама отведал из поданной ему чашки и сполоснул рот из особого кувшинчика. А паломники даже не успели поднести щепотку риса ко рту. Аудиенция была окончена. Два громадных телохранителя выхватили из-за поясов бичи и набросились на них, рассыпая удары.

— Убирайтесь скорее! — кричали они, а бог провожал всех своей отрешенной, отлитой в бронзе улыбкой. Толкаясь и застревая в дверях, паломники выбежали под жестокое и равнодушное небо. Так вот она, священная тайна Тибета!

Цэрен распрощался со стариком и другим своим приятелем, умыкнувшим жену, и отстал от паломников, чтобы как следует осмотреть Красный дворец и, если удастся, другие здания Поталы. С Цыбиковым они расстались как малознакомые люди. Какой-то безотчетный инстинкт заставил Цэрена вспомнить об ученом пандите. Он стал отыскивать его в толпе, но тот, видимо, ушел раньше всех.

Цыбикову стало вдруг смешно это его неожиданное разочарование. И в самом деле! Выпускник Петербургского университета — и вдруг вообразил себе неведомо что! Конечно, во многом виновата тайна, окутывающая Тибет, и всевозможные домыслы, распространяемые в Европе по по-

воду этой тайны. И, конечно, религиозный экстаз паломников. Как ни странно, всевозможные трудности и опасности, с которыми сопряжено путешествие в Лхасу, только подогревают этот экстаз. Но таков человек. Запретный плод всегда ему сладок.

«Нечего гневить Бога, — сказал он себе. — Твое паломничество протекает как нельзя более успешно. Ты достиг недосягаемого и увидел невидимое. Осталось совсем немного. Поэтому воспользуйся случаем и осмотри Поталу — местопребывание живой святыни, чтимой столь же высоко, как статуи основателей буддизма», — и он пошел в сторону, противоположную той, куда направился Цэрен...

Дворец далай-ламы находится в одной версте на запад от города. Он вне всякого сомнения является самым замечательным зданием не только Лхасы, но и всего Тибета. Полное название его Ду-цзин-ньибий-побран Потала, или «Потала, дворец второго кормчего».

Построил дворец легендарный царь Сронцзан-гамбо. Так это или нет, кто знает. Несомненно одно, что на этой скале, именуемой «Красной горой» (Марбо-ри), когда-то находился замок, испытавший все невзгоды вековых феодальных войн.

В середине XVII столетия Потала сделалась резиденцией пятого далай-ламы, знаменитого Лобсан-чжяцо, который сумел завоевать верховную власть в Тибете. Это в его время были возведены главные части дворца, а прежние, обветшавшие здания отделаны заново. В народе до сих пор помнят это страшное время, когда людей тысячами сгоняли на рабский труд. Постройка продолжалась десятилетия, подобно скорбной эпопее Древнего Египта, жестокой мистерии пирамид. Чтобы воодушевить изнемогавших рабочих, далай-лама сочинил песню, которую и поныне поют чернорабочие.

Розовый камень и камень седой
Меж небом и нами поднялся стеной.
В Красные горы спустился дворец.
Скоро, ах скоро, скоро конец,
Богу живому небесный венец —
Майтрея, великий Майтрея!
Камни сплавляются жаром сердец.

Рассказывают также, что смерть застала пятого далай-ламу, когда дворец еще не был достроен. Управитель Санчжяй-чжяцо шестнадцать лет скрывал от народа, что душа далай-ламы воплотилась в иное тело, и выставлял на празднества загримированную статую. От имени мертвеца принуждал он тибетцев продолжать изнурительную и бессмысленную работу.

Так и вырос на Южной горе целый квартал длиной в добрых 200 саженей. Потом его окружили высокой каменной стеной.

Главный дворец построили на самой вершине; он заполнил своим основанием все углубления и спуски.

Он не похож ни на одно сооружение в мире. Жмущиеся друг к другу низко усеченные пирамиды во много этажей и типично тибетские плоские крыши создают неповторимый резко асимметричный ансамбль.

Фасад дворца производит впечатление грозное и величественное, но оно сразу же сменяется разочарованием при виде задних глухих стен с черными дырами, из которых непрерывно стекают нечистоты.

Но лестницы Поталы — это окаменевшая поэма. Они пересекаются под острыми ступенчатыми углами. Медленно и вместе с тем стремительно уводят они к небу.

Во дворец ведут три широкие лестницы с лицевой стороны и две боковые дороги, которые тоже потом переходят в каменные лестницы. По этим дорогам приходят во дворец различные должностные лица, которых далай-лама рассылает по всему Тибету. Лестницы для пеших, дороги для конных. На круглом дворе всадники спешиваются, слуги отводят животных в конюшни, а перед путником все та же лестница, ведущая в небо.

Главные святыни и апартаменты далай-ламы находятся в центральной части дворца, выкрашенной в красно-коричневый цвет. Поэтому и называется эта часть Поталы «Побран-марпо», что означает «Красный дворец». А может, красен он от крови строителей, коричнево-красен от свернувшейся крови, давным-давно пролитой крови? Об этом умалчивает песня, сложенная пятым «перерожденцем» бессмертного далай-ламы. Но стоит прижаться ухом к стене, и...

За каплей капля ляжет в скальный грунт,
И за душою в вечность отлетит душа.
На вечные скитания, на новый круг
Она уйдет, стенанья заглуша.
Как быстро мы уходим в скальный грунт.
Ведь это мы с тобой становимся скалой.
Как скалы счастливы, когда они умрут,
Но души вновь объединятся над стеной.
На красные они вернутся стены,
На стены те над Красною скалой.

В среднем этаже Красного дворца находится зал для духовенства дворцового факультета, именуемого дацан Нам-чжял. Дацан состоит из 500 лам, постоянно живущих здесь и совершающих богослужения во здравие далай-ламы. А над залом дацана другие залы, в которых тускло

поблескивает в шатком свете лампад и курительных свечей золото и бронза пирамид-ступ, или субурганов по-монгольски, в которых хранится прах всех далай-лам, начиная от пятого «перерожденца». Предшественники этого «фараона-строителя» мирно спят в бройбунском Галдан-побране, а самый первый далай-лама похоронен в монастыре Ташилхуньпо.

Конечно, строитель Поталы, шестнадцать лет числившийся в живых после смерти, удостоился самого богатого субургана. Говорят, что на него ушло все золото и все драгоценные камни тибетской казны. Это настоящая золотая пагода в два человеческих роста.

Во дворце находятся апартаменты первого советника далай-ламы — чжишаб-хамбо и четырех высших сановников — лам, именуемых придворными писцами (дунйигши). Вместе они образуют Совет — йигцан, который заведует всей духовной жизнью Тибета.

В других частях здания, зовущихся Белым дворцом (Побран-карбо), помещаются квартиры придворного штаба, приемные залы, службы, кладовые. Слева от дворца, также на скале, стоит главная тюрьма верховного правления Тибета. В случае надобности Потала быстро может превратиться в крепость. Поэтому все ее ворота окружены стенами, образующими запутанный лабиринт. А если верить слухам, то вся скала под Поталой источена, как старый пень древоточцами, потайными ходами. По другую сторону к стенам лепятся частные дома. Впрочем, на южной стороне, уже за стенами, Цэрен видел два желтеньких домика с китайскими чешуйчатыми крышами. Каждый из них был окружен высокой стеной. Ворота были закрыты неплотно. Он мельком заглянул в щель и увидел каменные плиты и огромную гранитную черепаху, которую закрыла вдруг желтая тога. Какой-то лама шел к воротам. Цэрен быстро отскочил в сторону и поспешил назад к Потале.

Он прошел мимо дорина — большой гранитной колонны, стоящей на гранитном же пьедестале. Отсюда, если, как положено ламаитам, обходить Поталу по-солонь, то есть всегда оставляя святыню по правую руку, можно рядами хаотично разбросанных домиков выйти к большому субургану Бар-чед-дэн, что в переводе с тибетского звучит, как «Промежуточная пирамида».

Субурган этот соединяет вершину Мрбо-ри с другой вершиной, называемой Чагбо-ри. Говорят, что эта цепь скалистых холмов — окаменевший дракон, который, как известно, не только является владыкой вод, но и служит гербом соседнего Китая. Как и вероломная, корыстолюбивая китайская власть, так и вода, угрожающая наводнением, породи-

ли в тибетцах опасения, что дракон может ожить и принести неисчислимые беды. Поэтому гору рассекли на две части и воздвигли на этом месте субурган. Пока дракон не подает признаков жизни...

Кроме того, здесь проходит главная, самая удобная дорога из Лхасы, так что лучшее место для прохода в скале найти было бы трудно. Безымянный строитель поставил на выступах скальных стен небольшие субурганы, которые соединил проволокой, увешанной кольцами. Когда подымается ветер, проволочная арка начинает тихо и мелодично звенеть.

Цэрен прошел под звенящими кольцами и, присев на камень, стал разглядывать Поталу сбоку.

Богомолец, совершающий лин-хор, то есть круговой обход святынь Лхасы, не проходит под этой аркой, а, минуя ее, идет по подошве горы Чагбо-ри, вдоль берега речки. На этом отрезке пути вплоть до скалистого выступа у реки Уй-чу нет ничего особо замечательного. Разве что масса высеченных прямо в скале статуй буддийских божеств, пестро и аляповато раскрашенных. Здесь же, в неглубоких пещерах-нишах, сидят каменотесы со всевозможными инструментами и красками. Они изготовляют из каменных плит изображения богов и раскрашивают потом каждого бога в подобающие ему цвета. Вокруг мастеров всегда топчется небольшая толпа. Торговля идет бойко. Купив святыню, богомолец выбирает на скале укромное местечко (краски акварельные и могут пострадать от дождя) для своего кумира. От множества таких приношений скалы превратились в многоцветный, невиданной величины иконостас. Поистине нужно быть богом, чтобы равнодушно взирать на это воплощение человеческих несчастий и молений.

Мелодично звенели кольца под легким ветром. Прозрачный синий сумрак тихо сочился с черно-фиолетовых, резко очерченных на остывающем небе хребтов. Цэрен был один. Все это время его не оставляло чувство, что за ним и Цыбиковым внимательно и настороженно следят чьи-то глаза. В прозрачном, чуть дрожащем воздухе белели дома Поталы. Неподвижная каменная улыбка и устремленные в непонятную даль незрячие глаза на каменном субургане. Он был один.

Захотелось есть. С утра он съел только лепешку из ячменной муки — цзамбы да кусок вареной баранины. Все это запил холодным чаем, чуть-чуть приправленным коровьим маслом. Вспомнилась чашка с рисом, которого так и не довелось отведать в гостях у тринадцатого «перерожденца».

Как удивительно бедно живет здесь простой народ. Чернорабочий получает в день одну треть дамаха, что состав-

ляет около семи копеек, хороший ткач зарабатывает в два раза больше. Да и рядовому ламе живется не лучше. Монах-чтец за целый день непрерывного чтения едва выручает один дамах. Общая беспросветная бедность. Одна треть, две трети дамаха — это не пустой звук. Монеты-«отрубки» постоянно кочуют от бедняка к бедняку.

В ходу здесь и непальские монеты, и британо-индийские рупии, которые тибетцы называют пилин гормо. За один такой серебряный пилин дают три или три с третью дамаха.

Потому таким видимым уважением пользуются богатые люди. Их встречают всеми знаками почета. Снимают обеими руками шапку, приветственно высовывают язык, называют «высокородным» (гюшю), внимательно слушают, то и дело вставляя «лха, ляг-со», что означает «хорошо! хорошо!» Все, что делает и говорит богатый, — всегда хорошо.

Впрочем, разве в других странах дело обстоит по-иному?

Цэрен пересек дорогу и направился к задней стороне Поталы. Его не интересовали обширные конюшни далай-ламы, в которых, кстати сказать, содержатся и слоны, привезенные из Индии специальным послом. Но вот знаменитый Лу-хан («драконов храм») давно уже манит к себе тревожной своей тайной. Здесь совершаются постоянные богослужения о «своевременности и соразмерности осадков». Такова официальная версия. Действительно, иногда ламы своевременно предупреждают о снегопадах и довольно точно предсказывают засуху. Однако в простом народе ходят слухи, что в храме есть глубокий бассейн, где живет настоящий водяной дракон, пойманный в одном из горных озер. Но все окна храма выходят во внутренний двор, а дверь всегда закрыта. Потребовалось много усилий даже для того, чтобы незаметно подобраться к храму с фотографическим аппаратом и сделать несколько снимков.

Они сумели пробраться в недоступную Лхасу, посетили самые знаменитые ее святыни, даже удостоились благословения живого бога, но беспокойное чувство, что все это лишь внешняя, обманчивая сторона вещей, не оставляло их. Они видели в монастырях деревья, на коре которых явственно проступают весной буквы тибетского алфавита, и даже сфотографировали это «чудо». Безусловно, оно дело рук человеческих. Весь вопрос в том, как это сделано. Таких вопросов тысячи, но ни на один из них нет ответа. Цыбиков и Цэрен составили подробные планы Поталы и наиболее почитаемых храмов, но сокровенные тайны неуловимой тенью ускользнули от них. Быть может, это мнимые тайны, живущие в шепоте забитых и темных людей. Но Цэрен воочию видел и рождение букв на коре деревьев, и человеческий череп с третьей глазницей над переносицей! Где же

истина? Какое мучительное чувство сомнения, противоречивое чувство ожидания и беспокойства!

К Потале примыкают особые сооружения, которые называются «линами», что, скорее всего, означает «мир» или «местопребывание». Цэрен так точно и не узнал, что представляют собой лины. Это дворцы и в то же время особые домовые храмы знатных «перерожденцев» — хутухту, которые в давние времена занимали «ханский» престол, то есть должность верховного правителя Тибета. В каждом дворце свой штат духовенства, пользующегося значительной независимостью и большими привилегиями. Линов всего пять: Тан-чжяй-лин («местопребывание распространения учения», или, может быть, «распространяющий учение мир») находится на западном краю города и принадлежит «перерожденцам» легендарного Гара; Шидэ-лин («местопребывание четырех отделов», «четырехотдельный мир») расположен на северо-западе и принадлежит радэнскому хутухту — хозяину одного из древнейших монастырей; вблизи него находится самый большой Цэме-лин («местопребывание желания долголетия», «желающий долголетия мир»), принадлежащий чжонэйским номун-ханам; далее, на северо-восточном краю города стоит древний Мэру-лин, основанный еще при тибетском царе Адагти-Ралпа-чане, но пришедший затем в упадок. Чжово-Адиша возобновил его. Во время третьего далай-ламы он присоединен к последователям Цзонхавы; Гун-дэ-лин («всепокойный мир») находится к юго-западу от Поталы, по южную сторону большой дороги, ведущей на запад. Он принадлежит хутухтам Дацаг.

Они не смогли осмотреть ни один лин. Паломников туда не пускают. Да никто особенно и не стремится в эти древние дворцы-храмы. Они не окутаны облаком слухов, но в каждом идет какая-то скрытая от мира работа. Еще вчера Цыбиков сказал: «Если мне удастся благополучно вернуться на любимую родину, я смогу сказать только одно: в Цэмелине знают, как усыпить человека на много веков, но я далеко не уверен, что это умеют делать». Примерно то же могут они сказать и об остальных линах. Ведь о чудесах, которые якобы могут творить ламы, говорят много, но кто может похвастаться, что видел эти чудеса своими глазами?

Зато Цэрену удалось проникнуть в медицинский Манбадацан — небольшое здание на скале Чагбо-ри. Там он видел прекрасные статуи богов, сделанные из коралла, бирюзы, малахита, ароматного белого сандала, и инструменты, принадлежащие основателю индо-тибетской медицины Сочжэд-шон-ну, что по-тибетски значит — «молодой исцелитель». Штат духовенства состоит из шестидесяти лам, специально присланных из разных монастырей. Они

получают содержание из казны далай-ламы и живут в домах, построенных вокруг дацана. Заведует ими хамбо, состоящий также лейб-медиком далай-ламы.

Хамбо показал Цэрену бронзовую статую, которой больше тысячи лет. Она облита воском, на котором нарисованы санскритские буквы. Стоит ткнуть серебряной иглой в определенную точку, как выступает капелька красной жидкости. На этой статуе студентов обучают чудесному искусству целебных игл. Хамбо сказал, что на теле человека есть 695 активных точек, укалывая которые можно излечить многие болезни. Цэрен тут же пожаловался, что застудил позвоночник и часто мучается жесточайшими болями. Его разделили и посадили на каменное сиденье, напоминающее большой котел. Хамбо внимательно ощупал поясницу и разрисовал ее черной тушью, а два студента вонзили в указанные места длинные серебряные иглы. Цэрен вздрогнул, но не от боли, а от неожиданности или, может быть, от ожидания боли. Но никаких неприятных ощущений не испытал. Ему только казалось, что уколотые места постепенно разогревались. Это было очень приятное, успокаивающее тепло. С тех пор прошло три месяца, и ни разу его не беспокоили боли в пояснице.

Ничего подобного европейская медицина не знает! Тибетские врачи легко излечивают самые трудные болезни, но они совершенно бессильны против чахотки или эпидемии холеры...

Цэрен обошел Поталу кругом, мысленно делая некоторые поправки к составленному ранее Цыбиковым чертежу. Стало уже совсем темно, и в кумирнях затеплились лампадки с топленым коровьим маслом. Крохотными красными точками зажглись курительные свечи. Цэрен вышел на дорогу и бодро зашагал к Лхасе. В городе спать ложатся довольно рано, а прогулка по пустынным улицам далеко не безопасна. Им тоже пришлось привыкнуть к такому образу жизни. Тем более что в городе нет никаких увеселительных заведений. Есть, правда, один театр, точнее, принадлежащая китайцам открытая сцена и несколько китайских же ресторанов. В них подают чай, свинину и китайские лепешки. Горячительных напитков нет, но допускается игра в китайские карты. Сладковатой и дурманящей рисовой водкой — ханджой торгуют в одном кабачке, запрятанном на окраине Лхасы. Местную водку — ара можно получить на любом постоялом дворе.

Город буквально изрезан множеством канав; по некоторым из них течет вода, другие давно высохли, но большая часть предназначена для нечистот. Там, где канава пересекается улицей или дорогой, устроены каменные и деревян-

ные мостики. Один из них, называемый Ютогсамба («бирюзовый мост»), поставлен на главной дороге — от ворот храма Чжу к Потале. Он представляет собой широкую галерею, покрытую зеленой глазурованной черепицей. Тибетцы очень гордятся этим мостом и причисляют его к чудесам своей столицы. Сразу же за мостом и дворец Шадда, куда Цэрен должен прийти с восходом луны.

Осталось совсем немного. Цэрен прибавил шагу. И тут взошла луна. Пепельный свет ее выбелил улицы и проявил густые тени. Но едва Цэрен вошел в темноту мостовой галереи, как кто-то набросил ему на голову мешок...

## ПУТЬ С ЮГА

Мираж цветной — земная ширь,
Непрочный радужный пузырь.
Когда на мир так смотрит глаз,
Не видит ангел смерти нас.

Дхаммапада, XIII, 170

Грусть мудрых мыслей о добре
Освободит нас от оков.
Так тает в лунном серебре
Холодный пепел облаков.

Там же, XIII, 172 и 173

У пришедшего с юга нет имени. Вернее, еще не настал тот день, когда он сможет открыть свое настоящее имя. Р. Н. — вот и все, что он пока может сказать о себе. Он родился в 1849 году на северо-западе Индии, в Порбандаре, белом городе, на берегу Оманского залива. Его соплеменники — люди горячей крови, нетерпеливые и предприимчивые. Они ведут торговлю от Адена до Занзибара, и беспокойство путешественников передается здесь от отца к сыну. Порбандарцы привыкли уважать чужие законы и готовы в каждом чужеземце приветствовать друга. Но они знают, что нет в мире лучшего места, чем белый их город, и потому всегда стремятся вернуться домой. Так и живут они в постоянном стремлении и беспокойстве. Влажный муссон напоминает им о далеких цветущих странах, а тихий пассат зовет вернуться назад. Поэтому они быстры в делах и решениях, экспансивны и немного вспыльчивы.

Он родился брахманом. Из его семьи вышло много знаменитых людей. Его родители были ревностными приверженцами индуизма, великим принципом которого является ахимса. Этот древнейший принцип индусской религии лег в

основу многих религий: джайнизма, буддизма и древнего культа бога Вишну. Смысл его предельно ясен: «Не делай зла. Не вреди никакой жизни. Воздержись от насилия». Любовь к ближнему гораздо более короткий путь к Богу, чем мудрость и разум. Вот почему его родители не придавали никакой цены деньгам. Все их состояние было растрачено на благотворительность. Жили они очень скромно. Сколько он помнит свою мать, она либо раздавала милостыню, либо ухаживала за больными. В промежутках между этими занятиями она постилась.

Когда после дневных трудов все собирались вместе, отец усаживался под лампой и вслух читал стихи из «Рамаяны». Он часто жаловался, что недостаточно силен в санскрите. В этом он видел основной недостаток полученного им английского воспитания, лишившего его сокровищ родного языка. Но он хорошо знал индусские священные книги веды и упанишады, хотя читал их лишь в переводе.

Р. Н. не испытывал благоговейного трепета перед заветами старины. Более того, иногда позволял себе кощунственные высказывания, которые родители выслушивали с тихим и молчаливым укором. Они следовали принципу, что веру нельзя постичь разумом, а можно лишь обрести внутри себя.

Уже учась в школе, он считал себя атеистом и бравировал этим. Однажды вместе с товарищами дошел в своем нечестии до самого страшного для индуса кощунства. Собравшись тайком в загородном доме одного из соучеников, мальчишки отведали говядины... Р. Н. тогда чуть не умер от ужаса и отвращения.

С тех пор он перестал бравировать атеизмом, но и древние боги не стали ему ближе. Потом он научился отличать этическое начало от культа, сокровища духовной культуры от слепого суеверия. Но главное, он научился уважать чужую веру.

В восемь лет он был помолвлен, а в тринадцать уже женат. Махатма Ганди, которого родители женили в еще более раннем возрасте, впоследствии боролся против ранних браков, считая их гибельными для нации. Лишь в очень редких случаях подобный союз на всю жизнь, начало которому положила еще детская дружба, может дать чудесное душевное единство.

По примеру многих своих товарищей Р. Н. захотел продолжать свое образование в Англии. Мать согласилась на его отъезд лишь при условии, что он даст три великих обета, обязывающих воздерживаться от вина, мяса и физической любви.

Но Лондон разочаровал его. Все здесь мешало работе и сосредоточенности. Шум, обилие людей и экипажей, жесто-

кий лондонский туман и суетные развлечения сверстников. Знакомство с Библией не принесло ничего, кроме скуки. Он оставил ее, едва дойдя до «Исхода». Индуистская мистика выглядела куда изощренней и тоньше, гораздо более достойной внимания мыслящего человека. Зато именно здесь, на чужбине, ему открылась дикая красота «Бхагавад Гиты». Он был очарован этой грозной поэмой, дышащей звездным светом и ароматом молний. Она возвратила ему удивительное чувство родины. Он не стал верить в Браму или Шиву, но какая-то неуловимая связь с душой Индии, ее древней этикой была установлена. И с каждым днем эта властительная связь крепла.

Ты скорбишь о тех, о которых не следует скорбеть,
Хотя и говоришь слова мудрости.
Мудрые не оплакивают ни живых, ни мертвых.
Ибо поистине не было времени,
Когда бы я или ты, или эти владыки земли не были;
Воистину не перестанем мы быть и в грядущем.
Как живущий в теле переживает детство, юность и старость,
Так же переходит он в другое тело.
Сильный об этом не скорбит.
Соприкосновения с материей, о сын Кунти,
Бросают в холод и жар,
Доставляют наслаждение и страдание;
Эти ощущения преходящи,
Они налетают и исчезают;
Выноси их мужественно, о Бхарата.
Тот, кого они мучают, о лучший из людей,
Тот уравновешен в радости и в горе тверд,
Тот способен к бессмертию.
У нереального нет бытия; реальное не перестанет быть;
Эту конечную истину постигли прозревшие в суть вещей.
Знай, что То, Которым проникнуто все живое, неразрушимо.
Никто не может привести к уничтожению То Нерушимое.
Преходящи лишь тела этого Вечного,
Который неразрушаем и неизмерим.
Поэтому сражайся, о Бхарата.
Думающий, что он может убить,
И думающий, что он может быть убитым,
Оба одинаково заблуждаются.
Человек не может ни убить, ни быть убитым.
Он не рождается и не умирает;
Раз получив бытие, он не перестает существовать.
Нерожденный, постоянный, вечный и древний,
Он не убит, когда тело его убивают.
Кто знает, что он неразрушим, постоянен, неизменен,
Как может тот убить, о Партха, или быть убитым?
Подобно тому как человек, сбросив верхнюю одежду,
надевает новую,
Так бросает он изношенные тела и облекается в новые.

Бхагавад Гита, Беседа вторая, 11—22

Это квинтэссенция индуизма и буддизма.

Он бросил занятия юриспруденцией, поскольку профессия адвоката показалась ему безнравственной и постыдной. С удвоенным усилием принялся он за изучение древних культур Востока. Пытаясь постигнуть темный смысл седых сказаний, он чувствовал, как крепла живительная связь с родиной. Знакомство с древнеегипетскими папирусами и клинописными табличками Двуречья вывело его на какой-то удивительный круг постижения человеческого духа. Законы вавилонского царя Хамурапи и хеттская песнь об Уилликумми заставили вновь обратиться к Библии, и он почувствовал поэтическую прелесть Песни песней. Иранская «Авеста» помогла по-иному взглянуть на великий индийский эпос — Законы Ману и Джатаки. Надписи индийского царя-миротворца Ашоки он воспринимал уже в связи с моралью Ассирии, Ниневии, Урарту и хеттов.

Иными словами, он ощутил вклад своей страны в великую культуру Востока. Точнее, испытал предчувствие этого удивительного ощущения, которое должно было прийти с сознанием и пониманием.

В Лондоне он познакомился с тогдашним губернатором Бенгалии сэром Джорджем Кемпбеллом, который пригласил его на работу в недавно открытую Бутийскую школу. Поэтому по окончании учения он лишь немного погостил дома и уехал вместе с женой в Дарджилинг.

Там по предложению Кемпбелла он ревностно начал изучать тибетский язык. Вскоре у него установились наилучшие отношения с раджой Сиккима — маленького независимого государства на границе Индии и Тибета. Познакомился он и с влиятельнейшими сиккимскими ламами, вместе с которыми совершил несколько интересных поездок по тамошним монастырям.

Однажды лама Лобсан-чжяцо, состоявший преподавателем тибетского языка в Бутийской школе, был командирован в Лхасу и Ташилхуньпо с дарами от своего монастыря. Этим случаем и воспользовались для того, чтобы узнать, нельзя ли, наконец, получить от тибетского правительства разрешения посетить Лхасу.

Одновременно Р. Н. получил от английской администрации приглашение как можно скорее прибыть в Калькутту для важного разговора. Видимо, ему было сделано несколько предложений, одно из которых означало путешествие в недоступный Тибет. Он принял большинство из этих предложений и тут же получил доступ к секретным документам.

Отныне Тибет становился для него смыслом жизни. Он должен был знать об этой стране все, что только было можно, еще до начала экспедиции.

Р. Н. читал отчеты путешественников, донесения шпионов, заметки паломников и купцов. Любая мелочь была для него исключительно важна, от случайной детали могла зависеть жизнь. Материалов было много, но как мало говорилось в них об этой удивительной стране. Ему посоветовали не делать выписок, а положиться на свою память. Со всех точек зрения это было удобнее, да и надежнее тоже. И он буквально вгрызался в английские, непальские, сиккимские, китайские, индийские и русские тексты. Он уже жил Тибетом. Итак, Тибет...

Тибет — это «страна снегов», священный центр ламаизма, куда с глубоким благоговением обращены сердца и взоры миллионов людей. Он зовется таинственным и недоступным, цивилизованный мир почти ничего не знает о нем, поскольку Тибет не хочет, чтобы о нем знали. Весь XIX век прошел под знаком все учащающихся попыток вырвать тайну великих снеговых гор. Многие пускались в это опасное предприятие, но немногие возвращались обратно. Сотни путешественников, то явно, то переодевшись паломниками, отважно отправлялись в далекий и трудный путь. Создавались прекрасно оснащенные и хорошо вооруженные научные экспедиции, которые пускались в дорогу под надежной европейской и туземной охраной. Но Тибет не хотел открыть свои тайны, и экспедиции возвращались, а смельчаки-одиночки навсегда оставались под ярким изменчивым небом.

Такие «запретные» страны, как Китай, Япония и Корея, давно уже вынуждены были открыть свои ворота для ловких миссионеров и хищных купцов, но горы Тибета, его ледники и заснеженные перевалы, пропасти и теснины — надежный союзник людей, которые хотят сберечь своеобразие своей жизни, какая бы она ни была: хорошая или плохая.

Тибет... Последняя твердыня Азии, самой природой хранимая от любопытных взоров и алчных замыслов чужеземцев. Страна пустынь и величайших гор, где живут грозные и могущественные боги, чьи высеченные в скалах лики сурово глядят в глаза незваных гостей.

Это высочайшее в мире плоскогорье занимает пространство почти в 2 миллиона квадратных километров. Средняя высота его над уровнем моря — 4 тысячи метров. С севера и юга его оберегают горные цепи Куэнь-Луня и Гималаев, на востоке и западе альпийские долины надежно защищены глубочайшими пропастями. Извилистые дороги очень редки, и мало кто знает, как можно пройти по этим дорогам. Это

пути горного лабиринта, теряющиеся у отвесных стен, скользящие над бездной.

Это земля озер и родина рек.

Озера лежат меж синих холмов Хачи на северо-западе. Холодные горько-соленые воды, спрятавшиеся на дне котловин. Путешественник рискует здесь погибнуть от жажды. Рек почти нет, колодцы засекречены, а небо всегда сурово и ясно. Холодно и сухо в этом краю туманно-синих холмов и стального беспощадного блеска мертвой воды.

Глина, глина и песок, покрытые черной галькой и редкими сухими кустиками солеросов. Пустыня, бесплодная и недоступная. Путь через нее губителен. Можно месяцами бродить здесь и не встретить ни человеческого жилья, ни колодца.

Тибет — мать великих рек Азии. Здесь, в скалистых горах его, формируются Хуанхэ и Янцзыцзян, Меконг (Лунцаньцзян) и Брахмапутра (Цангпо). Священный Инд тоже рождается в этих горах. Но Тибет — это не только горы, это луга, поросшие гигантскими цветами, колдовская сила пещер, в которых живут высохшие, как мощи, старцы, непроходимые леса, где стволы кедров обвивает сорокаметровая крапива. И лесные поляны, где люди не смеют охотиться, и куда олени приходят лизать соль, а барсы наточить о священные деревья беспощадные когти. Там медведь не уступит пути человеку, а леопард тихо уходит прочь, увидев на скале тень Учителя. Майтрея — победитель встает там во весь свой рост, связывая и разрешая судьбы. Майтрея — грядущий, еще не явившийся в мир Будда, который принесет счастье всем живым существам.

Люди живут там в основном по берегам священной для всякого индуса Брахмапутры. Она дает воду и жизнь Лхасе, Шигацзе, Джангдзе и Чэтану. На всем плоскогорье живут люди, говорящие на одном языке, составленном из многих наречий. Но ни индийцы, ни китайцы не понимают его. Жители называют себя народом бод (произносится «бё»), но обитатели Чантана между озерами Пан-Гон и Тенгри-Нор называют себя чан-па, люди страны между Тенгри-Нор, Куку-Нор и Дацзяньлу — хорпа, а кочевые племена — дог-па.

В давние времена тибетские кланы составляли единое и самостоятельное государство. Теперь большая часть их земель входит в состав империи, подвластной Дайцинской династии китайских императоров, а окраинные территории принадлежат Непалу, Сиккиму и Бирме.

Никто даже не знает, сколько живет в недоступном Тибете людей. Одни считают, что три миллиона, дру-

гие — не меньше восьми. А ведь мир вступил в XX век, и географы уверяют, что на Земле не осталось больше «белых пятен».

На северо-востоке Тибетского плоскогорья люди бод смешались с монголами (дам-сок). Небольшая колония монголов поселилась и на севере Лхасы. Великое смешение народов, неодолимая диффузия, которая медленно, но верно подтачивает любую изоляцию.

Только с начала XVII века Небесная империя Дайцинов распространила свой суверенитет на Тибет. До той поры это был автономный край, состоявший из четырех провинций: У (Уй), Цан (Цзан), Кам и Нгари (Къорсум), находящихся под верховным управлением далай-ламы. Но медленно и постепенно, верные своей традиционной политике, китайские императоры стали прибирать Тибет к рукам. Ненавязчиво, вкрадчиво, почти незаметно для самих тибетцев власть стала переходить в руки правителей пограничных провинций Китая. Многомиллионное государство неторопливо всасывало в себя страну снегов. Для того чтобы наблюдать за землями, примыкающими к индийской границе, китайцы направили постоянного представителя — амбаня.

Потом началось наступление на власть далай-ламы. Амбань и не думал посягать на его религиозный авторитет. Напротив, святость и непогрешимость далай-ламы всячески подчеркивались. Но вот реальная власть, действительное участие в управлении страной — это далай-лама постепенно терял. Тем более что и другие высшие религиозные князья Тибета стали требовать для себя верховного владычества над провинциями и областями. Китайцы отнеслись к таким претензиям весьма благосклонно, и суверенитет далай-ламы становился все более номинальным.

В XIX веке все входящие в состав Китая тибетские земли были раздроблены на почти не зависимые друг от друга феодальные владения, так или иначе подчиненные Пекину.

Северо-восточная провинция, населенная кочевниками догпа и монголами, подчинена китайскому амбаню, который проживает в Синине (китайская провинция Ганьсу).

Юго-восточный край с городами Батан, Литан и Дарчэньдо включен в состав китайской провинции Сычуань и подчинен непосредственно ее генерал-губернатору.

Третья часть, значительно превосходящая по площади обе другие, составляющая собственно Тибет, закрыта для иностранцев и находится под надзором лхасского амбаня.

Так что изоляция Тибета вызвана не столько религиозными тайнами лам и желанием тибетцев сохранить свою

самобытность, сколько чисто политическими соображениями центрального правительства в Пекине.

Жители Тибета все еще помнят те времена, когда далай-лама единовластно управлял всеми четырьмя провинциями. Однако деление страны на У, Цан, Кам и Нгари лишь дань исторической традиции. Три китайских амбаня управляют страной, раздробленной на множество автономных владений, точных границ которых не знает никто.

Таков Тибет на грани нового, XX века.

Французский путешественник Дютрейль де Ренс считает, что непосредственная власть далай-ламы распространяется на полтора миллиона человек, среди которых не менее 300 тысяч монахов. Центром этих владений далай-ламы является провинция У.

Затем следует область, подчиненная второму тибетскому властителю паньчэнь-риньпочэ, или паньчэнь-ламе, обитающему в монастыре Ташилхуньпо близ города Шигацзе. Он властвует над сотней тысяч подданных, населяющих провинцию Цан, но авторитет этого второго по значению ламаитского иерарха распространяется далеко за пределы этой провинция. Именно паньчэнь-риньпочэ, а не далай-лама, назначает настоятелей монастырей племени голог в Амдо.

В том же городе находится и резиденция главы секты сакья, которая, как и приверженцы старой религии (бонбо), не признает верховной власти буддийских лам. По сути каждая секта обладает своими автономными владениями. Но над всеми распростер свои перепончатые крылья дракон Небесной империи.

Тибет — изолированная страна, и сношения его с внешним миром крайне затруднены. То, что тибетцы именуют словом «лэм» — «дорога» или даже «чжя-лэм» — «большая дорога», представляет собой узкую тропу, петляющую по дну глубоких лощин, прерываемую бурными потоками, которые редко удается перейти вброд. Мостов почти нет. Лишь изредка можно встретить два-три бамбуковых ствола, переброшенных над ревущей белой водой. Часто лэм змеится по крутым отрогам, которые вздымаются на пять и более тысяч метров. Там сияют облака и воют колючие метели, а снежные лавины, как спички, ломают исполинские стволы гималайских кедров. Порой лэм сужается в узкую, не шире одного фута, ленту, заброшенную на скальный карниз, заледенелый, скользкий, повисший над страшным обрывом. Там можно только стоять, приклеившись спиной к холодной скале. Стоять и ждать, пока ветер не сорвет человека, как жалкую былинку. А бывает и так, что там, где еще вчера

был удобный путь, вы встретите лишь груду скальных обломков, ямы и рытвины, искореженные обвалом, с корнем выдранные стволы.

Только черный як может пройти по таким дорогам. Тяжелое животное продавливает ледяную корку и потому не скользит, а короткие ноги позволяют ему идти вперед даже при сильном боковом ветре. Як спокойно тащится над пропастью, лениво жуя, карабкается почти по отвесному склону. Ему не нужен запас пищи в дорогу, он всегда отыщет пук высохшей жесткой травы, оставшейся в скалах еще с незапамятных времен. Этого хватит ему на день пути.

Но яки ленивы и упрямы. Устав идти, они ложатся на снег и скорее дадут убить себя, чем тронутся дальше. Они не могут идти караваном, как лошади или верблюды, а тащатся беспорядочным стадом, калеча друг о друга привязанный груз.

В горах они вряд ли пройдут больше 10 километров за сутки, по равнине, может быть, сделают вдвое больше.

Вот почему многие все же рискуют идти на лошадях, которые намного дороже, которых трудно прокормить и которые в довершение всего срываются в пропасть вместе с кладью.

Главные дороги соединяют Лхасу с Синином. Самая западная из них проходит через Нагчу, переправу Чумар Рабдун на реке Мур-Усу и цайдамское княжество Цзун-Цзасака. Это самый длинный и самый оживленный путь. Монголы предпочитают его. Лучше дать лишку, чем встретиться с разбойниками. Длина этого пути 1860 километров. Яки одолевают его в 108 дней (20 дней от Лхасы до Нагчу, 88 — от Нагчу до Синина). Людские поселения встречаются лишь вблизи Лхасы и на участке Синин — монастырь Танкар, 800 километров проходят по совершенно безлюдной земле, на остальном маршруте — только два небольших поселения: Нагчу и ставка Цзун-Цзасака. Но путь зато ровный и спокойный. Высокий путь по черной гальке и солончакам.

Старики рассказывают о другой, еще более прямой и удобной дороге, проходившей южнее переправы Чумар-Рабдун, между горькими озерами Чжарин-Нор и Орин-Нор к Танкару. Но лихие разбойники из племени голог живо отбили у паломников охоту идти этой дорогой. И время сгладило ее.

Третий путь, открытый французом Гренаром, начинается у истоков Меконга и через монастырь Таши-гомба и Чжекуньдо выходит к Танкару. Длина его 1780 километров, но по пустыне приходится идти только 580 километров.

У монастыря Лабуг от этой дороги отходит ветка в торговый город Ланьчжоу. Она идет по населенным местам мимо монастыря Лабран и города Хочжоу. Здесь торговый человек может не опасаться разбоя.

Весь путь длиной в 2045 километров идет по стране все тех же лихих гологов, которые пропускают только караваны из Лабрана да разрешают великому ламе проехать населенной веткой, когда тот раз в три года ездит из Ташилхуньпо в Пекин. Да и по Гренаровой дороге могут проходить лишь монастырские караваны из Чжекуньдо.

Другая группа из трех дорог идет из Лхасы в Дацзяньлу (Дарченьдо) на границе провинции Сычуань. Самая южная, наиболее короткая и трудная, идет через Чжямдо (Гямда), Лхари и Чамдо. 1650 километров этой дороги яки проходят в 105 дней. Дорогой через Согцзон и Чамдо мало кто пользуется, зато северным путем, от истоков Меконга к городу Чжекуньдо, несмотря на крюк в 200 километров, следуют чаще всего. Это сравнительно хороший путь. Только лхасский амбань ездит всегда по первой дороге, которая проходит по богатым местам. Он никогда не упускает случая пополнить свою казну.

Есть, правда, еще одна дорога — из Сунпаньтина в Чамдо через монастырь Цзогчэнь с веткой в Чжекуньдо. Короткая — всего 860 километров. Но только сунпаньские контрабандисты, находящиеся в доле с местными разбойниками, могут спокойно проехать этим путем.

Приходится подробно говорить о дорогах в Тибет, поскольку от них зависит добрая половина успеха. Можно обмануть бдительность китайских властей, подкупить местную полицию, успешно пройти допрос лам. Но если вы не попадете в Лхасу, вам даже не придется подвергнуться всем этим испытаниям. А в Лхасу очень легко не прийти. Вы можете замерзнуть на перевале, обрушиться в пропасть, стать добычей леопарда-людоеда, умереть от голода и жажды в пустыне, вас могут ограбить и даже убить разбойники. И все зависит от правильного выбора дороги. Остальное — дело судьбы. Но выбор дороги во многом предопределяет вашу карму.

Третья группа дорог соединяет Лхасу с Лицзяном в китайской провинции Юньнань. Расстояние между этими городами 1600 километров, но никто точно не знает, где и как проложены там дороги. Неизвестно даже, сколько таких дорог. Весь путь проходит по совершенно не исследованной долине священной Брахмапутры. Жители Сиккима, Бутана и Непала уверяют, что там живут страшные мохнатые люди с двумя боковыми резцами, выступающими над нижней гу-

бой, и красными глазами, которые светятся в темноте, как у зверей.

Несколько дорог соединяют Лхасу с Индией. Наиболее удобная из них по взаимной договоренности между далай-ламой и лхасским амбанем закрыта для движения. От столицы Сиккима Дарджилинга до Лхасы всего 620 километров. Их можно было бы проскакать за девять дней. Это тем более удобно и выгодно, что Дарджилинг связан с Индией английской железной дорогой. Но этот путь в Лхасу закрыт. Можно пользоваться только дорогами, проходящими через Бутан и Непал. От Лхасы до столицы Бутана Тассисудона (Ташичоцзон) только 400 километров, а до столицы Непала Катманду 860 километров. Непальская дорога проходит через Чжяньцэ, Ташилхуньпо, Сакья и Тинри. Есть еще одна, почти заброшенная, дорога из Лхасы в Ассам через Чэтан.

Две дороги ведут из Лхасы в Ладак. Одна из них (2140 км) проходит через Ташилхуньпо, Гарток и Рудок, другая (1880 км) — через Сэньчжацзон, Омбо и Рудок. Почти все торговые караваны идут по более длинной дороге, проходящей по сравнительно богатым и густонаселенным районам. По этой же дороге обычно направляются к далай-ламе посольства из Ладака. На яках весь путь можно пройти за четыре месяца, на лошади — за два с половиной. Правительственный курьер, которого ожидают подставы на каждой станции, тратит на весь путь 18 дней.

Есть еще несколько трудных и почти заброшенных путей в Лхасу и Ташилхуньпо из Китайского Туркестана. Вот и все. Больше дорог в Тибет нет.

За последнее тысячелетие буквально считанные путешественники смогли проникнуть в столицу Тибета, хотя вплоть до начала XIX века они не встречали никакого противодействия со стороны местных властей.

Р. Н. внимательно изучил все документы, в которых только упоминается слово «Тибет». В течение полутора лет он не разгибаясь сидел над книгами, письмами, фотокопиями, картами и манускриптами на разных языках. Среди всех этих документов было несколько особо секретных и важных. Специальный курьер из Лондона следил за тем, чтобы они были прочитаны в изолированном помещении и не попали в чужие руки.

874 год. Первое упоминание о Тибете. Арабский купец-мореход Ибн-Вахаб покинул в 871 году родную Бассору, которую разграбили восставшие зинджи, и через Индию направился в Китай. Сохранился древний пергамент с его записями: «...За страной Китай находится страна тагазгазов, которые относятся к тюркам. Земли Китая, граничащие с землями тюрок,

называются Тибетом... Однако люди из наших стран еще не бывали там, а потому никто не может рассказать о них. В этой стране встречаются белые соколы...»

1160 год. Появляется самый значительный в научном отношении географический труд средневековья, единственный, который хоть в какой-то степени можно сопоставить с великолепным творением Птолемея. Это созданная в Палермо «Книга Роджера», к которой приложена большая карта мира арабского ученого Идриси. Под покровительством короля Роджера II Идриси выгравировал на серебре эту знаменитую карту, над которой трудился 15 лет. Оригинал этой карты утерян, но копии сохранились.

Первым из европейских географов Идриси помещает в Центральной Азии Тибет (под названием Тоббат).

1166—1173 годы. Знаменитый еврейский путешественник рабби Вениамин предпринимает путешествие по Передней Азии и Северной Африке. Сохранившийся лишь в отрывках путевой дневник рабби Вениамина содержит фразу: «Оттуда (от Самарканда) четыре дня до области Тобота, в лесах которой добывается мускус».

Это первый европейский источник, в котором упоминается нынешнее название Тибета (в форме «Тобот»).

Но лишь через полтора столетия европейцы смогли проникнуть в Тибет. Первым, кому это удалось, был монах Одорик из Порденоне.

С тех пор как в начале XIII века были основаны два нищенствующих ордена — доминиканцев и францисканцев, миссионерская деятельность братьев в рясах стала неуклонно расширяться. Благодаря совету, данному папой в 1267 году магистру Доминиканского ордена Жану де Версею, послать христианских проповедников к монголам, индусам, эфиопам, нубийцам, сарацинам, а потом и благодаря личным стараниям папы Николая IV, пославшего письма «К царям Армении, Грузии, Иберии, Эфиопии и Татарии» начался подъем миссионерской деятельности в языческих странах. Правда, конечный результат далеко не оправдал надежды великого понтифика, несмотря на самоотверженность и мужество братьев-путешественников.

Одним из наиболее выдающихся христианских проповедников был францисканец Одорико Маттиусси ди Порденоне, называемый также Одерихом Парденонским. В апреле 1318 года фра Одорико отправился в длительное путешествие по Азии. Вместе с другим знаменитым миссионером-путешественником, Монтекорвино, Одорико провел несколько лет в Китае, на обратном пути посетил Тибет и даже долго прожил в священной Лхасе. Возвратившись в Италию в 1330 году изнуренным, больным человеком, он по требованию великого магистра ордена Гуйлельмо Соланья продиктовал отчет о своих путевых приключениях. Впрочем, смерть, последовавшая 14 января 1331 года, прервала этот труд, который стал известен в Европе под латинским названием «De mirabilibus mundi» («О чудесах мира»).

«Я направился в другую очень обширную провинцию, — рассказывал Одорико, — носящую название Тибот и лежащую на пути в Индию. Это царство подвластно великому хану. Здесь можно найти хлеб и воду в таком величайшем изобилии, как нигде на свете. Жители этой страны живут в шатрах из черного войлока. Их главный город очень красив и построен весь из белого камня, а его улицы хорошо вымощены. Он называется Хоса. Никто в этом городе не осмеливается пролить кровь человека или даже животного из благоговения к идолу, которому здесь поклоняются. В этом городе живет Обасси (далай-лама) — так называют они на своем языке местного папу. Он глава всех идолопоклонников и по своему усмотрению распределяет доходы страны... У них считается красивым иметь длинные ногти, и они отпускают их столь длинными, что те покрывают им все руки. Красота женщин определяется маленькими ножками. Когда у матерей рождаются дочери, они стягивают им ноги так, что те совсем не могут вырасти...»

Сведения Одорика о Лхасе не утратили своей ценности со временем.

Р. Н. поразило чрезвычайно точное сравнение лхасского далай-ламы с Римским Папой. Действительно, и во времена Одорика, и по сей день далай-лама был и остается папой ламаитов. Он властитель душ 200, а может быть, 400 миллионов людей! А мир ничего не знает о нем, как не знает он о ламаитском Риме — Лхасе и ее тайных святынях.

Изучая документы о путешествии Одорика, Р. Н. установил, что тот попал в Лхасу через провинции Шаньси, Шэньси и Сычуань. Было это в 1325—1326 годах.

Прошло три столетия, прежде чем кто-либо из европейцев решился отправиться в Тибет.

В 1624 году иезуит Антонио Андрада проник туда из Агры (Индия), перевалив через Гималаи к верховьям Ганга (озеру Манасаровар), откуда через Рудок направился в Кукунор и далее в Китай. Описание этого трудного путешествия появилось на португальском языке в Лиссабоне.

Другой иезуит — австриец Грюбер — совершил такое же путешествие, но в обратном направлении: из Китая в Индию. Вместе с французом Дорвилем он в 1661 году выехал из Пекина через Синин и Нагчу в Лхасу, откуда, пробыв два месяца, направился в Агару через Непал.

Через 50 лет неугомонный иезуитский орден вновь посылает ловких своих офицеров разведать тайны далекой высокогорной страны. Тосканцу Дезидери и португальцу Фрейре удается в 1716 году проникнуть в Лхасу из Сиккима. Дезидери пробыл в Лхасе до 1729 года. Его чрезвычайно ценные записки о Тибете доныне остаются в рукописи, которая хранится в секретном сейфе одной из иезуитских школ.

Р. Н. получил возможность прочесть копию этой рукописи в английском переводе.

В 1719 году, когда Дезидери еще пребывал в Лхасе, туда пробрались 18 капуцинов во главе с отцом Франциско Орацио делла Пенна. Они основали в столице Тибета первую католическую миссию, которая просуществовала вплоть до 1760 года. Орацио делла Пенна прекрасно изучил город, страну и несколько местных языков. Все материалы миссии хранятся в Ватикане в Congregatio de propaganda fide.

С выписками из некоторых донесений патера Орацио Р. Н. ознакомился.

Почти не осталось сведений об интересной экспедиции голландца Самуэла ван де Путте, который около 1730 года добрался до Лхасы из Индии. Ван де Путте изучил тибетский язык и даже ездил в составе тибетского посольства в Пекин.

В 1774 году английский генерал-губернатор Уоррен Гастингс отправил в Шигазе своего доверенного агента Джорджа Богля, которому удалось снискать доверие самого паньчэнь-ламы. Это вызвало беспокойство в Пекине. Тогдашний китайский император резко ограничил самостоятельность Тибета во внешних сношениях, и миссия Богля потерпела провал.

Тогда Гастингс послал еще одного агента — капитана Самуэла Тернера, который также не смог преодолеть сопротивления китайской администрации и повернул назад.

В 1792 году на Тибет напали завладевшие Непалом гурки. Китай усмотрел в этом тайные интриги англичан. Возможно, не без оснований. Во всяком случае, это событие послужило Пекину поводом для окончательного закрытия индо-китайской границы. Потом эта мера была распространена и на границы Тибета с другими странами. Таким образом, политика замкнутости была делом рук китайского правительства. Но потом ее усвоили и правители Тибета. С тех пор она проводится в жизнь со всей строгостью.

И все же англичане не оставили своих попыток проникнуть в Тибет. Сразу же после закрытия границы с Индией в Лхасу сумел пробраться Томас Мэннинг, который своими медицинскими познаниями буквально очаровал китайского генерала, имевшего резиденцию в пограничном с Бу-

таном городе Пзрицзоне. В 1811 году генерал взял Мэннинга с собой в Лхасу. Мэннинг был первым европейцем, который удостоился чести повидать далай-ламу. Китайская агентура донесла об этом Пекину. Мэннинга отослали в Индию, а его покровитель генерал попал в опалу.

Но цель была достигнута. Англичане получили достоверную информацию о Тибете. Оставалось лишь взвесить, насколько игра стоит свеч. Но это был уже вопрос высокой политики. Сбор стратегической информации не зависел от его решения. Эту информацию все равно нужно было собирать на всякий случай. Особенно важна была проблема путей сообщения.

Но после Мэннинга лишь лазаристы Гюк и Габэ смогли пробраться в Тибет. В 1846 году, переодевшись паломниками, они пересекли границу китайской провинции Синин и по одной из западных дорог направились в Лхасу. Но недалеко от цели были разоблачены и по приказу амбаня с конвоем препровождены в Дацзяньлу по южной дороге, ведущей на Джямдо, Лхари и Чамдо.

Попытки проникнуть внутрь Тибета, которые делались в течение всего XIX столетия, неизменно терпели неудачи. Граница с Индией была на замке. Путешественникам пришлось изучать Тибет по рассказам побывавших там людей. Кемпбелл, Хукер, Кэннингхэм, Вилсон, Иден, Уилкокс, Гриффитс, Крик, Купер, Нидхэм, Фрешфильд, Уэддель, Доналдсон и много-много других — все они обогатили этнографию и английскую секретную службу важными сведениями о Тибете, добытыми в пограничных районах с Индией.

Западные границы Тибета прощупали братья Шлагинтвейны и венгр Александр Чома, всецело посвятивший себя изучению тибетской литературы. Долгие годы провел он в преддверии желанной страны, но так и умер, не сумев пересечь границу.

Неглубокие рейды к озерам Манасаровар (Цо-Мапъам) и Ракас-тал (Цо-Ланак) совершил на юго-западе сначала Муркрофт, а затем Стрэчи и Винтерботтом.

На востоке довольно подробно удалось изучить территорию, населенную тибетцами и подвластную сычуаньскому генерал-губернатору. Эти земли считались входящими в состав собственно Китая, и запрет на посещение их иностранцами соблюдался не так строго. Путешественники попадали сюда обычно из Дацзяньлу, расположенного в собственно Китае. В 1868 году таким путем достиг Батана Купер, в 1877 году — капитан Джилл, Пратт, миссис Бишоп и другие. Большой успех в изучении страны выпал на долю французских миссионеров, учредивших католическую миссию в Бонга. На первых порах им удалось проникнуть даже в Чамдо и Гарток, но китайцы быстро ограничили их деятельность. Теперь они могут действовать лишь вблизи Батана. Благодаря их стараниям был составлен столь важный для исследователя Тибета тибетско-латинско-французский словарь.

Большое значение для изучения Восточного Тибета имела экспедиция, снаряженная в 1877 году графом Сэчени, в состав которой входили топограф Крейтнер и геолог и ботаник Лоччи.

Но совершенно новая эпоха в исследовании Тибета началась с тех пор, как русские путешественники вновь обратили внимание мира на возможность проникновения в Тибет с севера по пути первых католических миссионеров.

Поскольку из-за характерной индусской внешности и других не менее важных обстоятельств для Р. Н. этот путь был неудобен, он лишь бегло ознакомился с русскими документами, да и то лишь с теми, где говорилось об обычаях местного населения. Тем более что Лхасы русские так и не достигли.

Получит он разрешение на «паломничество» в Лхасу или нет, все равно его путь будет лежать только через южную границу. С юга, только с юга сможет он пробраться в страну лам.

Смелый прорыв южной границы совсем недавно осуществил Генри Сэвидж Лендор. Из северо-западных провинций Индии он через перевал Лумпия-ле, обогнув с юга озера Ракас-тал и Манасаровар, пошел на восток, в долину Брахмапутры. Таким путем никто еще не решался идти. И все же у села Дуксам Лендора арестовали, избили и той же дорогой выпроводили восвояси.

Год спустя, в 1808 году, канадский миссионер Рэйнхарт направился в Тибет вместе с женой и малолетним сыном. В августе они выехали из Танкара и по западной дороге прибыли в Нагчу, потеряв в пути ребенка. Здесь их задержали и велели им возвратиться назад. Но они направились на восток. Вскоре вблизи монастыря Ташигомба они сбились с дороги, и миссионер отправился поискать какого-нибудь жилья. Жена прождала его три дня, но он так и не вернулся. Она была вынуждена продолжить путь и вышла в конце концов к Дацзяньлу.

Наконец, уже в этом году уроженцы Бадена Футтер и Гольдерер обследовали область, лежащую между озером Кукунор и рекой Хуанхэ.

Такова история в большей части безуспешных попыток достигнуть Лхасы. Дело было бы безнадежным, почти безнадежным, если бы не одна лазейка, долгое время остававшаяся неиспользованной.

Дело в том, что правительства Пекина и Лхасы, закрыв Тибет для иностранцев, сделали исключение для азиатов, исповедующих буддизм. Этим воспользовались англичане. В 1865 году по инициативе полковника Монтгомери индийское геодезическое бюро Ttigonometrical Survey начало готовить индийских подданных британской короны для «самостоятельных географических исследований», или, говоря иными словами, для разведки Тибета и других закрытых для европейцев областей Гималаев.

В целях конспирации эти ученые-пандиты именовались лишь условными буквами. Переодетые паломниками и снабженные необходимыми материалами и инструментами, они свободно пересекали границу и довольно легко пробирались в Лхасу.

С разных сторон, кроме северной, углублялись пандиты в Тибет, и если теперь есть какие-то карты этой страны, в том заслуга пандитов. Собранные ими материалы считаются секретными и не подлежат опубликованию в течение 30 лет. Р. Н. эти материалы были, конечно, предоставлены.

С большим интересом прочел он превосходные путевые журналы пандитов А-, А-к, ламы Учжень-чжяцо.

А- в течение десяти лет (1865—1875) совершил три путешествия. Он подробно исследовал западную провинцию Нгари и дважды прошел по центральным районам с запада на восток. Дважды он побывал в Лхасе и был принят далай-ламой.

А-к побывал в Тибете в 1878—1882 годах. Его маршрут представляет собой гигантский четырехугольник с вершинами: Лхаса, Сачжоу (к северу от Цайдама), Дацзяньлу, граница с Ассамом. Осенью 1878 года он посетил Лхасу и составил первый подробный план этого загадочного города.

К концу работы Р. Н. мысленно мог представить себе каждый перевал, каждый поток и мост на дорогах Тибета. Он говорил по-тибетски столь же легко, как на языках Индии или на английском языке. Китайским языком он тоже владел довольно свободно. План Лхасы врезался в его память так прочно, что ему не надо было бы спрашивать там дорогу у посторонних.

К этому времени английское правительство собралось снарядить посольство в Пекин. Чтобы испросить разрешение на такое посольство, к китайскому императору был направлен неофициальный посланник, сопровождать которого было поручено Р. Н.

В Пекине он жил в кумирне, находящейся за воротами Аньдин и называемой Си-хуан-сы, где обычно останавливаются все тибетские торговцы. Он носил одежду китайского ламы, и его действительно принимали здесь за ламу из Качэ (Кашмира). Это была первая попытка жить под чужим именем в чужой стране. Английский друг Р. Н. называл это «легализацией».

Знание тибетского языка и буддийских источников помогло Р. Н. сблизиться с видными китайскими ламами. Особенно он дорожил расположением главы ламаитов Китая Чжан-цзя-хутухту.

Между тем переговоры о посольстве протекали не так, как хотелось англичанам. «Английский друг» вынужден был возвратиться в Индию, так и не достигнув поставленной цели.

Тем не менее заслуги его были высоко отмечены. Р. Н. тоже был пожалован индийским правительством титул Rai Bahadur, а англичане наградили его орденом индийской империи.

Разрешение на поездку в Тибет все еще не было получено. Оставалось готовиться к путешествию под видом паломника. К этому времени у Р. Н. состоялся важный

разговор с одним английским полковником, на которого была возложена ответственность за будущую тайную миссию. Беседа протекала приблизительно так:

Полковник. Надеюсь, гуру[1], вы готовы?

Р. Н. Да, сэр. Вполне. Хоть завтра.

Полковник. В таком случае я бы хотел сделать некоторые дополнения к вашему заданию. Вы не возражаете?

Р. Н. Буду рад выслушать вас.

Полковник. Нам бы хотелось, чтобы вы обратили внимание на расположение местных и особенно китайских гарнизонов.

Р. Н. Я уже ранее отказался выполнять любые поручения, связанные с военным шпионажем. Для меня «тайны Тибета» — это этнографические, культурные, религиозные тайны, но не более.

Полковник. Относится ли это и к путям сообщения?

Р. Н. В известной мере. Все, что касается передвижения по тибетским дорогам небольшой группы людей, я буду внимательнейшим образом отмечать и изложу потом в отчете. Одним словом, я постараюсь облегчить путь всем, кто пойдет по моим стопам. Но я не намерен пролагать дорогу военной экспедиции.

Полковник. Считаете ли вы возможным посредничество между нами и местной или китайской администрацией? Я имею в виду тех представителей духовенства и светской власти, которые готовы или будут готовы сотрудничать с нами?

Р. Н. Речь идет о подкупе?

Полковник. Как об одной из возможных мер.

Р. Н. Я не считаю порочным для себя покупать людей, которые продаются. Весь вопрос в характере необходимых сведений. Сведения, интересующие меня, а вы знаете, что меня интересует, я готов купить. Но не военные секреты. Думаю, что нет нужды повторяться.

Полковник. Безусловно. Мы слишком хорошо знаем и уважаем вас, сэр, чтобы питать сомнения по поводу ваших слов. Позвольте мне задать вам еще один, совсем неофициальный вопрос?

Р. Н. Прошу вас, сэр.

Полковник. Вы верующий человек, гуру?

Р. Н. В известном смысле да. Но эта вера вне исповедания, и смысл ее вряд ли будет понятен постороннему.

---

[1] Гуру — учитель (*инд.*), почтительное обращение.

Полковник. Если я правильно понял, речь идет скорее о комплексе этических норм?

Р. Н. Это и так и не так. Но считайте, что вы поняли правильно.

Полковник. Тогда еще один и самый последний вопрос. Отдаете ли вы себе отчет в том, что сведения об этнографии, морали и религиях Тибета, равно как и подробности топографического и климатического характера, являются сведениями разведывательного характера и могут быть использованы... Вы меня понимаете, гуру?

Р. Н. «На этом свете есть двоякий путь, как мною было сказано и ранее, о безгрешный: единение санкиев[1] через познание и единение йогов через действие. Человек не достигнет свободы отречением от действия и одним отречением не поднимется до совершенства. Никто даже на один миг не может остаться истинно бездействующим, ибо все беспомощно влекутся к действию свойствами, от природы исходящими». Так говорит бог Кришна в «Бхагавад Гите», полковник. Что может сказать человек?

Полковник. Эти строки о достижении совершенства напоминают учение Будды.

Р. Н. Буддизм не возник на пустом месте. Он такой же цветок Индии, как брахманизм.

Полковник. И он цветет теперь под небом Тибета.

Р. Н. Тибетский буддизм — это лишь отраженный, стократ преломленный свет Индии.

Так мирным богословским разговором закончилась эта беседа, которая столь угрожающе началась. Полковник хорошо знал Индию и ее культуру, чтобы настаивать там, где настаивать бесполезно.

Впрочем, при этом разговоре никто не присутствовал. Данная версия рисует в выгодном свете и самого Р. Н., и даже полковника. Это вызывает известное сомнение. Тем более что Р. Н., как и предполагалось, отправился в Тибет как тайный агент.

---

[1] Санкии — последователи религиозной философии санкия; в общем смысле — рационалисты.

# КОЛЕСНИЦА МАХАЯНЫ

Нельзя забыть про зло
Вся суть:
Следить, как зреет черный злак.
Тем светел восьмеричный путь,
Ведущий к прекращенью зла.

Дхаммапада, XIV, 191

Ты можешь яд в руках нести,
Пока шипом не ранишь кожи.
Избегнуть злобы тот лишь может,
В ком зло не смеет прорасти.

Там же, IX,124

При рождении он был наречен именем Гаутама. Однако впоследствии ревностные почитатели дали ему новое имя — Сиддхартха. Он принадлежал к небольшому племени шакьев, состоявшему, по преданию, из одних кшатриев — воинов. Среди шакьев не было ни брахманов, ни представителей других каст. Поэтому прирожденные воины должны были сами заниматься земледелием, торговлей и другими неподобающими их касте делами. Все шакьи, том числе и их вождь — отец Гаутамы, сами ходили за плугом. Шакьи выбирали своих предводителей по принципу очередности. Отец Гаутамы не был царем, хотя и звался «раджанья» — повелитель. Но так могли звать и любого кшатрия, имеющего право стать вождем. Это потом легенда превратила Гаутаму в сына царя — принца Сиддхартху, родившегося в роскошном дворце и выросшего среди развлечений и утонченных удовольствий.

Простой народ назвал его Шакья-Муни — «отшельник из племени шакьев», а он нарек сам себя Буддой, что означает на санскрите «осененный истиной».

Буддийская легенда рассказывает, что после бесконечного множества перерождений грядущий Будда явился в мир со спасительной миссией указать человечеству выход из страданий. Последнее это перерождение и свершилось в образе Сиддхартхи — отпрыска знатного рода Гаутамы.

Шакьи жили на небольшой территории, расположенной по обе стороны теперешней индо-непальской границы, в районе нынешних округов Басти и Горакхпур. Земли их были покрыты девственным лесом, с которым приходилось вести упорную борьбу.

Жена вождя шакьев Майя однажды увидела во сне, что ей в бок вошел белый слон. Она не придала сну значения и вскоре забыла его. Но как-то она искупалась в священной пушкаре шакьев — искусственном водоеме с лотосами, после чего родила в роще деревьев сал, посвященной богине-матери, мальчика, который вышел из ее бока. Новорожденный сразу же встал на ножки и издал ликующий львиноголосый клич. А через семь дней Майя умерла.

Юный Гаутама получил обычное для всех кшатриев воспитание. Он прекрасно научился управлять боевой колесницей, владеть оружием, усвоил племенные обычаи. Он женился на девушке своего племени, Каччане, принадлежавшей к знатному роду, и она родила ему сына Рахулу.

Отец Гаутамы Шуддходана, как мог, ограждал сына от теневых сторон жизни. Он помнил пророческие слова мудреца Аситы: «Я смеюсь от радо-

сти, что спаситель явился на Землю, и плачу оттого, что мне не выпадет счастья дожить до свершения его подвига».

Потерявший любимую жену Шуддходана не хотел утратить и сына, даже если тому и надлежит совершить подвиг. Поэтому жизнь Гаутамы (ему еще предстояло оправдать имя Сиддхартхи, которое значит «выполнивший назначение») протекала легко и счастливо. Но однажды, проезжая на колеснице, окруженный друзьями и поющими девушками, Гаутама увидел кровоточащие язвы на теле калеки, скорбную процессию, которая следовала за лежащим в гробу покойником, согбенного годами старца и погруженного в размышления аскета-саниаси.

Это были четыре встречи Будды. Острой молнией ранила его сердце мысль о предназначенных человеку страданиях. Кто мы? Откуда мы? Куда идем? В чем конечный смысл наших страданий? И безнадежная тоска затмила его. Он задумался о муках тела и души, о всех утратах, которые ожидают человека на Земле, задумался о том безжалостном и бессмысленном уничтожении, которое люди называют смертью.

В ту же ночь он решил стать отшельником-саниаси, чтобы в размышлениях обрести путь, ведущий к избавлению от мук. Он покинул тайком свой дом и ушел в леса и пещеры.

Шесть лет он метался в поисках этого неведомого пути. Он искал истину в священных тайнах брахманов, искал ее в себе, умерщвляя свою плоть голодом и бичеванием. Подолгу жил он в джунглях, где одни только звери могли слышать его. И вдруг на него снизошло откровение. Случилось это, когда он сидел, погруженный в себя, под деревом пипалой на берегу реки Нераджары.

Гаутама сделался Буддой. Он познал «четыре благородные истины»: 1) существование страдания — существовать значит страдать; 2) причина страдания — желание, которое только возрастает при удовлетворении; 3) прекращение страдания — уничтожение желаний; 4) путь, ведущий к такому уничтожению, — три стадии или последовательных состояния совершенства, которые заключаются в знании и соблюдении «благого закона», исполнении дисциплины буддизма и его морали и в нирване, где уже нет существования.

Демон зла, бог смерти Мара, наслал на «просветленного» страшные бури. Но страха не было в сердце Будды. Мара послал ему своих дочерей, которые стали соблазнять отшельника всеми радостями жизни. Но желание было убито в сердце Будды. Только сомнение могло еще отвратить его от избранного пути. Четыре недели, днем и ночью, ходил Будда вокруг дерева, пытаясь победить сомнение. И победил.

В «оленьем парке», близ Бенареса, Будда произнес свою первую проповедь перед пятью учениками и двумя оленями. Высокая истина была высказана. Отныне путь к спасению от страданий открывался перед людьми. Будда привел в движение колесо дхармы. Сорок пять лет бродил он по городам и деревням, проповедуя свое учение. Со всех концов Индии к нему стекались ученики. Одних он оставлял при себе, других посылал проповедовать в самые отдаленные концы страны. И они несли людям дхарму, что следует понимать как закон жизни.

Умер Будда в восьмидесятилетнем возрасте в Кушинагаре. Он лег под деревом пипалой в позе льва и обратился к монахам и мирянам: «Теперь, монахи, мне нечего сказать вам больше, кроме того, что все созданное обречено на разрушение! Стремитесь всеми силами к спасению».

К спасению ради чего? К какому спасению? Если со смертью кончается все, то значит ли это, что можно победить смерть? Как понимать слова учителя? Назареянин на кресте тоже спросит потом в смертной тоске: «Зачем ты покинул меня, Элоим?» Разве он не почувствовал, что это смерть приходит к нему, а за смертью кончается все? Как же понять тогда слово «спасение»? Но разве религия когда-нибудь учила пониманию? Она призывала только верить...

Уход Будды из жизни буддисты называют «mahaparinirvana» — обретение великой нирваны. Учитель умер в месяце вайшакха (май) в момент полнолуния.

Ты мне дорогу укажи!
В моих глазах один туман.
Скажи, что есть за смертью жизнь,
Что погребение — обман,
И я последую туда,
Как Ганг уходит в океан.

Тхерагатха

Слова Будды говорят не о бессмертии, а об избавлении от жизни как величайшем благе, которое она может дать: 339-й стих «Тхерагатхи» говорит:

Конец страданиям, приди!
Я жизнь последнюю влачу.
Мои рожденья позади.
В последний раз уснуть хочу,
И я рождение и смерть
Уже не встречу впереди.

Сквозь цветной туман мистических легенд едва-едва проглядывает изначальная суть буддийского мировоззрения. Когда-то это была не столько религиозная, сколько философско-этическая система. Основная суть ее в учении о подавлении желаний — в «четвертой и возвышенной истине». Она говорит о «восьмеричном пути», ведущем к прекращению страданий. Вот его ступени: «Праведная вера, праведная решимость, праведные слова, праведные дела, праведный образ жизни, праведные стремления, праведные помыслы, праведное созерцание». Идущий по ступеням «восьмеричного пути» становится архатом — святым — и погружается в нирвану. Нирвана — венец стремлений мудрецов, идеальное состояние.

Но что же такое нирвана? Блаженство? Небытие? Ведь это основа буддийской философии! И все же в буддийском учении нельзя найти ясного и однозначного толкования нирваны. Одни видят в нирване полное уничтожение, другие — прекращение бытия, доступного сознанию, и переход в некое непознаваемое бытие. Одни полагают, что путь в нирвану лежит через смерть, другие уверены, что она достижима еще при жизни. Но все сходятся в одном — нирвана означает прекращение цепи перерождений, которая составляет удел всего живущего.

Эта вечная цепь перерождений усвоена буддизмом из ранних индийских религий. Она, эта роковая санскара, эта мучительная цепь, неотвратимо влечет все живое от перерождения к перерождению по стезе страданий. Даже смерть не может оборвать эту цепь. Новое рождение опять обрекает на страдания. Вырваться из этого страшного, как затягивающаяся на шее петля, круга санскары может лишь тот, кто пройдет сквозь перерождения «восьмеричным путем» и станет архатом. Брахманисты учат, что перерождение возможно в любой форме: животного, растения, насекомого, демона или божества. Но лишь человек способен достичь нирваны.

Буддисты верят, что сам Будда до своего рождения в облике Гаутамы прошел длинный ряд перерождений, что был он в прежних воплощениях и человеком всех каст и занятий, и богом, в том числе даже самим Брахмой. Он лишь первым из людей достиг нирваны, за которой кончаются любые перерождения. Вот почему современные буддисты говорят, что Будда не умер, а ушел в нирвану.

По учению Будды, путь к нирване труден. Только сам человек, без чьей бы то ни было помощи, может достигнуть ее. Будда не отрицал

существования богов, он старался не вступать на эту скользкую стезю. Может быть, потому, что не верил в них. Во всяком случае, он говорил, что даже боги подвержены проклятию санскары. Поэтому достигший просветления человек выше богов. Ни боги, ни сам Будда не могут спасти людей. Каждый человек может только своим путем прийти к нирване сквозь ужас перерождений.

В основе нравственных законов Будды лежали пять обязательных принципов: не убивать ни одного живого существа, не посягать на чужое, не касаться чужой жены, не лгать, не пить вина. Это должен был соблюдать каждый. Но стремящийся стать архатом — в самой абсолютной форме. Он не мог обрабатывать землю, чтобы не убить живущих в ней червей. Даже воду для питья он вынужден был многократно процеживать, чтобы не проглотить случайно мельчайшее существо. А собственность? Разве трудом и торговлей она не приумножается за счет других? Значит, не надо никакой собственности. Только повязка вокруг бедер и чаша нищего. Архат должен был становиться саниаси и уходить от мира.

А любовь? Разве Будда не завещал ученикам особую, столь непривычную для человека любовь? Это была любовь и милосердие ко всему живому: друзьям и врагам, коровам и пантерам, муравьям и паразитам на теле. Вечная улыбка на бронзовой статуе Будды. Задумчивая бронзовая улыбка, обращенная всем и никому.

Всем и никому. Привязанность к друзьям и близким уже сама по себе отнимает часть любви, предназначенной для всех. Значит, не может быть для архата такой привязанности.

Бронзовая улыбка. Бесстрастная и отрешенная. Непротивление злу, прощение всяких обид. Всепрощающая и равнодушная улыбка. Нельзя злом воздавать за зло. От этого ведь только растет зло в мире. Зло никогда не имеет конца, оно всегда влечет за собой новую вражду и новое страдание. Только всепрощение должна нести в мир улыбка архата.

Нельзя защищать несправедливо обиженного, вступаться за слабого, мстить за убитого, отстаивать неправедно осужденного. Нужно убить любое желание и лишь самому уклониться от зла. Приневолить себя к бесстрастию, найти блаженство в равнодушии, благожелательном ко всем. И бритоголовый буддийский монах знает, что это не столь трудно, как кажется. Ведь это лишь мнится, что люди живут проявлениями души, способной чувствовать гнев, радость и скорбь. Нет, их направляет не душа, а отдельные дхармы.

Слово «дхарма» имеет много значений: закон, учение, религия, истинная реальность, признак и, это самое главное, носитель признака, носитель душевных свойств. Согласно же учению, человек — сложное, противоречивое существо. У него много дхарм, много носителей душевных свойств. Одни буддийские школы говорят, что 75, другие — 84, третьи — 100... Много дхарм. Ведь есть «чувственные» дхармы, с помощью которых мы воспринимаем мир: звуки, запахи, краски; дхармы отвлеченных представлений, делающие человека мыслящим существом; дхармы высших стремлений — зовущие в нирвану, например.

Смерть и тела и души разлагает на элементы. Дхармы высвобождаются и, как невидимый пар от воды, обретают свободу и безразличие. Но той кармой, силой той кармы, которую мы творим нашей жизнью и всеми предыдущими перерождениями, дхармы вновь объединяются в иной уже комбинации, давая иную душу иному существу — «перерожденцу».

Так и свершается вращение рокового колеса бытия.

Прервать, уничтожить этот круговорот может лишь архат, достигший нирваны. Потому и становились ученики Будды нищими аскетами, странствующими по пыльным и знойным дорогам без цели и желаний. Лишь знак нищеты, цвет низших каст составлял их собственность — желтая тога.

Но если бы все стали вдруг бикшу (нищими), то кто бы производил рис и овощи, чтобы давать этим нищим подаяние? Разве голодная смерть

всей страны давала нирвану всем жаждущим? Или всеобщее безбрачие, разве оно не угрожало прекратить перерождение тех грешных душ, которые не могли еще обрести совершенство?

Все получалось стихийно, само собой. Не все последователи Будды готовы были обречь себя на аскетизм. Они не хотели расстаться с приятными удобствами мирской жизни, желали достичь нирваны без лишений и мук.

Мирские приверженцы «восьмеричного пути» принимали к соблюдению лишь пять минимальных принципов, к которым добавляли еще пожертвования монашеским обществам. Теперь каждый мог жить, как хотел. Одни в нищенстве, другие в радостях и горестях мира, одни подаянием, другие трудом рук своих. И все могли обрести нирвану.

Буддизм завоевывал души и страны. Первоначальное символическое изображение Будды в виде колеса сменилось фигурой, сидящей на лотосе и несущей свою удивительную улыбку всем и никому. Возникали монастыри, возводились ступы, в которых хранили священные реликвии и мощи. Все шло тем самым путем, каким следовали когда-то жрецы всех стран и народов, каким суждено было пойти и последователям Христа и Магомета. Созывались соборы, образовывались секты. Буддизм был светом Индии, особым, присущим только ей, ни на что не похожим. Но, распространяясь по миру, он терял нечто неуловимое, присущее духу Индии. И судьба буддизма похожа на судьбы всех больших религий. Он вбирал в себя чужих богов и чужие обычаи, терял свою сложную, порой непонятную философию, опускаясь до сознания воспитанных на примитивных верованиях людей. И одновременно с этим обрастал тайной, свято хранимой в монастырях.

Постепенно в буддизме возникло свыше 30 сект. Но самый глубокий раскол произошел в I веке. «Восьмеричная дорога» раздвоилась. Образовалось два течения: хинаяна («малая колесница», узкий путь) и махаяна («большая колесница», широкий путь). Это было закреплено на четвертом соборе во время царя Канишки.

Махаяна пересматривала основу буддизма — учение, основанное на постулате, что человек достигнет нирваны лишь собственными усилиями. И в самом деле! Нужно лучше знать человека, чем идеалисты первых буддийских лет. Разве под силу грешному и слабому существу взвалить на себя такое бремя? Нет, «восьмеричный путь» — это узкий путь избранных, народу же нужен широкий и легкий путь. Для его же счастья, для обеспечения его же усилий. Да и метафизическая, основанная на этике религия без богов не очень-то близка народу. Люди хотели чего-то более привычного и простого. В местах, где жил, проповедовал и умер учитель, выросли ступы. Потом выросли храмы, в которых поставили его изображение. И Будда предстал в виде золоченого гиганта с драгоценным камнем на месте третьего глаза. Образ его стал конкретным, а понятие «Будда» — расплывчатым.

Гаутама-Будда, Будда Шакья-Муни стал лишь одним из множества различных будд, в число которых попали и древние брахманские боги, и боги тех народов, которые приняли у себя буддизм. Святые архаты тоже попали в этот пантеон, как это повелось в других религиях, в других странах.

Количество будд росло: 995 будд-мироправителей (непокрытую голову золоченых статуй стала венчать царская корона), 35 будд-грехоочистителей и еще много других будд.

Оставалось внести в пантеон и специализацию. Так возникли излюбленные божества: основатель учения Будда Шакья-Муни, грядущий Будда-Майтрея, которому суждено сменить Шакья-Муни на престоле правителя мира, Будда-Очирвани (Ваджрапани) — последний из распространенного на севере пантеона 1000 будд, мудрый Будда-Манджушри, миросоздатель Будда-Адибудда, мистический властитель рая Будда-Амитаба.

Кроме будд, в пантеон махаяны вошли еще и бодисатвы. Это своего рода канонизированные архаты — существа, преодолевшие в себе жажду существования и достигшие нирваны, но пожелавшие остаться в миру, чтобы помогать людям.

Бодисатвы могли бы остаться в нирване, стать Буддой, но предпочли любовь к ближнему.

Наиболее чтимым бодисатвой стал Авалокитешвара, трехликий, шестиликий, десятиликий, одиннадцатиликий, львиноголосый. Но этим не ограничились реформы богослова Нагарджуны. Он видоизменил еще одну главную основу буддизма — нирвану. В самом деле, что такое нирвана? Непонятное состояние, некоторые считают, что даже смерть. Она хороша для философов — изощренных аристократов духа. А разве народ поймет нирвану, захочет в нее? Народу нужен рай. И если сам Будда ничего не говорил о рае, то это не значит, что рая нет.

Он находится в блаженной стране Сукавати. Там, в цветущих садах, среди удовольствий и неги, пребывают праведники. Заведует этой обетованной землей кроткий мистический Будда-Амитаба, просто Амитаба.

Что общего у такого рая с нирваной? Ничего. Но здесь нет посягательства на учение Гаутамы. Просто душам райских праведников еще один раз предстоит воплотиться на Земле, и уж тогда они достигнут нирваны, если только не пожелают сделаться бодисатвами.

Рай, таким образом, представляет собой промежуточную форму между земной жизнью и нирваной. Промежуточную, но очень заманчивую.

Но там, где есть рай, должен быть и ад. Изначальная полярность, присущая человеку двойственность, которая исчезает только в нирване. Для запугивания верующих был создан и ад с полным набором ужасающих пыток для тех, кто нарушает законы Будды. Это было тем более своевременно, что законы Будды основательно преобразились. Включив в себя рай и ад, махаяна стала доступна самым отсталым народам.

Да и монахи тоже перестали быть нищими анахоретами. Они сделались посредниками между верующими и бодисатвами. Ведь бодисатвы созданы, чтобы помогать людям. Они доступны для их молитв, они снисходительны к просьбам. И кто еще умеет так хорошо донести просьбу человека до бодисатв, как монах, ставший теперь магом и заклинателем? Он умилостивит добрых богов и обезвредит злых. Тем более что злые боги предстают перед верующим в столь устрашающем облике. Кто помнит теперь, что эти устрашители — преображенные шиваистские и вишнуистские боги, сошедшие в обширный пантеон махаяны?

В культ включаются теперь все средства: скульптура, живопись, архитектура, ритуальные танцы, музыка, мистерии.

Такую религию может уже понять и принять вся феодальная Азия.

Основатель махаяны Шринатха Нагарджуна родился где-то в Южной Индии. Он еще мальчиком надел желтую тогу и ушел в монастырь Наланда. Ему открылся не только тайный смысл священных книг. Он обладал способностью сразу же проникать в суть вещей и обрел власть над могучими силами скрытой природы. По его воле духи змей вынесли на берег моря книгу «высшего потустороннего познания». С помощью молитв и только ему одному известных заклинаний Нагарджуна мог совершать чудеса. Однажды, сотворив благочестивую молитву, он раскрыл большую железную ступу, внутри которой увидел будд и бодисатв, сидящих вокруг другой, меньшей ступы. Он раскрыл и эту ступу и увидел то же самое. И так до бесконечности. И понял Нагарджуна, что перед ним картина строения мира. Что снаружи, то и внутри. Эти понятия относительны. Они лишь покровы, затеняющие от пытливого взора суть вещей.

С тех пор буддийские легенды стали наделять своих святых сверхъестественной властью. Высшие монахи вплотную приблизились к богам. Это сделается потом основной традицией северного буддизма — ламаизма. Наландский монастырь превращается в крупнейший центр буддийской

схоластики. Здесь совершенствовалась махаяна. Отсюда она распространялась во все сопредельные страны. В этой «преосвященной общине монахов великого монастыря в Наланде» трудились прославленные преемники Нагарджуны — Шилабхардра, Дхармапала, Асанга, Васубандху.

В годы расцвета этой великой общины (VI—VII вв.) здесь под недреманным оком полутора тысяч ученых монахов трудились над буддийскими текстами тысячи учеников-послушников. Библиотеки монастыря были полны уникальнейшими рукописями, храмы его поражали своей архитектурой.

«Здесь мы видим искусство Индии, салютующее учености Индии», — скажет потом великий поэт.

Сопредельный мир воспринимал лишь внешнюю сторону философских учений Индии. Не изначальный буддизи, а пеструю пышность махаяны приняли в свои кумирни ламы Тибета и Непала. Но «большая колесница» достигла страны снегов в столь преображенном виде, что Нагарджуна вряд ли бы узнал в ней свое учение. И управлял этой золоченой колесницей буддийский тантризм. Это тайное учение, о котором мало кто знает. Оно исполнено мистическим стремлением к вечному блаженству, к слиянию с божеством, достигнуть чего можно лишь изощренными духовными упражнениями.

Изначально термин «тантра» означал размножение. Тантризм проникнут эротикой. Его темные и сложные обряды воскрешают древнюю магию. Когда-то считалось, что плодородие земли находится в прямой зависимости от плодовитости женщин. Махаяна приняла в себя чужих богов и древние языческие обряды плодородия. Так в плоть ее проник тантризм, которому предстояло преобразить первоначальное учение Будды.

Тантрические статуи изображают богов в неистовом любовном слиянии. Многоликие и многорукие, сплетаются они, подобно паукам ранней весной. Вся двойственность природы предстает здесь в простых символах. И искалеченные ужасной улыбкой бронзовые лики тантрических богов глядят в спокойное и вечное лицо Гаутамы, завещавшего аскетизм. Здесь та самая двойственность, которую Будда призывал утопить в нирване. Но для невежественного, задавленного жестокой жизнью человека смысл ее непостижим. Ему неведомо, что поставленная им у тантрических идолов курительная свечка знаменует отход от Будды, который все так же светло и отрешенно улыбается из дымного далека кумирни.

В X веке в Кхаджурахо был возведен великолепный храм Кандарья-Махадева. Все горельефы его проникнуты эротикой. Это каменная песня любви. Еще древние упанишады видели в единении полов проявление великого божественного начала. Это начало воплотилось в желтом камне храма Кандарья-Махадева во всем мыслимом многообразии человеческих ласк.

Тантрические боги несут элемент демонизма. Бычьи рогатые морды, ужасные оскаленные пасти, хищные колючие руки.

Уже в VI—VII веках буддийский тантризм был окончательно узаконен в специальных текстах, которые несколько неожиданно указывали будущим аскетам совсем иной, куда более приятный путь к спасению.

Тантризм возвел на небеса Будды новое мистическое тело — ананду, или сукхамаю, или махасукхамаю, что можно перевести с санскрита как «плоть божества». Эта плоть и есть подлинная природа Будды. Страдающий Гаутама исчез. Осталась мистическая плоть, сливающаяся в вечных объятиях со своей шакти (женское божество) по имени Тара или Бхагавати.

Но если сам бхагаван, великий непреходящий татхагата, пребывает в одной из форм своих в вечном слиянии с Тарой, то что должен делать простой отшельник? Почему бы и ему не возвести на свое ложе такую шакти? Богиню, Мудру! Тем более что священные тексты утверждают, будто сам Гаутама сделался Буддой лишь «благодаря употреблению тантрийского ритуала».

Так буддизм освятил и узаконил древнейший тантрийский ритуал, который никогда не умирал на древней земле Индии.

И многочисленные шакти — жены бодисатв — заполнили храмы. Пантеон богов удвоился. Каждый обрел свою тантрийскую пару

В культе тантризма основное значение придается не молитвам, а словесным заклинаниям — мантрам, и мистическим фигурам — кругам, треугольнику, стилизованному лотосу. И все в итоге призывает аскета к соединению с шакти. Формула панчамакара (пять слов, начинающихся на слог «ма») велит ему сделать то, что прямо противоположно аскетизму.

Столь откровенное противоречие трудно объяснить. Ученые ламы поэтому объявили тантризм тайным, доступным лишь для избранных. Это святая святых лам. И можно лишь смутно догадываться о том, что происходит на тайных тантристских мистериях.

Главной страной, излюбленным цветком махаяны сделался Тибет. Буддизм был занесен туда в VII веке по чисто политическим соображениям. Объединитель Тибета князь Сронцзан-гамбо решил сцементировать страну единым морально-религиозным учением. Позднейшая легенда объявила Сронцзана воплощением бодисатвы Авалокитешвары.

Впрочем, сначала заимствованный из Непала, буддизм был представлен в Тибете в классической форме хинаяны. Но простой народ продолжал придерживаться древних шаманских обычаев (религия бонбо). Изысканные философские откровения ортодоксальной хинаяны получили популярность только в придворных кругах.

В IX веке легендарный Падма-Самбава стал проповедовать махаяну. Его проповеди сопровождались гаданием, заклинаниями духов, эффектными магическими обрядами. Они имели большой успех. Тем более что махаяна включила в себя и веру в местных богов. Она обращалась к сердцу каждого, обещая послушным прекрасный рай Сукавати и наполненный страшными демонами ад грешникам.

В начале X века царь Ландарма вместе со сплотившимися вокруг него приверженцами родоплеменных обычаев попытался подорвать буддизм, но потерпел поражение. Ландарма был убит, и имя его стало символом еретика. Окончательная победа буддизма в Тибете ознаменовалась широким распространением тантризма. Его распространили тот же Падма-Самбава и монах Джоу-Адишу, приехавший в середине XI века из Индии.

Тибетская система тантр над всеми богами вознесла не имеющего ни конца, ни начала Адибудду. Остальных будд она разделила на три категории: человеческие, созерцательные и бесформенные. Созерцание и магические заклинания — дарани — сделались едва ли не единственным средством достижения нирваны. Вместо длинной цепи перерождений человек мог обрести ее посредством короткого заклинания. Собственная воля уступила место ритуалам знатоков тантр. Изощренная философская система вобрала в себя примитивную магию.

Страна покрылась сетью монастырей, в которых десятки тысяч лам могли спокойно предаваться созерцанию, изучению священных свитков или тайным оргиям по тантрическим рецептам. Механическое повторение дарани приобрело настолько формальный смысл, что ленты с заклинаниями привязывались к ветвям деревьев, чтобы их повторял ветер, вкладывались в особые цилиндры — молитвенные мельницы, чтобы их повторяла вода, заставляющая эти цилиндры вертеться. Чем быстрее вращались ручные или приводимые водой и ветром цилиндры, тем быстрее перемешивались свернутые свитки с заклинаниями и тем сильнее должно было быть их воздействие на невидимый мир.

Монгольские завоеватели (особенно Хубилай) поддерживали влияние буддизма на души людей. Настоятеля самого влиятельного монастыря Сакья пагба-ламу сделали даже наместником императора. Точно так же поступали императоры Минской династии Китая. Может быть, с той лишь разницей, что, проводя политику раздробления страны, они не давали

одним монастырям усиливаться за счет других. Поэтому буддийские секты в Тибете множились.

Против этого восстал легендарный реформатор Цзонхава — основатель секты гелукпа. Жил он в XIV—XV веках и, согласно легенде, происходил из монастыря Гумбум в Амдо. Цзонхава решил возродить древнебуддийскую вознесенность, строгость и чистоту нравов, которая должна была объединить различные слабосвязанные друг с другом секты. Он ввел железную дисциплину и заставил монахов вновь надеть желтую одежду нищеты. Секту гелукпа за ее желтые тоги и головные уборы прозвали потом «желтошапочной» в отличие от ранее преобладавшей в Тибете «красношапочной» секты Сакья.

Цзонхава добился поставленной цели. Но гальванизировать отлетевший дух «высокого» буддизма он не смог. Пышные ритуальные церемонии, торжественные обряды, трубы, колокола, хоругви и ленты — все это мало вязалось с отрешенностью от земной суеты. Правда, в отличие от других сект, где монахи могли вступать в открытый брак, последователи Цзонхавы давали обет воздержания.

Тибетские секты с их различным толкованием законоучения и ритуала во многом подобны отдельным течениям и сектам в других церквах. Но есть одно очень важное отличие чисто тибетского свойства. Не только простой народ, но и само духовенство в Тибете питает одинаковое почтение к жрецам других сект.

Основное содержание реформы Цзонхавы касалось, однако, не формы религии, а, что гораздо важнее, создания иерархии. Он установил единую власть над всеми общинами и монастырями, которая была разделена между паньчэнь-римбочэ и далай-ламой. Оба они были объявлены воплощениями самых чтимых божеств: паньчэнь-лама — Будды-Амитабы, далай-лама — Авалокитешвары (Арьяболо, Хоншим-бодисатвы).

Вообще вера в «перерожденцев»-хублиганов широко распространилась среди «желтошапочных». В каждом монастыре были свои «перерожденцы» — живые боги, будды и бодисатвы.

Божественную сущность можно обрести довольно просто. «Восьмеричный путь» подменяется бросанием костей. Впрочем, первоначально установившийся обычай выбирать воплощенных лам метанием костей продержался недолго. Иерархия не может положиться на власть случая. И все подобные выборы свершаются теперь при том или ином участии коллегии высших жрецов.

Кандидаты в живые боги стали подвергаться различным испытаниям, которые вкупе с указаниями, преподанными в разное время усопшим воплощением, помогают выбрать достойного приемника.

С середины XVII столетия новое воплощение усопшего святого стали находить при помощи золотой урны, названной сэрбум.

Когда истекали три года со дня смерти воплощенного ламы, приступали к составлению списка детей, в которых предположительно могла переселиться душа святого. Если дело шло о выборе самого далай-ламы или паньчэнь-ламы, то список предварительно направляли регенту. Когда все дела со списком улаживались, бумажки с именами кандидатов закатывали в шарики из цзамбы. Точно так же поступали и с бумажными полосками, на которых значилось «да» или «нет». Далее эти шарики опускались в золотую чашу, которая ставилась на престол главной святыни Лхасы. Семь дней шли потом непрерывные моления божествам. На восьмой день чашу несколько раз встряхивали и приступали к жеребьевке. Чье имя трижды выпадало вместе с шариком, в котором лежала бумажка «да», того признавали истинным воплощением.

К младенцу направляли специальную комиссию, которая устраивала ему небольшой экзамен. Чаще всего будущий святой должен был найти среди десятков однородных предметов (чаши, четки, кольца и т. д.) те, которые принадлежали усопшему ламе.

В 1875 году, после смерти далай-ламы Тиньле-чжяцо, регент и коллегия высших лам обратились за советом к знаменитому оракулу Начунчойчжиону с просьбой указать признаки нового воплощения. «Там, где живет душа далай-ламы, деревья начинают цвести раньше, — сказал оракул, — животные скидывают детенышей, а больные смертельными недугами выздоравливают, если их коснулся святой ребенок. Но имя воплощенного может открыть лишь монах самых строгих правил». Оракула попросили указать такого монаха. После магических действий оракул сказал: «Каньпо (настоятель) монастыря Гадань известен своей святостью и глубокими познаниями. Пусть он отправится в Чойкор-чжя, где я вижу святую воду».

И, как рассказывает легенда, каньпо отправился в указанную местность и, найдя там подходящую пещеру, затворился в ней на семь дней, которые провел в глубоком созерцании. На исходе ночи седьмого дня имел он видение и голос неземной услышал, который повелел ему отправиться к озеру Мулидинки-Цо. Пробудившись от чудесного сна, каньпо пошел на озеро. Ветер пробежал по камышам и стих. Озеро разгладилось, солнце вышло из облаков. И тогда в кристально чистой воде увидел монах лик воплощения великого ламы. Младенец сидел на коленях матери и, смеясь, тянулся ручонками к отцу. До мельчайших подробностей запомнил эту картину лама. Он мог потом с закрытыми глазами описать всю обстановку дома, который привиделся ему на воде. Когда чудное видение исчезло, каньпо решил возвратиться в монастырь.

По дороге он остановился в Таг-по в доме уважаемого и богатого человека и узнал вдруг тех самых людей, которые явились ему в чистых водах озера. Он немедленно дал знать в Лхасу. Регент, министры и высшие духовные лица тотчас же прибыли в Таг-по и взяли божественного ребенка, которому было тогда всего двенадцать месяцев. Родителей ребенка тоже забрали в Лхасу, где для них были отведены уже апартаменты во дворце Ричжял.

Такова официальная история ламы, которого зовут Наг-ван-ло-зантубдан-чжяцо, что значит «Владыка речи, могучий океан мудрости».

Золотую урну не применили в этот раз для отыскания «перерожденца» якобы потому, что дух недавно умершего паньчэнь-ламы при жизни был всегда враждебно настроен к далай-ламам и мог помешать правильным выборам.

Как бы там ни было, но существующая система отыскания воплощения дает возможность регенту и высшим иерархам возводить на престол выбранных ими же людей.

Примерно так же отыскиваются «перерожденцы» и менее влиятельных особ, чем верховные ламы. Когда умирает настоятель монастыря, считавшийся при жизни святым, то составляются списки всех родившихся потом в той местности мальчиков. Эти списки отвозят в Лхасу, где и уточняется возможный «перерожденец».

Еще маленьким мальчиком новый воплощенец становится рядовым послушником монастыря. В течение года он должен выучить наизусть без единой ошибки 125 листов священных текстов для сдачи первого экзамена, открывающего дорогу к вершинам священной мудрости. Остальное сделают время и послушание.

# ПУТЬ С СЕВЕРА

Ты подчини себе стрелу,
Направь ее в полет жестокий,
Иль от источника к селу
Дай путь живительным потокам,
Цель каждого — в его судьбе,
Борись мечом или идеей,
Но нету жребия трудней,
Как подчинить себя себе.

Дхаммапада, VI, 80

Пришедшего с севера звали Гонбочжаб Цэбекович Цыбиков. Родился он в Урда-Аге Забайкальской области Читинского уезда в апреле 1872 года. Его отец, бурят кубдутского рода бывшей Агинской степной думы (потом Агинской инородческой области) Цэбек Монтуев, в юные годы хотел посвятить себя духовному поприщу, но встретил препятствие со стороны родителей — ярых шаманистов. Невзирая на это, он самоучкой овладел монгольской и тибетской письменностью, что позволило ему впоследствии занимать важные общественные должности.

Потом он рассказывал сыну, как тяжело переживал отказ родителей послать его учиться в один из ламаитских монастырей. Ему казалось, что ответы на все загадки мира хранятся в священных списках, которые ламы якобы ведут с незапамятных времен. Он хотел знать, как возникают опустошительные болезни и как рождается, подобная раскаленному шару, потрескивающая молния, которую он видел однажды после грозы. Он пытался постигнуть, что движет звездами и откуда пришел человек. Но более всего волновал его неразрешенный вопрос о смысле жизни.

Один бродячий лама как-то поведал ему слова Будды, что вся жизнь — это страдание. «Рождение есть страдание, старость есть страдание, болезнь есть страдание, соединение с немилым есть страдание, недостижение желаемого есть страдание...»

Цэбек и так видел, что несчастья и горести окружают человека с первых же его шагов на земле. Но вот во имя чего мир создан именно так, этого он понять не мог.

Где же конец этих мучений, в чем их смысл и можно ли устроить жизнь иначе, чтобы человек был счастлив на Земле? Он часто задумывался над этими вопросами. Но ответов не находил.

Мечтам его об учении не суждено было осуществиться. Но он дал себе слово, что если у него будут сыновья, то он

обязательно отдаст их в учение — одного в светское, другого в духовное.

Оспа унесла старших братьев Гонбочжаба, когда те находились еще в младенческом возрасте. Казалось, что мечте отца не суждено было сбыться...

Когда сыну минуло пять лет, Цэбек сам стал обучать его монгольской грамоте. Он с таким благоговением гладил рукой печатные страницы, с таким трогательным вдохновением пытался зажечь в сыне любопытство к загадкам природы, что тот невольно проникался его чувствами. Через два года он отвез Гонбочжаба в приходское училище при думе, где преподавали русский и монгольский языки. Но за весь первый год учителя не показали мальчику ни одной буквы... Основные предметы были история государства Российского и Священная история.

О эти буквы! Маленький Гонбочжаб смотрел на них, как на таинственные знаки, по которым можно отыскать дорогу в новый и прекрасный мир. Он не знал, каков этот неведомый мир. Но перед ним смутно рисовалось бескрайнее поле, покрытое громадными разноцветными маками, синие-синие реки, залитые солнцем красные скалы и ослепительная радуга над землей. Видел он ульи и густой янтарный мед, медленными тяжелыми слезами сползающий из вынутого сота на серебряную, как от жира, густо-зеленую траву. И города видел, расплывчатые и дрожащие, как сквозь залитые дождем ресницы, яркие, многоцветные города, в которых никогда не был, о которых даже не слышал.

Второй год учения прошел с большей пользой. Гонбочжаб овладел основами русской грамматики и мог, правда по складам, разбирать букварь. Потом как-то само собой получилось, что он перестал следить за трудным процессом составления слов и медленного проявления их смысла. Это осуществлялось уже помимо сознания. Тогда он жадно набросился на книги. Прочел все, что только мог достать в своей глуши.

Однажды ему попалась книга, в которой слова были напечатаны столбиками, и отдельные строки перекликались одинаковыми созвучиями. Это было похоже на увлекательную игру. Так в его жизнь вошли стихи, вошла русская литература.

В душе задрожала какая-то грустная, беспокойная струна. Словно он все время силился вспомнить что-то очень знакомое, но никак не мог. Потом, познакомившись с пьесами Чехова, понял, что это было. В «Трех сестрах» он услышал вдруг слова отца, мучительно вопрошавшего о конечном смысле нелепых и ненужных страданий.

Когда скончалась матушка, отец еще более укрепился в намерении как можно дольше держать Гонбочжаба в училище, чтобы избавить от обид мачехи. Он не знал, зачем судьба посылает людям муки, но, как мог, старался эти муки облегчить. Всем, кроме себя самого. Но так созданы люди. Они могут болеть либо за других, либо только за себя. Середины тут быть не может. Те, что уверены, что нашли ее, ошибаются, либо сознательно идут на обман.

Осенью 1884 года в Чите была открыта гимназия, на которую буряты сделали значительные пожертвования. В благодарность за это местная администрация задумала привлечь в гимназию мальчиков-инородцев. Агинцы могли послать в нее четырех человек. Но буряты, не привыкшие к училищу с почти десятилетним курсом, не спешили посылать детей. Тогда начальство заявило о своем согласии принять всех желающих. Цэбек воспользовался этим и, чтобы избежать конкурса, повез сына еще в начале августа. Цэбек плохо говорил по-русски и часто прибегал к мимике. Он долго искал нужного человека, но важные господа в синих вицмундирах отсылали его от одного к другому. Цэбек все более жалко горбился и силился языком жестов возместить немоту слов. Лицо его дергалось и кривилось, будто он собирался заплакать. Мальчику до слез было жаль его. Он видел, как сильно сдал за эти годы отец, как пытливые, острые щели его глаз словно подернулись голубоватой дымкой. Как болото перед вечером. Как далекий огонек в пустыне за легким туманом.

Наконец их все же направили к нужному лицу. То был сам управляющий гимназией инспектор Карл Феодорович Бирман. «В этом мальчике, — сказал он, — я вижу первого бурята, пожелавшего учиться в русской гимназии, и охотно возьмусь содействовать выполнению всех формальностей».

Потом он обратился к мальчику и, кажется, был приятно удивлен его знаниями русской словесности. Он спросил Гонбочжаба, знает ли тот Пушкина, и попросил что-нибудь прочитать на память. Гонбочжаб выбрал «Памятник» и довольно бойко дошел до слов: «и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык». Бирман прослезился, долго и шумно сморкался в огромный платок, который достал из-под длинных фалд, а потом сказал, обращаясь к отцу: «Это очень способный мальчик, и вы не пожалеете, что отдали его в гимназию. Здесь сделают из него достойного гражданина отечества».

Надо сказать, что Гонбочжабу удивительно повезло. Через неделю привезли и других детей их района, но, так как инспектор Бирман настоял на том, чтобы маленького Цы-

бикова приняли первым, в гимназию зачислили еще только троих, а четвертому было отказано.

Учение продолжалось девять лет, и Гонбочжаб стал первым бурятом, окончившим Читинскую гимназию. Кончил он с серебряной медалью, третьим по классу, потому что в шестом классе его усердие значительно ослабело и он уже не был первым в науках. Тем не менее педагогический совет постановил оказать ему содействие в продолжении образования и выдал прогоны и пособие, чтобы доехать до Томска, где Гонбочжаб и поступил на медицинский факультет. Но, уступая желанию отца, он оставил этот факультет и, пропустив еще год, проведенный в Урге, поступил в 1895 году в Санкт-Петербургский университет на факультет восточных языков.

Цэбек оставался верным своей мечте. Как и в юности, он все еще полагал, что ключ к загадкам природы хранится в древних учениях Востока. Сын не разделял этих его убеждений. Напротив, лишь в стремительном росте европейской цивилизации видел он грядущее избавление человечества от голода, угнетения и болезней. Свет шел с Запада, а не с Востока. Всеобщее просвещение обещало дать со временем благодатные всходы.

С душевным трепетом ехал он в далекий Петербург, в столицу западной культуры, в прекрасную Северную Пальмиру.

Этот город поразил, восхитил и одновременно разочаровал его. Был он величав и распахнут, раскрыт, как-то удивительно просторен. Но ничего не было в нем от тех туманных, полузабытых грез, которые пронес Гонбочжаб в каких-то неведомых тайниках души через всю жизнь.

Он считался православным, но в Бога не веровал, хотя и любил пышность церковной службы, торжественность крестных ходов и проникновенность хора. Из любопытства заходил и в буддийский храм, построенный за рекой, на острове. Потом Цыбиков понял, как он заблуждался, считая учение Сакья-Муни языческим суеверием.

В основе своей оно оказалось мало похожим на верования бурятских сородичей.

Но это было уже на третьем году учения в столице Российской империи, когда Гонбочжаб Цыбиков под влиянием профессоров решил посвятить себя изучению тибетской культуры.

А пока он жадно впитывал всеми органами чувств несказанное очарование туманного города, где небо так часто нависает над самой землей беспросветной серой завесой.

Он принимал живейшее участие в студенческих сходках, хотя больше сидел в углу и слушал, чем говорил сам. Многие

из его товарищей удивительно владели даром слова. Их речи вновь и вновь будили в молодом буряте те беспокойные, дремавшие струны, которые вызывали в мозгу картины бескрайних степей и желтого, с длинными синими полосами неба. Он вновь видел темных, влачащих жалкое существование соплеменников, отца, пытавшегося гримасами возместить недостаток слов, и вечное отцовское беспокойство о конечной цели. И он давал себе слово возвратиться, закончив курс, в родные места, чтобы учить там раскосых ребятишек сложной науке жизни, рассказывать им о больших городах, железных дорогах, моторных экипажах и о газовых фонарях, которые тысячами глаз светят в ночи, и о чудесных ротационных машинах, несущих в мир просвещение.

Товарищи Цыбикова много говорили о конституции, которая должна была выдвинуть Россию на стезю свободы и процветания. Большая часть придерживалась революционных взглядов. Решительно настроенные студенты резко высказывались за уничтожение монархии и проповедовали грядущий социализм. Они говорили, что рабочий люд и мужицкая деревня давно созрели дли решительного боя и что царизм падет при первом же натиске восставшего народа.

Но Цыбиков придерживался взглядов тех, которые считали, что Россия в целом еще не созрела для революции. Он-то хорошо знал, какая пропасть лежит между Петербургом и окраинами империи. Поэтому и казалось ему, что эра всеобщего равенства хотя, несомненно, наступит, но придет не скоро. Пока же нужно нести в народ просвещение и этим готовить ниву для грядущих всходов.

Как любил он эти жаркие бессонные ночи вокруг остывшего самовара. До сих пор при воспоминании о них ему чудится запах вареной колбасы и ситного хлеба. Под утро студенты выходили гурьбой на улицу и долго шли, не расходясь, то зачарованные ночным солнцестоянием, то притихшие, в потрескивающем ледком непроглядном и синем утре.

Цыбиков сгребал рукавицей снег с чугунных завитков оград и долго следил, как тает льдистый ночной огонь на невидимых громадах разведенных мостов.

Это было удивительное время...

Этнография казалась ему самой удивительной из наук. Он часами мог разглядывать устрашающих идолов с Вест-Индских островов, дротики и плетеные циновки с нехитрым орнаментом.

Но уже тогда он мечтал о Тибете.

На родине Цыбикову приходилось видеть привезенные оттуда паломниками предметы: серебряные чайники с дву-

мя носиками, раздвижные, наподобие подзорных, львиноголосые трубы, колокольчики, бронзовых будд и бодисатв, субурганы, мандалы, всевозможные балины для подношения божествам, хадаки из синего и красного шелка, украшенные магическими свастиками чаши. Одежда, обычаи и предметы обихода этого народа были ему во многом близки и понятны. Но как мало знал он тогда о Тибете! Он часто беседовал со своими профессорами на самые различные темы, но, как только разговор заходил о Тибете, а этим рано или поздно дело кончалось, разговор очень скоро наталкивался на непроницаемую стену тайны. Тибет был закрытой страной, и приходилось по крупицам собирать разрозненные в литературе сведения. И готовиться... К последнему курсу Цыбиков хорошо владел уже не только тибетским языком, но и английским и китайским, без которых невозможно было получить необходимые сведения об интересующей стране.

По предложению Александра Васильевича Григорьева — секретаря совета Русского географического общества — Цыбиков сделал доклад о современном состоянии знаний о Тибете. Заседание было очень бурным. Выступавшие с огорчением называли знаменитые имена русских путешественников, которые поставили целью добраться до загадочной Лхасы, но были вынуждены свернуть с полпути. Тайны Тибета волновали всех, и неоднократно в зале раздавались возгласы, призывавшие снарядить новую экспедицию.

После заседания Александр Васильевич тепло поздравил Цыбикова с успехом и шутливо спросил:

— А что, Гонбочжаб Цэбекович, махнули бы вы в Лхасу да и рассказали нам на следующем заседании, что да как.

— Готов отправиться в дорогу хоть завтра, — ответил Цыбиков.

К ним в этот момент подошел профессор Александр Максимович Позднеев об руку с Сергеем Федоровичем Ольденбургом — тонким знатоком буддизма.

Григорьев представил молодого востоковеда Сергею Федоровичу со словами:

— Вот, батенька, самый подходящий нам кандидат. Готов ехать хоть завтра. А если поторопить, то, верно, и сегодня отправится в Ургу.

— Скоро сказка сказывается, — улыбнулся Ольденбург, пожимая Цыбикову руку. — Достичь Лхасы дело трудное. К нему нужно тщательно подготовиться.

— А молодой человек и готовится, — вступил в разговор Александр Максимович. — Со временем он станет крупнейшим нашим тибетистом.

— Не сомневаюсь, — поклонился на прощание Ольденбург. — Я слышал его сегодняшний доклад. Мы еще не раз, наверное, увидимся, — сказал он, уходя.

Итак, Тибет...

Северный Тибет, или Чан-Тан, почти пустынная страна. Можно пройти многие сотни верст и не встретить людского жилья. Линия пограничных сторожевых постов здесь резко отодвинута к югу. Отдельные отряды тибетской стражи не любят забираться далеко на север. Вот почему многие экспедиции с севера смогли так близко подойти к Лхасе. Им не удалось, правда, проникнуть в таинственный город, но был он близок и казался досягаемым. Пять-шесть конных маршей, последний отчаянный бросок к тайне, но этот бросок так и не удавался. И все же путь с севера, путь через пустыню — самый многообещающий путь.

После Н. М. Пржевальского, впервые обновившего этот забытый путь, и года не проходило, чтобы кто-нибудь не снарядил экспедиции в Лхасу. С севера, с северо-запада, с северо-востока устремлялись в Тибет исследовательские караваны. Они проникали далеко в глубь страны, в то время как южная граница была неприступной.

Первые попытки достичь высокогорной страны были предприняты еще алтайскими староверами, мечтавшими продолжить путь в беловодье. Одна из таких партий, состоявшая из 130 человек, отправилась из Томской губернии по совершенно диким местам бассейна реки Тарим. Ей удалось дойти до самых предгорий Тибета, до тех самых мест, которые обследовал потом Н. М. Пржевальский.

В работе Г. Е. Грум-Гржимайло «В поисках беловодья», напечатанной в «Санкт-Петербургских ведомостях», отмечалась поразительная точность собранных этой экспедицией географических сведений.

И все же только величайший из исследователей Центральной Азии, Пржевальский, смог предпринять первое по-настоящему научное изучение этой страны. Он страстно стремился достичь Лхасы. Она снилась ему ночами. Она была его Эльдорадо, его Офиром, его обетованной землей. Он отдал жизнь штурму тибетской твердыни, как отдают жизнь штурму полярных земель, экваториальных лесов Африки. Но не природа преградила ему путь. Он прошел там, где до него осмеливались бродить только дикие яки. Но вынужден был повернуть назад, когда достиг караванных дорог, и загнутые по краям крыши Лхасы горели перед ним в закатном огне.

Первую экспедицию Пржевальский предпринял вместе с М. А. Пыльцевым в 1872—1873 годах с северо-запада к озеру Кукунор и далее к реке Янцзы через Цайдам. Он вынужден был вернуться тогда. Результатом этого путешествия явилась книга «Монголия и страна тангутов».

В конце 1876 года он вместе с Ф. Л. Эклоном устремился в Тибет вдоль Тарима. Ему опять не удалось достичь Лхасы, но он смог подробно исследовать горную цепь Алтын-Таг.

В третий раз он пошел вместе с Эклоном и В. И. Роборовским от Зайсанского поста через Гоби и Цайдам. В октябре 1879 года экспедиция после долгих скитаний по безводной пустыне и солончакам вышла к стальным водам Янцзы. Но у поселения Нанчу путешественники нарвались на тибетский сторожевой отряд. И вновь вынужден был Пржевальский уходить от зовущей его розовой Лхасы, спрятанной среди синих заснеженных гор. Но прежде чем возвратиться в Россию, экспедиция задержалась в неизученном бассейне Кукунора и Желтой реки — Хуанхэ.

В октябре 1883 года Пржевальский в четвертый раз отправился на штурм Тибета. Вместе с В. И. Роборовским и П. К. Козловым выступил он из Кяхты и уже к маю следующего года достиг истоков Желтой реки, завершив незаконченное исследование. Но и на этот раз после нападения местных тибетских племен отряд Пржевальского вынужден был повернуть назад. На пути к Лоб-Нору Пржевальский сделал новую попытку через город Полу пробраться на Тибетское плоскогорье. И вновь неудачно...

А между тем в Петербурге одна за другой выходили в свет его классические работы, которые тут же переводились на все европейские языки: «От Кульджи за Тяньшань и на Лоб-Нор» (1877), «Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки» (1883), «От Кяхты на истоки Желтой реки», «Исследование северной окраины Тибета и путь через Лоб-Нор по бассейну Тарима» (1888).

Это целая эпоха в изучении Центральной Азии. Сверхчеловеческое напряжение. Долголетний подвиг, ставший привычным и будничным делом.

Но розовая Лхаса, отраженная в недвижных водах ледниковых озер, оставалась мечтой.

Пржевальский разработал подробный план своего пятого путешествия. На этот раз все обещало удачу. Оригинальный и неожиданный маршрут, скрупулезный учет каждой мелочи, снаряжение, люди, наконец бесценный опыт предыдущих экспедиций — все, решительно все было на стороне великого путешественника.

Но в октябре 1888 года в Караколе в самый разгар подготовительных работ Пржевальский скоропостижно скончался.

Если бы не эта смерть... Цыбиков подробно изучил план пятого, несостоявшегося, путешествия. Все мыслимые случайности были учтены. Пржевальский, несомненно, достиг бы Лхасы, если бы не эта смерть...

Но разработки Пржевальского всеми были восприняты как его завещание. Императорское Русское географическое общество, под эгидой которого совершал свои путешествия Пржевальский, снарядило под начальством М. В. Певцова новую Тибетскую экспедицию, в которой приняли участие прежние спутники Пржевальского: Роборовский, Козлов, геолог Богданович.

Весной 1890 года после успешных работ в Куэнь-Луньской горной стране экспедиции удалось проникнуть и на Тибетское плоскогорье. Путь на Лхасу был открыт. Но китайская администрация отказалась пропустить чужеземцев.

В 1893 году В. И. Роборовский возглавил новую экспедицию, в которую вошли Козлов и переводчик Ладыгин. Она проникла в Цайдам и углубилась на юг по направлению к провинции Сычуань. Но на подступах к Желтой реке тяжело заболел Роборовский. Опять пришлось возвращаться...

Боги, казалось, ревниво оберегали Лхасу.

Более обширные районы охватила экспедиция Козлова, в которой участвовали А. Н. Казнаков и Ладыгин. Через Цайдам она вышла к реке Дрэчу (верховья Янцзы), перейдя которую направилась к Чжекуньдо. Далее следовать путем предшественников Козлов не решился. Именно здесь обычно происходили встречи с пограничными отрядами, после чего оставалась лишь одна дорога — назад. Козлов свернул с дороги и резко повернул на юг, желая выйти к Чамдо.

Город был от него лишь в одном переходе, когда экспедицию атаковали местные племена. Пришлось уходить на восток и зимовать в долине реки Рачу. По весне экспедиция продолжила путь на восток, но опять была вынуждена повернуть назад. В конце мая она вышла к озеру Орин-Нор.

Экспедиция не достигла «города небожителей», но собрала много интересных и достоверных сведений о нем. Окружающая Лхасу завеса тайны начинала постепенно редеть. Когда Козлов зимовал на Ричу, его посетило специально снаряженное далай-ламой посольство.

Сопровождаемые громадной свитой, лхасские чиновники решились «начать с нами переговоры лишь после того, как убедились в том, что мы русские», — писал Козлов в своем

отчете о путешествии в Монголию и Кам. ...«В последнее полугодие, — обратился главный посол к Козлову, — далай-лама, получая о вашей экспедиции довольно часто самые разноречивые сведения, решил наконец командировать нас, меня и товарища, для выяснения вопроса, кто вы такие — русские или англичане? Если русские, то приказано тотчас же познакомиться с вами и передать от далай-ламы привет, а если англичане, то, не заводя никаких разговоров, ехать обратно в Лхасу».

Переговоры проходили непринужденно и дружески. Но в главном тибетцы оставались непреклонными.

«Прежде всего далай-лама великодушно просит извинения, — сказал в заключение главный посол, дзэнчонир Джамни Шэраб Уадра, — у сильного русского государя за то, что его экспедицию не пустили в Лхасу, но это сделано только в силу основных древних законов и заветов лхасских, обязывающих всех и каждого из тибетцев свято охранять Буда-лху (Поталу) от посещения чужеземцев».

Маленькая страна, задыхающаяся в лапах китайского дракона, зажатая между великими империями Британской и Российской, отчаянно стремилась сохранить свою обособленность. Кроме этих, ставших знаменитыми экспедиций, Русское географическое общество снарядило экспедицию Г. Н. Потанина (1884—1886), которая подробно исследовала область Амдо, и отряд братьев Г. и М. Грум-Гржимайло (1889—1890) — в бассейн Кукунора.

В 1890 году капитан Б. Л. Громбчевский попытался проникнуть в Западный Тибет из Полу, но потерпел неудачу.

Русские экспедиции охватили окраинную горную систему Куэнь-Луня и почти весь северо-восток Тибета, входящий в ведение синицского амбаня. Выдающейся чертой этих экспедиций являются открытия как в области географии, так и в областях ботаники, зоологии, геологии. Чрезвычайно ценны и сделанные в ходе путешествий метеорологические и гидрологические наблюдения. Каждая экспедиция, кроме того, провела обширные тригонометрические съемки, а Г. Н. Потанин и Г. Е. Грум-Гржимайло много внимания уделили этнографии.

Недостижимая Лхаса перестала быть абсолютной терра инкогнита. Постепенно накопились проверенные сведения о ее главных религиозных святынях, государственном устройстве, обычаях и быте народа.

Столь блестящие результаты работ русских экспедиций не прошли незамеченными. Иностранные путешественники обратили на Северный Тибет самое пристальное внимание. С середины 80-х годов англичане, французы, американцы все чаще начинают предпринимать попытки проникнуть в

Лхасу с севера. Но, несмотря на личную храбрость руководителей, экспедиции эти из-за плохого оснащения и незнания местных условии достигают немногого.

Англичанин Керн во время своего путешествия по Центральной Азии (1885—1877) перешел Алтын-Таг и достиг северной части Тибетского плоскогорья. Он пересек маршрут Пржевальского и углубился на восток вдоль подножия Куэнь-Луньских гор. Потом он пересек западную дорогу Синин — Лхаса и вышел к верховьям Желтой реки. Но вынужден был, как и его русские предшественники, отступить на север.

В 1889 году американский дипломат Уильям Рокхилл, прожив некоторое время в амдоском монастыре Гумбум, предпринял поход к Кукунору. Обогнув озеро, он через Цайдам направился к верховьям Желтой реки, перешел ее и достиг Янцзы. Он форсировал и эту реку севернее Чжекуньдо и по ее долине достиг Дацзяньлу.

Русский перевод подробного отчета Рокхилла вышел в приложении к журналу «Мир Божий» под заглавием «В страну лам». Рокхилл собрал много ценных сведений о стране, но сам лично даже не подошел к ее центральным районам.

В ноябре 1889 года француз Габриэль Бонвало, сопровождаемый принцем Генрихом Орлеанским и одним бельгийским миссионером, снарядил экспедицию в Чархалыке (к юго-западу от Лоб-Нора). Они направились на юг по совершенно не исследованной местности и к февралю 1890 года вышли на северный берег Тенгри-Нора. Отсюда они еще круче взяли к югу, надеясь коротким маршем достичь Лхасы. Но стремительный бросок их разбился о тибетскую стражу, и путешественники были препровождены на восток по средней «чайной» дороге через область Чжядэ. К июлю они через Чамдо прибыли в Дацзяньлу. Свою стремительную авантюру Бонвало описал в книге, переведенной в Ташкенте под заглавием «Неведомая Азия».

Отчаявшись преодолеть индо-тибетскую границу, капитан бенгальской кавалерии Боуэр попробовал в 1891 году проникнуть в Тибет из Ладака через пограничный перевал Ланак-ла. Отсюда он проследовал на восток и, миновав озера Хорпа-Цо и Ару-Цо, свернул к югу. Ему удалось пересечь Чан-Тан и выйти к озеру Джаринг-Цо. Но здесь он был остановлен пастушескими племенами и повернул назад. Пройдя Чжядэ, он прибыл в феврале 1892 года в тот же Дацзяньлу, где годом ранее закончилась авантюра Бонвало.

В 1891 году Рокхилл решился на новое путешествие. Как и в первый раз, он вышел из Гумбума и, обогнув Кукунор с юга, опять проследовал через Цайдам в направ-

лении окраинных хребтов Северного Тибета. Стараясь держаться юго-западного направления, он прошел истоки Янцзы и пересек маршруты Бонвало и Боуэра. Но близ озера Намру-Цо его задержали и заставили повернуть на восток. Тем же роковым путем через Чамдо вышел он к Дацзяньлу.

Английская миссионерша мисс Анна Тэйлор то же, как и Рокхилл в первый раз, выступила в сентябре 1892 года из монастыря Лабран и, перейдя Янцзы и Желтую реку, достигла Чжекуньдо. Отсюда она пошла к городу Чамдо, вблизи которого резко свернула на запад, к синиинской дороге. Она достигла этого прямого пути в Лхасу севернее города Нагчу, но была остановлена, после чего совершила традиционный марш в Дацзяньлу.

В 1893 году француз Дютрейль де Ренс попытался достичь Лхасы прямым броском из Черчена. Ему удалось добраться до восточного берега Тенгри-Нора. Но здесь его поджидали тибетские власти. Шесть недель путешественник отчаянно пытался добиться от них разрешения на посещение Лхасы. Тибетские чиновники были неумолимы. Де Ренс повернул к Нагчу и по еще не исследованной дороге вышел в Чжекуньдо, пересекши второй путь Рокхилла вблизи монастыря Таши-гомба. Из Чжекуньдо отважный путешественник двинулся на север по направлению к Кукунору, но близ Тунбумдо на экспедицию напало разбойничье племя. В завязавшейся схватке Дютрейль де Ренс был убит. Его сподвижнику Гренару удалось благополучно возвратиться в Париж.

Супружеская пара Литлдэл в 1895 году выехала из Черчена на юг, к верховьям реки Черчендарья, а затем через Чан-Тан к озеру Джаринг-Цо. С большими трудностями преодолели они путь от этого озера к Тенгри-Нору. Зато от Тенгри-Нора они с максимально возможной быстротой двинулись к Лхасе. Им удалось подойти к городу на расстояние всего в 50 миль. Но здесь они натолкнулись на стражу и вынуждены были повернуть на запад, к Ладаку. По пути они собрали ценнейший гербарий. Литлдэлам ближе всех удалось подойти к заветной цели. Это был своего рода рекорд.

Капитан Уэлби и лейтенант Мальколм, следуя путем капитана Боуэра, проникли в Тибет через перевал Ланкла из Ладака. Пробираясь вдоль северной окраины Чан-Тана по совершенно пустынным и неисследованным районам, они на исходе сил вышли к Чумаре — истоку Янцзы, откуда проследовали в Танкар.

Почти одновременно с ними из Ладака отправился и капитан Дизи, сопровождаемый Пайком. Они посетили

озеро Ешиль-Куль и открытые Боуэром озера Арцу-Цо и Чарол-Цо. Тибетская стража заставила их возвратиться назад. Но путешествие это имеет большое значение. На всем пути английские военные производили триангуляционные работы.

В 1896 году выступил из Копа в Северный Тибет шведский путешественник Свен Гедин. Он проник в долину северных истоков Янцзы, откуда повернул в Цайдам. Лхасы он, конечно, не достиг, но проделанные им исследовательские работы представляют собой исключительный интерес. Описание его путешествия «В сердце Азии. — Памир. — Тибет. — Восточный Туркестан» вышло в свет на многих языках.

Другую попытку достичь Лхасы Гедин предпринял в 1901 году из Чарклыка, намереваясь пересечь Тибет по диагонали к верховьям Инда. От Лхасы его отделяло только четырнадцать дней пути, когда он тайно покинул караван и, переодевшись в монгольское платье, боковыми тропами направился прямо к желанной цели.

Но в пяти днях пути от Лхасы, близ озера Бум-Цо, его задержали и подвергли допросу. Выяснив, что перед ними не буддист-паломник, а европейский путешественник, тибетские власти приказали ему покинуть страну. Но неугомонный путешественник соединился со своим караваном и, повернув на запад, прошел к Ладаку по пути Боуэра и Литлдэлов.

Непрерывный штурм поднебесной твердыни, во всех направлениях, по всем путям и дорогам. И все же никому еще не удалось достичь Лхасы, чтобы на месте проверить все собранные путешественниками сведения о ней. В итоге научный мир и в 1900 году не имеет ни подробного плана этого города, ни точных описаний его святынь. Во всем свете нет ни одной фотографии, которая была бы сделана в Лхасе. Поистине это достойная цель для любого путешественника. Манящая и недоступная цель.

Руководители Географического общества сообщили Цыбикову, что располагают некоторыми сведениями о том, что англичане получают сведения о Лхасе от индусов, которые проникают туда под видом буддийских паломников.

Но ведь и Россия находится в этом отношении в благоприятных условиях! Разве не проживают в ней 800 тысяч душ бурят и калмыков, которые исповедуют буддизм? Буряты с незапамятных времен поддерживают сношения с далай-ламой — духовным главой всех ламаитов. Каждый год из их степей отправляются в Тибет богомольцы для поклонения лхасским святыням. Порой такие паломники подолгу живут в Тибете, совершенствуя свои религиозные познания

в различных монастырях. Да и калмыки, правда, значительно реже, тоже совершают паломничество в Тибет!

До недавнего времени ламаиты России во избежание всяких затруднений ездили туда под видом халхасцев — жителей Китайской Монголии, но вот уже несколько лет как они ездят туда, не скрывая своего подданства.

И тем не менее в России не делалось попыток специальной подготовки ламаитов для путешествия в Лхасу. Но некоторые ламаиты соглашались, чтобы с их слов был записан рассказ о паломничестве.

Таких описаний в печати появилось очень немного. Цыбикову прежде всего пришлось познакомиться с изданными А. М. Позднеевым рассказом бурятского хамбо-ламы Заяева о его поездке в Тибет, совершенной в 1741 году, и сказанием о таком же паломничестве калмыка База Монкочжуева (1891—1894).

Но эти рассказы религиозных и малопросвещенных людей не могли, конечно, удовлетворить исследователя.

— А почему бы Географическому обществу не послать в Тибет специально подготовленного бурята или калмыка? — спросил как-то Цыбиков Александра Васильевича Григорьева.

— Ах, батенька вы мой, — развел он руками. — Все мы на Руси задним умом крепки. Много ли вы найдете бурят, которые свободно владеют тибетским языком, знают буддийские обычаи да к тому же могут фотографировать, измерять температуру и давление, составлять планы и производить геодезическую съемку? А ведь без этого географические исследования немыслимы.

Цыбиков посетовал на то, что правительство, не занимаясь просвещением инородцев, подрывает основы своей же государственной мощи.

— То-то и оно! — кивнул головой Александр Васильевич. — Все надо менять в государстве российском. Все порядки менять надо. Но ведь сколько времени на то уйдет... А еще при жизни хочется узнать все про этих небожителей.

— Верно, хочется, — ответил Цыбиков. — Но пока суд да дело, а подходящих людей найти можно. Я сам, как горячий патриот российский, готов свои услуги отечеству предложить. Не скоро вы сыщете, без ложной скромности заявляю, столь подходящего во всех отношениях человека. Единственное, чего не умею, — это триангуляционную съемку производить. Ну да разве я шпион какой? На манер пандитов?

Григорьев встал и положил руки на плечи Цыбикова, вздохнул глубоко, а потом тихо сказал:

— На вас, дорогой, вся надежда. Но не так это просто, как кажется. Фотографический аппарат незаметно пронести и то большое дело! Откуда у простого паломника аппарат? А о том, что работать в одиночку придется, вы забыли? Ведь даже паломники, с которыми отправитесь на поклонение Большому Джу, не должны ни о чем догадываться! Не то выдадут властям без промедления. А те церемониться не станут. Одно дело европеец-путешественник, другое — подозрительный монгол. Это вы понимаете?

— Понимаю, Александр Васильевич. Не раз думал об этом и, кажется, кое к чему пришел.

— К чему же, позвольте вас спросить?

— Перво-наперво не надо стремиться сделать все в один присест. Не так разве?

— Так-с. Безусловно, так-с.

— Посему и мы можем начать с рекогносцировки. Сперва один человек, я, допустим, отправится с караваном паломников в Лхасу. Осмотрится там, кое-какие знакомства заведет, а на другой год поедет уже с помощником, точно и ясно представляя себе и обстановку тамошнюю, и необходимый объем работ. Разве это не разумно, Александр Васильевич?

— Несомненно, разумно. Но ведь рискованно, сударь мой. Очень рискованно.

— Так ведь любая экспедиция немалый риск собой представляет. Что же делать остается, если другого-то пути нет, как только этот паломнический маскарад?

— В этом вы правы, Гонбочжаб Цэбекович, пока ни одна экспедиция до Лхасы не дошла. Боюсь, что столь бдительная охрана и впредь убережет столицу далай-ламы от любопытных очей. Но и паломников-то они допросу подвергают, отсеивая от правоверных буддистов людей подозрительных.

— Ну, этот допрос меня не страшит. Я весьма поднаторел в буддийских делах, все обычаи знаю. Да и воспитывался в среде буддистов. В наших местах паломничество в Лхасу — дело обычное.

— В том-то и беда, сударь, что можете вы легко встретить человека из ваших мест, который вас непременно узнает. Слава-то о вас по всем бурятским степям идет. Шутка ли, в самом Петербурге Цыбиков большим начальником сделался.

— Уж вы скажете, Александр Васильевич.

— Да совершенно серьезно я, чудак-человек, многих ли можно назвать, к стыду нашему, ваших соплеменников, которые бы смогли высшее образование получить? Да еще

где — в Петербурге! И в этом, Гонбочжаб Цэбекович, я провижу едва ли не самую главную опасность.

— Ну, положим, узнает, так неужели выдаст земляка и соплеменника?

— Хороший человек не выдаст. Но может найтись такой, фанатически настроенный или почему-либо нерасположенный к вам, который и продаст.

— Значит, надо, Александр Васильевич, отчетливо сознавать, что здесь мы идем на сознательный риск.

— Нет, сударь. Не зная броду, не суйся в воду. Это дело надо хорошо обмозговать, учесть любые случайности. Готовить экспедицию надо так, как делал это покойный Пржевальский. Но даже он не мог всего предусмотреть.

— Ну, Александр Васильевич, если уж до пословиц дело дошло, то позвольте и мне свои аргументы выложить. Цайдамские монголы говорят, что знакомому богу и в шапке помолиться — простит. А мне это дело знакомо. Я родился и вырос среди бурят-ламаитов. Как-нибудь с ними полажу. Мне, простите, виднее.

— Но те же цайдамцы, милостивый государь, утверждают, что встречаются люди, которые у себя на голове не видят рогов, а замечают на отдаленной сопке веточку.

— Как понимать прикажете?

— Очень просто. Вы-то будете считать себя натуральным паломником, а люди станут принимать вас за неловкого разведчика. Разве так не может случиться?

— При хорошей подготовке не может.

— Ну, вот видите; готовиться при всех условиях еще надо. Но, кроме всего, извините за повтор, возможность встречи со знакомым меня больше всего пугает.

— Можно по-хорошему договориться, в крайнем случае подкупить.

— Наши друзья монголы учат, что сто незавязанных мешков можно завязать, сотню ртов людей нельзя заставить молчать.

— Один — это не сотня.

— Не говори тайны одному — от одного узнают сто человек.

— По части знания цайдамского фольклора мне за вами не угнаться, Александр Васильевич. Сдаюсь!

— Иногда и мелочь может спасти жизнь. Так что готовьтесь пока. А там как Бог даст. И со своим человеком в путь-дорогу идти надо. Со своим!

С того дня Цыбиков по-настоящему стал готовить себя к тайному паломничеству в Лхасу. Оставив мысль поехать в Тибет в составе специальной экспедиции, он все свое

внимание сосредоточил на проникновении туда по исконным дорогам богомольцев. Прежде всего нужно было резко изменить привычки. Отныне он должен был превратиться в заурядного паломника, не отличимого от сотен других. Забыть о вилке и о русской речи, о европейской кухне, обо всем, что составляет каждодневное окружение рядового петербуржца. Выдать и погубить могла действительно мелочь. Мысль о тайных тибетских святынях, которых не видел ни один европеец, не оставляла его. Он начал готовиться, хотя вопрос о поездке еще не был решен окончательно.

## ЗА ПЕРЕВАЛОМ ПЕРЕВАЛ, И ПУТЬ ДАЛЕК ДО ЛХАСЫ

Никто не хочет умирать
Себя чужим страданьем мерьте,
Не понуждайте убивать
И не толкайте к смерти

Дхаммапада, X, 129 и 130

Сопровождаемый ламой Лобсан-чжяцо и двумя проводниками — бутиями, Р. Н. выехал из Дарджилинга 7 ноября. Ехать решили на лошадях, тюки с поклажей закрепили на яках. Караван получился довольно внушительным. Мохнатые черные яки, увитые красными лентами, лениво тащились по пыльной дороге, сонно ворочая челюстями, теряя слюну. Солнце только всплыло над волнистой линией гор, и небо выглядело еще зеленым.

Лама догнал пандита и молча указал на далекую слюдяную полоску. Сухое, морщинистое лицо, подкрашенное чуть зеленоватым светом, и зорко суженные глаза делали его похожим на мудрое пресмыкающееся.

— Думаете, будет непогода? — спросил Р. Н.

— Снег на вершинах Восточного Непала всегда к непогоде.

— Досадно. Придется, видимо, застрять на перевале. Говорят, пурга здесь может длиться несколько дней? Какая вчера была луна?

— С едва заметным рыжеватым галом. Долгое ненастье предвещает обычно двойной красноватый круг. Вы слышите музыку?

Р. Н. придержал лошадь и, приложив к уху ладонь, прислушался. Из деревни еле доносился рокот барабанов и заунывный вой дудок. Музыка терялась в монотонном стуке копыт и в шелесте запыленных деревьев вдоль дороги.

Потом опять проявлялась, когда он начинал вслушиваться. Лама, видимо, различал ее постоянно.

— Это местные рабочие. Они, как лягушки, чуют непогоду кожей. В такие дни все бросают работу и устраивают танцы с пивом... Не будь это плохой приметой, я бы посоветовал переждать непогоду здесь.

— Нет, возвращаться не стоит.

Тронув поводья, Р. Н. стал догонять ушедших вперед яков.

Дорога спустилась к реке, прыгающей по ослизлым камням. В темных заводях колыхалась нетающая желтовато-белая пена. Через поток были переброшены чуть выгнутые вверх бамбуковые жерди. Яки сгрудились перед мостиком, роя копытами красную землю и упрямо склонив рога. Один из бутиев быстро перебежал на другой берег и, натянув веревку, стал затаскивать первого яка на жерди. Другой подталкивал упирающееся животное сзади. Когда яка удалось наконец стронуть с места, бамбуковые стволы упруго заходили под ним. Но поток был неширок, и переправа прошла быстро. Р. Н. спешился, крепко обнял на прощание старого ламу и с лошадью на поводу ступил на мокрые от брызг зеленоватые стволы. Дорога опять пошла в гору. Солнце стояло уже высоко. Далекие вершины ослепительно сверкали, и нельзя уже было разглядеть на них признаки надвигающейся непогоды. Впрочем, ее могло и не быть. Ветер переменился, и солнце одиноко пылало в сухом безоблачном небе. К полудню караван достиг уже заброшенной деревни Гок. Поля поросли дикими травами. Тростниковые кровли порастрепали ветры. Смутно золотилось что-то в сумраке заброшенной кумирни. Когда проезжали базарную площадь, Р. Н. заметил прилегшую в лавке корову, тощую и одичавшую.

Ветер шевелил ошметки кукурузной соломы, шуршал каким-то высушенным мусором в пыльном терновнике. Земля выглядела колючей и грязной. Он велел ехать дальше, чтобы расположиться для еды в более приятном месте. До темноты хотелось добраться к Руммаму — притоку Большого Рунгита, сбегающего с гор Синли. По нему проходила граница британских владений с независимой областью Сикким. По-настоящему путешествие должно было начаться на другом берегу Руммама.

Но яки тащились так медленно, толкались и мешали друг другу, что нечего было надеяться перейти реку сегодня.

И, вправду, к реке вышли, когда вылетели на охоту за мошкарой первые летучие мыши. Переправу решили отложить до утра. Лагерь разбили вблизи потока. Согрели на

костре чай. Рабочие поужинали вареной бараниной и лепешками из цзамбы. Р. Н. съел немного овощей и сейчас же лег, завернувшись с головой в одеяло. Тонко пели комары. Гнилостной сыростью тянуло с реки.

В путь тронулись с рассветом по влажной от росы земле. Мост через поток был тоже из бамбука. Но выглядел более надежным. Может быть, потому, что опирался на огромный камень, рассекавший русло на два стремительных мутно-стеклянных горба.

Пора стояла самая благодатная. Местные жители из племени лимбу ловили в реке больших, бешено рвущихся с натянутой лесы рыб. На склонах холмов, тяготясь уже своей спелостью, ждали сбора кардамон и хлопок. Трещали бамбуковые хлопушки сторожей, отпугивающие обезьян и медведей.

— Тут живут еще и другие обезьяны, кроме этих, — один из бутиев обернулся и указал на небольшую пушистую обезьянку, вскарабкавшуюся на дерево. — Только те большие. Они нападают на одиноких женщин.

— Ты говоришь про человека-обезьяну? — спросил Р. Н.

— Нет. Мохнатый человек живет среди снегов и редко спускается вниз. Я говорю про больших обезьян. Они, говорят, рождаются от бамбукового медведя и белки. Их можно истребить, только подмешав к оставленному для них сладкому рису ядовитый корень кудру.

— А зачем их истреблять?

— Они разоряют посевы и обижают женщин.

— А мужчин?

— Мужчин они боятся.

В дымной завесе поднятой яками пыли Р. Н. различил шедших навстречу людей и быстро пригнулся к лошадиной холке.

Но крестьяне, которые несли на дарджилингский рынок корзины с апельсинами, прошли мимо, не обратив на него никакого внимания. Он еще не привык к осторожности, и это было опаснее всего. Р. Н. тут же велел остановить яков. Пока бутии готовили свой нехитрый завтрак из цзамбы, он переменил индийский костюм на тибетский. Запахнул темно-красную чубу, как принято у тибетцев, к правой руке. Такие халаты носят люди зажиточные, но не именитые. У князей чуба обычно желтая, атласная. Такая ему явно не подобала. Темно-красная будет в самый раз. Кушак — ира тоже под стать халату — широкий и синий. Такого же оттенка, как вертикальные полоски на сапогах. У мужчин они всегда синие. Не забыл он и про алун — золотую серьгу с бирюзой для левого уха. Аккуратно вдел ее в еще

припухшую от недавнего прокола мочку, вытянув оттуда шелковую нитку. Только в головном уборе позволил себе некоторую, впрочем, тщательно обдуманную, вольность. Не княжескую маньчжурку и не войлочную шляпу простолюдина, даже не меховую купеческую выбрал, а белую теменную шапочку, которую носит духовная аристократия. Внимание к себе привлекать, конечно, нельзя, но и полная маскировка опасна. Лицо ведь тибетским не сделаешь. А так пусть принимают за иноплеменного ламу. Богатого, но скромного ламу. Богатство в Тибете уважают. Поэтому и золотой алын с зеленым камнем выбрал для указательного пальца побогаче. Выставил кисть вперед, повертел пальцами перед глазами. Остался доволен. Кольцо было приметное, солидное.

Только переодевшись и все осмотрев, как следует, он сел на коврик позавтракать. Проглотил кусок замешанной на молоке цзамбы, немного луку съел и чаю с коровьим маслом напился. Потом приказал сниматься.

Отдохнувшие животные поднялись бодро, но зашагали все так же лениво и невесело.

Миновали дорогу в Митоган. По ней в кирпичном облаке пронеслось небольшое стадо диких коз. Бутии пришли в беспокойство и попросили разрешения достать из вьюка ружье. Но он не разрешил.

— Если человеку нужно убить животное для спасения своей жизни, ему позволено это сделать, хотя Будда и учит нас другому. У нас достаточно провианта, чтобы не думать о голодной смерти. Купите лучше молока, — сказал он и, заметив сидящего у дороги с кувшинами загорелого до черноты непальского брахмана, развязал висевший на шее кошелек. Он дал святому человеку целую серебряную рупию и вежливо выслушал его напутственную молитву.

Через несколько часов пути караван достиг вершины горного кряжа, на которой возвышались мэньдон и чортэнь. Это были первые пограничные посты государства лам. Светская власть далай-ламы не распространялась на эти земли, но люди, живущие здесь, чтили в нем живого бога.

Животные устали карабкаться в гору, и решено было сделать короткий отдых.

Р. Н. достал путевой дневник и сделал запись:

«...мэньдон. Возможно, правильнее транскрибировать «мандон» (от тибетских слов «ман» — «много» и «дон» — «камни») Чортэнь состоит из слов «мчод» — «приношение», «жертвоприношение» и «чуртэнь» — «вместилище». Мои бутии произносят — «чуртэнь». Чортэнь более известен у нас под санскритским названием ступа (чайтья).

Монголы называют это сооружение субурганом, китайцы — та. Когда-то в них хранили мощи. Теперь это большей частью памятники в честь Будды и буддийских святых. Эти каменные сооружения окружают обычно стены — мэньдон».

Закрыл тетрадь и, прислонившись к нагретому за день мэньдону, залюбовался голубой в легком солнечном тумане долиной Дурамдень.

— Красиво, — сказал Р. Н. сидевшему невдалеке бутию Пурчуну, который, почесываясь, щурился на солнце.

— Мы называем это место Чортэнь-ган, а племя пахири зовет его Манидара.

И то, и другое означало «хребет священной ступы». Но Р. Н. назвал бы это место Хребтом голубой долины... Хорошо бы пожить в этой сапфировой горной чаще. Но надо было сниматься. Караван и так двигается слишком медленно.

— Будем сниматься...

Тропинка расширилась, и яки пошли быстрее. В воздухе пахло навозом и дымом. Где-то в деревне визжали свиньи и блеяли овцы. Рокотали барабаны. За перевалом открывалась новая долина. Сады, лиственные рощи и поля тростника по берегам ослепительной нити ручья. Первый перевал остался позади. Можно было выбирать место для ночлега.

Шумно дышали засыпающие яки. Теплый пар от их дыхания медленно отлетал в холодеющий воздух.

Р. Н. вставил в фонарь зажженную свечу и достал тетрадь.

«Страну, лежащую между реками Арунь и Тамбур, непальцы называют Лимбуду, а людей, населяющих ее с незапамятных времен, — лимбу. Но сами лимбу именуют себя народом яктанга. Между Арунем и Дудкоси лежит область Кираита, принадлежащая древнему племени кират. Этот народ упоминается в тех же источниках, в которых впервые встречается имя индуистского бога Махадэва.

И лимбу, и кират с давних пор занимались охотой и скотоводством, торговали мускусом, хвостами яков и кардамоном.

Тибетцы и бутии называют племя лимбу именем цан. В древних памятниках рассказывается, что племена лимбу пришли из тибетской провинции Цан, из Каши в Мадье-Дэш и от тех каменных утесов, что высятся у деревни Пэдах к северо-востоку от Цаньпура. Лимбу из Цана получили у тибетцев название цан-моньпа (что значит «обитающие в ущельях»), пришельцев из Каши стали называть байпута, людям с подножий утесов дали имя пэдах-пангилома.

Самой сильной и многочисленной была ветвь байпута, вождь которой раджа Хань владел всем Восточным Непалом. Все лимбу и кират платили ему дань и поставляли воинов для лихих набегов на соседей. Но постепенно династия Ханя пришла в упадок, и власть перешла к лимбу пэдах-панги-лома. Но ни одной семье не удавалось надолго удержаться у власти. Анархия и смута продолжались много десятилетий, пока могущественный Маран не сумел объединить раздробленные племена и враждующие роды. Маран сделался царем, и на некоторое время в стране воцарились мир и спокойствие. Но после смерти его благородного преемника раджи Мохани анархия вспыхнула с новой силой. Братоубийственные войны продолжались больше ста лет. Лишь в IX веке к лимбу пришел герой по имени Сричжанга, которого стали чтить потом как бога-миротворца и объединителя. Бутии, живущие на южных склонах Гималаев, отождествляют его с воплощением Падма-Самбавы, который утвердил в Тибете буддизм».

Утро выдалось туманное и холодное. Надвигалась непогода. Все же было решено продолжать путь.

Р. Н. торопил проводников. Яки не упрямились, словно чувствовали наступление непогоды и спешили укрыться в безопасном месте. Но движение сильно замедлилось. За час удавалось пройти не более мили. Тропа шла густым лесом, сплошь покрывающим хребет Хи. Каменные дубы, магнолии и сосны почти целиком закрывали небо. Было холодно, пахло хвоей, горьковатой свежестью каких-то цветов и гнилью. Стояла такая тишина, что было слышно, как падали с сосен длинные иглы. Дорогу приходилось искать ощупью, пробираться сквозь завалы, прорубать злую ползучую крапиву.

После нескольких часов крутого подъема караван подошел к чортэню Риши, окруженному замшелым мэньдоном, на котором была высечена шестисложная молитва: «Ом-мани-пад-мэ-хум». Бутии пали перед ней ниц. Отсюда начинался перевал Ху-ла.

Юго-западный Сикким лежал внизу. Темный и сумрачный под желто-белым облачным небом. Холмы Дарджилинга съел туман. И люди, и животные совершенно вымотались. Отдых был необходим. И все же Р. Н. требовал идти дальше.

— Быстрей! Разве вы не видите, что творится на небе? Нам надо успеть пройти перевал. Осталось совсем немного.

— Яки не хотят больше идти, — пожаловался бутий, — если як заупрямился, его не сдвинешь. Это каждый знает.

— Зажгите паклю и ткните им под хвост.

Набежал первый порыв ветра. С дубов посыпались желуди. Испуганные обезьяны спешили укрыться в дуплах, торопливо набивая желудями защечные мешки, будто готовились к долгой голодовке. Затрещала паленая шерсть. Яки заревели, но не стронулись с места. Ветер стих совершенно. И яки вдруг пошли, невозмутимо пощипывая сухую траву.

Наконец караван взобрался на вершину кряжа, поднимающуюся на 6 тысяч футов над уровнем моря. Разбрызгивая копытами воду и грязь, яки прошли по ручьям, впадающим где-то там вдалеке в реку Риши. Глинистые струйки сбегали с черных шерстяных косм, запутанных и грязных, в которых застряли колючки и сухие листья.

Впереди показался какой-то загон для скота. Лошади нетерпеливо заржали. Рванулись туда из последних сил.

Но бутий вдруг испуганно закричал, указывая на что-то у самых ног.

Р. Н. взглянул на землю и сразу все понял.

Там копошились страшные тибетские черви — гроза путешественников. Они жалят через толстые шерстяные носки и парусиновые брюки, забираются в сапоги, сбиваясь там в мягкие отвратительные клубки. Они встречаются на всех высотах, вплоть до самых снегов.

— Скорее вперед!

Яки, к счастью, не упрямились. Все так же меланхолично и невозмутимо пошли они по вьющейся меж стволов тропе, давя легионы червей. Но идти стало легче — начинался спуск. Ларцэ[1] — груда камней, из которых торчат бамбуковые шесты с кумачовыми лентами — остался позади. Вершина была пройдена.

Порывы ветра налетали все чаще. Ударяли в лицо песком и мелким лесным сором. Температура снижалась.

Пурчун повернулся лицом к ларцэ, закрыл глаза и зашептал:

— Лха чжя ло, лха чжя ло[2].

Р. Н. внимательно осмотрел почву под ногами. Отвратительных червей нигде поблизости не увидел. Заночевать решили под огромным дубом, затенявшим целую поляну.

Невдалеке росли стофутовые крапивные деревья. Пурчун стал собирать валежник для костра. Другой проводник пошел нарубить крапивных побегов для супа. Ветер набегал с разных сторон, хотя в лесу он почти не ощущался. Это обещало или затяжную грозу, или перемену погоды.

---

[1] Ла — перевал, рцэ — вершина (*тибет.*), или обо — по-монгольски.

[2] Боже, дай мне 100 лет.

Сварили крапивный суп с цзамбой и остатками купленного в дороге молока. Чай кипятить не стали — сильно хотелось спать.

Ночь прошла спокойно. Но Р. Н. раза два просыпался. Чудилось, что где-то шуршит дождь, но вокруг было сухо. Встали, когда солнце поднялось уже высоко.

— Мэтог-чарпа, — сказал Пурчун. — Цветочный дождь. — И запрокинул лицо к небу, ловя толстыми губами капли. Счастливо зажмурился. Захлебываясь, захохотал.

Дуб не подвел. Под ним было по-прежнему сухо. Р. Н. вывел лошадь под дождь. Она прядала ушами под ударами капель. Яки спокойно затопали по тропе, изредка оступаясь; переходя лужи, подымали фонтаны брызг. Прошли, не задерживаясь, деревню Хи, в которой живет много людей племени лепчо, гадающего по внутренностям домашних птиц. За деревней виднелись искусственно орошаемые террасы, на которых возделывали рис. К реке Калай спускались поля кардамона.

Шел пятый день пути. Все пока протекало по плану. Неразумно хотеть большего. Выйти к Калаю на пятый день — это совсем не плохо.

Сверху берег реки казался утыканным мохнатыми иглами ежом. Можно было разглядеть каждое дерево. Росли они под разными углами друг к другу, как всегда растут деревья на круглых холмах.

Мост опирался на каменные завалы посреди реки. Уже не жалкие жерди, а огромные бамбуковые стволы в три пролета перерезали реку. По берегам ее виднелись хижины и бамбуковые загоны для рыбы.

— Гляди, хозяин! — закричал бутий, прозванный за пристрастие к пиву Чаном, указывая вниз. — Видишь вон те серые деревья у хижин? Это нья-дуг-шин[1]. Люди лимбу бросают их листья в застойные воды, и рыба там засыпает.

Дорога крутыми извивами спускалась к реке. Часто встречались кабаньи следы. Хрюкая и шурша травой, шмыгнул дикобраз — главный враг местных жителей, уничтожающий редьку, фасоль и поля дикого ямса. Решили заехать в деревню и закупить там овощей. Проводники обрадовались и стали тут же сооружать тростниковый снаряд для ловли рыбы. Путь предстоял долгий, и не следовало упускать возможность пополнить запасы.

Лимбу исповедуют древнюю тибетскую религию бонбо. У них существуют пять классов жрецов: пэдамба, бичжуа, дами, байдан и сричжанга.

---

[1] Ядовитое рыбье дерево (*тибет.*).

Пэдамба совершают религиозные церемонии, толкуют сны и приметы, предсказывают судьбу. Бичжуа — попросту говоря, шаманы. Фанатическими танцами они доводят себя до исступления. Дами специализировались на колдовстве. Их коронным номером является изгнание злого духа через рот. Байданы занимаются только лечением больных. Их название, вероятно, происходит от санскритского «байдья» — лекарь. Но наибольшим почетом, пользуются жрецы сричжанга — толкователи священных книг, хранители религиозных традиций.

Пока Р. Н. беседовал с жрецами, бутии наловили массу рыбы, которую тут же засолили. Потом закупили овощи и тронулись в путь.

В два часа пополудни вышли к монастырю Чангачэллин, возле которого росли дикие абрикосы и лагот — лук с запахом чеснока. Бутии тотчас же бросились к абрикосовым деревьям. Р. Н. понимал, что промедление опасно во всех отношениях, но ничего не мог поделать. Они попали в благодатную страну. В каждой третьей деревне был праздник. Праздновали сбор урожая, свадьбу или просто радовались удачно сваренному пиву.

Проводники старались не упустить случай повеселиться. Частыми поклонами, высовыванием языка и жалобными просьбами они вырывали у Р. Н. согласие на остановки в гуляющих деревнях. Что он мог поделать? Успех предприятия во многом зависел от этих бутиев, и он не хотел с ними ссориться.

В каждой деревне они что-нибудь покупали. Особенно усердствовал Пурчун. Свое гулливое поведение он старался загладить преувеличенной заботой о питании. Однажды он пропадал всю ночь и пришел только к полудню. Р. Н. уже отчаялся дождаться его и с тоской раздумывал, как без лишнего шума нанять новых проводников. Впереди ждали снежные перевалы. И драгоценное время утекало впустую.

Пурчун появился вдруг — сгорбившийся под тяжестью мешков и свертков. Пьяная улыбка стыдливо блуждала на грязном, в потных дорожках лице. Его сопровождал старик, тащивший на веревке худую овцу. Бутий с шумом обрушил свою добычу и, задыхаясь, прохрипел:

— Я принес кукурузу, мурву и рис. Еще я купил яйца и эту овцу. Все стоит пятнадцать рупий.

В лучшем случае это была двойная цена. Но Р. Н. заплатил. Растолкал Чана и велел немедленно готовиться к походу.

— Не надо торопиться, — сказал вдруг старик лимбу. — Все тропинки на перевалах занесены снегом. Пожи-

вите у нас в Ринби, пока затвердеет снег. У нас много еды. Не продадите ли вы соли?

Он так же внезапно замолк. Р. Н. не знал, что ему ответить. Подумав немного, Р. Н. сказал:

— Соли у нас только-только хватит для себя. Перевалы находятся отсюда в четырех днях пути, и нам никто не скажет, когда там осядет снег. Поэтому мы уходим.

Все это было чистейшей правдой. Но больше всего Р. Н. спешил с уходом, чтобы избежать толков, которые могли вызвать подозрение тибетской стражи.

Р. Н. решил попытаться перейти Ямпун-ла, где, по слухам, еще не выпал снег. Ему пришлось сказать местным жителям, что они охотники. Охотничьи ружья и сумки с патронами, которые он велел достать, должны были это подтвердить. Как-то ведь надо объяснить, почему они интересуются перевалами? В этой богатой дичью местности охотники встречаются очень часто, и к ним привыкли.

Наконец выступили. К вечеру едва дотащились до Поантана, где остановились в жалком донкане для путешественников. Пошел дождь, и еду пришлось готовить в убогом сарае, где нельзя было даже прямо стоять. Поднятый мехами удушливый дым резал глаза. Голубая зола оседала на лицах. Повсюду ползали муравьи и тысяченожки. Это было поистине отвратительное место!

Р. Н. проклинал себя, что послушался бутиев, которые считали донкан лучшей гостиницей на земле. У него же была прекрасная палатка! Есть пришлось в общей комнате, где расположились уже другие путники. Хозяин принес пива. Стало теплее, и донкан не казался уже таким жутким. Кто-то из захмелевших гостей стал выкрикивать стихи из прекрасной книги «Риньчэнь Тэньва», которую называют «Драгоценными четками»:

Всех здесь собравшихся к вниманию зову.
Орел — царь птиц, и первый он в полете.
Лев — царь зверей, и все, подобно льву,
Крадутся на ночной охоте.
Но пьющий — властелин всего,
Пусть каждый молча слушает его.

Но торжественные стихи эти не прервали пьяного гомона. В этой комнате говорили все. Больше всего Р. Н. боялся, как бы охочие до пива проводники не сболтнули лишнего.

Когда общее веселье чуть поутихло, а жаркая духота сделалась непереносимой, он перестал следить за своими ненадежными спутниками и вышел немного прохладиться.

Тихо падал холодный дождь. Грязь сверкала в красноватом свете окон. Под навесом жевали сухую траву яки.

Вдруг дверь распахнулась, и в облаке светового тумана он увидел высокого человека. Тот подошел и молча потянул пандита в темноту. Р. Н. хотел спросить, что ему нужно, но тот сделал знак, по которому пандит сразу признал ученика брахмана.

Они отошли в сторону. Человек так же молча вложил в руку Р. Н. круглую каменную пластинку. Пандит на ощупь прочитал узор и попросил человека немного подождать на улице.

Сам же вернулся в донкан, быстро написал необходимые письма. Потом достал свой индийский костюм, тщательно запаковал его и вышел на улицу.

Человек ждал под дождем. Р. Н. вручил ему сверток и письма и возвратил пластинку. Тот сразу же пошел под навес, тихо вывел оттуда свою лошадь и, попрощавшись по индийскому обычаю, скрылся в темноте. Немного погодя, пандит услышал, как зашлепали по мокрой грязи копыта. Отойдя подальше, курьер вскочил на лошадь и понесся в Дарджилинг. В донкане никто ничего не мог услышать.

Лишь на десятый день путешествия караван приблизился к Ямпун-ла. Осторожно, поминутно оглядываясь, пробирались сквозь колючий кустарник. В донкане им сказали, что на перевале Синли недавно погибли два непальских дровосека. В прошлом же году тигр напал в Чжонри на стадо яков и зарезал двенадцать голов.

Р. Н. раздал бутиям заряженные ружья, оставив себе шестизарядный револьвер. Дорога была крута и камениста. Лужи застеклил сухой ледок, хрустевший под копытами животных отчетливо и резко, всегда неожиданно и пугающе. Холод пронизывал до костей.

К полудню они достигли пояса рододендронов и, пройдя через сосновый лес, где вспугнули нескольких ярких фазанов, вышли к заснеженному хребту.

Ветер дул заунывно и одичало. Казалось, что они одни в мире, что все давным-давно вымерзло и утонуло в снегу. Мутная пурга над белыми, чуть розоватыми от холодного солнца хребтами, и жуткая, безжалостная синева...

Смежив заледенелые ресницы, уйдя головой в плечи, медленно и неслышно, как тени, скользили они к Чертовой горе. Внизу, в неистовом белом дыму, ревела желто-свинцовая Ринби. Волокнистые тени неслись над землей. Впервые Р. Н. стало по-настоящему жутко. А ведь еще недавно они боялись, что на них бросится тигр или с дерева прыгнет бесшумный сиккимский леопард. Что все леопарды Тибета перед дымящейся пылью пурги!..

Чан стал жаловаться на головную боль и одышку. Наверное, им овладел ла-дуг — жестокая болезнь гор. Ветер

заставил людей спешиться. Лошади падали. Чан тоже сел на снег и сказал, что у него окоченели ноги. Р. Н. дал ему свои сапоги и кабульские чулки.

Но вот ущелье кончилось, и караван оказался на подветренной стороне горной цепи. Длинный мэньдон указывал дорогу к деревне Док. Над крышами домов и загонами для яков развевались длинные цветные ленты. Ледяная корка сверкала на солнце. Снежное поле казалось покрытым глазурью. Смертный холод под сердцем ослаб. Р. Н. предвкушал уже, как будет сидеть перед очагом и греть руки над пламенем. Над красноватыми, над желтыми с голубизной прядями веселого огня. Над жгучими трещинами в синеватых угольях.

Но деревня оказалась покинутой. Двери домов опутывали веревки. В пустых загонах валялась запорошенная снегом солома и смерзшийся в камень навоз. Впереди лежал заледенелый крутой спуск.

Ближайший населенный пункт — Гумотан виднелся далеко внизу, в глубоком ущелье, на две тысячи футов ниже. Спускаться было хотя и легче, чем карабкаться на перевал, но зато куда страшнее. Казалось, что вот-вот сорвешься в пропасть, на дне которой чернел игрушечный лес. Одна лошадь пала. Других, очевидно, все равно придется бросить в Гумотане. Такие перевалы не для них.

Проводники, привыкшие к головокружительным спускам, сильно опередили пандита. Идти приходилось по глетчеру. Каждый шаг давался с трудом. К вечеру вошли в великолепный лес, покрывавший ущелье Гумотан. Здесь подстерегала новая беда. Лес оказался залитым водой. Это таял снег в северо-восточной части ущелья. Синяя вода казалась мертвой. Черные стволы исполинских кедров падали в нее, медленно сходясь друг с другом где-то в слепящей точке опрокинутого неба. И было страшно глядеть туда... На исходе была третья неделя пути. Позади осталось семь перевалов, а они уже потеряли двух лошадей и яка, который нес продовольствие. Третью лошадь пришлось пристрелить. Проводники заготовили впрок немного конины.

Они шли по безлюдной стране.

За гранитным утесом, далеко впереди, лежало черное «Озеро рока». Его питают снеговые воды. Дно его, как говорят, сплошь устилает золотой песок, а в глубинах водятся гиппопотамы.

Пройдя залитый водой лес, они стали подниматься на перевал Богто. Тропа вела вдоль обледенелого канала, по дну которого низвергался поток, несущий камни, ломающий где-то внизу можжевельник и пихты. Голова болела и кружилась. Р. Н. еле брел. Последнюю милю одолел в полубес-

сознательном состоянии. Они остановились под скальным навесом, забрызганным желтыми пятнами лишайников. Сварили рис и чай с маслом. После того как в пропасть свалился як, навьюченный припасами, они не ели ничего, кроме риса.

Р. Н. упал в совершенном изнеможении. Его люди страдали еще больше. Им приходилось нести снаряжение, которое нельзя было доверить якам. Когда чай вскипел, Пурчун усадил пандита поудобней и налил полную кружку. Тот сделал несколько глотков и почувствовал себя немного бодрее. Но есть наотрез отказался. Напрасно Пурчун совал ему сбереженное замороженное яйцо. Закутавшись во все свои одеяла, индиец лег на землю, упершись ногами в один из тюков, чтобы не свалиться в пропасть. Ночь прошла тревожно.

Утро выдалось пасмурное. Дул ветер. Через силу Р. Н. поел рису и заставил себя проглотить шарик масла. Проводники, предвидя снежную бурю, стали неохотно собираться. Повернувшись лицом к священной для буддистов горе, они пропели мантры и возобновили подъем на перевал. Стояла удивительная тишина. Ни шума ветра, ни грохота водопадов. Ледяная пустыня. И черные мохнатые туши яков на ней. У них осталось три яка. До сих пор эти удивительные животные покорно лезли вверх по обледенелому склону. Может быть, близость смерти смягчала их упрямый норов?

Вскоре набрели еще на одно озеро. Голубой лед его был покрыт множеством внутренних пузырей. Эти белые пустоты сверкали в косых лучах солнца чистыми радужными огнями. Р. Н. остановился, пораженный внезапной и страшной в заледенелом этом мире красотой. Так вот оно, прославленное в священных книгах Сиккима Цо-дом-донма, знаменитое «Озеро павлиньих пятен». Сюда приходят паломники из самых дальних мест.

Притихший было ветер усилился.

Невозмутимый Чан начал нервничать. Часто останавливался. Шепча заклинания, глядел на небо, которое постепенно заволакивалось волокнистой мглой.

— Зачем нам идти дальше, сэр? — тихо и грустно обратился он к пандиту. — Нас ждет смерть в этой страшной пустыне. Еще час, и мы погибнем.

— Что вы хотите этим сказать, Чан? Где вы видите смерть?

— Посмотрите на небо, сэр. Эти тучи скоро засыплют нас глубоким снегом, из-под которого нам никогда не выбраться. Если снег пощадит нас здесь, нам не миновать его по ту сторону перевала. Давайте вернемся. Иначе мы умрем.

— Куда нам возвращаться? — спросил Р. Н., твердо зная, что ответа на этот вопрос нет.

Подошел Пурчун. Он тоже выглядел мрачным и сосредоточенным.

— Животные волнуются, хозяин, — сказал он. — Будет беда.

— Надо идти вперед. Когда мы выступили из Дарджилинга, все приметы тоже обещали непогоду. — Разве не так? Однако ничего не случилось. Погода здесь быстро меняется, и снегопад может пройти стороной.

— А если пойти назад и укрыться за перевалом? — не очень уверенно спросил Пурчун.

— Почему ты думаешь, что снег на застигнет нас на обратном пути? Или опять не будет угрожать нам здесь, когда мы придем сюда во второй раз?.. Вот видишь, ты молчишь, потому что тебе нечего сказать. А еще подумай о том, что нам дважды нужно будет пройти этот проклятый путь... Нет, у нас ничего не остается, кроме как быстрее идти вперед. Да будет милость неба над нами!

— Лха-соль! — пробормотал Пурчун свою обычную молитву и, покачав головой, возвратился к якам.

Пандит с Чаном потащились за ним.

Небо и в самом деле благоволило им. Снег так и не пошел. Тучи рассеялись, и окрыленные столь явной милостью путники незаметно взяли и этот перевал. И только здесь пандит почувствовал, что не может шевельнуть пальцем. Все силы были давно израсходованы на борьбу со снеговым полем. К тому же Пурчун наткнулся на следы саха — тибетского длиннохвостого леопарда. Р. Н. подивился, как зверь сумел пройти по рыхлому снегу, ни разу не провалившись. Но Пурчун мигом его просветил.

— Это был дьявол в образе саха, — сказал он.

И все же спуск — это не то, что подъем! Пока его кули возились с яками и кладью, Р. Н. сел на затвердевший под солнцем снег и понесся вниз, елико возможно огибая камни и ямы. И судьба вознаградила его. Он не только благополучно съехал, но и его тибетский костюм сильно утратил свою подозрительную новизну.

Все немного приободрились, а когда все чаще стали попадаться среди снега зеленые полосы, даже стали выщучивать друг друга, вспоминая, как трусили совсем недавно.

На одном из таких травяных островков Р. Н. увидел редкое альпийское растение упалу, или голубой лотос. Листья у него большие и розовые, как океанские раковины. Оно считается священным и очень ценится тибетскими медиками.

Проводники, как дети, обрадовались новой хорошей примете. Они стали дурачиться, кидаться снегом. Пурчун затянул какую-то дикую песню. Но голос его резко оборвался и перешел в свистящий хрип. Он упал на колени и простер руки куда-то вперед, словно увидел на снегу что-то ужасное.

— Следы! — истошно завопил он.

— Какие следы? — спросил Р. Н., подходя.

Он только молча помотал бессильно простертыми вперед руками. И тут Р. Н. тоже увидел эти следы. Они были глубоки и отчетливы. По величине и некоторой округлости напоминали следы медведя. Но нигде не было заметно отпечатков когтей. Кроме того, следы тянулись одной зигзагообразной линией. Следы эти не могли принадлежать четвероногому. Оставившее их существо ходило на двух ногах.

Р. Н. сразу подумал, что это могло быть... Но тут же засомневался.

— Что это за следы? — спросил он.

Но проводники только дружно затрясли головами. Долго он пытался добиться от них вразумительной речи. Но в ответ они несли какую-то чушь.

— Это тей? — наконец спросил Р. Н.

Бутии жалобно завыли и отдали следам истовый поклон.

Очевидно, он попал в точку.

— Кто он, ваш тей, дух или демон?

— Нет. — Пурчун обрел наконец дар речи. — Не дух и не демон.

— Отлично, — продолжал расспросы Р. Н. — Значит, это существо из плоти и крови?

— Да.

— Человек?

Пурчун затряс головой.

— Не человек?

— Да, не человек.

— Значит, зверь?

— Нет. Не зверь. Не человек и не зверь. Ходит, как человек, а воняет, как зверь. И глаза у него светятся в темноте, как у зверя.

Пока они занимались следами, яки ушли вперед. Они разбрелись по снежной равнине, выискивая полосы травы.

Бутии не были поражены суеверным страхом. Они даже не очень удивились. Первая бурная реакция оказалась данью неожиданности. На смену ей пришла настороженная озабоченность.

— Так это тей? — опять спросил Р. Н. — Какой он?

Чан оглянулся, словно хотел убедиться, что его никто не подслушивает.

— Мы не любим говорить о нем, сэр, — тихо сказал он.

— Это может принести несчастье, — пояснил Пурчун. — С теми людьми, которые водили френгов искать его, случалось нехорошее.

— Мы не будем ни искать, ни преследовать его, — сказал Р. Н. — Не понимаю, что вам мешает рассказать... Шерпы даже показывали мне скальп, который хранится в монастыре Пангбоче...

Он действительно видел этот скальп, который, несомненно, представляет собой кожу верхней части головы какого-то животного, симметрично срезанную выше ушей. Внутренняя поверхность совершенно четкая и целая. Ни о какой подделке не может быть речи. Р. Н. не смог определить, какому из животных, известных науке, принадлежал этот скальп. Поражала толщина кожи, значительно большая, чем у предметов местной выделки, изготовленных из кожи дикого тара и даже яка. На скальпе сохранились остатки рыжевато-бурой шерсти. Отдельные волоски, прямые и очень жесткие, напоминали щетину. Там, где скорее всего должен был находиться лоб, волосы отклонялись назад и слегка свисали по бокам. Совсем как у человека! И на затылке они почти отвесно падали назад. Он обратил внимание на одну замечательную особенность. От основания лба через всю макушку до конца затылка тянулся гребень шириной в добрый дюйм, поросший все теми же жесткими волосами. Острым треугольником гребень суживался кверху.

Монастырь Пангбоче построен очень давно. Его история подробно описана в книгах других монастырей, в том числе и тибетского монастыря в Ронгбуке. Основал его легендарный лама Сан-Дордже, отличавшийся необыкновенной святостью. Теперешний настоятель считается одиннадцатым перевоплощением Сан-Дордже. Все подробности о каждом ламе записаны и хорошо известны. Скальп Йе-Те, как называют таинственное существо шерпы, попал в храм при пятом «перерожденце». Здесь, как и повсюду, лама избирается в младенческом возрасте и исполняет свою должность до смерти. Таким образом, если принять срок жизни «перерожденца» в пятьдесят лет, возраст скальпа составит примерно три столетия.

«Сам по себе он не является какой-то святыней. Только соседство с настоящими святынями и ему сообщило некоторую святость», — так объясняли местные ламы. Но они наотрез отказались продать этот скальп! Во время мистерий, когда разодетые танцоры в страшных масках исполня-

ют ритуальные танцы, кто-нибудь надевает на голову и этот скальп. Но любую из масок вам всегда охотно продадут. Может быть, потому, что маску всегда можно сделать, а скальп — невозвратим...

Все это Р. Н. рассказал своим проводникам, надеясь, что и они будут столь же откровенны. Судя по их поведению, история эта была им известна. Но то, что Р. Н. знал ее, обеспечило ему некоторый авторитет в их глазах. Он оказался причастным к одной из тайн Тибета, сохранность которой надежно обеспечивал неписаный закон. Он оказался сильнее тибетской стражи и лхасского амбаня. О тайнах Поталы говорили куда охотнее, чем о Йе-Те.

Р. Н. чувствовал, что Пурчун уже готов поделиться своими секретами. Тем более что он вряд ли знал о Йе-Те больше.

Но вдруг послышался резкий гортанный крик, который сразу перешел в дикий вой. Словно чайка завыла по-волчьи.

Пурчун побледнел и задрожал. Чан бросился на землю. Пандиту тоже стало как-то не по себе от этого жуткого и какого-то мерзкого крика. Но тут он увидел, как с обледенелой скалы скатился мохнатый рыжий ком и понесся к якам, которые паслись далеко впереди. Но вот они побежали. Р. Н. успел разглядеть, что на одном из них сидело рыжее мохнатое существо, издали похожее на медведя.

Он кинулся вдогонку. Струйки быстрого ветра обтекали разгоряченное лицо. Сердце бешено колотилось, он тяжело дышал. Бежать было трудно. Наст проваливался. Р. Н. часто падал. Ему казалось, что сзади бегут проводники. Их тяжелые шаги по скрипящей ледяной корке отдавались в ушах. Но он не оборачивался, стараясь не упустить мелькающие уже в поясе рододендронов черные спины.

Легкие хватали холодный разреженный воздух и не могли надышаться. Казалось, что они пьют пустоту, которая превращается в груди в иссушающее неутолимое пламя. Он понимал, что не пробежал еще и сотни ярдов, но ощущение было такое, будто эта погоня за ускользающей жизнью длится и длится многие дни.

Мохнатые иглы и пыльно-синие ягоды мелькнули вдруг перед глазами. Ветка можжевельника ослепительно ярко хлестнула по лицу. Он схватился руками за глаза и провалился в какую-то яму. Когда пришел в себя, вокруг стояла темнота. Сначала он испугался, что ослеп. Глаза болели. Моргая, он ощущал резь и воспаленную припухлость. Но потом увидел звезды. Он понимал, что все кончено. Ему суждено погибнуть в снеговой ловушке от холода и голода. Если он и доживет до утра, то непременно погибнет следующей ночью. Он быстро убедился, что

не сможет выбраться наверх, а проводники вряд ли найдут его здесь.

И все же оставалась надежда, что Пурчун и Чан хоть приблизительно заметили место, где он провалился. Проискав до темноты, они могли отложить поиски, чтобы вновь приняться за них завтра утром. Слабое утешение. Но что оставалось еще? Конечно, если кули сразу же не поспешили на помощь, то нечего и надеяться, что они обнаружат его завтра. Они или не видели, куда он упал, или вообще, услышав вой, кинулись в другую сторону. И все же они должны были, обнаружив его отсутствие, отправиться на поиски! Стоило подождать до утра. И он решил подождать. Слово было за смертью.

Он вырыл в снегу небольшую пещерку и забрался туда. Но скоро почувствовал, что дыхание не может нагреть ее. Первыми начали стынуть ноги. Он стянул сапоги и начал разминать окоченевшие пальцы. Потом снял носки и растер ими ступни. Когда стали ощущаться первые горячие иголочки, вновь обулся. И тут почувствовал, что холод сковывает сердце.

Вырвав из тетради лист, он подпалил сандаловую коробочку, которую нашел в сумке. Душный, бередящий память аромат наполнил снеговую могилу. Стало трудно дышать. Впадая в оцепенение, он начинал думать, что замерзает. Вырывался из сна, в котором тонул, как в густой темной жиже, пытался ощупать себя и опять проваливался. Вряд ли он сознавал тогда, что с ним происходит. Это была странная одурь, непобедимый болезненный сон. Он вдруг понял, что окончательно засыпает, а значит — умирает, и медленно стал уходить в густые глубины.

Но когда пришло утро, он проснулся. Лиловые тени густо заливали дно ямы. Она оказалась очень глубокой. Он вылез из снега, попрыгал немного, чтобы согреться. Культура йоги выручила и на этот раз. Вызванное из глубин памяти видение освободилось и окружило его. Майя, иллюзия ткала свою волшебную паутину. Белый, сверкающий песок протянулся вдоль всего побережья. Босые ноги зарывались в этот горячий и нежный песок, в котором прятались колючие, похожие на древние костяные гребни раковины. Мохнатые пальмы гнулись над коралловым этим песком, и тонкие ребристые листья их медленно дрожали над океаном в душных прозрачных струях. Солнце вспыхивало на воде ослепительно лоснящимися звездами и косыми столбами уходило в глубину. Он лег у самой воды. Ему было жарко и хорошо в кипящем воздухе между раскаленным песком и блистающим океаном. Он стал мечтать о прохладной мякоти кокосового ореха, и в

руках у него очутилась веревка, привязанная к ошейнику маленькой ручной обезьяны. По его знаку обезьяна полезла по стволу в головокружительную синеву, где за острыми скелетами мощных листьев прятались зеленые спелые ядра.

Темное плоское лицо глядело на него с высоты. Низкий лоб, прилизанные волосы, выпуклые, но безволосые надбровные дуги. И глаза, горящие красноватым огнем глаза. Тей опять заверещал и вдруг бросил ему толстый, как манильский канат, стебель ползучей крапивы. Безотчетно он схватился за него руками. Канат натянулся, и он почувствовал, что его тянут вверх. Тогда он стал сам ползти по этому мохнатому стеблю, который жег даже сквозь рукавицы. Но он не чувствовал боли. Круг неба ширился, а темный край ямы приближался.

Когда он оказался уже на поверхности, его спаситель отошел от края ловушки почти на всю длину стебля. Тей вытягивал его, пятясь от ямы. Они стояли друг против друга, соединенные пятидесятифутовым крапивным стеблем, еще натянутым прежним усилием.

Первым опомнился тей. Он опять резко заверещал, вырвал из рук человека стебель и ушел, волоча его за собой. Он скрылся, ни разу не обернувшись, за каменной грядой, заросшей можжевельником. И четкая цепочка его следов темными пятнами отпечаталась на утреннем снегу.

Р. Н. пришел в себя от ощущения, что вновь замерзает. Но не хватало сил опять погрузиться в зыбкое марево самовнушения. Полнейшее изнеможение, обессиливающая опустошенность овладели им. Он опустился на снег и пролежал некоторое время, безучастный ко всему. Заставил себя встать и побрел по белому полю на подкашивающихся ногах, пылая от лихорадки и дрожа от холода. Все пути были для него безразличны. Он не сознавал, где находится и куда идет.

Когда солнце поднялось в зенит, он добрел до каких-то скал, которые, как узкие ворота, пропускали тропу. За скалами открылась равнина, покрытая той жалкой растительностью, которая следует сразу же за снеговой линией. Не отдавая себе в том отчета, он понял, что вышел на перевал Сэмарум. Здесь не леденела кровь в жилах и не шевелились волосы на голове. Но находила растерянность, наступала тоска; хотелось молиться и рыдать, но нельзя было ни рыдать, ни молиться.

Твердыня стен лежала внизу. По-разному освещенные солнцем, суровели пронзительной синью, медной зеленью и желтизной ртутных паров драконьи хребты гор. Пленки тумана бросали влажные сумрачные тени. Белые потоки водо-

падов застыли на отвесных обрывах. Тяжелым светом матово блестели льды.

Не хватало слов для описания дикой, совершенно отрешенной от привычного мира, равнодушной этой красоты. Человек был перед ней слепым, как крот, немым, как рыба, и крохотным, как самый жалкий муравей. Все здесь превышало разум. И нерожденные слова умирали перед бездной, которую нельзя измерить собой.

Р. Н. увидел отсюда и «Госпожу белых снегов» — священную для буддистов Чому-Канькар. Эта самая высокая гора мира состоит из трех пиков: два усеченных конуса и высочайший купол над ними. Никогда нога человека не ступала на божественную белизну снегов Чомы. К северо-западу за сизым туманом угадывались индиговые контуры гор области Шар-Камбу, к западу, за наполненной синим крахмалом пропастью, лежали невидимые в сиреневой мгле долины Фэйлен, Ялун и Дунькота.

Одинокий стоял он перед тем, чему и названия нет, потрясенный, исполненный благоговейного ужаса и восхищения. Слова «картина», «панорама», «вид», «ландшафт», «страна» и т. п. разбиваются в этих каменных стенах, как жалкие стекляшки. Это — синяя ладонь бога, на кончике ногтя которой стоит жалкий, испуганный человек. Вот что чувствовал он, когда следил, как курится туман в молчаливой стынущей синеве. И благодарил судьбу за то, что она дала ему увидеть такое, прежде чем Кали оборвет нить.

Но постепенно тело его освободилось от оцепенения. Пока глаза и мозг впивали открывшееся перед ними непостижимое, тело страдало от холода, хотело есть и отчаянно протестовало против смерти. Оно явно не желало умирать. Душе не оставалось ничего иного, как прислушаться к бренной своей оболочке и попытаться понять ее. После чудесного избавления из снежной могилы тело могло надеяться и на новые чудеса. И бесплотная душа медлила поэтому соединиться с курящимся внизу туманом.

Одинокий человек, затерянный в величайшей горной стране мира, среди снегов и мороза, без крупинки цзамбы и оружия, — этот человек хотел жить.

Он знал, куда надо было идти, но нигде не видел дороги. Все утонуло в снегу. Тогда, решив прибегнуть к испытанному способу, сел на снег и понесся по довольно пологому склону. И тишина ожила. Ветер засвистел в ушах, зашуршал разрезаемый снег. Замороженное наваждение рассеялось. Он уже знал, что если сумеет продержаться пять-шесть дней, то останется жить. Все зависело от того, найдет он пропитание или нет. Среди снегов об этом нечего было и думать. Но он летел в клубах радужной пыли вниз, на

несколько сот футов вниз. Он не располагал ничем, кроме денег, и спешил вниз, где эти бессмысленные диски приобретали магическую власть.

Опять начинались безумные гонки. На этот раз предстояло состязаться с голодной смертью. Спуск замедлился. Снежный шар остановился на равнине. За ним высоко в горы тянулась голубая извилистая борозда.

Он отряхнулся, протер запорошенные глаза. Сложив руки лодочкой, дыханием отогрел замерзшие ресницы. Вокруг было ровное белое поле. Он достал шелковый шарф, проделал в нем крохотные дырки и завязал глаза, чтобы не ослепнуть от сверкающих снегов. Он мог теперь видеть лишь то, что лежало прямо перед глазами. Но видел зато резко и ясно. По белому полю тянулись следы. Он различал птичьи крестики, петлистые пути зайцев, грациозные дуги следов снежного леопарда.

Увязая в снегу, побрел к черневшей невдалеке верхушке скалы. Там можно было оглядеться и выбрать подходящую дорогу. Долго идти через снег он не мог. Здесь ничего не стоило пропасть. С какой тоской вспомнил он своих яков, этих благородных животных, которых осмеливался ругать за упрямство!

Надвигающаяся ночь грозила стать последней. В холодных странах человек гораздо быстрее теряет силы без еды, чем в родной его Южной Индии. Еще два перехода он, может быть, и сделает, но на последнем дыхании. Ночь убьет его уже сегодня, если не удастся найти подходящее укрытие. Теплый ночлег мог дать короткую передышку в этой гонке. А там посмотрим... У скалы внезапно обозначилась потерянная тропа. Крутыми извивами она сбегала в речную долину. Снеговая граница казалась очень близкой. Р. Н. немного приободрился, надеясь через какой-нибудь час вырваться из снежного плена.

Справившись с записями, он понял, что вышел к истокам реки Кабили, впадающей потом в Намга. Если идти против течения, то река приведет к перевалу Нанмо, вблизи Чжонри. Он повернулся лицом к юго-востоку, где, по его предположениям, находился перевал. Серая змейка реки терялась в синеватой белизне снегов. Расположенный на небольшой высоте перевал был совершенно непроходим. Такие ранние снега называют здесь шинса-пахмо. Они исчезают обычно в одну ночь. Но как часто приходится неделями дожидаться такой ночи.

Наконец он пересек границу снега. Белые линзы попадались еще в тени можжевеловых кустов, в ямах и рытвинах блестела талая вода. Но вдоль дороги росли рододендроны и острые колючки с красными ягодами. Доро-

га уходила вниз. Зима осталась за плечами. Реку, за исключением тех мест, где она суживалась и черным стремительным потоком неслась по камням, покрывал мутный желтоватый лед. Грустно блестели в подслеповатом закатном свете склоны горы Чжуонга. Там росли черноствольные, с серебристой хвоей сосны.

Уже в сумерках вышел он на широкую равнину Намга-Цаль, что значит «Роща радости». Великий буддийский патриарх Сиккама Лхацунь отдыхал здесь после трудного похода по землям народа лхопа, где проповедовал свое учение. Лхацунь пришел в восхищение от этой прекрасной долины. Сидя под исполинским кедром дуншин, он с тихой улыбкой оглядел голубые холмы и серебристые сосны. «Радость овладела здесь моим сердцем, — сказал патриарх ученикам, роняя светлые слезы. — Пусть это место станет отныне священным».

С тех пор «Роща радости» стала священной, а пещера, в которой несколько дней прожил патриарх, сделалась объектом ежегодного паломничества.

Все свои надежды он возлагал именно на эту пещеру. Сумерки быстро сгущались. До пещеры добрался уже в полной темноте, ползком. И буквально вкатился под каменный полог. Замолк шум ветра, стало теплее. Сначала поразил какой-то неприятный запах. Но Р. Н. скоро привык и перестал его ощущать. Потом провалился на самое дно густого, душного сна. Его обступили кошмары. То он падал в синие облачные ущелья и летел бесконечно вниз, разрывая грудь в мучительном немом крике, то его накрывала снежная лавина, под которой он медленно умирал от удушья. Однажды он почувствовал жаркое гнилостное дыхание какого-то зверя и ощутил на своем мокром от пота лице его шершавый язык.

Ночь длилась и длилась, жаркая, изнуряющая ночь.

Когда он проснулся, мутный рассвет уже просачивался под своды пещеры. Было тепло и мягко. Р. Н. разлепил обветренные воспаленные веки и с ужасом увидел, что обнимает большого снежного леопарда. Зверь блаженно вытянулся на боку и гибкой тяжелой спиной своей прижал его к стене. Сначала он подумал, что все еще спит и ночь развертывает перед его внутренним взором очередной кошмар. Но быстро убедился, что это не так. Мощный царственный зверь лениво посапывал, отворотив от человека усатую морду.

Потрясение оказалось настолько сильным, что на Р. Н. снизошло странное оцепенение, которое перешло потом в мертвый сон.

Во второй раз он проснулся уже от прямых солнечных стрел. Зверь покинул пещеру, но человек проснулся с тяже-

лым чувством тревоги. Вновь мелькнуло убеждение, что все происходило лишь во сне. Р. Н. осмотрелся. Он был весь облеплен колючими кошачьими ворсинками. Рядом с его ложем в примятом мусоре запутались клочья свалявшейся шерсти. В углу валялись окровавленные ребра чьей-то грудной клетки. Над вянущими красноватыми лохмотьями сонно вился столбик мошкары.

Р. Н. вскочил на ноги и крадучись пробрался к выходу. Большие кошачьи следы уходили по пыльной тропе к снежному перевалу. Вернулся в пещеру и осмотрел остатки кровавого пира. Барс зарезал овцу. Должно быть, он унес ее из ближайшего селения.

И тут случилось то, о чем он долго потом вспоминал с отвращением и мукой. Убежденный, наследственный вегетарианец набросился на эти уже чуть тронутые разложением объедки. Даже не потрудился разжечь костер и поджарить мясо. Он рвал зубами сухожилия и дробил кости, высасывая густой белый мозг.

Когда, сытый и отяжелевший, как боа, он выполз из пещеры на дневной свет, его мучила тошнота. Очень хотелось пить. Еле дотащился до ручья. Скользя на гладких округлостях льда, ползком пробрался к темным дымящимся глазкам воды. Выплевывая тонкие невидимые льдинки, коекак напился. От стужи ныли зубы, ледяным обручем сковало виски.

В прибрежных камышах он содрогнулся от жесточайшей рвотной спазмы. Совершенно измочаленный, свалился он на оттаивающую под жарким солнцем землю. Нежный пар струился в безоблачную синеву. Тихо покачивались желтые на концах сухие камышовые листья.

Но к полудню он уже чувствовал себя почти хорошо. Силы заметно прибавились, голод уже не терзал столь ожесточенно и остро. Гостеприимство зверя спасло ему жизнь.

И тут только впервые задумался он над тем, почему снежный леопард не тронул его.

Он не раз слышал от тибетцев и читал в священных книгах, что снежный леопард никогда не нападает на человека. Даже смертельно раненный, не бросается он на охотника, а уползает прочь, растапливая снег горячей алой лентой. Почему?

Люди не знали ответа, священные книги об этом умалчивали. Это была одна из тех тайн Тибета, о которых не очень любят говорить. Своими корнями она уходила в беспросветную древность, о которой бесполезно задумываться, бесплодно гадать. Где-то в недоступной глубине прятались ответы на все вопросы Р. Н. Но невозможно приблизиться,

страшно и обидно искать. Какой-то иной разум, что-то значительно большее наших возможностей постигать проглядывалось, а может быть, лишь смутно мерещилось в этой глубине.

Одно Р. Н. знал твердо. Могучий зверь облизал его пылающий лоб и воспаленные глаза, согрел своим телом, дал приют, поделился остатками трапезы и ушел, не дожидаясь благодарностей, не помышляя о дружбе.

Он натаскал в пещеру сухих и пахучих трав. Устроил леопарду мягкое, удобное ложе. И ушел по своей тропе, стараясь не думать о звере, как и тот не помнил о нем, наверное, на путях своих.

Перейдя два потока с топкими берегами, Р. Н. стал подыматься через чащу рододендронов, в которой бегали зеленые фазаны, удивительно похожие на попугаев.

Он нашел несколько спелых кедровых шишек и подкрепился орехами. Очевидно, они были сорваны ветром. Все другие шишки оказались вылущенными белками.

По хорошему мосту из кедровых стволов и еловых досок он перешел через Ялун. Начинались обитаемые места. Кажется, он выиграл на этом этапе гонок.

Дорога круто взбиралась на высокую гору Чуньчжорама. В переводе с тибетского это означает «Собрание каскадов». В одном переходе отсюда должен находиться монастырь Дэчань-ролпа. Говорят, что предшественник тамошнего настоятеля посетил при жизни рай племени лепча-Напэматан, в который попали только шесть праведных семей.

В трех милях от Дэчань-ролпа-гомба[1] находится небольшая деревушка Ялун. Ее жители летом пасут яков, а зиму проводят в долине реки Кабили.

Если удастся добраться туда, он будет спасен. В это время года легко купить яков и нанять проводников.

Тропа вилась вдоль обширной морены. Огромные красные валуны поросли карликовым можжевельником и тамариском. Часто дорогу преграждали обвалы. Камни, комки сухой глины, опутанные причудливой паутиной корней.

Р. Н. решил дать несколько миль лишку и пройти через Миркань-ла, Паньбо-ла и Зинань-ла. Но не только потому, что эти перевалы было легче взять. Сильнее всего привлекало ущелье Маньда-пуг, затаившееся между двумя склонившимися друг к другу гигантскими валунами. Все дело в том, что там жили люди куда более простые, чем в Ялуне. Они не видели тибетской стражи, о деньгах знали только понаслышке и охотно нанимались в проводники.

---

[1] По-тибетски г о м б а означает обитель.

Семь лишних миль... Нельзя рассказать, что значит это для истощенного, измученного путника. Понять это может лишь такой же одинокий и несчастный путник. Но на коротком пути его почти наверняка ждет стража. А что значат эти семь лишних миль по сравнению с тем, что уже пришлось перенести?

Р. Н. добрел до этого убогого людского жилья в полубезумном состоянии. Упал около колодца, испытывая какое-то неизъяснимое блаженство. Так, наверное, наступает смерть. Его некогда шикарный наряд странствующего ламы был изодран, покрыт грязью и черными пятнами одиноких голодных костров.

Изможденного человека внесли в хижину, уложили на шкуру яка поближе к огню, дали кружку с тибетским чаем, заправленным маслом. Он выпил ее с жадностью и знаками попросил еще. Только после второй кружки к нему вернулась речь. Он сказал, что ехал из Непала поклониться тибетским святыням, но во время пурги оторвался от каравана и заблудился.

— Нельзя ли нанять здесь яков и проводника? — спросил он хозяина хижины, который, слушая, сочувственно кивал головой.

— Отчего же? Завтра вернется наш старшина и поможет вам найти подходящего человека.

Он подарил хозяину большую серебряную монету и с наслаждением вытянулся на колючей засаленной шкуре, ощущая всем телом ласковое тепло огня. Ему принесли рис и горный лук. Он ел медленно, с трудом сдерживая отчаянную жадность, чувствуя, как нетерпеливо дрожат руки. Сразу набрасываться на еду очень опасно. Но как трудно сдержать себя... Глаза слипались. Он выпил настой из диких абрикосов, который возвращает силы, сразу же заснул и проспал почти сутки.

Потом еще день провалялся на шкуре, беседуя со стариками, засыпая порой ненадолго и испуганно просыпаясь. Кости ныли от сладкого томления. В желудке ощущалось блаженное тепло. Он отдохнул за эти дни, даже немного отъелся. Ему так не хотелось пускаться в путь! Казалось, он достиг рая, в котором хотел бы остаться навсегда. Но это был лишь слепой зов телесной оболочки, которая устала от мучений и не хотела новых испытаний.

Все же на четвертый день он пустился в дорогу. Его сопровождал высокий молчаливый проводник лепчу. В караване было три яка, один из которых нес припасы: рис, цзамбу, коровье масло, лук и чан в деревянных бутылках. Остальные яки шли без поклажи, потому что ее не было.

Зеленые рощи в глубоких долинах ласкали глаз. Р. Н. отдыхал от долгого созерцания голых скал и заснеженных перевалов.

В один переход добрались они до горы Яматари, посвященной грозным богиням мамо. Все кусты рододендронов были увешаны белыми и красными флажками, оставленными здесь бесчисленными прохожими. Проводник тоже прицепил длинную, похожую на бинт, белую ленту: «Пусть минуют все беды и гнев грозных мамо пройдет стороной, как дальняя гроза».

Проводник, заметив, что Р. Н. крайне утомлен, взял его к себе на плечи и нес так до самого Тама-ла. Из-за крутизны дороги ехать верхом на яках было опасно и трудно.

Но за перевалом путь стал легче.

Около полудня они достигли реки Яматари, куда впадали вытекающие из Каньчаньчжинга ручьи. Она течет по узкому и очень красивому ущелью между крутых высоких скал, на вершинах которых пронзительно синеют глетчеры. У подножия растут дремучие лиственницы и пихты, покрытые золотисто-зеленой бахромой мха, который шелковисто шевелится под ветром, как перья павлина.

Яки перешли реку по маленькому мостику и стали подыматься к деревне Чжюньсар. Некоторые дома были пусты, на порогах других сидели старые женщины и чесали шерсть.

Старшина упросил гостей остановиться у него на ночь.

— Все равно вы не одолеете перевал засветло, — сказал он, перестав наконец кланяться и высовывать язык. — Лучше провести ночь в тепле, чем под открытым небом. Пусть святой человек не побрезгует нашим гостеприимством. Мы только что сварили чан из отборного ячменя.

Р. Н. согласился. Тибет научил его ценить удобства и теплый кров, и он уже не рвался вперед так неудержимо, как в самом начале путешествия.

Он вошел в дом и расположился у огня, который жарко пылал посреди помещения, разливая тонкий волнующий аромат.

Как только гости уселись на приготовленных для них подушках, жена старшины влила в деревянные бутыли с пивом немного кипятку. Оно заиграло, и горьковатый ячменный хмель нежно влился в дикие ароматы костра.

В честь богов сожгли немного можжевельника и сосны, поставили перед гостями тлеющие курительные свечи.

Р. Н. с наслаждением ел картофель и ароматный рис. От мяса, однако, воздержался, вспомнив при этом, как жадно лакомился объедками в пещере леопарда. На горлышке пивной бутылки по обычаю лежал шарик коровьего

масла. Р. Н. проглотил его и выпил немного хмельного, чуть кисловатого чана. Старшина угостил поистине по-королевски. Перед тем как устраиваться на ночлег, Р. Н подарил хозяину последний свой шарф из синего шелка и две рупии.

Утром пили чай, которым хозяйка угощала из фарфоровой чашки. Такая форма учтивости соблюдается тибетцами лишь по отношению к людям высшего класса; лица же с равным или более низким положением пьют обычно из деревянных чашек, которые носят за пазухой.

После торжественного чаепития перед гостями поставили на маленьком столике картофель, поджаренный маис, масло и молоко. Все оказалось превосходным. В первый раз за все путешествие Р. Н. мог поесть так вкусно.

— Не советую вам идти на Валлун, — сказал хозяин, потягивая чан. — Вы встретите там много трудностей. Лучше всего вступить в Тибет через перевалы Янма и Канла-чэнь. Они открыты даже в такое позднее время, как теперь.

Эти слова звучали для Р. Н. сладчайшей музыкой. Ему предстояло вступить в Тибет! Неужели это правда? Неужели все позади и остался лишь этот последний шаг?

О том, что ожидало его в самом Тибете, он старался тогда не думать.

...Проводник остановил яков у голубой скалы. Высеченные в ней ступени круто поднимались вверх и терялись в черной колючей дыре. У подножия рос колоссальный гималайский кедр, увешанный разноцветными ленточками. Р. Н. заметил его еще издали. Казалось, дерево цвело.

— Надо испросить у Пэмазана хорошего пути, — сказал проводник, указывая на дыру в скале.

— Кто это, Пэмазан? — спросил Р. Н.

— Великий святой. Он из племени камба — заклинателей дождя. Если его рассердить, он может послать бурю.

Они поднялись в пещеру. После яркого утреннего неба под сводами ее ничего нельзя было разглядеть. Но глаза вскоре привыкли, и Р. Н. увидел аскета, в позе Будды сидящего на охапке соломы. Узкие, прямые, как дощечки, ладони его были сложены одна над другой и ребром касались впалого живота. На языке пальцев это был знак нирваны. Широко раскрытые, привыкшие к вечному сумраку глаза глядели сквозь пришельцев, переливаясь чуть стеклянистой влагой.

Они долго стояли под слепым и пронзительным взглядом архата. Казалось, он не дышит. Резко обозначенные ключицы и ребра его не шевелились. Р. Н. подошел к нему, поклонился и положил в железную нищенскую ча-

шу пять серебряных рупий. Заклинатель дождя остался недвижимым, как изваяние. Проводник прошептал молитву и пошел к выходу. Р. Н. поглядел еще с минуту на темную бронзу высохших рук, которые оплетали, как сухие лозы, тугие черные жилы, и тоже направился к резко очерченному пролому, в котором дрожала солнечная синева.

И тут он услышал за спиной смех, неприятный, скрежещущий, злобный. Хотел обернуться, но небо перед ним потемнело, и мохнатые снежинки заплясали в нем, как пыль в луче.

— Иди! Иди! — словно ворона закаркали сзади. — Все в руках того, кто вяжет и разрешает. Как свяжется, так и сбудется. Но не по воле твоей. Воля твоя — дым, воля твоя — снег на солнце. Убирайся, глупец!

Р. Н. выскочил из пещеры и запрыгал по каменным ступеням, словно спасаясь от погони. Темный страх и тоска какая-то замутили душу. Он огляделся, будто пробуждаясь от тяжкого сна. В безоблачном небе ослепительно сверкало влажное солнце.

Они пустились в путь в полном молчании. Р. Н. пытался прогнать тягостный осадок. Не ему — уроженцу Южной Индии — принимать это близко к сердцу. Он не раз видел и фокус с канатом, и вырастающее на глазах из семечка апельсиновое дерево со спелыми плодами, знал многие секреты йогов. То, что случилось теперь, и в сравнение не шло с жуткими опытами в подземных храмах Шивы. Откуда тогда этот гнет, эта серая тоска под сердцем? Неужели его так сильно могла поразить неожиданность?

— А на перевалах неспокойно, — сказал проводник, кивнув на матовую серебристую полосу, которая оконной изморозью легла на синее стекло горизонта. — Тут есть поблизости монастырь. Может, заночуем там? Если с утра будет хорошая погода, тогда и тронемся со спокойной душой.

Р. Н. уже был не тем, кто выехал некогда из Дарджилинга с хорошо оснащенным караваном. Тибет многому научил его. И он тут же согласился.

— Хорошо, — сказал он. — А что это за монастырь?

— Очень старый. Его зовут Таши-чос-дин. Теперь там живет только один лама со своей ани.

Это заинтересовало Р. Н., но он не подал и виду и не стал расспрашивать проводника дальше. Слово «ани», вернее, «анэх», обычно употребляется для обозначения жены, наложницы или монахини. Красношапочная секта дозволяет и то, и другое, и третье. Но в данном случае речь,

по-видимому, шла о монахине, живущей в конкубинате[1] с ламой. Такое часто встречается в Тибете. Рождающиеся от подобных союзов дети воспитываются в монастыре и сами потом становится монахами.

Монастырь действительно оказался почти заброшенным. Лама и его ани встретили их довольно любезно. На обед подали рис, редьку и мурву. Судя по всему, лама, или по-местному граба, жил очень скудно.

После обеда вышли на пустынный, заросший сорняками монастырский двор. Уединившись с ламой под тень старого абрикоса, Р. Н. ловко навел разговор на заклинателя дождей. Темный, полуграмотный лама затрясся, как пихта под ветром.

— Вы его ничем не обидели? — испуганно спросил он.

— Ничем, — твердо сказал он, испытывая, однако, гнетущее сомнение.

— А что он вам сказал?

Р. Н. почти дословно передал слова аскета, невольно подражая его скрипучему голосу.

— И больше ничего?

— Как будто больше ничего, — задумчиво ответил Р. Н. — Впрочем, когда я уже покинул пещеру, мне показалось, что святой крикнул мне вдогонку: «Свяжется не по воле твоей». Но это ведь только повторение уже сказанного. Не правда ли?

— Пэмазан никогда ничего не говорит впустую, — тихо сказал лама, недобро улыбаясь. — Он предупредил, что с вами случится что-то, чего вы ждете или же, напротив, избегаете. Но будет это не по вашей воле.

— А по чьей?

— На этот вопрос нельзя ответить, — сухо сказал лама. — Пойдемте, я проведу вас в комнату. Вы, верно, устали с дороги.

Комната оказалась необыкновенно чистой и очень бедной кельей. На глиняном, но отполированном, как мрамор, полу лежал матрас, набитый можжевеловой и кедровой хвоей. В углу стояли чайник и кружка. Напротив окна на стене висела полочка, на которой стоял бронзовый Майтрея. Перед ним тонкой голубой струйкой, медленно зеленея, таяла курительная свеча. Вот и вся комната. Но пахло в ней удивительно сладко и вкусно.

Впервые после потери каравана Р. Н. мог сделать запись в дневнике. Коротко пересказал все случившееся. Потом

---

[1] Конкубинат — смешанный монастырь, где монахи живут в браке с монахинями.

подробно описал монастырь и все, что сумел выспросить о нем у ламы.

«...Говорят, что верхняя часть долины Канпа-чань была первоначально заселена тибетцами, называвшими себя шерпа или шарпа — «восточные», которые пришли из Восточного Кирата. В древнеиндийских ведах это племя зовется млеча.

Ниже по долине жило племя магар из Непала. Магарский вождь подчинил себе шарпов и обложил их непосильной данью. Шарпы задумали убить вождя. И вот, когда он вместе со свитой выехал на дорогу, ведущую к деревне Канпа-чань, из зарослей можжевельника выскочили шарпы. Они стащили с коней князя и его приближенных и перебили их всех до одного. Так как о князе не было ни слуху ни духу, его жена сама отправилась в мятежную деревню. Но на все вопросы шарпы отвечали только одно: «Князь к нам не приезжал, и ничего мы о нем не знаем». Княгиня вынуждена была возвратиться домой. Но когда она ехала по берегу реки, на дорогу вдруг выкатился облепленный черной глиной камень. Камень упал откуда-то сверху, потому что берег этот подмывала вода и он постепенно обрушивался. Княгиня подняла голову и увидела, что из осыпавшейся после падения камня дыры вылетел рой мух. Тогда она велела слугам раскопать это место, и те обнаружили искалеченные трупы князя и его свиты.

Княгиня велела погрузить трупы на лошадей и отвезти их к речной излуке.

Там, невдалеке от вероломной деревни, была устроена пышная тризна, на которую пригласили всех жителей. Сначала княгиня налила вина магарам, которые выпили за душу своего князя и уступили свои места шарпам. И на этот раз княгиня наполнила чашу каждого гостя, но уже отравленным вином. Девятьсот сорок шарпов так и не поднялись после пира, а дети их были уведены в рабство.

Место, где свершилась страшная месть, назвали Тоншон-пуг «Место тысячи убийств». Немногие чудом уцелевшие шарпы принесли весть о злодейских убийствах в Тибет. Оттуда они возвратились с большим войском и осадили крепость, в которой заперлась княгиня.

Крепость эта выглядела неприступной, и тибетцы решили взять ее измором. Для этого они прорыли канал и отвели питающие крепость воды. Но княгиня, чтобы обмануть врагов, велела открыть запасной резервуар, и бурный поток обрушился прямо на тибетский лагерь. Решив, что в крепости воды много, тибетцы сняли осаду и отступили. Тогда воинственная княгиня сама ударила на них. Битва была жестокой, но тибетцы все же одержали победу. Кня-

гиня погибла в бою, а магары бежали в горы, оставив долины Канпа-чань и Тамбур их законным владельцам — шарпам».

Р. Н. отметил, что этот рассказ больше похож на подлинное историческое свидетельство, чем на очередную легенду, которых собралось у него довольно много. Так сквозь фантастическое марево мнимых и действительных чудес стали просвечивать контуры тибетских реалий.

На другой день небо над перевалом выглядело еще более грозным, и Р. Н. решил провести в монастыре еще одну ночь. Его проводник купил кяры — сапоги для хождения по снегу. Р. Н. узнал от работавшего на монастырском дворе кули, что он недавно перешел в таких сапогах через заснеженный перевал Кап и побывал в Чжонри.

Вечером лама распорядился заколоть козленка, кровь которого собрали в хорошо вымытые кишки, наполовину заполненные цзамбой. Потом кровяные колбасы сварили и уложили в плетеные корзины.

Проводник сказал, что это лучшая еда для путешественников, которых застигает на перевалах непогода. Р. Н. помалкивал. На следующий день грозные признаки на горизонте стали еще грознее. Но Р. Н. уже надоел монастырь, и он предложил проводнику перебраться в расположенную к западу деревню. В ту самую Канпа-чань, которую постигла некогда такая жестокая кара.

Когда они пришли туда, Р. Н. сразу же вспомнил заклинателя дождей. Не его воля, а лишь мутная завеса над голубыми зубцами гор сотворила эту встречу. Только близкое ненастье заставило его задержаться в монастыре.

В доме старшины к нему бросился, радостно высунув язык, Пурчун. Он привел сюда яков (их осталось два), надеясь дождаться хозяина у перевала Нанго.

— Я думал, что, если бы вы уцелели, — захлебываясь, рассказывал Пурчун, находясь в обычном радостно-хмельном состоянии, — вы бы обязательно вышли к Нанго-ла. Другого пути нет. Я хотел ждать вас десять дней. Если бы вы не пришли, то, значит, вы умерли. Тогда бы мы с Чаном разделили между собой яков и имущество.

Потом Р. Н. узнал, что Чан тоже пребывает в добром здравии, хотя и нельзя установить, где он находится в данный момент, поскольку напился еще с утра. Поклажа тоже в большей своей части уцелела.

— Тей забрал себе яка, на котором были рис и цзамба, — продолжал свое повествование Пурчун. — Ружья и подарки не нужны тею. Он забирает у людей только еду.

— А куда вы девались тогда, Пурчун?

— Когда вы бросились вдогонку за теем, мы убежали, — простодушно улыбаясь, ответил он: — Тея нельзя преследовать. Если он что берет, у него не надо отнимать. Таков закон. Мы очень перепугались и убежали. А когда вернулись на то место, вас не нашли. Потом Чан увидел ваш след рядом со следом тея. Мы не пошли туда, куда вас повел тей, а направились в обход, к ложбине. Там опять увидели ваш след, но на этот раз его пересек снежный леопард. Я долго молился тогда за вас, и Чан тоже молился. Мы решили идти к Нанго-ла. За десять дней живой человек всегда дойдет туда. А мертвому зачем яки и товар? О мертвом позаботится владыка рая Амитаба.

Р. Н. видел, что Пурчун до слез рад встрече. Если бы он не ушел тогда от ледяной ямы, они бы с Чаном нашли его.

Да, лама Лобсан-чжяцо умел подбирать людей. Эти были глубоко преданы. На такое Р. Н. даже не рассчитывал. Он опять подумал о заклинателе дождей. Не будь его каркающего предсказания, он бы вряд ли послушался проводника и, невзирая на полосу в небе, пошел бы к перевалу. И кто знает, что могло за этим последовать. Он бы мог благополучно спуститься вниз, а мог и погибнуть в снежной буре. И в обоих случаях ему не суждено было соединиться с пропавшим караваном. Кому-то дано связывать и разрешать. Помимо воли нашей творить наши судьбы. Кому? Случаю?

Ему вдруг пришло в голову, что Пурчун мог до него посетить пещеру заклинателя дождей, чтобы испросить дороги. Если тот расспросил Пурчуна...

— Скажи, Пурчун, вы не заходили в пещеру Пэмазана?

— Как же! Заходили. Я и красную ленточку привязал к священному дереву.

Теперь оставалось только спросить, не сообщил ли Пурчун заклинателю о нем, Р. Н. Но что-то неясное мешало ему задать этот вопрос. Какой-то осадок на самом донышке сердца, память о той растерянности и тоске. Он больше ни о чем не спросил Пурчуна. И на душе стало легко и свободно.

Из деревни Канпа-чань Р. Н. вышел с большим караваном. У него были груженные припасами и подарками яки и непальские лошади, которых сопровождали кули. Но кули и лошади были наняты лишь на полпути. Им предстояло возвратиться с перевала Нанго. Новый проводник остался в деревне. Встретившись с Пурчуном и Чаном, Р. Н. уже не нуждался в его услугах. Дав ему сверх установленной платы пять рупий и меховую шапку, он расстался с ним, пообещав нанять его на обратном пути.

Впереди каравана важно выступал Пурчун. Он нес хозяйское ружье, как знак своего высочайшего положения в отряде. Главное украшение ружья — красный холщовый чехол — непостижимым образом потерялось. Пурчун высказал предположение, что его унес тей. Ама — старые женщины деревни — поджидали путешественников на восточном краю моста с чанкелом — традиционным кубком вина и блюдечком поджаренной цзамбы, как это водится в Тибете при проводах в дальнее путешествие. Каждая женщина наливала немного вина в фарфоровую чашку, бросала туда щепотку муки и просила каждого выпить глоток, желая при этом благополучного возвращения. Пурчун, который сделался за короткий срок любимцем деревни, ухитрился выпить почти все прощальное вино. Остальное выпил Чан.

Р. Н. дал женщинам две рупии и пришпорил лошадь. Они ехали вдоль реки, принимавшей в себя множество ручейков. Каждый ручей приводил во вращение крыльчатку с молитвенными цилиндрами. Недаром вода в этой реке считалась святой. Путь лежал через густой лес по направлению к Даба-нгоньпо, где добывают знаменитую синюю глину, из которой лепят фигурки божеств.

С тайным ужасом следил Р. Н. за тем, как все чаще стали появляться меж кедровыми стволами снежные языки. Опять снега! И тут же он радовался, что рядом люди, что он не один и верные яки несут вьюки с удобными палатками.

Подъем на Нанго-ла шел уже по глубокому снегу.

По дороге они повстречали жителей деревни Яима, гнавших стадо овец и дюжину яков, груженных одеялами, кожами, ячменем и солью. Они шли в соседнюю деревню обменять свое добро на рис и кукурузу. Пурчун спросил у них, доступен ли еще перевал Кан-чэнь. Одни сказали, что он совершенно свободен, другие уверяли, что там лежит снег в три фута.

Миновав посвященную богине Мамо пещеру, пересекли можжевеловое плато и поднялись на Кан-чэнь. Снегу на перевале не было. Вокруг развалин древней крепости сгрудились угрюмые замшелые валуны красного гранита, а далеко впереди лежала окруженная голубыми заснеженными горами равнина. За ней находился и перевал Нанго.

К вечеру они достигли монастыря Маньдин-гомба, построенного на широкой, покрытой кустарником террасе. Здесь Пурчун нашел для Р. Н. жалкую келью. Еще он успел достать несколько яиц и чайник молока. Старая ани развела огонь и приготовила ужин. Ламы в это время сиде-

ли за ганьчжуром, чтение которого продолжается с пяти часов утра до восьми вечера.

Ганьчжур — это «перевод заветов» Будды, большой сборник канонических буддийских сочинений числом 1083, которые были кодифицированы в Тибете. Сюда вошли главным образом сочинения, составленные индийскими учеными и переведенные затем с санскрита на тибетский язык. Они делятся буддистами на группы (трипитака): виная, или правила монашеской жизни, сутры, или поучения Будды по разным вопросам, мистический ритуал — тантры и абидарма — метафизическое учение, проповедующее высший разум (праджня-парамита). Обыкновенно ганьчжур состоит из 100 или 108 томов.

Р. Н. пришлось выдержать настоящий экзамен по ганьчжуру. Местный лама, очевидно, решил проверить, действительно ли его гость тот лама-паломник, за которого себя выдает. Кажется, испытание прошло благополучно. Они даже поспорили по одному темному вопросу тантрического характера. С преувеличенным пылом Р. Н. старался убедить своего собеседника не понимать под мистическим «ма» дословный призыв воссоединиться с женщиной. Тот молча кивал, и Р. Н. не мог разобрать сначала, соглашается он или нет. Но потом, увидев молоденькую ани, Р. Н. понял, что лама кивал просто из вежливости.

Пурчун не показывался в течение всей ночи. Р. Н. не сомневался, что он пьянствует. Но он был уже не тем, кто покинул два месяца назад Дарджилинг. И ничто не могло уже поколебать его хорошее отношение к этому незлобивому и в сущности бесхитростному гуляке. Единственное, чего он боялся, — это как бы Пурчун не проболтался о нем своим собутыльникам. После почти не прикрытого допроса и экзамена на темы буддийской мистики его опасения только возросли.

Утром явился и Чан и, усердно кланяясь и высовывая язык, стал умолять задержаться здесь на один день. Чан уверял, что ему без особых затруднений удастся получить разрешение продолжать путь.

— Не надо будет даже платить чуа[1], — клялся он, тяжело отдуваясь после трудной ночи. — Все равно без разрешения нам дальше ходу не будет. Тибет — это не Непал. На перевале Нанго нас обязательно задержат для выяснения. Лучше уж потерять день здесь, где нам так хорошо.

Р. Н. невольно улыбнулся. Ему было совершенно ясно, чем продиктована столь самоотверженная забота об успехе

[1] Так в этой части Непала называется таможенная пошлина.

путешествия. Но независимо от этого он понимал, что проводники правы. Если до сих пор экспедиции приходилось преодолевать лишь сопротивление природы, то теперь ей будут препятствовать люди. Опыт предшественников показал, что именно здесь таится самая большая опасность.

А к вечеру приехали местные старшины. Самый богатый из них носил круглую широкополую шляпу и халат из темно-красной саржи. Он приехал верхом на нечистокровном яке, которого называют здесь чжо. Р. Н. с нетерпением ожидал результата переговоров старшин с Пурчуном и, сильно обеспокоенный, молил высшего распорядителя судеб об успехе предприятия.

Наконец пришел Пурчун. Он сказал, что поутру придется опять поехать в монастырь Маньдин-гомба. Там старшины и настоятель удостоят господина беседы.

— Что это значит? — в тревоге спросил Р. Н. — Они что-нибудь подозревают?

— Они обязаны подозревать, сэр. Такая у них работа. Но я думаю, что все обойдется.

В эту ночь Р. Н. долго не мог заснуть.

Монастырь Маньдин-гомба, или Нуб-Маньдин-гомба («Западный монастырь летающих лекарств»), обязан своим названием любопытной легенде. Одно время в этом месте, вблизи урочища Зимнуг, жил красношапочный лама Лхацунь. Тот самый, в пещере которого Р. Н. столь счастливо ночевал с леопардом. Святому ламе удалось добыть прямо из воздуха три пилюли чудодейственной силы. Одна из них упала на то место, где стоит теперь монастырь; другая достигла земли чуть поодаль, там, где жители деревни сжигают сейчас своих покойников; на месте падения третьей пилюли возвышается теперь высокий чортэнь.

«Монастырь летающих лекарств» — один из древнейших по южную сторону Гималаев. Он пользуется большим почетом у верующих. Здесь хранится редчайший экземпляр ганьчжура в 126 томах. Монастырский храм — лхакан[1] — славится дивными фресками, живописующими торжество Майтреи. По соседству расположены исключительно уродливые домики монахов. С перекошенными стенами, неправильной формы дверями и окнами, грубо размалеванные красной глиной, добываемой в горах. Каждый домик обнесен низкой каменной оградой, за которой находятся яки и овцы.

Р. Н. вновь занял ту келью, в которой провел уже не очень приятную ночь. Но на этот раз ему не пришлось

[1] Лха — бог, кан — дом; божий дом.

долго томиться ожиданием. Вбежали Пурчун и Чан, подпрыгивая от радости.

— Хозяин! — закричал Чан. — Мы сказали старшинам, что вы накорпа[1], который говорит по-тибетски и носит наш тибетский костюм.

— И этого оказалось достаточно? — удивился Р. Н.

— Не совсем, — пояснил Пурчун. — Вы понравились тогда настоятелю. Он сказал, что вы говорите по-тибетски даже более плавно, чем многие непальцы. Еще он сказал, что непальское правительство не давало инструкций задерживать пилигримов.

— А что сказал старшина? — поинтересовался Р. Н.

— Гопа велел Пурчуну поручиться за вас, — ответил Чан.

— Да, — важно кивнул Пурчун. — Старшина потребовал, чтобы я под свою личную ответственность поручился в том, что вы действительно паломник. Еще надо уплатить пошлину по восемь анна с человека.

— Значит, мы можем отправляться?! — От радости Р. Н. не мог усидеть на месте.

— Погодите, — сказал Пурчун. — Сейчас сюда придут гопа и главный лама пожелать вам счастливого пути.

— Ах вот как! — Он вновь забеспокоился. — Они придут только за этим?

— Так они сказали, — беспечно зевнул Пурчун. — Не забудьте только сказать им «санпой чжа чог». Так нужно.

Эти слова означают «до встречи в будущем году». Они должны подтвердить, что путешественники идут через непальские владения лишь на поклонение тибетским святыням и затем вернутся, как водится у пилигримов, на родину тем же самым путем. Вообще доступ иностранцам в Непал был почти так же затруднен, как и в Тибет. Лишь для паломников местное правительство делало исключение.

Все это Р. Н. прекрасно знал. Итак, ему предстоял допрос, после которого он принесет традиционную клятву.

Вскоре прибыли и ожидаемые посетители. Темно-красный гопа в высоких тибетских сапогах и с длинной золотой серьгой в левом ухе слегка кивнул пандиту головой и снял шляпу. Главный лама так же молча поклонился и отошел в дальний угол. Кроме набитого хвоей матраса, в комнате ничего не было, и они говорили стоя.

— Почему вы выбрали столь неблагоприятное время года для путешествия в Тибет? — спросил старшина, сосредоточенно покачивая на длинных лентах свою шляпу.

---

[1] Накорпа — пилигрим.

— Отнюдь не мое собственное желание заставило меня отправиться столь поздно, — объяснил Р. Н. — Я сделал это, исполняя повеление нашего святого и ученого главного ламы.

— Как зовут святого и ученого ламу? — спросил настоятель.

— Цавай. Надеюсь, это великое ими известно в Непале?

— Я слышал, что лама Цавай большой знаток Асваго-ши? — Настоятель, видимо, избегал прямого ответа.

— Да. Святой лама Цавай — лучший, — Р. Н. сделал ударение на этом слове, — знаток этого великого индийского поэта, который воспел жизнь Учителя в несравненных стихах.

— На санскрите Асвагоша, кажется, означает «голос коня». Не так ли?

Р. Н. поклонился.

— Но, насколько мне помнится, великого поэта называли еще соловьем?

— Вы тонкий знаток, святой лама, — Р. Н. вновь поклонился. — Не мне говорить такому знатоку, что произошло однажды в саду.

— Я темный деревенский житель, — вмешался в «ученую» беседу старшина. — Озарите меня светом вашей мудрости. Ведь так редко приходится слышать умные речи.

— Я рад буду поведать вам эту небольшую историю, которую святой лама, конечно, рассказал бы куда лучше... Однажды Учитель шел вместе с учениками благоухающим садом. Журчали ручьи. Дрожали ослепительные росинки в нежных складках распускающихся роз. Неторопливо текла беседа. И вдруг соловей увидел Лунноликого, пленился и, дрожа от восторга, запел. Тогда сказал, тронутый пением птицы, Будда: «Пусть же в новом воплощении он будет человеком». И душа соловья воплотилась в человеческом теле. Человека назвали Асвагошей за гордость и горячий нрав. Но стихи его оставались соловьиной песней, славящей Учителя.

— Ласо, ласо[1], — пробормотал старшина. — Как хорошо быть ученым.

— Да, только с Дгармаракшей можно сравнить пение Асвагоши, — вздохнул лама и зорко уставился на пандита.

— Именно он, — пылко вскричал Р. Н., — довел благоговейную повесть до законченности.

— Поэма о Будде — лучший цветок разума, — лама поднял палец с длинным, спирально закрученным ног-

[1] Да, да.

тем. — «Молча на спящего Будду долго и грустно глядел». Жаль, не помню, что дальше...

Он думал: «Время утечет,
Улыбка лунная затмится.
Пусть первого меня влечет
Другого берега зарница.
Я первым покидаю мир.
Огонь погас, и кончен пир».

Асвагоша, Будда, Нирвана

— Вспомнил! Вспомнил! — прервал его лама. — Вы прекрасно прочли богоравные строки. Да, так думал Субхдра, глядя на погруженного в нирвану Учителя. Потом, «сжавши ладони, отошел он от совершенного лика». Где вы так хорошо изучили тибетский язык?

— Святой Цавай знает его еще лучше, — дипломатично ответил Р. Н. И это была чистая правда.

— Такому человеку надо пухом выстлать путь в Лхасу! — обратился лама к темно-красному старшине. — Как он все знает!

— Как хорошо быть ученым! — опять сказал гопа. — Простите, что я не принес вам подарка, — поклонился он.

Видимо, допрос был окончен.

— Мы знакомы с вами еще очень немного, — Р. Н. поклонился ему еще ниже. — Надеюсь, мы продолжим знакомство в будущем. — Он вручил заранее приготовленный алый шарф и отчетливо произнес: — Санпой чжа чог.

— До встречи в будущем году! — повторил старшина.

— Счастливого вам пути, — сказал лама.

Они еще раз поклонились и вышли из комнаты. Пурчун незаметно проскользнул следом за ними. Потом он передал содержание их разговора.

Лама. Хорошо говорит по-тибетски. Знает обычаи. Очень ученый буддист.

Старшина. Это так.

Лама. Все как будто говорит в его пользу... Но, с другой стороны, это и настораживает.

Старшина. Бывают очень грамотные паломники.

Лама. Он, несомненно, индус. Готов в этом поклясться!

Старшина. Не доверяю я им.

Лама. Я тоже. Но мы ничего не должны иметь против индийских буддистов.

Старшина. В том-то и дело. Нет у нас оснований его задерживать.

Лама. А может, и не надо задерживать. Ведь декабрь...

Старшина. И то правда! Перевалы все в снегу. Несомненно, он погибнет в снегах, и слуги вернутся назад с известием о его кончине.

Но что ему было за дело до этих речей? Впрочем, Р. Н. извлек и некоторую пользу из этого разговора. Очевидно, небольшая доля невежества не только не вредит, но, напротив, является лучшей рекомендацией лояльности. Это следовало учесть на будущее.

Было уже далеко за полдень, когда они наконец выступили.

Дорога шла вдоль берега реки Янмы, которая еле угадывалась под снегом и льдом. Было тихо и печально. Над ущельем дул ветер, сдувая белую пыль с каменных стен. Шаги заставляли сухой снег натужно скрипеть и пробуждали скорбное эхо. Редкие пихты казались белыми призраками, внезапно вырастающими из земли. Так внезапно появлялись они среди белого поля, оцепеневшего под бесцветным небом.

Шагалось довольно легко, но как-то невесело. Яки сделались серыми от изморози, и казалось, что они вот-вот растают.

У истока Янмы пришлось карабкаться на огромный, шириной в четверть и длиной в три мили глетчер, носящий пышное имя Чянчуб-чжялам («Большая дорога к святости»).

— Это большая дорога к чертям! — пьяно пошутил Пурчун. Но Чан, который тоже находился под хмельком, только неодобрительно покосился. Он не любил шутить с богами.

Снег стал глубже, и Пурчун взял пандита к себе на плечи. Затем пошли черные, обледенелые скалы. Р. Н. несколько раз больно ушибся и в кровь ободрал ногти на руке. А темнота между тем катастрофически приближалась.

— Мы успеем добраться до Пугпа-карпо?[1] — спросил Р. Н. Пурчуна.

— Успеем. Уже недалеко.

Но поднялся туман, и темнота сделалась непроглядной. Сразу же стало зябко, пальцы на ногах сдавила ледяная боль. То и дело кто-нибудь проваливался в расселины между камнями. Чан вскрикнул и сказал, что подвернул ногу.

— Очевидно, мы уже не попадем в пещеру, — сказал Р. Н. — Давайте устраиваться так.

Они расчистили снег между скалами, развьючили яков и уселись на тюки, обхватив руками колени. В этом каменном

[1] Пугпа-карпо — белая пещера.

хаосе нечего было и думать о месте для палатки. Так началась эта тихая ледяная ночь под черным слепым небом. Истощенные трудным переходом и борьбой с разреженным воздухом люди молча терпели голод и лютую стужу. Лама недаром надеялся, что декабрь доконает Р. Н. Конечно, человеку свойственно быстро забывать перенесенные страдания. Беды, которые приходится переживать в данный момент, кажутся куда более тяжелыми, чем все, что было раньше. И все же именно эта ночь явилась для всех самым тяжким испытанием.

Дул легкий ветер, и падал мокрый, тяжелый снег. К счастью, он только сильнее прижимал одеяло. Но проклятая сырость просачивалась все глубже и глубже, и казалось, что медленно остывает сердце. Каждый страдал в одиночку, и они почти не говорили между собой, хотя никто не спал.

Утром обнаружили, что пала одна из лошадей. Р. Н. успокоил рыдающих кули и обещал заплатить за нее. Тогда они деловито разрубили ее и хорошо зарыли лучшие куски в снег, чтобы забрать их на обратном пути.

Пурчун торжественно затянул мантру «Пэма-чжун-нэ-самба-дуба», и люди взялись за тюки. Утро выдалось превосходное. В солнечных острых лучах сверкала величественная гора Канла-чэнь.

Хорошо знающий эти места кули пошел вперед, пробуя на каждом шагу рыхлый снег. Следы за ним оставались глубокие и темные, как пустые ведра.

Вершина перевала отстоит от белой пещеры к востоку на две мили пути. У самой подошвы спуска лежит огромный обломок скалы. Это место называется Торпа-ган, то есть «Место спасения». Если путешественнику удается добраться сюда, он может считать себя спасенным. Отсюда легко дойти до вершины перевала.

Действительно, через какой-нибудь час они добрались до высшей точки Канла-чэня. Ярко-синяя бездна открылась перед ними. И снежная белизна делала ее еще более синей. Вдали, над заснеженными вершинами, тонкой фиолетовой линией вырисовывались хребты Тибета.

Когда солнце исчезало за горным пиком, в синеве проступали льдистые, колючие звезды.

Они остановились у подножия большой скалы, чтобы отпраздновать победу: они одолели снежные перевалы. Природа больше не могла преградить им путь. О новых испытаниях думать сейчас не хотелось. Тем более что двухнедельный пост заставлял забыть обо всем на свете, кроме теплого, припущенного по-китайски риса, цзамбы с сушеными абрикосами и горячего чая с маслом. Это был праздничный пир и вместе с тем прощальная трапеза. Провод-

ник, стараниями которого Р. Н. так счастливо соединился с Пурчуном и Чаном, покидал караван. Вместе с ним возвращались в Непал и четверо кули.

Допит чай. Р. Н. щедро одаривает каждого. И вот уже непальцы карабкаются вверх по склону, навстречу снегам.

И караван идет в долины, где пасутся яки, охраняемые могучими быками-шалу, где люди жгут ботву на полях, а птицы выискивают зерна в дымящихся лошадиных следах.

В три часа пополудни они прибыли в Цзонго, конечный пункт области Таширабка, где на большой скале стоят развалины древнего каменного дома.

Первые же встречные пастухи спросили их, кто они и куда идут.

— Мы из Валлуна, — ответил Чан. — Идем в Шигацзе.

Приподнятое настроение мигом улетучилось. Беззаботность могла обернуться непоправимой бедой. Р. Н. не должен был забывать об опасности, подстерегающей на каждом шагу.

Люди в этой стране недоверчивы и подозрительны. Отныне внимательные глаза станут неусыпно следить за ним. Особая осторожность нужна здесь, в пограничных районах. Скорее в глубь страны, скорее в Лхасу! Только прорвавшись в недоступный этот город, он сможет немного успокоиться.

Когда они прошли мимо пастухов, Пурчун тихо подошел к Р. Н. и сказал:

— Хозяин! Надо прятаться. Это франгов[1] они гонят обратно к границе, потому что их они боятся. А с нами здесь не посчитаются. Особенно если узнают, что вы индус. Китайцы ненавидят индусов. Нас могут убить здесь.

Этот беспечный человек, который не боялся грозных перевалов и снежных бурь, теперь дрожал от страха. Р. Н. взглянул на Чана, но тот казался совершенно спокойным. По-видимому, он не делал особого различия между непальской и тибетской администрацией. Если они с Пурчуном так ловко сумели провести непальцев, почему же нельзя повторить это здесь?

— Мы опять скажем, что идем из Валлуна. — Чан льстиво улыбнулся Пурчуну, которого почитал и слушался беспрекословно.

Но Пурчун не думал сейчас о своем авторитете, не пытался геройской бравадой поддержать первенство.

— Ты ничего не знаешь, — скорбно сказал он. — Я же ходил сюда много раз. Тут самое опасное для нас место.

---

[1] Франг — европеец.

Если мы не сумеем миновать старшину здешней деревни Таширабка, нам несдобровать. Китайцы платят ему за каждую голову.

Р. Н. понимал, что у Пурчуна были все основания для опасений. Допрос в пограничной деревне был бы самым трудным для них.

Около шести часов пополудни они уже приблизились к этой столь опасной деревне.

— До наступления сумерек давайте спрячемся в овраге, — предложил Пурчун.

Овраг основательно зарос бурьяном, и они отлично устроились там. Замесили в воде немного цзамбы и слегка перекусили. Только когда в густо-синем небе появилась яркая луна и колючие травы стали пепельными и серебристыми, как паутина, вновь вышли на дорогу. Прошли мимо высокой каменной стены, которую, как говорят, тибетцы построили в один день во время войны с Непалом.

Стена тянулась на целых пять миль. Местами она обвалилась, и длинные лунные тени пересекали груды щебня. Эта стена проходит через реку по мосту, на котором сооружено восемь сторожевых башен, и кончается у проклятой деревни.

— Мост охраняется? — спросил Р. Н. у Пурчуна. Он пожал плечами. Руки его дрожали.

— Не знаю, — сказал Пурчун. — Может, нам лучше вернуться к перевалу?

— Перестаньте болтать глупости, — рассердился Р. Н. — Чан, пойдите разведайте, охраняется ли мост. Где живет старшина, Пурчун?

— Вон у того чортэня, — рука Пурчуна не переставала дрожать.

— Идите, Чан. Только тихо. К самому чортэню не приближайтесь. Если мост свободен, пойдем туда все вместе.

— Если стража бодрствует, — сказал невозмутимый Чан, — мы запоем национальную песню валлунцев, и нас примут за жителей деревни Валлун.

Он не был горазд на выдумки. И твердо придерживался осенившей его легенды. Что ж, дурацким вещам и верят лучше. Ученые разговоры могли бы только усилить подозрения здешнего старшины, перед которым так дрожал Пурчун.

Чан ушел, и Р. Н. долго следил, как уменьшается черная фигура его на выбеленной луной дороге.

— Если Чана задержат, я отведу вас на перевал, а сам вернусь за ним. Без вас они ничего нам не сделают.

— Не будем гадать, Пурчун.

Рядом бесшумно пробежала лисица.

Луна лила колдовское свое сияние на сонные крыши далекой деревни. Черная тень под стеной, сужаясь, уходила в наполненную пепельным светом тьму.

Вернулся Чан и сказал, что мост не охраняется.

Они осторожно тронулись в путь, ведя яков на поводу. Благополучно прошли через мост. Угрожающе скрипели сосновые доски настила. В широких щелях жирно поблескивала вода. Но никто из них не заметил палатки, сделанной из шкур яков, черной и почти невидимой в ночи.

Вот почему, когда их окликнули оттуда, они окаменели от неожиданности.

— Откуда и куда идете?

Пурчун был бледен, как мел, а Р. Н. беззвучно разевал рот. Один только Чан не потерял присутствия духа.

— Мы валлунцы и идем в Шигацзе, — ответил он с подкупающей общительностью. — А вы кто такие?

Не дожидаясь ответа, поспешили они дальше к большому чортэню, под которым белел домик грозного старшины.

Прокрались мимо этого домика со слепым окошком, не потревожив даже большой собаки, прикорнувшей за причудливой оградой из рогов баранов и яков.

Скорее, скорее подальше уйти от опасного места! Время близилось к полуночи, когда они расположились на ночлег в заброшенной овчарне.

С восходом солнца Р. Н. был уже на ногах. Они быстро позавтракали, навьючили яков и двинулись к Ланбула. Но этот последний на пути перевал нельзя было и считать перевалом. Он возвышался над плато всего на 700 футов. Но, главное, Р. Н. знал, что не встретит там проклятого снега.

Дорога прямыми зигзагами петляла в скалах, но на каждом повороте путника хранила неизменная шестисложная формула, высеченная огромными буквами.

Лишь на северном склоне Ланбу встретили они первых людей. Это были дадубпа — скупщики риса, шедшие в Таширабка. Общительный Пурчун обнаружил среди них старинного приятеля. И очень кстати. Пока длилась радостная встреча, Р. Н. тихо прошел мимо.

Проводники догнали его у подземного монастыря. Они уже успели отведать рисовой водки. От вчерашних страхов не осталось и следа.

— Спустимся в монастырь, хозяин! — захлебываясь от смеха, закричал Пурчун. — Там интересно.

Р. Н. сам хотел посетить этот монастырь. Говорили, что вся храмовая утварь и изображения божеств сделаны еще

на заре буддийской эры. Но сейчас было неразумно идти на риск.

— Правильно, Пурчун, — сказал он. — Нас там сразу же запрут в скальную келью.

Тот сразу притих.

Они перешли вброд небольшую речку Тибчжючу и с запада обошли деревню Чани.

— Знаете, сэр, — сказал Пурчун, — в этой деревне живет знаменитая семья чюгпо-мэпан[1]. Когда мимо проходят путешественники и спрашивают что-нибудь у этой семьи, те никогда не отказывают. Как-то в августе один человек, много слышавший об этих людях, спросил у них льда. И что вы думаете? Хозяйка немедленно достала ему из бочонка лед. А в другой раз кто-то спросил в феврале перцу и, конечно, получил. Вот какие удивительные люди! Говорят, что сами они живут очень бедно. Почти все их деньги уходят на поддержание славы. Хорошо бы их посетить... Я никогда не пил водку франгов, которая называется бренди. Мой брат однажды пробовал и говорит, что вкуснее ее нет ничего на свете.

— Когда мы вернемся в Дарджилинг, Пурчун, я подарю тебе целую бутылку такой водки.

— Хорошо, — вздохнул Пурчун. — Но это ведь будет так не скоро. Неужели вам не интересно поглядеть на богатых людей, которые никогда не говорят «нет»?

Так, мирно беседуя, прибыли они в деревню Танлун. Быстро отыскали дом набу[2] Ванга, которого рекомендовал Лобсан-чжяцо. Кланяясь и высовывая язык, набу ввел пандита в лучшую комнату.

— Простите недостойного слугу вашего, что он не может поместить вас в домашней часовне. — Ванг сокрушенно поник головой. — Там сохнут сейчас овечьи и козьи шкуры.

Р. Н. охотно извинил любезного хозяина и, едва только он ушел, бросился на постель.

Рано утром к нему вошел согнутый в поклоне Ванг и спросил, какие припасы им понадобятся на дорогу.

— Я целиком полагаюсь в этом на вас и на своего проводника Пурчуна, дорогой набу. Скажите лучше, нельзя ли здесь нанять лошадей?

— Ваш недостойный слуга уже побеспокоился об этом. Я нанял трех лошадей до Шигацзе. Каждая будет стоить двенадцать танек.

---

[1] Чюгпо-мэпан — богатые люди, которые никогда не отвечают «нет».

[2] Набу — хозяин, помещик.

— Сколько танек дают за рупию?

— Три. Все лошади обойдутся в двенадцать рупий. Но расплачиваться лучше местной монетой. Если угодно, я вам обменяю.

Р. Н. поблагодарил хозяина и стал собираться.

— Осмелюсь советовать вам, — тихо сказал Ванг, — по приезде в Шигацзе нанести визит кяб-вину[1] Западного Тибета. Ему даны о вас самые лестные рекомендации.

— Бы бесценный человек, набу! — в восторге воскликнул Р. Н.

— Я только верный слуга ламы Лобсан-чжяцо и ваш, господин пандит, — поклонился хозяин.

Удача сопутствовала им. Когда они вступили на территорию Ташилхуньпо, все опасения окончательно рассеялись. Теперь их могли задержать только возле самой Лхасы. Но всемогущий министр должен был помочь им избежать и этого последнего препятствия.

И вот 9 декабря около пяти часов вечера лошадка Р. Н. вступила через западные ворота в Ташилхуньпо — резиденцию панчэнь-ламы. Тихий переулок вел к монастырю Ташилхуньпо. Р. Н. шел медленно, стараясь казаться погруженным в молитву, как это подобает всем носящим одеяние ламы.

Он вспомнил рассказ капитана Самюэла Тернера, посетившего Ташилхуньпо еще в 1783 году.

«Если бы нужна была какая-нибудь внешняя причина для усиления великолепия города, то ничто не могло бы придать больше пышности его многочисленным золоченым кровлям и башням, чем лучи солнца, заходящего в полном своем блеске».

В доме министра его встретил мачэнь — главный повар. Лицо мачэня было перепачкано в саже, но держался он совершенно непринужденно. Р. Н. решил, что тот случайно запачкался на кухне и не заметил этого. И хорошо, что ничего ему об этом не сказал! Потом пандиту рассказали, что сажа на лице тибетского повара — такой же отличительный атрибут, как белый колпак у других поваров.

Повар сообщил, что министр отбыл в Донцэ, но распорядился перед отъездом встретить гостя и поместить в доме. Он распахнул тяжелые резные двери и, разведя руки в глубоком поклоне, торжественно произнес:

— Пундид ла, чяг пэд нан. (Добро пожаловать, господин пандит.)

---

[1] Кяб-вин — всемогущий, министр светских дел.

Р. Н. поднялся на второй этаж, где его встретил нэрпа — эконом. Он приказал слугам вытереть пыль и вынести томов двести книг, а также печатные доски, которыми были завалены комнаты. Потом расстелили большой ковер, и нэрпа пригласил гостя сесть.

Перед ним поставили столик с чайным прибором. Прислуживал сам повар. После чая он принес баранину, дзамбу и китайские сухари ма-хуа, которые делают из тонких полосок теста, поджаренного в кипящем жиру.

Эконом оказался очень общительным человеком. Он сообщил, что не смог сдать окончательного экзамена на допущение в монастырь и лишился стипендии. Он забыл только несколько слов из 125 страниц священных текстов, которые должен был знать наизусть. Но судьба благоволила к нему, и он нашел место в доме «всемогущего».

Вошел слуга и доложил, что пандита желает видеть секретарь министра. Р. Н. быстро переоделся в строгий костюм ламы и, взяв несколько монет и шарф-хадак, поспешил за посланцем.

Секретарь встретил его с исключительным радушием и любезностью. Р. Н. вручил ему подарки и принял ответный хадак чудесного лилового шелка. Ему подали высокий тюфяк, покрытый китайским ковром, и поставили чайный столик с красивыми фарфоровыми чашками.

Слуга наполнил одну из них из серебряного чайника и, поклонившись, пригласил отведать:

— Пундид-ла, сол-чжашэ. (Пожалуйста, господин пандит.)

По местному обычаю Р. Н. выпил ровно треть. Выпить больше значило выказать дурные манеры, меньше — обидеть хозяина.

Секретарь тоже отпил немного и вылил чай в специальную чашу, давая понять, что официальная церемония знакомства закончилась.

— Вечером я пошлю гонца в Донцэ, господин пандит, — сказал он. — Не захотите ли вы написать что-нибудь всемогущему?

— Сочту за честь, господин секретарь.

— Вы, наверное, захотите написать на шелковой бумаге, — сказал секретарь, — оставив внизу листа больше свободного места, чем вверху.

— Именно так я и поступлю, господин секретарь. Будьте и впредь моим учителем. Могу ли я начать письмо с сожаления, что не застал всемогущего?

— Такой ученый человек, как вы, господин пандит, не нуждается в учителях. Он может писать все, что хочет. Он может даже начать письмо с выражения безграничной при-

знательности всемогущему за его заботу. Можно также попросить всемогущего поскорее возвратиться в столицу ради счастья всех живых существ и, в частности, гостей всемогущего, безопасность которых зависит исключительно от его милосердия.

— Еще раз благодарю вас, господин секретарь. Позвольте мне высказать в письме мой восторг по поводу вашей обходительности?

Секретарь ничего не ответил, но одарил пандита прощальной улыбкой. Р. Н. откланялся и поспешил засесть за письмо, благословляя тонкость и ум секретаря. Он знал, какое значение придают в Тибете протоколу.

На четвертый день Р. Н. вновь был приглашен к секретарю. Солпонь, то есть «носитель чайника и чашки», накрыл столик и налил ароматного чая с цветами жасмина. Не успел Р. Н. отпить положенную треть, как он вновь долил его чашку до краев. Пока продолжалось чаепитие, разговор шел о положении в Арьяварте[1], об управлении франгов, о новых способах книгопечатания.

— Должен вас огорчить, господин пандит, — сказал секретарь, как только солпонь унес столики, — всемогущий срочно отбыл в Лхасу.

Р. Н. действительно почувствовал жестокое огорчение. Дела складывались очень плохо. А чего, кажется, стоило всемогущему взять его в свою свиту? Другого такого случая, конечно, уже не будет. В свите министра он бы без всяких препятствий добрался до Лхасы.

— Я испытываю горечь, господин секретарь, что долго не смогу лицезреть всемогущего. Очевидно, у него есть веские основания для немедленного отъезда в город небожителей.

— Несомненно. И я не вижу причин не посвятить в них вас.

— К безмерной благодарности моей уже трудно что-либо прибавить.

— Вы осведомлены о недавних столкновениях с китайскими властями?

— Ни в малейшей степени.

— Суть в том, что два лхасских резидента ежегодно по очереди осматривают границу с Непалом. Они инспектируют гарнизон в Тинри, осматривают оборонительные сооружения и склады, проверяют, как соблюдаются меры по задержанию нежелательных лиц. Одним словом, занимаются весьма скучными делами в пустынной, лишенной привычных удобств местности. Обыкновенно амбани бросают

[1] Арьяварт — Индия.

жребий, кому из них отправляться в эту утомительную поездку. На этот раз жребий пал на младшего амбаня — дадайдачена. Он отправился в Тинри и Шигацзе в сопровождении опытного тибетского чиновника в чине ципоня[1], на которого и были возложены все дорожные хлопоты. Согласно установившимся обычаям, тибетская казна выплачивает амбаню 4 дочэ[2], или 500 рупий, в сутки. Но деньги эти выплачиваются не из казны, как это должно быть, а из средств местных жителей. Во время инспекционной поездки их собирает ципонь.

И вот по прибытии в Шигацзе амбань потребовал вместо 500 целых 750 рупий. Население, конечно, воспротивилось. И это понятно. Для жителей Шигацзе собрать такую сумму не так-то просто.

Но амбань даже не пожелал выслушать пришедших к нему старшин — цогпоней. Он велел просто выпороть их, а имущество и лошадей конфисковать в счет уплаты суточных.

На обратном пути амбань вновь завернул в Шигацзе и опять потребовал 750 рупий. Это вызвало всеобщее возмущение. Тогда амбань велел своему ципоню взять солдат и пойти по домам. Ципонь попробовал увильнуть от подобного поручения. Но не тут-то было, амбань пригрозил ему жестокими карами. Между тем возмущение нарастало. Люди потребовали от своих префектов — цзонпоней, чтобы те открыто отказали амбаню в его притязаниях. Амбань пришел в бешенство. Он арестовал цзонпоней, а своего слишком осторожного счетовода заковал в цепи. На другой день несчастного счетовода привязали к столбу и выпороли. Во время экзекуции в солдат полетели камни. Жители освободили своих префектов и окружили дом, в котором остановился амбань. Амбань попытался скрыться от разъяренной толпы, но чей-то камень пробил ему голову. Только прибытие тибетского генерала — дахпоня с отрядом солдат спасло тяжелораненого амбаня от смерти.

С вестью о случившемся в Лхасу был послан нарочный. Там ко всему отнеслись очень серьезно. Старший амбань — баншидачэнь, два тибетских министра и военный казначей далай-ламы незамедлительно прибыли для расследования инцидента.

Решением этой комиссии префекты были понижены в должности и получили по двести бамбуковых палок, деревенские старшины получили по два месяца тюрьмы и четыреста палок, старосты отделались 50 ударами.

---

[1] Ципонь — счетовод.

[2] Дочэ — слиток серебра в 50 китайских ланов.

Кроме того, было решено просить Лхасу впредь выплачивать суточные амбаням из казны. Это была единственная «уступка», которой тибетские министры добились у старшего амбаня. Говорят, что она обошлась им в 1875 рупий.

Вот, господин пандит, как обстоят здесь у нас дела. Могу вам сказать только, что всемогущий выехал в Лхасу именно в связи с этими событиями. Можно лишь гадать, как долго он там пробудет. Пока же наберитесь терпения и ознакомьтесь со здешними святынями. Они того заслуживают.

— А нельзя ли мне сейчас получить разрешение на поездку в Лхасу, господин секретарь?

— Решительно невозможно, господин пандит... Кстати, завтра сюда прибывает кашмирское посольство, вам, верно, любопытно будет взглянуть...

В полдень на рыночной площади собралось несколько тысяч человек полюбоваться приездом кашмирского посланника. Все улицы, двор храма Гэсер-лхакон и прилегающие сады были заполнены народом, с нетерпением ожидавшим «тэмо». Это слово непереводимо, оно чисто тибетское, и его санскритский эквивалент «лицезрение» дает лишь слабый отзвук того, что вкладывают в это слово тибетцы.

Р. Н. удобно устроился под серебристой пихтой у самой стены храма. Он построен в XVI веке и посвящен «исполненному заслуг герою тибетских и монгольских племен Богды Гэсер-хану, истребителю 10 зол в 10 странах». Китайцы почитают в Гэсере бога войны, и нет, кажется, ни одного селения, где бы не было посвященной ему кумирни.

В конце улицы показалось шествие. Посланника кашмирского магараджи окружало 50 телохранителей в пышных тюрбанах, за которыми следовала сотня всадников. Здесь были мужественные сикхи и чернобородые магометане, ладакцы в бараньих тулупах, непальские мурми и докпа из Чана. Посланника сопровождали также разряженные купцы, каждый с толпой одетых в суконные и шелковые ливреи слуг. Лошади были украшены серебром и парчой. Р. Н. слышал, что магараджа посылает подарки в Лхасу каждые три года. В Лхасе это именуется данью. Для приема посольства на всей дороге до Лхасы выставляется 500 лошадей и мулов, тысячи кули сгоняют для встречи важных гостей.

Едва ли это нужно везущему негромоздкие драгоценности посланнику. Да и дары не окупают расходов по встрече. Но так уж повелось с последней победоносной для Тибета войны. Впрочем, свита посланника очень довольна этим унизительным для ее страны варварским обычаем. Она лов-

ко пользуется им для провоза в Лхасу и обратно собственных товаров и багажа.

Народ вокруг роптал, что за всю эту роскошь и великолепие придется платить тибетскому правительству. «Не правительству, а нам с вами», — возразил кто-то, и тут Р. Н. вновь услышал историю, которую рассказал секретарь министра. Но на сей раз с более яркими подробностями. Оказывается, наказание, которому подверглись префекты и старшины, было еще более суровым, чем сказал секретарь. У несчастных префектов содрали с рук кожу и мясо. Они предлагали амбаню по две тысячи рупий каждый, чтобы только избавиться от страшного наказания. Но жажда мести оказалась сильнее корыстолюбия.

Посланник уже проехал мимо, когда Р. Н. обратил внимание на ехавшего в свите человека в серо-угольном одеянии. На вид это был типичный лама из черношапочной секты ша-наг, исповедующей местную религию бонь. Но почему он вдруг оказался в свите кашмирского вельможи? Поразило пандита и сухое, с резкими чертами лицо ламы, властный, сосредоточенный взгляд.

Р. Н. невольно подался вперед, и глаза их встретились. В груди пандита всколыхнулось какое-то беспокойство, смутная тревога, усиленная тщетным желанием вспомнить что-то забытое, но очень важное, вспомнить именно сейчас, в эту минуту. Черный лама проехал мимо, и ни одна черточка не дрогнула на его лице, сухом и растресканном резкими морщинами, как глина в Гоби. Было ли это внезапно налетевшее беспокойство предчувствием? Кто знает...

Когда Р. Н. возвратился к себе, Пурчун доложил, что за ним дважды присылал господин секретарь. Р. Н. умылся, освежил запылившуюся одежду и отправился в его покои.

У секретаря оказался острый приступ диспепсии. Он спросил у пандита какого-нибудь лекарства. Р. Н. заколебался было, так как лекарства оставалось на самом донышке, но не показал и виду.

Когда он принес дорожную аптечку и раскрыл ее, секретарь и его слуги стали с удивлением разглядывать искрящиеся на солнце разноцветные эликсиры.

Р. Н. открыл одну из склянок и приказал принести фарфоровую чашку. Три или четыре человека бросились на кухню и притащили оттуда гору самой разной посуды.

Он достал аптекарские весы и стал отвешивать необходимые лекарства. Блестевшие, как золотые монеты, разновески произвели на присутствующих самое сильное впечатление. Они приняли Р. Н. за изощренного чародея, пользующегося вместо гирек золотыми монетами.

— Сейчас я смешаю эти два лекарства, господин секретарь, и они тут же начнут кипеть, но это будет холодное кипение, которого не надо опасаться, — сказал Р. Н.

Послышались изумленные перешептывания, а бедный больной побледнел от страха. Он, видимо, уже раскаивался в том, что послал за этим пандитом. Но лекарства были уже приготовлены, и он не решился вылить эти столь дорогие, как ему казалось, жидкости. Дворецкий опасливо прикоснулся к ним рукой и удивленно сказал:

— Они совсем холодные! Господин пандит, наверное, великий доктор, если думает вскипятить их без огня. Его надо слушаться во всем.

— Да, да, — подтвердил он. — Как только напиток начнет шипеть, выпейте его без опаски, господин секретарь.

Все с нетерпением ждали невиданного зрелища.

Р. Н. слил жидкости в чашку. Микстура мгновенно покрылась пеной, лопнувшие пузырьки углекислоты мелкими брызгами ударили больного в лицо. Он испуганно отшатнулся.

— Не надо бояться, — сказал Р. Н., — если угодно, попробуйте пальцем.

Больной опустил палец в чашку, поболтал им и, прошептав: «Ом-ма-ни-пад-мэ-хум», выпил. С минуту он сидел зажмурившись. Потом раскрыл глаза и удивленно прошептал:

— Приятно на вкус и освежает.

Он покачал головой и, сунув руку за пазуху, извлек оттуда хадак и несколько монет.

— Великий доктор, — сказал он, расстелив перед пандитом шарф, — примите от меня это скромное подношение как знак моей благодарности, хотя оно и недостойно вас. Но вы благочестивый человек, для которого деньги не имеют цены, поэтому я надеюсь, что вы его примете.

Р. Н. отказался от денег, но принял шарф. Молча раскланялся с потрясенными зрителями и удалился.

На другое утро он был разбужен ревом гонгов и хриплым пением труб. Начинался праздник новолуния — один из самых священных дней месяца. Размахивая четками и молитвенными цилиндрами, богомольцы устроили бесконечный хоровод вокруг монастыря. Непальцы истошно выкрикивали санскритские мантры. Хриплые трубы настойчиво призывали лам на молитву.

Р. Н. быстро оделся и вышел во двор. Вся площадь между примыкающим к рынку большим мэньдоном и восточными воротами города была заполнена нищими. Глухие, немые, увечные, на костылях и на тележках, с тяжелыми цепями на груди, со страшными следами недавних пыток

они проходили мимо олицетворением всех горестей мира. С содроганием смотрел Р. Н. в это кривое зеркало человечества. Особенно страшно было видеть людей с пустыми, еще гноящимися глазницами. По тибетским законам глаза выкалывают лишь за тяжкие преступлении, как-то убийство ламы и тому подобное. Но на самом деле каждый феодал может подвергнуть столь жесточайшей каре любого неугодного. В центре этой толпы стоял старик, с поклоном вручавший каждому нищему по монете. Потом Р. Н. узнал, что это был хорошо известный в Ташилхуньпо Лхагпа-цэрин. История его довольно примечательна. Когда-то Лхагпа-цэрин славился как искусный ювелир. Постепенно он сколотил себе приличное состояние и сделался ростовщиком. Дело его процветало. Он торговал фарфором, жемчугом, бирюзой, кораллами и яшмой, а пущенный в рост капитал ежегодно приносил ему 20, а то и 30 процентов. Он вел все дела с самыми влиятельными сановниками страны и пользовался благоволением лам за щедрые пожертвования монастырям.

Как-то Лхагпа-цэрин прослышал, что где-то в Шане живет святой лама по имени Чябтам, который прославился на всю провинцию Цан чистотой жизни и глубокой ученостью. Лхагпа-цэрин решил во что бы то ни стало умилостивить ревнивых к человеческому счастью богов богатым подарком шанскому святому, втайне надеясь, что столь благочестивое деяние быстро скажется на росте и без того хороших доходов. Он отправился в Шан и поднес к стопам святого 1250 рупий, драгоценные четки и хадак, расшитый крупным жемчугом. Но лама не принял богатый подарок. «Я не беру даров, которые подносятся от нечестивого заработка нечестивым человеком, — сказал лама ошеломленному ювелиру. — Подумай о себе. В предшествующем перерождении ты был великим грешником, а в будущем ты воплотишься в теле крокодила».

Ювелир был совершенно уничтожен. Впервые он встретил человека, который с презрением отверг сумму, которой бы хватило для безбедной жизни в течение многих лет. Это испугало бедного Лхагпу-цэрина едва ли не сильнее, чем кошмары грядущих перерождений. Но постепенно ужас перед собственной судьбой полностью завладел смятенной душой ювелира.

На следующее утро он босиком отправился к святому и стал умолять о спасении. Он готов был удвоить и даже утроить свой дар, пойти на любые добрые поступки, только бы отвести от себя страшное наказание. Но лама ничего не сказал ему в этот раз. И опять пришел босой богач к высохшему, как старая лоза, архату, и вновь вынужден был

уйти в слезах. Так продолжалось несколько дней. Но однажды лама заглянул в волшебное зеркало и сказал: «Если ты до конца своей жизни будешь подавать милостыню бедным и беспомощным, не выделяя среди них молодых или старых, буддистов или огнепоклонников, тибетцев или шерпов, тогда ты спасешься от перерождения в крокодила. А делать это нужно в первый день каждой новой луны. Другого пути к спасению для тебя нет. Иди».

Больше ничего не сказал богачу святой и не принял от него подарка. С тех пор вот уже десять лет Лхагпа неизменно раздает милостыню в день новолуния, в священный день полной ночи.

Его пример произвел большое впечатление на всех купцов провинции Кам, которые с тех пор стали несколько воздерживаться от обмана. Впрочем, ненадолго. Обычно, если торговец-буддист обманывает другого торговца, то считает про себя, что выгаданные теперь деньги просто были недополучены им в прежнем перерождении. Это опасный принцип. Но он столь же характерен для духовной жизни Тибета, как и легендарное бескорыстие шанского святого. Религия держится не только, вернее, не столько, благочестивыми деяниями, сколько моральным оправданием пороков и слабостей человека. Оправданием, которое легко достигается пожертвованием.

На другой день после праздника Р. Н. навестил благочестивого ювелира. Этот визит был обусловлен не столько любопытством, сколько вынужденными обстоятельствами. Взятые из Дарджилинга деньги кончились, и приходилось продавать золото. Он предложил ювелиру две пластинки. Ювелир тщательно взвесил их и, наморщив лоб, сказал:

— Золото идет у нас по двести за толу[1].

— Но ведь это чистое золото из Бенареса, — возразил Р. Н.

— Все равно, — сказал ювелир. — Спрос на золото сейчас крайне незначителен.

Р. Н. осталось лишь согласиться. Отказаться от сделки — значило пойти на риск. Конечно, само по себе бенаресское золото не могло вызвать особых подозрений. Но лучше было не привлекать излишнего внимания.

Р. Н. успокоил себя тем, что, наживаясь на нем, ювелир просто возвращает свои недополученные в прошлом воплощении деньги. Как-то ведь должен он компенсировать убытки от праздников новолуния.

Ожидая возвращения министра, Р. Н. всерьез принялся за изучение священных книг и истории Тибета. Он пере-

[1] Тола — индийская мера веса, равная 11,6 грамма.

стал вести регулярные записи, отмечая в дневнике лишь наиболее интересные сведения о нравах и обычаях тибетцев.

У одного ламы секты ньиим ему удалось приобрести несколько священных сочинений, отпечатанных с досок XV века. Кроме того, рекомендация исцеленного секретаря открыла доступ в библиотеку «перерожденца» Палри. Р. Н. работал там до захода солнца, делая выписки из уникальных сочинений.

В монастыре Донцэ хранились древние священные книги, написанные золотом. Но доступ к ним крайне затруднен. Только личная рекомендация паньчэнь-ламы может здесь помочь. До возвращения министра нечего было думать даже о простой аудиенции у второго по значению властителя Тибета. Зато ему удалось ознакомиться с двумя печатными сочинениями о Чойчжял-раба-тане, славном короле, который построил Пакор-Чойдэ в Чжянцэ. Эти сочинения, равно как и история самого города Чжянцэ, считаются лхасским правительством «тэрчой», то есть совершенно секретными. Выписки из этих книг могли бы погубить пандита. Поэтому он делал их латинскими буквами на языке урду. Еще узнал он, что в строго закрытом монастыре Лхари-Зимпуг, расположенном на дикой горе к востоку от Панамчжона, хранится полное описание жизни и сочинений ламы Лхацунь-чэньпо, который ввел буддизм в Сиккиме.

В каждом монастыре есть библиотека, зачастую хранящая уникальные документы, музей местной фауны и флоры или собрание различных иноземных диковин, а также, естественно, священные реликвии.

Лама Лобсан-чжяцо посетил в стране Лхобрак знаменитое святилище Сэхгуру-чойван, где среди многочисленных реликвий особо почитается чучело лошади, принадлежавшей великому гуру Падма-Самбаве. Лошадь эта называется «чжамлин-нинькорэ», то есть «лошадь, могущая в один день объехать вокруг света». Заметив, что у знаменитой лошади недостает одной ноги, лама обратил на это внимание настоятеля. «О это случилось давно, — сказал настоятель, — эту ногу украл один паломник из Кама, чтобы передать чудесные свойства этого благородного животного местным лошадям».

Любопытно, что этот благочестивый вор почитается у себя на родине за святого. Вот какие чудеса может сотворить прикосновение к реликвии.

Вообще Падма-Самбава почитался в Тибете наравне с Буддой или Цзонхавой. Ведь это он включил в буддийский пантеон всех местных божеств и разрешил монахам всту-

пать в брак, положив тем самым начало многим нынешним сектам. Индийский монах Чжоу-Адиша попытался потом отвратить тибетский буддизм от шаманства и вернуть ему прежнюю чистоту. Он призывал монахов отказаться от грубых обрядов и возвратиться к аскетической жизни. Основанная им секта получила наименование кадам-па, что значит «связанные предписанием». Но не всем последователям Адиши по нраву пришлись строгие предписания «чистой махаяны». Поэтому вскоре двое из его учеников создали самостоятельные секты: санью-па и карчжю-па, допускавшие различные послабления.

Так постепенно спадал покров тайны с загадочной страны небожителей. Побывав в монастырях, Р. Н. убедился, что они в настоящее время служат не столько убежищем отрекшихся аскетов, сколько духовными школами. Будущие ламы приобретают там все необходимые знания — от азбуки до высших пределов богословия. Главное внимание в высших монастырских школах уделяется богословской философии, включающей пять отделов догматики, составленных индийскими учеными и переведенных на тибетский язык. После реформ Цзонхавы тибетские ученые написали к этим отделам многочисленные комментарии, которые изучаются в специальных дацанах. Такие дацаны созданы в монастырях близ Лхасы: три в Дабуне и по два в Сэра и Галдане. Кроме богословских дацанов, существуют еще и тайные — мистические (наг-па), где изучаются тантры и мистическая обрядность. Несколько особняком стоят медицинские дацаны, где изучают тибетскую и китайскую медицину. Здесь, в Ташилхуньпо, есть три богословских факультета: Тойсамлин, Шарцэ, Килькан и один мистический — Нагкан.

Крупные монастыри обычно делятся на общины. Каждая община, как правило, образованная монахами-земляками, живет самостоятельной жизнью. У нее свое обособленное имущество и даже отдельный храм, вокруг которого и располагаются жилища монахов. Это делает общину, или кам-цань, своего рода территориально административной единицей. В Ташилхуньпо насчитывается сорок таких общин. Несколько общин образуют более крупную единицу, которая управляется высшей богословской коллегией. Таким образом, кам-цань представляет собой первую ступень сложной иерархии Тибета.

Все эти сведения хотя и не считаются «тэрчой», но также не подлежат разглашению. Те же, кто сохранил верность учению Адиши, образовали потом секту ньиима-па. Так ветвилось древо тибетского буддизма. От главных ветвей во все стороны бежали маленькие побеги мелких сект

(карма-па и т. п.). В XIII веке большое влияние приобрела секта сакьян-па. Это произошло потому, что овладевшие Тибетом монгольские императоры приблизили к себе тогдашних иерархов секты пакба-ламу и сакья-пандита, предоставив им даже светскую власть. После изгнания монголов из Китая в Тибете появился Цзонхава, от которого и пошла главенствующая ныне желтошапочная секта гэлуг-па. Преемники Цзонхавы установили новый догмат о последовательных воплощениях божеств и выдающихся буддийских деятелей в образе людей. Благодаря этому желтошапочная секта и приобрела свое теперешнее влияние. Ведь великие цари, боги и святые никогда не переводились в ее недрах. Они лишь меняли свое мирское воплощение, не покидая, впрочем, своих желтых одежд. Поэтому, когда в Китае утвердилась Маньчжурская династия, во главе светской власти Тибета был поставлен один из главных иерархов желтошапочников — далай-лама, в котором жила неумирающая душа бодисатвы Авалокитешвары. Такое положение желтошапочной секты гэлуг-па позволило ей понемногу распространить свой авторитет и на другие секты. Поэтому ныне все тибетские секты очень приблизились к желтошапочникам, сохранив лишь немногие из прежних своих особенностей. По сути, наиболее важным отличием этих сект является собственный бог-покровитель. Кроме того, духовенству большинства из них разрешается жениться.

Так многочисленные беседы со сведущими людьми и древние книги открывали перед пандитом прошлое и настоящее Тибета.

Узнав случайно, что в монастыре города Донцэ хранится сочинение под названием «Общее описание мира», он решил предпринять туда поездку. Исцеленный секретарь его святейшества дал ему несколько рекомендательных писем, и он в сопровождении Пурчуна отправился в Донцэ.

Весь день они пробыли в дороге и только к вечеру добрались до деревни Нэсар, притулившейся у подножия большого холма. На холме возвышается прекрасный зеленоголубой храм, окруженный башенками, посвященными лесным богиням мамо. Стены и башни украшали фигуры Авалокитешвары и Падма-Самбавы. В этом идиллическом месте сидели четверо уроженцев Кама. Они о чем-то беседовали, положив на траву длинные прямые мечи. Скорее всего, это были разбойники. Поэтому Р. Н. решил заночевать в деревне. Но староста сказал ему, что до монастыря совсем уже близко.

Их встретили там очень приветливо. После вечернего чаепития и церемонии вручения подарков пандита прове-

ли в келью, к которой примыкала своя часовня, именуемая «комнатой для созерцания».

На другой день он отправился на поклонение божествам (чой-чжал), взяв с собой в качестве жертвы связку курительных свечей, дюжину разноцветных шарфов и на две таньки очищенного масла. Спустившись по крутой лестнице, он пошел в зал для собраний. Его поразили деревянные раскрашенные колонны, резные капители которых украшали головы фантастических зверей. Яркие настенные фрески изображали шестнадцать учеников Будды. Они влекли к себе какой-то грубой наивностью и простотой, хотя значительно уступали по мастерству индийским. Впрочем, толстый слой лака и сумеречный свет несколько скрадывали недостатки.

На великолепном алтаре из резного дерева и меди стояли статуэтки будд и бодисатв. Главные статуи покоились в отдельных нишах. Они были сделаны из позолоченной меди и казались очень древними. Настоятель сказал, что основатель монастыря Чже-Лхацунь обратился однажды к богам с просьбой ниспослать ему искусного художника. В тот же день монастырь посетил индиец, который изготовил статую Большого Будды и возвратился на родину.

— Может быть, вы, господин пандит, являетесь воплощением этого благочестивого мастера? — улыбаясь, спросил настоятель.

Р. Н. было приятно услышать эти слова. Он поочередно склонился перед главными божествами, коснувшись лбом их правых рук.

Обойдя святыни, остановился перед пятью колоннами, посвященными защитникам буддизма от демонов и еретиков. К ним были прибиты щиты и колчаны, полные стрел. С потолка спускались полотнища сверкающей китайской парчи, на которых золотом и серебром были вышиты драконы, изображения «пяти великих царей» — защитников учения — и первого далай-ламы Лобсан-чжяцо, принимающего Тибетское царство от монгольского завоевателя Гушихана.

Перед каждым изображением он расстелил по хадаку и оставил горстку монет. Перед статуями Будды и Львиноголосого положил еще и связки курительных свечей. Затем, как и положено правоверным буддистам, трижды слева направо повторил обход святынь. Лама семенил за гостем, перебирая длинные коралловые четки и без устали выкрикивая мантры. Лишь в конце последнего круга Р. Н. попросил провести его в библиотеку.

По меньшей мере сотня лам сидели там за огненно-красными пюпитрами. Ни один из них не поднял глаза от свя-

щенных книг, чтобы посмотреть на вошедших, — так строго соблюдалась здесь дисциплина. Библиотека наполняла душу странным чувством благоговения и страха. Все книги здесь были очень старыми, с широкими листами; некоторые достигали в длину четырех футов. Р. Н. попросил показать написанное золотыми буквами «Общее описание мира».

— Сейчас это, к сожалению, невозможно, господин пандит, — сказал лама. — Указанное сочинение находится у монаха, готовящегося к получению богословской степени томрампа.

Р. Н. остро ощутил, что совершает какую-то непоправимую ошибку. Но прежде чем осознать это, обратился к ламе-настоятелю с новой просьбой:

— В Индии мне довелось встречаться с госпожой Блаватской — у нас в Мадрасе она известна как Радда Бай, — учредившей некое теософическое общество. В недавно вышедшем труде «Тайная доктрина» госпожа Блаватская уделяет много внимания погибшему материку Атлантиды, причем она ссылается на «Книгу Дцьян», будто бы существующую в очень ограниченном числе экземпляров и практически недоступную. Один из экземпляров якобы хранится в каком-то тибетском монастыре, а другой — в Ватикане. Именно этот ватиканский манускрипт, кстати сказать, якобы совершенно исключенный из обращения, и прочла Радда Бай, конечно, сверхъестественным способом. Признаться, я мало верю во все это. Но мне было бы очень интересно знать, существует или, быть может, существовала такая «Книга Дцьян» на самом деле?

— Мне ничего не известно об этом, — равнодушно ответил лама и заговорил о другом. — Не угодно ли вам присутствовать на танце великого ламы, господин пандит?

Р. Н. поблагодарил ламу, и они прошли во внутренний двор, где уже ревели запрокинутые в небо длинные и тонкие трубы дунчэнь.

Религиозные танцы принес в Тибет Падма-Самбава. Он ввел военный танец и знаменитый танец в масках баг-цам. В сегодняшнем Тибете основной священной мистерией считается ша-наг-цам — «черношапочный танец», введенный еще в XI веке в память убиенного царя Ландармы — иконоборца и гонителя буддизма. Собственно, царя этого звали просто Дарма, титулом Лан — (пес) его наградили уже потом. Лама Лхалун Палдор, надев черный плащ с белой подкладкой и вымазав коня сажей, подстерег и убил Дарму. Оторвавшись от погони, он вывернул плащ наизнанку и вымыл коня в реке. Погоня не узнала его и пронеслась мимо. Все это в различных вариациях повторяет священный черношапочный танец.

Расположившись на балконе во втором этаже, лама и гость стали следить за приготовлениями. На длинных и тонких шестах из тополя подняли 24 атласных флага, на которых горели вышитые золотом всевозможные чудовища. Потом во двор вошли 12 монахов в кольчугах и страшных масках, изображавших орлиные и оленьи головы. Они образовали полукруг, куда выпрыгнули вдруг исполнители танца и один из главных монастырских лам в желтой остроконечной шляпе с длинными, свисающими на грудь завязками.

В правой руке он держал священный жезл — ваджру, в левой — медный колокольчик с длинной ручкой — дрилбу.

Музыканты ударили в бубны, и началось вступительное богослужение. Лама позвонил в колокольчик и поднял жезл. На середину двора выскочил монах в темной маске. Он изображал китайского ламу — хэшана Дарма-талу, посетившего Тибет в царствование Сронцзан-гамбо. Зрители бросали ему под ноги разноцветные хадаки. Но он, словно не замечая этих знаков внимания, с удивительной ловкостью перепрыгивал через колеблемые ветром полотнища. Из-за стены страшноголовых кольчужников появились два танцора в ярко-желтых женских масках — жены Дарма-талы. Они быстро подобрали хадаки и уступили место четырем царям стран света. Послышались восторженные крики. Действительно, великие владыки поражали диким и грозным великолепием масок. По преданию, великие цари живут на склонах горы Рираб (Сумеру), возвышающейся в центре мира. По-санскритски их имена звучат так: Вирудака — царь юга (зеленый цвет), Дритараштра — царь востока (белый цвет), Вирупакша — хранитель запада (красный цвет) и Вайсравана — владыка севера (желтый цвет).

Грозные раджи обошли двор кругом, потрясая пиками, украшенными хвостами леопардов и лис. Их сменили сыны богов — толпа молодых лам, обряженных в шелк и самоцветы. За ними следовали индийские пилигримы, вызвавшие в толпе громкий смех своими черными бородатыми лицами и странными нарядами.

Опять зарокотали бубны, и двор опустел. Тогда лама высоко поднял дрилбу и затряс ею изо всей мочи, словно хотел разбудить пронзительным звоном дремлющие потусторонние силы. И это ему удалось. В центре двора возникли четыре скелета — хранителя могил. Их прыжки и гримасы символизировали ужасы смерти. Но венцом всего явился костер. Прислужники подожгли снопы сухой осоки, и в гудящий огненный столб полетела кукла, изображаю-

щая демона. Это напомнило пандиту народные представления из «Рамаяны», ежегодно устраиваемые на родине. Суждено ли ему увидеть их еще раз...

— Вы интересовались древними книгами, господин пандит, — обратился к нему настоятель. — В нашей библиотеке есть несколько уникальных трудов, специально посвященных религиозным танцам и музыке. Вы можете посмотреть их.

И опять в нем всколыхнулось тоскливое чувство, какое-то подсознательное ощущение совершенной ошибки.

— Меня больше интересует история, — сухо ответил он. — Господин секретарь его святейшества заверил меня, что в вашем монастыре я смогу получить необходимые книги. После этого я охотно познакомлюсь и с трактатами о танцах. У вас, конечно, ведутся фондовые описи?

— Вы, верно, устали, господин пандит. Давайте продолжим ученые разговоры завтра, — сказал настоятель. — А теперь прошу отобедать со мной.

Они прошли в покои настоятеля. Гостю подали чашу с водой и порошок какого-то растения, заменяющий здесь мыло. Лама лишь обмакнул пальцы.

— У вас очень четкие линии на руке, — сказал он, передав Р. Н. льняную салфетку. — Очень четкие... В священных книгах мы находим упоминание об индийских пандитах, которые трудились над распространением учения. Если вы действительно столь одарены знанием, как мне сообщил секретарь министра, то мы весьма счастливы видеть вас у себя. Я слышал также, что вы знаете медицину, и надеюсь воспользоваться вашими познаниями. А сейчас не откроете ли вы мне тайнопись линий моей руки?

Р. Н. почувствовал, как оборвалось сердце. Удар был нанесен быстро и совершенно неожиданно. Нужно было что-то ответить. Молчание становилось опаснее любого словесного промаха. Лама в упор смотрел на гостя. Ясно различались глубокие морщины вокруг холодных и усталых его глаз. Но дар слова покинул пандита. Разве мог он, которого принимают здесь за пандита-буддиста, сказать, что не знает такой важной науки, как хиромантия?

— Что с вами, господин пандит?

— Я думаю, святой настоятель.

Наконец-то он хоть что-то сказал! Дальше пошло легче.

— Я думаю, как не обидеть вас отказом. Видите ли, святой настоятель, хотя я и занимался немного хиромантией, тем не менее никогда не придавал ей большого значения. Притом эта область знания еще очень мало изучена,

да, по моему мнению, и не заслуживает большого внимания. Согласитесь, что ничто не может быть более неприятно, нежели предвидение чьего-либо несчастья. Жизнь человека и так полна печали и треволнений. Затем и проповедовал Будда учение о нирване, чтобы избавить нас от возобновления этой жизни.

Лама внимательно слушал. Р. Н. не знал, убедил ли он его, но лучшие слова найти было трудно.

— Я во многом согласен с вами, господин пандит. Не могу лишь принять ваше убеждение, что человек не должен стараться узнать свою судьбу. Как тогда сможем мы изыскать способы для устранения неблагоприятных случайностей? В священных книгах говорится о духовных средствах, которые могут предотвратить действия, причиняемые дьяволом — дэ. Так взгляните мудрым оком своим на мою ладонь. — И он протянул руку.

Теперь Р. Н. не мог отказаться. Бегло взглянув на темную, иссеченную резкими линиями ладонь, он заставил себя улыбнуться и сказал:

— У вас очень длинная линия жизни. Что же касается вашей судьбы, то ведь хорошо известно, что боги благоволят вам.

И тут словно молния вспыхнула в мозгу! Он вспомнил, как легко покашливал лама, читая сегодня мантры. Тогда он не обратил на это внимания. Сейчас обостренное чувство опасности превратило полузабытую и такую, казалось, пустяковую деталь в яркую вспышку.

— Но все это вам гораздо лучше расскажет любой хиромант, — продолжал он, повысив голос. — Мое искусство очень несовершенно. Правда, некоторые мелкие подробности, которые обычно ускользают, я иногда вижу лучше других. Вот линии, ответственные за состояние организма. Они говорят мне, что вас часто мучает кашель. Велите принести мне вечером черного перцу и карамели, я приготовлю вам порошок... А вообще не стоит полагаться на предсказания хиромантов. Не стоит...

Кажется, ему удалось вывернуться. Начался обед. Кушанья были приготовлены и подавались на китайский лад. Ели палочками и ложками. На первое подали чжя-туг — вермишель из пшеничной муки и яиц, сваренную с рубленой бараниной. Лама не притронулся к этому блюду, повинуясь запрету употреблять в пищу яйца. Р. Н., преодолев свое вегетарианство, съел целую чашку и, похвалив блюдо, сказал:

— Я полагаю, нет большого греха в том, что даже духовные лица едят иногда мясо и яйца. Особенно в такой холодной стране, как Тибет.

Ему казалось, что столь безмятежное свободомыслие скорее рассеет подозрения, чем строгая, словно нарочитая, ортодоксальность. Но, может быть, он и ошибался.

Потом принесли рис, консервированные овощи, белые и черные грибы, зеленый салат, картофель и свежие ростки гороха. Волнение мешало пандиту ощутить вкус этих превосходных блюд. Но он делал вид, что ел с удовольствием.

Третьим блюдом был заправленный маслом и подслащенный рис, затем подали вареную баранину, цзамбу и чай. На этот раз он не притронулся к мясу. Выпив положенную треть чашки, поблагодарил хозяина за угощение.

— До завтра, господин пандит, — сказал тот, провожая гостя до дверей. — Я пришлю вам все необходимое для лекарства.

Но утром, с поклоном приняв снадобье, лама сказал:

— Наверное, нам придется отложить посещение библиотеки, господин пандит. Меня просили передать вам приглашение на завтрак. Один наш почетный гость мечтает о счастье познакомиться с вами.

— Гость?

— Да, гость из далекой страны Ниппон.

— Японского гостя нельзя принять здесь, в вашем монастыре?

— Это едва ли возможно. Наш гость — первосвященник буддийской секты Сингон и настоятель старинного храма Сэйчо. У этой секты есть постоянное посольство при дворе паньчэнь-ламы. Вас приглашают посетить его. Это недалеко. Мулы ждут.

Р. Н. понял, что получил приглашение, которого нельзя не принять.

Они подъехали к маленькому уединенному храму, укрывавшемуся в расщелине красных гор. Сгущалась непогода, и черные ветви столетних деревьев метались в слепом белесом небе. Длинные хвойные иглы и сухие листья летели по ветру. Холодный туман выступил на золотой резьбе многоярусного субургана, на голубой глазурованной черепице шатровой крыши, резко загнутой вверх по краям. Это был храм. Храм и посольство секты Сингон.

Р. Н. немного знал об этой секте. Иероглифы, которыми пишется слово «Сингон», означают «истинное слово», или «действительная речь». Это влиятельнейшая в Японии секта, которой принадлежит много храмов в различных частях страны.

Его провели в большой низкий зал с окном во всю стену. В красном ущелье клубилась белая мгла. Черные кедры

тихо раскачивались над невидимым горным потоком, шум которого слышался даже здесь.

В центре зала на шелковисто-блестящей циновке сидел человек в угольно-серой тоге. Тот самый, кто ехал недавно в составе пышной делегации в Ташилхуньпо. Р. Н. сразу узнал его.

Тот склонился головой до земли и указал пандиту циновку напротив.

— Пусть покой снизойдет на вас в этих стенах, — сказал он тихим и приятным голосом. — Если вы ищете покоя, — добавил он по-английски.

Опускаясь на циновку, Р. Н. быстро оглядел комнату. Они были одни. Он испытывал чувство величайшей растерянности. Он перестал вдруг различать, что можно и чего нельзя. Не знал — плохо или нет для него владеть английским. Не знал, о чем говорить с этим человеком, не предвидел, какие вопросы тот задаст и что последует за этой беседой.

Р. Н. молча сел, пальцами изобразив фигуру внимания.

Но японец, казалось, говорил сам с собой. Речь его текла легко и свободно, хотя говорил он по-тибетски и по-английски, на языке хинди, бенгали и урду. Это казалось непостижимым. Поэтому Р. Н. следил за его речью, как за танцем кобры, почти не понимая смысла.

— Родниковый источник нашего покоя, — все так же тихо лилась и лилась многоязычная речь, — таится в извечном течении окружающих нас вещей, в естественном порядке живой природы. Сущность просветления и мудрости совершенного человека, путь к высшей стадии самопознания заключается в слиянии с природой, со всей Вселенной. Вы согласны со мной? — вдруг резко спросил он.

Р. Н. вздрогнул и, путаясь, что-то залепетал о том, что буддийские храмы потому и строят на возвышенностях, чтобы ближе было до горных высот, куда не долетают звуки людской суеты, нескончаемых междоусобиц и распрей, что...

А тот вдруг тихо рассмеялся.

— Оказывается, вы уроженец Порбандара, господин пандит.

Не отдавая себе отчета, Р. Н. говорил с ним на языке родных мест. Что-то рушилось в сознании. Он все не мог понять, выдал ли себя этим или нет. Да, он говорил не по-тибетски, а на родном языке. Но он ведь и не скрывал, что родился и жил в Индии. И вряд ли бы это можно было скрыть. Получилось, что он не выдал себя. Но япо-

нец смеялся тихо и всепонимающе. Да и на родном языке Р. Н. заговорил вроде бы не по воле своей. В чем же тут дело? Он попытался стряхнуть сковавшее волю оцепенение.

— Да, Порбандара, — сказал он. — Родители мои индуисты, но сам я с детских лет исповедую буддизм. Исповедую и изучаю путь великого учения в веках и странах, — последнюю фразу он сказал по-китайски, сожалея, что не знает японского языка.

— Вы прекрасно подготовлены, господин пандит, — японец внимательно посмотрел на него. — Вынужден отдать вам должное. Это очень трудно — бояться, но все-таки делать свое дело. И хорошо делать. Нам, японцам, легче, мы не боимся смерти.

— О чем это вы? — спросил Р. Н., тяготясь его прямым взглядом, беспощадным, но лишенным какой-либо неприязни или снисхождения.

— О чем? — Удивление казалось искренним. — Это хорошо известно нам обоим. К счастью, пока только нам.

— И все же я не понимаю, о чем идет речь.

— Понимаете. Вы шпион, господин пандит. Обыкновенный шпион. Что бы вы о себе ни думали, — он говорил с нарастающей громкостью. Последние слова почти прокричал. И вдруг голос его снова стал тихим, вкрадчивым. — Я ценю, что вы питаете хорошие чувства к этой несчастной стране и не хотите вредить ей. Меня также подкупает и то самообладание, которое помогает вам преодолеть страх. Но это же ничего не меняет. Вы шпион, господин пандит, — закончил он с улыбкой.

Р. Н. все время безотчетно ждал этих слов. Кто-то должен был ему их сказать. Его подозревали, он боролся и выпутывался из паутины подозрений, но кто-то все равно должен был сказать ему эти слова. Теперь это случилось. И он больше ничего не боялся.

— Вы ошибаетесь, ваше святейшество, — сказал он. — И я не знаю, зачем вы говорите то, что все равно не сможете доказать.

— Доказать? Я и не подумаю доказывать! Если я скажу, что вы шпион, то в этой стране вас будут считать шпионом, и никто даже не подумает спросить о доказательствах. Поймите, что никого здесь не интересует ни то, на кого вы работаете, ни те цели, которые преследуете. Достаточно знать, что вы шпион, чтобы поступить с вами соответствующим образом и перестать думать о вас. Таков Тибет.

И это была правда. А Р. Н. молчал, потому что не знал, о чем говорить. Страха не было. Все казалось слиш-

ком сложным, чтобы закончиться так безвыходно просто. Он понял, что сейчас ему что-то предложат, станут что-то требовать, играя старой, как мир, альтернативой «или-или».

— Конечно, вы ожидаете, что я обращусь к вам с определенным предложением, господин пандит. Не так ли?

Р. Н. молчал. Перед ним сидел человек с интеллектом на ступень выше. Или более — как это сказано? — подготовленный, вот как! К той роли, которую он взял на себя. В данном случае разницы не было. Кроме того, японец, видимо, знал о нем многое. Японец даже говорил на его родном языке, а он не мог ответить по-японски. Потому и не вступал он в неравную схватку. Просто ждал.

— Итак, вы ждете предложения, господин пандит. Ну что ж, все в мире подчиняется закону причин и следствий. И все же мне бы хотелось, чтобы вы поняли одну существенную разницу между нами. Выслушайте меня внимательно, господин пандит. У нас, в стране Ниппон, стар и млад знает такие стихи:

Выйдешь к морю — трупы плывут,
Выйдешь в горы — трупы лежат,
Но не бросят назад свой взгляд
Те, кто смерти почетной ждут.

Слова «бросить взгляд назад» означают просто подумать о себе. Так вот, мы не думаем о себе. Мы приносим себя в жертву по зову необходимости, не раздумывая и без страха. Наша жертва ничто в сравнении со счастьем родиться на японской земле. И мы уходим с благодарной памятью об этом счастье. Уходим с улыбкой. Конечно, так может сказать каждый человек, и вы, господин пандит, в том числе. Вы тоже любите свою родину и тоже готовы отдать жизнь за счастье родиться на индийской земле. Ваши сипаи, восставшие против владычества иноземцев, тому пример. И все же есть разница. Природа моей страны и понимание ее людьми сокровенного смысла учения Будды воспитали в нас приятие смерти. Мы всегда готовы умереть. Хотя бы от землетрясения, которое случается у нас чуть ли не каждый день. Поэтому японцы так легко говорят о своей смерти. Согласитесь, это не очень присуще другим народам. Другие знают, что когда-нибудь умрут, но живут так, как будто они бессмертны. Мы же знаем о неизбежном конце и ведем себя, как смертные люди. У нас есть тонкий этикет смерти. До эпохи Токугавы наши дети обучались в школах способам самоубийства. Мальчиков учили харакири, девочек — закалываться кинжалом. А буддизм научил нас «умирать с улыбкой»,

«умирать словно засыпая», «умирать подобно засыхающему дереву», «умирать невозмутимо».

Постарайтесь уловить смысл этой разницы, господин пандит. И, наконец, еще одно. Я здесь служу моей стране, а что делаете здесь вы? Выполняете волю англичан?

— Англичане пришли, англичане уйдут, ваше святейшество. Индия — великая страна. Никто не сможет долго противостоять ее стремлению к свободе. Поверьте, что стремление это гнетет англичан даже в тех местах, где внешне они встречают только покорность. Вечен и свет Индии, святой настоятель японского храма, тот свет, который озарил этот край и вашу страну, тот свет, который, как вы сами говорите, научил вас «умирать с улыбкой». Люди должны жить, а не умирать. Не всем пригодна истина великого учителя, что смерть избавляет нас от страданий. Будда это знал лучше и прежде всех. Есть люди, которые не могут иначе. Я это допускаю. Но их очень, очень немного. Остальным нужно иное. Кров и огонь в очаге, еда, лекарства на случай болезни, теплая одежда в снежную пору — вот что нужно людям. И тихий свет истины, который, пролившись в их души, опустит занесенную руку с острым камнем. Не по воле народа эта страна отгородилась от мира. Заставы на ее дорогах не спасают от чумы. А кто придет на помощь, если случится беда? Люди должны знать друг друга, чтобы уметь вовремя помочь. И я один из тех, кто хочет знать. В этом и только в этом смысл моей миссии. Я не поведу за собой английских солдат, святой настоятель храма Сэйчо.

— Хочу верить, что вы заблуждаетесь честно, — сказал японец, подымаясь с циновки.

— Я не заблуждаюсь, ваше святейшество. Но разве для Тибета или, скажем, близких к вам Манчжурии и Кореи желанным гостем будет японский самурай с мечами за поясом? Кого вы поведете за собой? Или вы считаете, что местное население обрадуется вам больше, чем англичанам?

— Вы забыли, господин пандит, о чем я сказал вам в начале беседы. Речь идет только о вас. У меня особая миссия здесь и особые отношения с властями. Я могу распорядиться вашей судьбой, вы же не властны даже говорить с кем-нибудь обо мне. Об этом не совсем приятно напоминать, но это так, и ничего тут нельзя поделать. Наконец еще одно. Меня не очень интересуют ваши доводы и внутренние мотивы. Они не могут повлиять на решение, которое я принял. В свое время я вам его сообщу. Пока же прошу разделить со мной утреннюю трапезу.

Японец раздвинул шелковую ширму, на которой были вытканы серые цапли в залитых утренним туманом камышах. У стены, расписанной блеклыми фресками, изображающими заросшие цветами скалы, стоял на низеньких драконовых ножках зеркально отполированный стол красного дерева. Рядом находилась жаровня, на которой грелся старинный оловянный сосуд с сакэ. Молчаливый монах в такой же угольно-серой тоге принес бамбуковые палочки — хоси и деревянные черно-золотые чашки с едой.

Они ели молча, пока не подали, наконец, деревянный жбан с распаренным рисом, символизирующий окончание трапезы. Положив в свои чашки по горсточке этого риса, отпили по последнему глотку теплого сакэ и сложили палочки.

— Я не предложу вам ничего такого, что шло бы вразрез с вашей совестью, господин пандит, — сказал японец, ополаскивая руки. — Возможно, вы будете удивлены, узнав, что я вообще ничего вам не предлагаю. Что ж, считайте, что по совершенно не зависящим от вас обстоятельствам я заинтересован в успехе вашей миссии. Заинтересован в вашей поездке в Лхасу, заинтересован в благополучном возвращении на родину. И если до сих пор я не мог облегчить вам столь трудный путь, то сейчас у меня есть такая возможность.

Он открыл черную лакированную шкатулку и извлек оттуда свернутый в трубку лист с красным шнурком и сургучной печатью.

— Это паспорт, разрешающий вам поездку и трехмесячное пребывание в Лхасе. Можете считать его даром японского народа соотечественнику великого учителя Будды. Не стану разуверять вас, если вы расцените мой поступок как своего рода аванс. Одним словом, думайте все, что вам угодно. Но настанет день, когда я пожелаю вновь свидеться с вами. И еще одно, совсем пустяк. Я попрошу вас дать мне рекомендательное письмо тому высокому лицу в Китае, которое удостоило вас своего покровительства.

— Имя того, кого я должен рекомендовать? — спросил Р. Н., с трудом шевеля губами.

Он согласился. Согласился, не раздумывая. Другого выхода не было. И знал, что от него потребовали слишком мало. Пока...

— Имя? — японец на секунду задумался. — А любое! Впрочем, оставьте лучше место, — почтительным жестом он указал на скамеечку с письменными принадлежностями. — Да, чуть было не забыл. Теперь вы можете быть

совершенно спокойны относительно монастырского ламы. Все его подозрения на ваш счет рассеялись. Завтра он покажет вам «Общее описание мира». Книги же Дцьян в этом монастыре нет, и, честно говоря, я вообще не уверен, что такое сочинение есть на свете.

Р. Н. написал письмо и поторопился покинуть храм. Сгущалась грозная мгла. В монастыре зажглись первые огни.

И все же путь в Лхасу был открыт.

## ОПАСЕН ПУТЬ, СТОКРАТ ОПАСНЕЙ ПОДОЗРЕНЬЕ

Так низким душам суждено:
Высоких духом ненавидеть.
Стремленьем гибельным обидеть
Все сердце их изможденно,
Но неожиданным ответом
К ним возвращается назад
Бездумно пущенный по ветру
Песок и ранит им глаза.
И никуда им не укрыться,
Их зло обратно к ним придет.
И в море рыбой, в небе птицей
В урочный час их смерть найдет.
Но им не слиться со Вселенной,
Перерождаясь вновь и вновь
В зверином облике презренном,
Им сеять смерть и множить кровь.

Дхаммапада, IX, 125—128

Ни Цыбиков, ни Цэрен в лицо друг друга не знали. Было решено, что объединятся они только у заставы Саянчжин, но и там знакомиться друг с другом и говорить не станут. А пойдут одним караваном, как люди совершенно не знакомые и друг другу вовсе не интересные. И так до самой Лхасы. Только там, когда все опасности дороги останутся позади, и паломники разойдутся кто куда захочет, они смогут открыться друг другу и поселиться, что называется, бок о бок.

Под видом бурятского ламы Цыбиков ехал на поклонение лхасским святыням. Купив в Урге четырех верблюдов и наняв двух погонщиков, он примкнул к каравану алашанских монголов, торгующих рисом и просом. Хозяин каравана, человек добрый и недалекий, специально завернул в Ургу поклониться здешнему «перерожденцу» Чжэб-

цзун-дамба, слава о котором идет по всей Монголии, от Цайдама до Гоби.

Синим застывшим утром 25 ноября вышли они в дорогу. По шершавому льдистому насту сухо шуршала снеговая крупа. Грустно позвякивали верблюжьи колокольцы-боталы, наигрывая однообразную мелодию пустыни. Из-под снега чернели сухие верхушки прошлогодних колючек. Где-то далеко впереди занималась малиновая полоска хмурой зари.

Цыбикову было очень трудно приноровиться к верблюду. Сначала он уселся, широко растопырив ноги по обеим сторонам необъятного верблюжьего живота, но быстро устал. Потом попытался сесть боком, по-дамски, но это угрожало падением при первом же серьезном толчке. Он совсем измучился, пока кто-то из погонщиков не надоумил его усесться прямо на тюках. Мерное покачивание и заунывный звон колокольцев навевали сон. Заночевали посреди голого снежного поля, обдуваемого ночным ветром.

Развьючили припасенные в Урге дрова. Желто-красное пламя рванулось к еще не остывшему до конца небу. И небо сразу сделалось совершенно черным и непроницаемым. Тьма сжала со всех сторон.

Ночью ветер утих, и стало заметно теплее. Крупу сменил лохматый медленный снег. Когда утром люди вылезли из палаток, все кругом стало пушистым и белым: верблюды, поклажа, шапки и плечи ночных часовых. Быстро растопили в чайниках этот свежевыпавший снег, приготовили цзамбу и чай. От вчерашней грусти не осталось и следа. Сегодня караванный перезвон показался веселым и бодрым. Но не прошли и двадцати верст, как снова задул ветер. Холодный и сухой ветер с Гоби. Он нес глинистую пыль и мелкий колючий песок. Внизу началась поземка. Сдуло выпавший за ночь снег. Он унесся стелющимся по земле паром. Ноздреватый наст быстро забило пылью. Он стал грязно-желтым. Песок першил в горле, резал глаза. Еле добрались в тот день до колодца Хара-толгой, где и заночевали. Костра из-за сильного ветра не разводили. Так и шли вперед, чередуя одинокие ночлеги в степи с короткими дневками. Грифы следовали за караваном, подбирая бараньи кости. Одинокий след тянулся через снежное поле, не пересекаясь ничьим следом. Только отпечатки волчьих лап находили люди поутру на снегу. Петляющие парные отпечатки, смыкающиеся в замкнутый круг. За две недели прошли путь от Хутера до колодца Добойн-изак, откуда начинается хошун алашанского вана.

Лишь 15 декабря добрались до монастыря Тукумунсумэ, основанного шестым далай-ламой Цан-ян-чжяцо. По

преданию, этот великий лама нарушал все мыслимые и немыслимые принятые обеты. Не остановился он и перед нарушением обета безбрачия. Он не делал секрета из своей разгульной жизни, и поэтому весь Тибет знал, что избранница живого бога забеременела. Узнали об этом и в Пекине. Китайские астрологи прочли по звездам, что женщина эта родит будущего царя мира, и поспешили с донесением к богдыхану. Богдыхан распорядился немедленно вызвать далай-ламу в Пекин и послал людей убить женщину. Последнее, очевидно, и было в точности исполнено, поскольку предание больше не упоминает о будущем царе мира. Что же касается далай-ламы, то он сумел перехитрить китайского императора. В дороге один из спутников далай-ламы заболел и умер. Цан-ян-джяцо велел обрядить труп в свое одеяние и везти его к богдыхану, а сам ушел бродить по дорогам Индии, Монголии и Тибета, как простой нищий. Он ночевал в горных пещерах, питался скудным подаянием и творил чудеса. Слава о них дошла и до жены алашанского вана. Вот почему, когда нищий далай-лама забрел случайно в столицу правителя алашанских земель, жена вана признала владыку Лхасы и оказала ему все подобающие почести. Примеру княжеской семьи последовал и простой народ. Поэтому Цан-ян-чжяцо, чей прах как будто давно покоился в Пекине, спокойно жил себе в алашанской земле, окруженный всеобщей любовью и преклонением. Новый далай-лама не нарушал уже запретов и предписаний, став образцом аскетизма и святости. Он основал в алашанских степях несколько монастырей, в том числе и Тукумунсумэ.

Монастырь этот возвышается на небольшом холме посреди пустого поля: несколько глинобитных домиков, стены которых чуть сужаются под плоскими крышами, хвосты яков на длинных шестах да заборы из бараньих рогов.

Паломники прошли мимо, решив заночевать у колодца Цзуха. Оттуда недалеко до стойбища, где можно купить баранов и пива из проса.

Колодец, по-монгольски «го», можно увидеть еще издали. Он расположен в святом месте, рядом с мерой — круглой грудой валунов, в которую воткнуты шесты с белыми лентами. Вокруг колодца растет местный саксаул узак — незаменимое зимой топливо.

Пока люди рубили сухой саксаул, осыпающийся легкими, как стрекозные крылья, семечками, Цыбиков вместе с хозяином каравана поехал в стойбище.

Над черными войлочными юртами курился легкий дымок. Пахло навозом и свежерастопленным маслом. Стрено-

женные лошади выщипывали из-под снега клочки прошлогодней травы. У алашанских монголов всегда много скота, и они не отказываются продать сотню-другую баранов. Еще более охотно обменивают они их на ару — китайский спирт.

По обычаю алашанские князья женятся на дочерях богдыхана. Конечно, на приемных дочерях. Сначала князь выбирает себе подходящую невесту, а уж потом, перед самой свадьбой, ее удочеряет богдыхан. Но даже такое чисто формальное удочерение делает местных владык как бы родственниками китайского императора. Тем более что алашанские ваны быстро перенимают все дурные черты образа жизни пекинской знати: деспотизм, крайнюю жестокость, коррупцию, курение опиума и разврат. Сын дочери китайского императора и будущий муж дочери китайского императора ни в чем не хочет уступать китайским принцам. Поэтому жизнь простого монгольского кочевника так трудна. Он старается подальше держаться от знатных хозяев, которые могут отобрать дочь или жену, а то и убить в минуту внезапного гнева. Монгольский кочевник отдает им баранов и спешит затеряться в степи. Много баранов отдает он своему вану. Оставшегося стада часто не хватает, чтобы прокормиться в долгую холодную зиму. Но вану действительно нужно много баранов. Много лошадей, верблюдов, яков, цзамбы, овощей и, главное, много денег. Иначе не сможет он вести подобающую ему жизнь, не сможет — не дай бог! — послать ежегодный подарок в Пекин. Такой подарок, о котором никто не посмеет сказать, что он недостоин зятя китайского императора.

Вот и несет монгольский кочевник налоги своему вану и налоги на подарок в Пекин несет. И все чаще увозит с собой в стойбище деревянную бутылку с огненной арой, липкие, резко пахнущие шарики опиума, на которые ушли два десятка баранов и последний лан серебра. А порой он увозит еще и бесплатный подарок: занесенную из столицы Небесной империи дурную болезнь. Он передаст ее жене и неповинным ребятишкам своим, которых родит ему жена.

Будет судьбу и жестоких богов винить монгольский кочевник во всех несчастьях своих и горестях. Потому продаст последний припас, соберет последние крохи и, купив курительных свечек и хадаков разноцветных, пойдет с жертвой к ламам в ближайший монастырь, а то и в саму Лхасу соберется, на что уйдут все деньги кочевника и родни его.

Через год возвратится, если возвратится, назад в родные кочевья монгол-паломник. Может, кого и в живых не заста-

нет из близких. На то воля божья! Но привезет зато из священной Лхасы богов-заступников из дорогого колокольного металла, позолоченных и раскрашенных в уставные цвета. Щедро одарит святостью родных и соседей и вместе с хадаком в монастырскую божницу лхасскую статуэтку отнесет. Каждому даст приложиться лбом к шнурку с печатью, освященному — и выпадет же человеку счастье такое! — самим богом живым.

А там, как знать, может, и повернется судьба в благоприятную сторону, станет он смиренно ждать исцеления от болезней и приумножения стад. Если не выпадет ему благоприятной перемены, значит, так вышло в предшествующем рождении, что суждено ему ныне искупать прошлые грехи.

Конечно, трудно думать об ужасе перерождений и сладко верить в иную, легкую и свободную жизнь, которую принесет грядущий Будда-Майтрея, которую обещает Будда-Амитаба в своем раю, которая настанет когда-нибудь в прекрасной стране великого Ригден-Джапо, стране по имени Шамбала. Но ведь и теперь, сейчас, в этом воплощении на этой земле, поросшей сочной, хрустящей, в теплой душистой росе травой, хочется хоть немного пожить без болезни и горя. Потому все чаще смиренный монгольский кочевник свертывает свою юрту и отправляется куда-нибудь подальше, на другие земли и пастбища, где можно легче прожить именно эту теперешнюю жизнь. Находит ли он такие места? Кто знает. Но все больше людей покидают алашанский хошун.

Видно, притеснения вана преодолевают даже буддийский фатализм смиренного и кроткого кочевника. И то правда! Монголы, у которых паломники купили скот, рассказали, что недавно князь продал сто женщин. Поступок для относительно свободных и независимых кочевников неслыханный! Весть об этом вызвала настоящее смятение в стойбищах! Решились даже отправить жалобщиков в Пекин. Вана срочно затребовали для отчета. Но на вызов из имперской столицы он ответил по примеру шестого далай-ламы. Послал весть о своей внезапной смерти вместе с завещанием, в котором вся власть передавалась старшему сыну. И все продолжалось по-прежнему. Может быть, шестой далай-лама и вправду сумел провести тогдашнего богдыхана, но вану вряд ли удалась бы его проделка, не внеси он крупную взятку в инородческий приказ. Он отлично знал, что делал. Любой, даже самый безумный поступок его покроют пекинские чиновники за соответствующую мзду. А теперь берегитесь, жалобщики, дойдут и до вас руки!

Путь каравана пролегал уже через обитаемые районы, и паломники разбивали лагерь вблизи кочевий. Здесь всегда можно купить сухой навоз на растопку, пиво и верблюжье молоко.

Цыбиков не упускал случая поговорить с кочевниками. Расспрашивал их о быте, местных обычаях, памятных исторических эпизодах. Гостеприимство — святой закон для монгола. Без чая и цзамбы из юрты не выпустят. Благодаря этому прекрасному обычаю Цыбиков узнал много важных подробностей, которые могли пригодиться в дальнейшем и облегчить путь тем, которые пойдут вслед.

В одной юрте ему, между прочим, рассказали об оросе (так монголы зовут европейцев), который собирал здесь шкуры диких животных, камни, растения. Цыбиков сразу понял, что речь идет о Н. М. Пржевальском, но, конечно, не подал и виду. А в другой раз он встретился с остановившимся на ночлег бурятским ламой. Лама вез в Лабран списки новорожденных мальчиков. По этим спискам предстояло указать «перерожденца» ширетуя[1] цугольского дацана Забайкальской области Иванова. Цыбиков знал Иванова и искренне пожалел о его смерти. Этот ширетуй был человеком поистине безгрешной жизни и кроткой святой души. Все, что у него было, роздал он неимущим и жил, как самый настоящий аскет. Встреча с соотечественником да еще с ламой, явилась для Цыбикова первым настоящим экзаменом. Кажется, он его выдержал блестяще. Лама ни на секунду не заподозрил, что молодой бурят-буддист не тот, за кого себя выдает. Собеседник видел в Цыбикове такого же бурятского ламу, как и он сам, может быть, только немного более ученого. И лишь посетовал, что дела не позволяют отправиться в святое паломничество.

На том и расстались.

Первого января нового года караван достиг Тенгриэлису, что по-русски означает «Небесные пески». Этот участок самой настоящей пустыни считается священным, Тем, кто проходит пески пешком, прибавляется столько же блаженства, сколько дает его чтение 8 тысячи стихов «Праджняпарамиты». Для неграмотных паломников это совершенно исключительный шанс обрести святость. Но и ученый лама не пренебрегает случаем пополнить запас блаженства. Святость не деньги, карманов не оттянет. Поэтому все спешились и зашагали рядом с верблюдами. Серо-желтый песок тихо урчал под ногами. По обычаю каждый бросил в кусты саксаула и верблюжьей колючки по горстке чохов. У паломников было по нескольку связок этих китайских медяков с

[1] Ширетуй — настоятель.

квадратной дыркой посередине. Кусты у Небесных песков обычно полны чохов. Считается большим грехом взять тут хотя бы одну монетку. Только нищие монахи могут подбирать эти валяющиеся в песке чохи, чтобы немного облегчить себе часть бесконечного пути. Даже разбойники гологи не рискнут прикоснуться к жертвенным деньгам. Таков Тибет, где грозные невидимые боги стерегут перевалы и носятся над пустыней в причудливых, крутого замеса облаках.

Паломники приближались к границе земель алашанского вана и собственно Китая. Уже недалеко до Цагансонджа («Белая пирамида»), где они могли встретить летучие пограничные отряды. У колодца Чулан-онгоца (каменная колода) остановились напоить животных. А потом решили устроить здесь ночлег, так как уже стало смеркаться. Хозяин не любил, чтобы ночь заставала его в пути.

Застава Са-ян-чжин пользуется у паломников особенно дурной славой. Необузданный произвол китайских стражников пришлось испытать и в этот раз. Они назначают плату за переход границы в зависимости от погоды, настроения и других не поддающихся учету факторов. Стражники берут от 100 до 200 чохов с человека. Сегодня они определили 140. Но, боже мой, как они считали! Каждая третья монета исчезала в широких рукавах их халатов. Они вспарывали тюки, ожесточенно рылись в мешках с провизией. Видимо, искали водку.

А тут подоспел еще один караван, верблюдов в сорок. Цыбиков знал, что с ним едет тайный друг его Цэрен — ученый монгол.

Сразу же за военным постом лежала нищая деревенька Сунчан, населенная тангутами и китайцами. Она славилась тайными притонами курильщиков опиума. Власти давно собирались прикрыть эти ужасные курильни, но местные пограничники — основные клиенты опийных ночлежек — вовремя предупреждали хозяев о готовящейся облаве. Сейчас в деревне жили ламы разоренного мусульманами монастыря Даг-лун (Тигровая падь). По улицам слонялись толпы голодных нищих. Они окружили караван, протягивая худые, грязные руки.

— Не надо денег! — заплакал старый, болезненного вида китаец, когда Цыбиков достал связку чохов. — Дайте мне хоть что-нибудь поесть!

Разбив лагерь, паломники наварили для несчастных людей котел с похлебкой из цзамбы, заправленной бараньим жиром. Больше они ничего не могли для них сделать. Опасаясь, что голодные нищие растащут все припасы, хозяин велел собираться в дорогу. Выступили после полудня, не досчитавшись трех баранов...

— Жаль, не успели достать ружье! — с жаром сказал Цыбиков ехавшему рядом одноглазому монголу, указав на стадо чернохвостых антилоп-харасульт у застывшего ручья. Прекрасные животные копытами разбивали смерзшийся снег и слизывали с засоленной земли белые шарики соли.

— Разве бурятские ламы охотятся? — с нескрываемым удивлением спросил монгол, вперив в него карий, в желтых крапинках глаз.

— Конечно, нет, — сказал Цыбиков, мысленно проклиная себя за оплошность. — Но ведь среди нас далеко не все ламы. Разве не так? А двух-трех антилоп хватило бы, чтобы хоть немного откормить нищих в той страшной деревне.

— Все равно, — угрюмо сказал одноглазый, — ни один паломник не осквернит себя убийством антилопы.

Цыбиков промолчал, решив держаться подальше от этого человека и вести себя впредь осторожней.

Перейдя по льду реки Чжон-лун, а потом и Дайтун, караван стал медленно взбираться вверх по узкому ущелью к «Небесному перевалу» — Тенгри-даб.

На этот подъем потратили почти четыре дня. Только к 19 января караван вышел на широкое горное плато. Ветры сдули отсюда почти весь снег. Черно-коричневые пластинки окаменевших сланцев гулко постукивали под ногами верблюдов. Они прошли узкой тропой мимо замерзшего озера. Черная остановившаяся вода и каменистое дно тускло просвечивали сквозь удивительно чистый лед. У разрушенных непогодой скал можно было укрыться от ветра, и все решили немного передохнуть. Тем более что шел первый день китайского нового года, или «цагалгана» по-монгольски. В цагалган люди обмениваются добрыми пожеланиями и табакерками. «Отведайте новогоднего табаку», — говорят они друг другу, искренне веря, что это поможет дожить до следующего цагалгана.

Закончив таким обменом празднование нового года, навьючили верблюдов и отправились к Тенгри-дабу, до которого оставалось около трех верст узкой, круто уходящей вверх дороги. На самой вершине перевала стоит станция таможни и несколько постоялых дворов, за которыми тянутся тщательно обработанные под различные посевы поля. Вниз, прямо к реке Синин, вела хорошая дорога. Семь верст прошли за каких-нибудь два часа.

Вдоль другого берега Синина тянутся красные выветренные скалы. Потоки железных и марганцевых солей исполосовали их желтыми, бурыми, красно-фиолетовыми слоями. Но под низким багровым солнцем скалы кажутся залитыми

застывшей кровью. Параллельные друг другу горизонтальные трещины и причудливые сплетения голых древесных ветвей у подножий придают какую-то изощренную законченность этому странному, неземному пейзажу.

В плоской скальной нише приютился маленький монастырь Марсан-лха, что означает «Красное божество». Здесь хранится прах ламы Бал-дорчжэ (Палдора) убившего царя Ландарму — приверженца местных языческих культов и ярого гонителя буддизма. В честь этого события в монгольских монастырях тоже ежегодно устраивают красочные танцевальные мистерии.

Верстах в десяти выше монастыря, где отвесные скалы с обеих сторон сжимают реку, перекинут широкий деревянный мост. На противоположном конце моста — таможня, где осматривают идущие из Монголии караваны в поисках кирпичного чая. Китайцы свято блюдут свою чайную монополию.

При приближении каравана из таможни выскочил молоденький чиновник. Не обращая на паломников никакого внимания, он поднял шлагбаум и, пропустив караван, вернулся в дом. Он весьма своеобразно понимал свой долг. Спутники Цыбикова беспрепятственно провезли по 50 кирпичей чая, засунув их в мешки с цзамбой.

Переночевав вблизи гостеприимной таможни, паломники вышли на прямую дорогу, ведущую на знаменитый монастырь Гумбум, где им предстояло прожить до конца апреля. Тому было несколько причин. Во-первых, караванщики, люди большей частью торговые, надеялись распродать здесь свои товары и закупить новые, высоко ценимые в Тибете. Кроме того, животные да и сами люди нуждались в основательном отдыхе. Но самое главное препятствие заключалось в том, что высокогорные перевалы можно было взять лишь весной. Поэтому Цыбиков решил употребить все свободное время на знакомство со святынями Амдо — монастырями Гумбум и Лабран.

Монастырь, который тибетцы и монголы называют Гумбум, а китайцы Та-Сы (монастырь ступы), стоит над самым оврагом, дно которого поросло диким луком. Овраг этот так и зовут «Падь дикого лука», цзонха по-монгольски. Кстати, имя реформатора буддизма Цзонхавы тоже происходит от названия этого растения. По-русски Цзонхаву следовало бы называть Диколукским.

Господин Диколукский и был основателем монастыря Гумбум, точнее Гумбум-Чжамба-лин, что означает «Мир Майтреи с 100 тысячами ликов».

Цзонхава родился в 1876 году. Кровь от его пупка была пролита как раз над обрывом, где теперь возвышается па-

мятный субурган. Через три года, уверяет легенда, на священном месте выросло ароматное сандаловое дерево (чандан), на листьях которого явственно проступили изображения великих божеств Львиноголосого, Манджушри, Ямантаки, Махакалы и др.

Ведь вся религиозная жизнь Монголии и Тибета связана со всевозможными буддами, бодисаттвами и охранителями. Для того, кто не разбирается в пантеоне местных богов, Тибет останется тайной за семью печатями. Жизнь этого теократического государства так же тесно связана с религией, как это было когда-то в Египте, Вавилоне и в государстве народа майя. Может быть, даже влияние религии на жизнь тибетцев еще более велико, чем в доколумбовой Америке и Египте.

Ни один народ, ни одно государство не имели такой большой и могучей касты жрецов, какая существует в заоблачном Тибете. Притом между простым народом и духовенством нет резкой разграничительной черты. Ламой может стать всякий, кто возьмет на себя труд заучить сотню страниц священных текстов. Тем более что большая часть лам влачит столь же жалкое, полунищенское существование, как и рядовой тибетский крестьянин или ремесленник. Тибет в полном смысле этого слова государство служителей бога, точнее — на лотосах сидящих, ибо «ом-ма-ни-пад-мэ-хум» означает «сокровище на лотосе» богов. Поэтому нужно сказать несколько слов о местных богах.

Статуи и иконы буддийских божеств украшены узорными орнаментами или разноцветными нимбами с цветами, указывающими на особую святость. Троном им, как правило, служит цветок лотоса, говорящий о божественном происхождении, об особой сопричастности к Будде. Поза божества, или по-санскритски «асана», так же как и положение его рук («мудра»), строго определены каноном и имеют скрытый символический смысл. Знатоки мудры насчитывают сотни значений, скрытых в различных фигурах пальцев. Будда-Амитаюс чаще всего изображается держащим одну раскрытую ладонь над другой. Это означает бессмертие. Другие фигуры мудры символизируют милость, внимание, размышление и др. Есть мудра колесницы, мудра лотоса и много других мудр, имевших большое значение в культе брахманистских божеств, но в Тибете они утратили свой первоначальный смысл.

Часто тибетские боги держат в руках особые атрибуты власти, устрашения или милости: символ грома — ваджру, нищенскую чашу, или чашу-череп-габал, колесо закона, лук и стрелы, цветы. Боги-устрашители иногда сжимают в кулаке мерзких животных, не то скорпионов, не то каких-

то личинок. Лики богов, их волосы, руки, одежды раскрашиваются в уставные цвета, имеющие магическое значение.

Главные божества ламаитов — будды. Время от времени спускаются они на Землю проповедовать учение и спасать людей от мук низших перерождений. Чаще всего изображают наиболее чтимых земных будд, которые когда-то жили на Земле в образе людей. Первый из таких будд отличался гигантским ростом.

Но постепенно снисходившие до земной жизни будды делались все меньше, и последний из них — Будда-Сакья-Муни, ничем не отличался от обычных людей. Различные секты дают различное число существовавших до Сакья-Муни земных будд: 4, 7 и даже 24. Наиболее канонизировано число 4. Таким образом, Гаутаме предшествовали Амитаба, Вайрочана и еще по меньшей мере два будды. Пяти этим земным буддам соответствуют пять будд созерцания, которые всегда живут на небесах. Каждого будду характеризуют уставные поза, мудра и раскраска.

Будда-Сакья-Муни чаще всего изображается сидящим на алмазном престоле и достигшим высшего просветления. Тело этого Алмазопрестольного Будды покрывают позолотой либо, на худой конец, желтой краской. Красная тога оставляет непокрытым правое плечо. У ног божества лежит жезл громовержца — ваджра.

В медицинских дацанах можно увидеть изображения Будды-Бхайжаджамура — «Владыки врачевания», учителя и покровителя лам-лекарей. Тога этого божества красится в синий цвет. В левой руке Будда врачевания держит чашу. Большим почитанием окружены в Тибете и непосредственные участники спасения всех буддистов — бодисатвы, или будущие будды.

Наследником Сакья-Муни — последнего земного будды — считается Майтрея. Этот грядущий будда, с именем которого простые люди Тибета связывают надежды на лучшую жизнь, должен, как и будды первых воплощений, явиться в мир великаном. Его изображают с маленькой ступой на голове и в золотистых одеждах. Перед тем как сойти с неба на землю, Сакья-Муни возложил свою диадему бодисатвы на голову Майтреи. Когда придет черед Майтреи появиться на Земле, раскроется священная гора Кукупада, чтобы новый будда смог взять спрятанные там монашеские одежды и чашу Сакья-Муни. «Не раскрылась ли гора Кукупада?» — спрашивают друг друга простые люди, ощутив толчок землетрясения или большой горной лавины. Но Майтрея-победитель все еще пребывает на небесах. Все бодисатвы изображаются в виде индийских

принцев с пышными диадемами и драгоценными браслетами на руках и ногах. На них надеты богатые одеяния. С плеч свешиваются развевающиеся шарфы или шкуры антилоп.

Наиболее чтимым в Тибете бодисатвой является Авалокитешвара, «перерожденцами» которого считаются далай-ламы. Авалокитешвара, он же Арьяболо Львиноголосый и пр. — духовный сын «Владыки Западного рая» Амитабы, одного из пяти будд созерцания. Авалокитешвара сходит со священного лотоса на Землю, чтобы уничтожить страдание. Он отказывается превратиться в будду до тех пор, пока все люди Земли не встанут на путь высшего познания, избавляющий от страданий, рассеивающий власть иллюзии — Майи. Священные книги говорят, что великий бодисатва, «обладая могущественным знанием, замечает создания, осажденные многими сотнями бед и огорченные многими печалями. Поэтому он является спасителем мира, людей и богов». Недаром на ступнях и ладонях его открытые к страданиям мира глаза.

Вот куда завел широкий путь большой колесницы махаяны. Скромный бодисатва становится спасителем богов. Распространяется ли это и на Сакья-Муни, возвестившего когда-то в Оленьем парке о пути спасения от страданий?

Авалокитешвару часто изображают с одиннадцатью головами. Это напоминает о том, что спаситель мира так горько рыдал от жалости к людям, потрясенный их жестокими страданиями, что голова его раскололась на десять частей. Амитаба собрал осколки и сделал из них новые головы, прибавив к ним изображение своей собственной.

Так и рисуют теперь Авалокитешвару. Головы его суживаются кверху, как многоэтажная остроконечная пагода. Три трехликих этажа увенчивает голова страшного вида, на которой вырастает голова Амитабы с остроконечным пучком волос. Каждый лик раскрашивается в особый цвет. Основная голова Авалокитешвары белая, лик справа от нее зеленый, слева — красный. Следующие два этажа содержат иные комбинации тех же цветов, устрашитель выкрашен в черный цвет, Амитаба — в красный. Каждая из десяти голов (кроме Амитабы) увенчана золотой диадемой, усыпанной самоцветами. У такого одиннадцатиголового Авалокитешвары восемь рук.

В ламаитских монастырях хранится множество изображений и других бодисатв (Манджушри, Ваджрапани, Падмапани и пр.). Отдельную группу составляют женские божества — Милосердная Тара, она же Долма, богиня любви и богатства Курукулла.

Тара родилась из одной только слезы Авалокитешвары, когда тот рыдал над ужасами мира. Из сострадания к людям Тара сама ведет их через мучительную цепь перерождений. Зато и зовут ее Тара Милосердная. Вместе с Авалокитешварой она защищает бедный человеческий род и всегда откликается на молитвы несчастных. Она часто спускается с небес на гору Потала, откуда внимательно следит за каждой слезой, оброненной страдающими людьми. В священных гимнах сказано, что богиня может быть красной, как солнце, синей, как сапфир, белой, как пена в океане, и сверкающей, как золото. Зеленая Тара пользуется особой любовью. Считается, что она пришла на Землю в образе непальской принцессы, ставшей женой царя Сронцзан-гамбо, основавшего в Тибете буддизм.

Тара изображается сидящей на лотосе с маленьким цветком лотоса в руке. Одна нога ее спущена с трона и опирается на такой же цветок лотоса.

Любопытно, что монголы считают русских царей воплощением Белой Тары. Дело в том, что впервые ламаиты познакомились с русскими во время царствования Екатерины II, и долго еще продолжали считать, что Россией правит красивая женщина в короне (они видели изображение государыни на монетах), очень похожая на Белую Тару.

Кроме будд и бодисатв, пантеон ламаитов состоит из сотен других, часто очень причудливых, божеств. Многорукие и многоголовые, похожие на ужасных колючих чудовищ, зачастую они выглядят весьма устрашающе. Но к буддистам эти страшные боги весьма милостивы. Ведь чем больше рук у бога, тем больше он сможет принести добра. Это древнее языческое верование усвоили многие религии. Следы его легко найти и в православии («Троеручица»).

Со страшными лицами рисуют божеств — охранителей закона (кала), хранителей веры — докшитов и царей — хранителей стран света. Эти устрашающие демоны изображены в доспехах, с грозным оружием в руках. Они скачут на разъяренных львах, огнедышащих конях или разгневанных буйволах, подминая под себя поверженные тела врагов. Зачастую их тоже изображают с оскаленной буйволиной головой. Демоны-охранители предстают порой совершенно обнаженными, украшенными колесами судьбы на вздутом животе и запястьях, с черепами на лбу и волочащейся по земле перевязи.

Каждый буддист в Монголии и Тибете выбирает себе личного покровителя — юдама. Порой такой юдам берется на всю жизнь, порой только на время, для выполнения той или иной цели. Он призван помогать в делах и семейной

жизни, охранять путников на полной опасностей горной тропе. Как правило, юдам изображается все в том же устрашающем облике.

Для того чтобы умилостивить страшного защитника, совершают сложные, большей частью тайные обряды.

Считается, что особенное могущество бог-покровитель обретает в момент соединения со своей шакти. Поэтому часто можно видеть изображения сплетенных в самых откровенных позах богов, многоликих и многоруких, оскаливших страшные рты. Таковы и трехликий Дэмчок со своей шакти, якоглавый Ямантака в короне и ожерельях из человеческих черепов. Развевающиеся волосы и высунутые острые языки таких устрашителей раскрашивают красным цветом. На иконах они представлены на фоне языков пламени или кладбища, где дикие звери разрывают могилы и рвут мертвецов. И немудрено. Ведь божества эти призваны прогонять орды демонов, несущих болезни и смерть.

Примерно та же задача возлагается и на докшитов с той лишь разницей, что они должны охранять не отдельного буддиста, а весь священный закон. Поэтому и они предстают в тех же устрашающих позах, с теми же ужасными атрибутами, к которым добавляются еще змеи, свисающие с шей, оплетающие могучие ноги страшных богов. Такова, например, «Веприца-молния» — Ваджраварахи. Это отвратительная краснокожая женщина, которую часто изображают с синей свиной мордой. На шее богини традиционное ожерелье из черепов, в руках жезл в виде детского скелета, унизанного все теми же черепами, наполненная кровью чаша из черепной коробки грешника и острый жертвенный нож. Как и положено, «Веприца-молния» пляшет на трупе поверженного демона.

Тибетские божества часто изображаются с третьим глазом на лбу. Это «урна» — третий глаз Будды, знак особой мудрости и могущества. О нем мне предстоит еще рассказать. Иногда этот глаз изображают как бы в зачаточном состоянии — красная точка наподобие индийского кастового мазка или драгоценный камень у наиболее чтимых статуй; порой это вполне сформировавшийся глаз, расположенный либо параллельно линии бровей, либо вдоль линии носа. Многие видели у лам и маски в виде черепов с тремя пустыми глазницами.

В истории буддизма важную роль играли учителя-проповедники, которые часто основывали многочисленные секты. По сути сам Гаутама, сам Будда-Сакья-Муни, был первым из проповедников. Буддисты почитают своих учителей за святую жизнь, глубокую мудрость и за то, что

те несли свет учения другим народам. Поэтому изображения великих лам-учителей, далай-лам и святых «перерожденцев» почитаются наравне с богами. Высоким культом окружены и многочисленные субурганы с мощами и прахом святых, а также магические мандалы. Мандала — это и лотос и круг, в который вписан квадрат с отходящими от него фигурами в виде буквы Т и маленьким кругом посередине. Мандала — это символическое изображение мира. В центре ее — изображение божества, которому она посвящена, или горы Сумеру, где живут хранители стран света.

При богослужении лама сжигает перед мандалой благовония, приносит дары и непрерывно читает мантры, выкликая время от времени нужное ему божество. Часто он впадает при этом в экстаз, начинает шаманить, изменившимся голосом выкрикивает пророчества. Считается, что в эти минуты на него находит божественное откровение, а выкликаемое божество вселяется в ламу.

Мандалы и субурганы, как и статуи божеств, создаются по самым строгим канонам. Размеры и раскраска, божественные атрибуты, позы, число голов и рук, даже выражение лиц — все это раз навсегда определено и не подлежит изменениям. Лишь изображения учителей, паломников и монахов канонизированы не столь строго, хотя в том же Гумбуне Цзонхаву чтили наравне с Авалокитешварой.

Когда реформатор Цзонхава пребывал в Центральном Тибете, престарелая мать его, скучая по сыну, послала письмо, в котором просила хоть ненадолго приехать в родные края. Цзонхава ответил ей, что пусть она поставит над священным деревом субурган со ста тысячами изображений Львиноголосого (отсюда и название Гумбум) — это и будет равносильно их свиданию.

И мать Цзонхавы построила этот знаменитый субурган, от которого, как уверяют священные книги, «была большая польза для всех живущих существ».

В 1560 году вблизи субургана построил свою келью святой отшельник, а еще через двенадцать лет, в год огненной коровы, здесь возвели храм со статуей двенадцатилетнего Майтреи (по-тибетски Чжамба-гонбо).

В 1583 году третий далай-лама — Соднам-чжяцо — основал и сам монастырь.

Вокруг священного субургана стоит ныне храмовая постройка из серого гранита, увенчанная двойной золоченой крышей. В нише субургана покоится золотое изображение Цзонхавы, под которым на мраморной ступеньке установлены маленькие субурганы с прахом лам и постоянно горящие светильники.

Паломники растягиваются здесь на земле всем телом. Это благочестивое поклонение «врастяжку», когда человек превращается в гусеницу-землемера. Считается, что оно особенно угодно богам. Последовав примеру остальных, Цыбиков тоже распростерся в пыли, после чего получил право зажечь еще один светильник. У самого входа в этот храм стоит высокое сандаловое дерево. Говорят, у него один корень с тем священным деревом, которое находится теперь внутри субургана.

Совершив поклонение субургану Цзонхавы, паломники направляются в храм Майтреи, крытый такой же двойной шатровой крышей из золоченой черепицы, после чего, опять-таки совершив поклонение «врастяжку», идут почтить страшных охранители Чжигжэда, Чагдора, богиню Лхамо на лошади, нагруженной трупами, Махакалу, Кшэтрапалу и Дэмчока.

Цыбиков видел желтые тибетские буквы на коре сандаловых деревьев. Говорят, они обновляются каждую весну. Но листья выглядели совершенно обыкновенно. Ни на одном из них он не увидел даже намека на силуэт устрашителя. Может быть, со времен Цзонхавы дерево утратило часть своей волшебной силы, возможно же, что ламы разучились уже творить чудеса. Но это ничему не мешает. Если легенда говорит, что изображения на листьях выступали, то отнюдь не важно, случается ли это теперь или нет. От семян священного дерева, занесенных на дно оврага, уже выросла целая роща. Листья с этих растущих среди дикого лука деревьев тщательно собирают и высушивают. Ламы продают их многочисленным паломникам. Листьям приписываются чудодейственные свойства. Особенно незаменимыми они считаются при трудных родах. Монголы-паломники вывозят их целыми тюками. Чтобы хватило на все стойбище и было чем поделиться со спутниками по весенним кочевьям.

В монастыре Гумбум четыре дацана: богословский, медицинский и два мистических: дийнхор и чжюд. Когда-то здешним ученым ламам покровительствовал один из хранителей учения — царь Бэхар. Ему даже посвящен маленький храм на дне оврага. Над входом в храм надпись: «Величественная добродетель блестяще правит». Изображение Бэхара — скачущего на льве устрашителя с туго натянутым луком — все еще хранится в этом храме. Но божественный дух навсегда отлетел отсюда. Рассказывают, что, когда в монастырь ворвались разъяренные мусульманские фанатики, лама-прорицатель, схватив статую царя-хранителя, бесстрашно бросился в толпу врагов. И был убит. С той поры Бэхар разгневался на монахов, которые, оказав активное

сопротивление фанатичным убийцам, нарушили созерцательные заветы буддизма.

Но даже покинутый божеством храм все равно остается священным. И в этом отличие ламаизма от всех мировых религий. Здесь чтят проявление божественной воли независимо от того, что оно несет людям. Нарушивший обеты лама-прорицатель считается святым, несмотря на то что вызвал божественное неудовольствие. Одним этим он стал как бы сопричастен к царю-хранителю. А за нарушение обета он расплатился жизнью. Только и всего.

У самого обрыва стоит здание мистического факультета чжюд, основанного в 1649 году по образцу лхасского дацана. Здесь хранится много чудес, о которых почтительно шепчутся друг с другом паломники. Весь Тибет знает об отделанном в золото габале, изготовленном из черепа матери Цзонхавы. На нем якобы само по себе появляется священное слово «хум». В габале хранятся рисовые зерна, которые «сами собой множатся». Эти необыкновенные зерна исцеляют болезни и приносят богатые урожаи.

Цыбиков попросил показать ему священную реликвию. Но факультетский лама дал лишь одно-единственное зернышко.

Простое рисовое зернышко, точно такое, как продают богомольцам по десять чохов за штуку. Вообще этот факультет славится своей строгой дисциплиной. Может быть, именно поэтому в нем обучается лишь двенадцать (из 2000!) монахов Гумбума.

Все местное духовенство возглавляет хамбо-учитель, которого официально именуют «первопрестольным».

Его избирают из «перерожденцев» прежних хамбо, но всего на три года, а не пожизненно. Выбранный «перерожденец» живет в отдельном дворце, выкрашенном в ослепительно красный цвет.

Внешними атрибутами должности «первопрестольного» служат желтый зонт и такая же, как у Цзонхавы, желтая остроконечная шапка с длинными наушниками, которую тибетцы называют банша-нэрин. Когда этот лама появляется на улице, то его сопровождает целая процессия: ламы несут зажженные курительные свечи, музыканты непрерывно дуют в медные трубы.

Хамбо — первое лицо в Гумбуме. Он распоряжается всей жизнью монахов, присуждает ученые степени, выступает с проповедями. Мирские дела вершит цокчэн-габкой, — или «правитель добродетели». Обычно он носит перед хамбо курительные свечи. «Правитель добродетели» следит за дисциплиной и разрешает все судебные дела, возникающие вне монастыря. За небольшие проступки он пря-

мо на месте наказывает своим распорядительским жезлом, для более серьезных случаев у него припасены длинные плети. Власть «правителя добродетели» весьма велика, и во избежание злоупотребления этой властью он назначается только на один год.

Административное же управление полностью находится в ведении трех чиновников, называемых китайским словом «лао-е» со степенями: «да» — старший, «эррл» — второй, «сан» — третий. Как это иногда бывает, высшая степень дает большой почет, но не дает власти. Всем вершит эррл-лао-е, или второй чиновник. Он заведует общемонастырским имуществом, земельными угодьями и крестьянами, которые живут на них. Он непосредственно сносится с сининским амбанем и несет ответ перед ним одним. Понятно поэтому, что чиновника степени эррл всегда назначают китайские власти.

Нет слов, самоуправление в монастырях очень велико, но китайцы знают буквально о каждом шаге местной власти и в любой момент могут взять все бразды правления в свои руки.

Цыбиков бродил по узким и кривым улочкам монастыря, стараясь понять, почему столько здоровых и сильных мужчин добровольно отрекаются от активной жизни. Во имя некой высшей истины? Во многих странах есть монастыри. Но нигде монахи не составляют столь значительного процента населения. В этой стране нет ни школ, ни музеев, ни больниц, ни театров. Все сосредоточено в монастырях. Обучение грамоте, исследование природы, хранение знаний, ведение исторических хроник, врачевание и красочные ритуальные танцы. Словно целый народ добровольно отрекся от реальной жизни ради невероятной цели, смутно мерцающей впереди. Но разве не то же было в Египте, где служение мертвым заставляло забывать о нуждах живых? Да и можно ли говорить о каком-то добровольном решении народа? Нет, простой люд, хотя и чтит богов, принося им непосильные жертвы, мало расположен сменить простор степей на монастырскую келью. Если бы не полная изоляция от внешнего мира и не изощренная политика китайских властителей, законсервированный порядок здешней жизни рассыпался бы, как извлеченная на свет мумия. Он и так подорван изнутри. Разбой по дорогам страны, где даже сам далай-лама не чувствует себя в безопасности, народные волнения, чудовищная коррупция и жестокость китайской администрации — все это вместе подтачивало основы векового миропорядка. Если чуть-чуть облегчить жизнь монгольского скотовода, заставить его поверить, что лекарства вернее

спасут от болезней, чем священные глупости, если научить его детей грамоте не в горных монастырях, а на родном стойбище, то он сумеет стряхнуть сонное оцепенение. Степной житель не стремится к нирване. Он даже не понимает, что это такое. Изощренная метафизика буддизма чужда и непонятна ему. В душе он все такой же язычник, приносящий жертвы стихиям земли. В святом архате он все еще видит шамана с бубном. Недаром религия ламаитов поражает своей варварской пышностью и причудливой фантастичностью, столь чуждыми созерцательному буддизму. Именно такую форму религии и поддерживает пекинский двор. Поверхностному наблюдателю кажется, что в вопросах веры далай-лама является полным властелином в своем государстве. Возможно даже, что так кажется и самому далай-ламе. Но и буддизм в Тибете испытывает влияние Небесной империи. Китайские богдыханы неоднократно посылали в подарок лхасскому двору священные буддийские книги, в том числе свод канонов «Трипитаку».

Главным божеством в китайском буддизме считается «владыка Запада» Амитаба, который царствует в «Стране совершенного блаженства». Верующие в Амитабу попадают в Западный рай Суккавати, где перерождаются для высшего бытия. На иконах китайской школы часто можно видеть различные вариации одной и той же сценки: «Будда Амитаба встречает душу умершего праведника».

Обыкновенно Амитаба изображается стоящим на лотосе. Крутыми спиралями идут от него лучи благости. Будду сопровождают бодисатвы с цветами лотоса в руках. На один из цветков всходит крохотный ребенок, символизирующий безгрешную душу. В раю этот несущий праведную душу лотос распустится, а праведник обретет блаженство.

Иногда на иконах рая Суккавати будду и бодисатв сопровождают музыканты и прекрасные танцовщицы. Вообще рай часто условно изображается в виде чудесных, летающих в небе музыкальных инструментов, которые «некасаемые сами звучат». В прекрасных синих озерах, поросших огромными розоватыми лотосами, покоятся праведные души. Над зеркальной водой пролетают пестрые птицы. Вот как говорят о рае сутры:

«В стране совершенного блаженства есть семь драгоценных прудов, наполненных водой восьми заслуг... В пруду лотосы с большое колесо, благоухающие тонким ароматом. В стране совершенного блаженства, в чистой земле Будды есть всевозможные красивые птицы разных цветов — домашние и дикие гуси, цапли, аисты, журавли, павлины, попугаи, калавинки, двухголовые птицы минмин

и другие. Во все часы дня и ночи они общим хором стройно поют».

Как это удивительно по-китайски! Дело не только в том, что китайские чиновники хотят дать задавленному нуждой тибетскому ремесленнику и монгольскому арату надежду на лучшую жизнь. Это и так одна из основных, пусть не всегда осознанных, целей ламаизма.

Постепенное проникновение культа Амитабы в Тибет проливает свет на конечные цели пекинского правительства. Цели эти вполне конкретны и ясны. Далай-лама и другие иерархи, безусловно, понимают, что Китай стремится к полному присоединению Тибета. Для этого используются все средства: искусственная изоляция страны от внешнего мира, дублирование всех ключевых постов китайскими чиновниками, военное и политическое давление. Но, только хорошо зная тонкости буддийского культа в Китае и Тибете, можно понять, что ту же цель преследует и постепенное внедрение культа Амитабы. На первый взгляд, ничто не может вызвать здесь тревоги у Лхасы. Амитаба хотя и не главное, но все же исключительно почитаемое здесь божество. Он является духовным отцом Авалокитешвары-бодисатвы, «перерожденцами» которого считаются далай-ламы. Поэтому даже если главное божество китайцев и расширит свое влияние, из этого еще не вытекает, что Китай сделается центром религиозной догматики. Далай-лама все равно останется духовным владыкой ламаитов, будь то тибетцы, непальцы или китайцы. Операция задумана куда более тонко. Дело в том, что культ Авалокитешвары (по-китайски Гуань-инь) и в китайском буддизме занимает очень важное место. Более того, на китайской почве Гуань-инь превращается в женское божество и становится богиней милосердия. Многочисленные иконы, которые китайцы жертвуют в тибетские монастыри, позволяют проследить все этапы такого превращения. И в нем вся суть тайной религиозной диверсии. Превратив Авалокитешвару, душа которого воплощается в тибетских первосвященников, в женское божество, пекинские политики надеются подорвать сами основы власти далай-ламы!

Но понимают ли это в Лхасе?

И не в этом ли заключается самая сокровенная тайна китайцев, которые так ревниво оберегают Тибет?

Цыбиков записывал священные легенды, просматривал древние летописи, а Цэрен тайно фотографировал монастыри, предметы культа и быта. Весь этот чрезвычайно интересный этнографический материал, безусловно, окупал все трудности тайной поездки. Но постепенно, как бы

помимо всего, ему становились понятны истинные тайны этой страны. Они касались не столько религии, сколько политики, и охранялись куда строже, чем самые священные реликвии.

Гумбум поразил Цыбикова своей запущенностью и нечистоплотностью. Нечистоты выбрасывались здесь прямо на улицу. Гигиену поддерживали только стаи бродячих собак и крестьяне с огромными плетеными корзинами за спиной. В эти корзины они подбирали всевозможные отбросы, чтобы хоть как-нибудь удобрить год от года тощающую землю. Бережно собирается здесь и навоз, который высушивается и идет на топливо. Этот навоз усердно подбирают и сами ламы, чтобы топить печи под нарами и на кухне. Только очень зажиточные люди могут позволить себе топить мелким кустарником, который стоит дорого.

Гумбум расположен на стыке караванных путей между Монголией и Тибетом. Это центр всей местной торговли и опорный пункт ламаизма в Монголии. Все это наложило своеобразный отпечаток на жизнь монастыря и китайской слободы.

Именно отсюда ввозятся в Тибет китайские иконы и статуэтки. Благодаря особому положению Гумбума его посетили в разное время третий, четвертый, пятый и седьмой далай-ламы, что сильно возвысило этот монастырь над другими. Скамейки, на которых сидели владыки Лхасы, ниточки из их священных одеяний — все привлекает толпы паломников. Одни только цайдамские монголы ежегодно присылают сюда целое посольство, которое пригоняет лошадей, верблюдов, сотни голов крупного и мелкого скота.

Монахи живут в святом Гумбуме припеваючи. Может быть, поэтому монастырь и не отличается особой строгостью не только в нравственных, но и в религиозных вопросах. Многие монахи не умеют здесь даже читать. Вещь, конечно, неслыханная! Женщин свободно допускают в обитель и разрешают остаться на всю ночь. В кельях часто устраивают выпивки, не стесняются даже осквернять священные стены табачным дымом.

Получается, что чем больше святынь в монастыре, тем больше он собирает паломников, а следовательно, и приношений, и тем в большем небрежении оказывается нравственная и религиозная дисциплина. Лишь факультет чжюд еще как-то противостоит лени, невежеству и пороку, обуявшим Гумбум. Недаром там только двенадцать учеников. Одни они не побоялись строгой аскетической жизни, которую предписывает ламам устав Цзонхавы. Не устрашило их

и то, что лишь первоначальное обучение на факультете длится свыше восьми лет. Таковы контрасты этой непостижимой страны.

За месяц Цыбиков хорошо изучил Гумбум и решил посетить другой знаменитый монастырь, Лабран, — один из немногих, которые могут присуждать высшие ученые степени. Он нанял проводников — китайских татар-саларов.

Эти подрядчики-монополисты установили твердую таксу за проезд до Лабрана: 3 лана 5 цинов серебра за каждые 150 китайских фунтов[1] веса. Причем учитывается не только вес вьюков, но и человека. Так что ему пришлось заплатить еще за 120 фунтов.

Салары ходят между Гумбумом и Лабраном партиями в 5-6 человек с 10-12 мулами. Получив половинную плату вперед, они сажают путешественников верхом, а сами отправляются пешком. Ежедневно они проходят определенное расстояние и устраиваются на ночлег в одних и тех же постоялых дворах.

Наняв таких саларов, Цыбиков выехал из Гумбума 6 февраля.

В китайской деревне Дама его проводники взяли фитильные ружья на случай, если нападут тангуты-грабители. Магометанам разрешается носить оружие лишь на опасных участках пути. На следующем постоялом дворе они его оставили. Путь до Лабрана нетруден и занимает около недели.

Ехали по левому берегу реки по черной равнине, где в ямах и у валунов лежал снег. Видимо, здесь часто дуют сильные ветры.

У излуки дорога свернула к скалам. Здесь в Хуанхэ вливался горный поток. Незамерзающая вода яростно прыгала по камням, наращивая широкий галечный берег. Еще издали Цыбиков заметил человека, сидящего у самой воды.

Он подумал, что это какой-нибудь магометанин, по обычаю пришедший к реке с ковриком и четками, чтобы совершить утренний намаз.

Когда же подъехали ближе, стало ясно, что человек этот абсолютно гол. Он сидел на покрытой ледяной коркой гальке, и у ног его бушевала пена. И человек этот был жив, ибо легкие струйки пара уходили в небо от его обнаженного тела.

— Кто это? — спросил Цыбиков салара, державшего уздечку его лошака.

---

[1] Около 88 килограммов.

— Респ, — коротко ответил проводник. — Они часто приходят сюда.

Он уже слышал о респах — адептах высшего посвящения, достигших огромной силы самовнушения. Говорят, они голыми проводят целую ночь на морозе, воображая, будто изнывают от жары, и не замерзают. Это самые настоящие аскеты, вроде индийских йогов. Респы живут в пещерах, едят только овощи и болтушку из цзамбы, приготовленной из высокогорного ячменя грима.

Цыбиков проехал мимо респа, но тот даже не пошевельнулся. Ослепительно сверкала ледяная корка на камнях, и грохотал пенистый поток.

— В этих скалах много пещер, где живут святые отшельники, — сказал салар, когда они уже порядком отъехали от грохочущей воды. — Их называют ри-тод. Тангуты всегда приносят им пищу. Оставляют у скал и уходят. Но те берут очень мало. Они не пьют даже молока яков, чтобы не отнимать его у сосунков.

Салары одеваются по-китайски, но носят свои особые остроконечные колпачки из синей шерсти, которые украшают золотыми нитками. Их женщины ходят в шароварах и прикрывают нижнюю половину лица. Между собой говорят по-тюркски, но хорошо знают китайский и тангутский языки. Цыбиковский проводник знал еще монгольский и тибетский, хотя и не очень хорошо. Цыбиков для практики изъяснялся с ним по-тибетски.

— А вы, салары, — спросил он, — разве не приносите еду отшельникам? Тут же вокруг много саларских деревень?

— Нет бога, кроме Аллаха, — сухо сказал он. — Аллах велик, и Мухаммед пророк его.

Это был все тот же мусульманский фанатизм, который вызвал здесь в 70-х годах такие волнения, пожары, убийства, избиение лам и разграбление монастырей. Та же мрачная, до поры затаившаяся нетерпимость.

Они проехали знаменитую Хатунгай-гол, что по-монгольски значит «Река царицы», где прекрасная царевна, полоненная в чужих землях Чингисханом, нанесла ненавистному повелителю коварный удар кинжалом, от которого тот вскорости и скончался. Теперь места эти считались мирными, хотя стояли тут тангутские и саларские поселения, столь яростно враждовавшие друг с другом в былые времена. Медленно умирает старая вражда.

На четвертый день пути поднялись на перевал. Суеверная и загадочная, полная седых тайн, лежала под ними эта скованная морозом земля. Словно сама мать-Азия, дремлющая в связанном оцепенении.

Каменные алтари, на которых неведомые народы приносили жертвы неведомым богам. Сбросившие листву священные деревья, расцветшие предвесенней пестротой сотен разноцветных лоскутков. Собранные в груды рога яков. Таинственная глубина пещер, где сумрачные стены еще хранят копоть давно отгоревших костров. Даже улыбки на лицах высеченных в скалах будд похожи здесь на сладкую языческую дрему. Это не отсвет познания, не мудрость отречения. Просто сладкий тысячелетний сон. О чем? Может быть, ни о чем...

Лабран, точнее Лабран-дашийнчил, означает «ламский дворец — круговорот благ». Прежде всего он поражает какой-то немыслимой чистотой. Ни гниющих зловонных куч, ни смрадных луж, ни бродячих собак — ничего из того, что казалось раньше непременной принадлежностью монастырей. Строгие глинобитные стены и такие же домики под соломенной кровлей, окнами во двор. Аскетические субурганы и мэньдоны, на которых уставными красками выведены магические знаки. Ничего лишнего, Все в образцовом порядке, Зато храмы и дворцы «перерожденцев» восхищают паломника так же, как в Гумбуме.

Самой большой святыней считается здесь храм, в котором стоит отлитый из позолоченной меди 80-футовый Майтрея. Именно таким великаном и должен явиться на Землю этот победоносный будда грядущего мирового периода. Конечно, на самом деле статуя много ниже. Здесь, как и в других посвященных Майтрее храмах, несоответствие размеров объясняют тем, что статуя изображает не зрелого Майтрею-победителя, а восьми- или двенадцатилетнего мальчика.

Рядом с храмом Майтреи стоят каменные храмы, посвященные Цзонхаве и Таре, и субурганы с прахом лам. Лабран славится по всему Тибету ученостью священных коллегией, образующих пять высших дацанов, и безупречной дисциплиной. Каждое утро монахи приходят здесь на общее собрание, где разбираются все поступки за прошлый день. Каждый обязан рассказать все, что он знает дурного о себе и своих товарищах. Совершивших прегрешение тут же наказывают розгами. Не проходит и дня, чтобы кого-нибудь не высекли. Интересно, что такие собрания — дело абсолютно добровольное. Но почти все монахи приходят на них. Это единственная возможность получить к утреннему чаю шарик масла из жирного якового молока. В отличие от Гумбума ламы живут здесь почти впроголодь и не обладают никаким личным имуществом, кроме чайника, глиняной чашки и крохотной печурки, топить которую устав предписывает только сухим овечьим навозом.

На север от монастыря лежит каменное ущелье, над которым постоянно кружится воронье, подымающее страшный крик, когда с неба камнем падает гриф или ягнятник. Здесь кладбище, куда, как на пир, слетаются хищные птицы, приходят собаки и шакалы.

Остановка пульса и прекращение дыхания еще не считаются здесь свидетельством полного прекращения жизни. Тибетцы считают, что дух (нам-шэ) остается в теле не меньше трех дней. Только у лиц, достигших высоких степеней святости, душа отлетает с последним вздохом, спеша присоединиться к обитателям рая. Но ведь всем известно, что случаи такой святости в нашем мире встречаются нечасто.

Поэтому великим грехом считается переносить, даже просто трогать тело сразу же после смерти. И три дня вокруг покойника горят курительные свечи, и сменяя друг друга родственники и друзья молятся о ниспослании усопшему счастья в будущей жизни.

Утром четвертого дня составляют гороскоп умершего и того, кому первому предстоит прикоснуться к нему. Только после этого начинается погребальный обряд. Первым делом обращаются к душе покойника, умоляя ее выйти через одно из отверстий в черепе. Это очень важная часть обряда. Ведь душа может заблудиться, выйти совсем через другие двери и обречь себя на вечное мучение.

Один за другим выходят родственники из комнаты. У трупа остается только лама. И пока он не объяснит всем, откуда вылетела душа, никто не смеет войти.

За исполнение столь ответственного обряда лама получает корову, яка, барана или же несколько ланов серебра — в зависимости от состояния покойного. Затем астролог отмечает даты рождения всех присутствующих. Если выясняется, что кто-нибудь родился под тем же созвездием и планетой, что и покойный, то этому человеку приходится уходить домой. Иначе дух покойного может убить его. Естественно, что «спасенный» родственник отдельно благодарит бдительного астролога, который и без того получает хороший подарок.

После всех церемоний тело плотно бинтуют холстом и укладывают на носилки лицом туда, куда укажет астролог. Вокруг головы зажигают пять масляных лампад, после чего загораживают носилки ширмами, за которыми ставят лампу и чашки с любимой едой покойного. Только на другой день, обычно рано утром, тело переносят на кладбище. Участники процессии совершают перед носилками почтительные поклоны. За гробом следуют два близких родственника, которые несут чай и блюдо с цзамбой, и лама, держащий в

левой руке конец привязанного к носилкам шарфа. Он выкрикивает на ходу похоронные мантры, вращая правой рукой молитвенный барабан. Время от времени он оставляет шарф и звонит в колокольчик. Поставить носилки на землю до прибытия на кладбище считается дурным знаком. Если же это почему-либо случается, то погребение совершается прямо тут же.

Впрочем, погребение не совсем уместный термин для описания ламаитских похоронных обрядов.

На каждом кладбище лежит большая каменная плита, на которую лицом вниз кладется обнаженное тело. Затем лама проводит на нем линии, вдоль которых и разрубает его длинным мечом, шепча при этом специальные мантры. Первый отрубленный кусок он бросает самому большому и старому грифу — завсегдатаю кладбища. Остальные куски достаются прочим птицам. Стаи ястребов и грифов (танькары) постоянно кружатся над кладбищем. Это совершенно ручные, если только позволительно так говорить в столь исключительном случае, птицы. Одна за другой подлетают они к мертвому телу, повинуясь зову ламы.

Когда на месте ужасного пиршества остаются одни лишь кости, приступают к заключительной части обряда. Дробят эти кости камнями и, смешав их с мозгом из разбитого черепа, бросают птицам.

Затем лама берет новый, не побывший в употреблении, глиняный сосуд и наполняет его сухим коровьим навозом, цзамбой и маслом. Он бросает в сосуд раскаленный уголек и ставит его так, чтобы жертвенный дым курился в ту сторону, куда предположительно отлетела душа покойного.

Погребение окончено. Все присутствующие моют руки и, отойдя немного от кладбища, усаживаются завтракать. В полдень они возвращаются домой. Сорок девять дней после этого на кладбище носят еду и питье в самых лучших сосудах и возжигают курения из цзамбы, масла и можжевеловой хвои.

По поверьям, в период бардо (так называют промежуток между смертью и возрождением) дух покойника блуждает возле дома. Чтобы не причинить ему вреда, на сорок девятый день принято взять одежду покойного и кошелек с деньгами и отнести тантрическому ламе. Этот лама особыми мантрами отгоняет демонов и голодных духов от дома.

Особые моления совершают также на седьмой день после смерти и повторяют их каждые семь дней периода бардо. В эти дни монахам раздают щедрое подаяние: золото, серебро, масло и чай. В особо святой сорок девятый день дается большой обед всем ламам общины.

Только тогда родственники могут быть уверены в благополучии души покойного.

Обычай разрубать умерших на куски и отдавать их на съедение хищным птицам проистекает из основного убеждения ламаитов, что милосердие — величайшая из добродетелей. Человек, на похороны которого слетается особенно много птиц, считается добродетельным. Если же птицы и даже собаки почему-то не дотрагиваются до останков, то это указывает на порочную жизнь умершего.

Тела прокаженных, а также беременных или бесплодных женщин считаются нечистыми. Их зашивают в кожаные мешки и бросают в воды великих рек.

Зато воплощенных лам сжигают на специальных кострах, после чего бережно собирают пепел в субурган. Останки же святых, являющихся, по поверью, воплощениями бодисатв и будд, сохраняют подобно египетским мумиям. Их тщательно бальзамируют и усаживают потом в субурган, придав телу созерцательную асану и мудру будды. Эти святые обычно сами указывают перед смертью, где, когда и в какой семье вновь воплотятся их души...

С первыми днями ослепительной монгольской весны паломники стали готовиться к дальнейшему пути.

Для пути в Тибет лучше брать мулов, чем лошадей. Они, во-первых, выносливее, а кроме того, их можно выгоднее продать в Лхасе. Цыбиков купил четырех лошадей и десять мулов, что обошлось ему почти в 500 ланов. Затем пришлось приготовить полный комплект верховых и вьючных седел, закупить для четырех погонщиков сушеного мяса, крупы, цзамбы и масла, а также дробленого гороху для животных. На все это пошло, включая плату погонщикам, еще 600 ланов. Он истратил почти половину своих денег, а путь в сущности только начинался. Если животные падут в дороге и он не сумеет продать их в Лхасе, на возвращение не хватит средств. Разве что придется пустить в ход неприкосновенный резерв — золотые пластинки, спрятанные в каблуках сапог.

Все богомольцы решили идти в Цайдам по южному берегу Кукунора. На этом пути легче достать корма для животных и меньше шансов встретить людей Рабтана. Этот тангутский лама самовольно взымает налог со всех монголов, едущих через его кочевья. В молодости он учился в Гумбуме, но оставил тихую монашескую жизнь ради разбойничьих подвигов в степи. Он воевал с соседями, нападал на караваны, совершал лихие набеги на чужие стада. Однажды он напал даже на караван, везший из Тибета в Монголию ургинского хутухту. Приближенные монгольского иерарха и даже ехавший с ним китайский амбань ничего

не могли поделать с отважным разбойником. Пришлось заплатить большой выкуп. Чтобы сохранить хорошую мину при плохой игре, хутухту назвал этот выкуп «подарком» и попросил Рабтана оказывать покровительство всем проходящим через его владения монголам. Тангутский атаман быстро понял, какую выгоду даст ему такое покровительство, и, воздав хутухту подобающие почести, любезно согласился. С тех пор он регулярно стал брать с каждого богомольца 2 цина серебром в качестве платы за хлопоты. Плохо приходилось тем, кто отказывался платить. Рабтан грабил тогда караван подчистую.

Теперь Рабтан сделался слепым и немощным стариком, но лучше было обойти его стороной. Поэтому, пройдя по дороге Гумбум—Донкор только шесть верст, караван свернул влево и, перевалив через хребет, вышел на речку Раку. Здесь был объявлен сбор всех паломников. Поджидая запаздывающих, провели у реки три дня. Молодая трава только-только пробилась из-под оттаявшей земли. Лошади меланхолично жевали сухую, прошлогоднюю. Мутные глинистые воды несли ветки, стебли отмерших камышей, мелкий степной сор. Но где-то внизу уже начинала цвести полынь. Горьковатый зеленый от пыльцы ветер бил в лицо порывистыми волнами. И лошади поворачивались ему навстречу, раздувая ноздри, и замирали, словно к чему-то прислушивались. Где-то уже началась настоящая весна.

Когда прибыли наконец последние паломники, старшины стали собирать оружие. На каменный жертвенник побросали фитильные ружья, винтовки-берданы, револьверы, сабли и пики. Предстояла церемония освящения. Зажгли благовонную смесь из цзамбы, масла и можжевельника и устроили шумный хоровод. Лама без перерыва читал сан — молитву о благополучном пути. После молитвы паломники разобрали оружие и, уже вооруженные, обошли дымящийся жертвенник, выкрикивая: «Лха-ржял-ло!» — что значит «Божество победило!», или, точнее, просто «ура».

Затем приступили к избранию начальника каравана. Это весьма ответственная должность. Начальник каравана ведет все переговоры с властями, от его авторитета во многом зависит размер многочисленных налогов и поборов. Вот почему на этот пост стараются выбрать людей богатых и бывалых, внушающих уважение.

Многие паломники ратовали за некоего Ешейтамба, побывавшего в Лхасе уже девять раз. К своему неудовольствию, Цыбиков узнал в этом Ешейтамбе того самого одноглазого, со следами оспы на лице паломника, с которым

так неосторожно заговорил об охоте на антилоп. Поэтому он подговорил знакомых алашанских монголов отдать голос за другого кандидата — казначея, «перерожденца» Чэшоя из Кумбума. Его и выбрали. Он сразу же занял место впереди каравана. Глава каравана ехал на хорошей лошади, зорко поглядывая из-под ладони на синие полосы горизонта. За спиной его болталось ружье, в левой руке была пика с флажком. Столь же воинственно выглядели и другие амдосцы. Зато почти безоружные монголы мирно покачивались в седлах и, казалось, готовы были покорно снести любые обиды.

Но пока судьба хранила паломников. За несколько дней они не встретили на дороге ни одного человека. Плоская желто-бурая равнина незаметно покрылась зеленой пылью нарождающейся травы.

Перевалив хребет Алтан-сорго, люди увидели синее переливчатое стекло Кукунора. На всех языках зовут это озеро синим: Кукунор — по-монгольски, Циньхай — по-китайски, Цо-Нонбо — по-тибетски. Густые индиговые струи муаровым узором расходятся по всей поверхности озера. Оно кажется синим и под бездонным народившимся небом весны, и в огне заката, и в желто-зеленом свете раннего утра. Меняются лишь оттенки и освещенность. Синева может казаться угрюмой и мутной, кристально чистой, ослепительно радостной, но всегда остается синевой.

Решили немного задержаться у озера, воды которого считаются целебными. Лагерь устроили под стенами старой крепости. Серая, высушенная веками глина растрескалась и осыпалась. Возведенные когда-то из глины стены медленно и неуклонно превращались в первозданный прах.

Эти развалины уже не принадлежали человеку, они сделались достоянием земли, таким же, как пещерные галереи или каменные леса в недоступных ущельях.

Запалили костры. Густой сладковатый дым полетел на закат, лиловея и тая в пути.

А ночью пошел сухой колючий снег. Температура резко упала. Животные забеспокоились. Трубный рев мулов далеко прокатился по ложбине. Цыбиков выглянул из палатки. Мертвая луна изливала на развалины колдовской пепельный свет. Льдисто блестело озеро. Даже ночью оно казалось синеватым.

Сильное майское солнце быстро растопило выпавший ночью снег. Дрожащие ручейки пара весело потянулись к небу. Не успели сварить сушеное мясо, как все вокруг вновь стало сухим и пыльным. Эта земля легко брала и столь же легко отдавала воду.

Цыбиков спустился к озеру. Оно выглядело по-весеннему мутным. Шелестела белая прошлогодняя осока Посреди озера темнел остров, на котором стоял небольшой монастырь. В нем живут всего лишь шестеро лам. Никто не мог сказать, что они изучают в тиши и какими святыми деяниями прославили свою уединенную обитель. Почти круглый год монастырь отрезан от мира. Только зимой, когда озеро замерзает, монахи отправляются в ближайшие деревни за провизией три или четыре раза за всю зиму. Денег у них нет, домашних животных и огорода тоже, и живут они подаянием. Совершенно бескорыстным подаянием, потому что они не лечат и не предсказывают будущее, не совершают тантрических церемоний, не участвуют в свадебных и похоронных обрядах. Молча принимают милостыню и, не благодаря, уходят по льду на мохнатый камень, угрюмо чернеющий посреди застывшего озера.

Ему очень хотелось бы посетить этот монастырь, но он понимал, что это совершенно невозможно. Паломники оставили на прибрежных камнях мешок цзамбы в надежде, что зимой его подберут монахи, и снялись с места.

16 мая начались соляные болота Цайдама. Непроходимый губительный край. Решили обойти болото стороной, по пескам. Сделав трудный переход около 35 верст, достигли реки Шара-гол. Измученные животные кинулись к воде. Решено было заночевать на берегу, прямо в зарослях сухая. Начальник каравана созвал совет. Предстояло выбрать дорогу, по которой идти. Главных дорог, ведущих из Южного Цайдама в Тибет, две: через перевал Бурхан-будай и через Найчжи.

Одноглазый настаивал, чтобы шли через Найчжи. Он говорил, что все девять раз ходил в Лхасу этой дорогой, поскольку она обильна травой. Но начальник, помня, очевидно, недавнее соперничество, не склонен был уступать сразу. Он долго морщился, вздыхал, но в конце концов согласился.

И, вправду, вскоре открылось зеленое поле, поросшее яркими весенними цветами. Белые разлохмаченные дорожки пересекали его из конца в конец. Они собирались в тугие жгуты и расходились потом в разные стороны. Но где-то далеко-далеко они соединялись вновь. Таково свойство монгольских дорог. Многие из них ведут в одно место. Надо только выбрать лучшую — кратчайшую, безопасную, богатую водой и пищей. Но как тут выбрать? Степной кочевник не ищет чужих дорог. Он странствует по зеленому полю, оставляя за собой примятый, быстро зарастающий след. У каждого здесь своя дорога. Только

паломники бредут к лхасским святыням одним и тем же, в незапамятные времена проторенным путем. Таков обычай. Может быть, он возник не случайно. Чтобы легче было выявлять лазутчиков.

Тревожно и сладко пахло весной. Над головой танцевали облака комаров. В ушах стояло их зудящее пение.

Караваны из Гумбума в Тибет обычно отдыхают здесь недели две, чтобы получше откормить животных перед трудной дорогой, перед Северным Тибетским плоскогорьем, где сквозь сланцевые плитки пробиваются колючки да жалкие кустики сорных трав.

За время стоянки каждый несколько раз съездил к летникам местных монголов, чтобы выбрать лошадь и купить с десяток баранов. Цыбиков тоже купил мерина-трехлетку и восемь баранов. Все стоило 25 ланов. Гораздо дешевле, чем в Гумбуме.

Но теперь караван не мог идти столь быстро, как раньше. Его сковывало баранье стадо, которое не поспевало за лошадьми и далеко растягивалось по дороге. Еще хуже приходилось на переправах. Бараны не хотели лезть в воду, и их нужно было тащить за рога. Они часто вырывались и убегали в степь. Приходилось снаряжать погоню и долго гоняться за упрямцами. Иногда животные останавливались на самой середине пенящегося потока, и никакой силой их не удавалось стронуть с места. Немудрено, что в первый же день не досчитались десяти голов. Зато потом кто-то углядел на высокой скале несколько чужих баранов, отбившихся от какого-то каравана. Трех изловили, а одного подстрелили.

Поэтому только на пятый день добрались до переправы Ного-тохой. Это место показалось раем: сочная молодая трава и никаких комаров. Этот и весь следующий день все отдыхали.

Впредь решено было делать короткие переходы, большую часть дня оставляя для отдыха. Неудивительно, что редко теперь удавалось сделать за день больше 15 верст. И это по хорошей, безопасной дороге!

Трудности начались 15 июня, когда отвесные скальные берега с обеих сторон сжали реку Найчжи. По узкому карнизу, нависающему над самым потоком, можно было провести только мула или лошадь. Верблюд там уже не пройдет. А в караване было тридцать верблюдов, в том числе два цыбиковских.

Поневоле приходилось карабкаться на горный перевал, идти в обход. Но едва взобрались на этот перевал, как пришлось из-за крутого спуска развьючить животных и взвалить тюки на себя. Нет ничего труднее этого голово-

кружительного спуска по великанским каменным ступеням с грузом на голове. Они проделали этот путь дважды. Одолев перевал, сразу же стали готовиться к новым испытаниям. Всю ночь и весь следующий день жгли угли. В горах нечего было даже надеяться раздобыть топливо. Четырех вьюков древесного угля должно было хватить на десять стоянок.

27 июня начали подъем на перевал Найчжи. По оценкам Пржевальского, он лежит на высоте в 14 600 футов. Здесь уже ощущается влияние разреженного воздуха. Степные монголы тяжело переносят горную болезнь. Они называют ее «сур» — «сила земли». Считается, что она возникает от запаха травы, выросшей по заклятию нечистого духа. На протяжении всего пути жгли курения и читали молитвы. Паломники просили у горных богов дать им силы вынести сур.

Цыбиков стоял у огромного камня, на котором были высечены и обведены белой краской знаки Гэсэра: огромный меч и бараны с круто изогнутыми рогами. Цветные пятна лишайников забрызгали серые скалы.

Они достигли вершины перевала, где находилось маленькое озерцо дождевой воды. В нем отражались туманные снеговые вершины.

29 июня вышли к реке Чу-мар. Кровавый поток перерезал желто-серые пески. Вязкий красный, как киноварь, ил придавал реке зловещий вид. Мулы испуганно кричали и не хотели сдвинуться с места. Погонщики пинками загнали их в воду. Животные вязли в иле. Ложились на бок. Обтекающие их кровавые потоки пенились. Люди выкрикивали проклятия и молитвы, исступленно хлестали кнутами по мокрым лошадиным спинам. Казалось, что все вдруг сошли с ума. Двух мулов унесло потоком вместе с поклажей.

Пройдя десять верст, остановились лагерем у подошвы Куку-шилэ. В этот день некоторые амдоские ламы ходили на охоту. Они принесли трех антилоп оронго. Всех паломников пригласили на угощение.

— Почему вы убиваете животных? — спросил Цыбиков одного из лам, с которым ему уже приходилось беседовать и раньше. — Разве у лам Амдо свои особые законы?

— Закон для всех один, — строго ответил лама. — Все мы еще на родине отказались от духовных обетов. Лишь вернувшись назад, мы вновь примем их. Путь в Тибет труден. Редко кому удается соблюсти монашеские правила. Может случиться всякое... Порой приходится воевать с разбойниками, а в перестрелке немудрено и убить человека.

Поэтому мы, будучи теперь обыкновенными людьми, позволяем себе охотиться на антилоп.

В чем-то лама был, несомненно, прав. Дорога в Тибет трудна и жестока. Одолеть ее может лишь человек, свободный в своих действиях. Но Цыбикова поразила та удивительная легкость, с которой ламы отнеслись к охоте. Караван не испытывал пока недостатка в еде. Убийство оронго было вызвано не нуждой, а лишь желанием послать пулю в легкую добычу. И это желание, очевидно, возникло сразу же, как только ламы сложили с себя обет. Значит, ахимса была для них не глубоким нравственным убеждением, а всего лишь темным языческим табу, которое ничего не стоит снять.

Постепенно он начал понимать, что представляет собой буддизм в Тибете. Теперь он понял всю глубину своей ошибки. Заговорив тогда с одноглазым об охоте, он допустил промах, который можно было бы легко исправить, знай он про обычай слагать обет. Но он не знал об этом обычае. И его ответ одноглазому становился от этого ошибкой вдвойне. Оставалось надеяться, что тот ничего не понял и забыл про разговор. С тех пор им не пришлось поговорить вновь.

Они преодолели еще одну красную реку и, поднявшись по пади перевала Дун-буре, стали готовиться к длительной стоянке. Пошел снег. Холодный, пронизывающий ветер гасил пламя и сдувал жалкие уголья. Пришлось сложить из камней загородку. Только тогда костер разгорелся.

Цыбикова сильно лихорадило. Голова просто раскалывалась от боли. Он измерил себе температуру. Оказалось — 38,5°. Пришлось проглотить порядочную дозу хинина. Но только он собрался закутаться потеплее и заснуть, как к нему подошел одноглазый.

— Что это за стеклянная палочка, которую ты сначала спрятал под чубу, а потом вытащил и разглядывал на свет? — спросил он. — При этом ты еще качал головой от огорчения?

Он видел, как Цыбиков ставил себе термометр!

— Это священный амулет, который дал мне один великий лекарь, — ответил Цыбиков. — Он показывает, как сильно хворает человек.

— А мне можно посмотреть?

— Нет, — сказал Цыбиков, проклиная в душе шпиона, который всюду сует свою одноглазую рябую морду. — Амулет теряет силу от чужого глаза.

— Тогда ты повесь на него черную бусинку с белыми пупырышками, которая предохраняет от сглаза. Могу тебе дать такую.

— Это не поможет. Я не хочу испортить амулет.

— Еще я хотел спросить тебя про деревянный ящик, который ты устанавливал на трех палках в Лабране. Это тоже твой амулет? Такой же ящик есть еще у одного алашанского монгола.

Оказывается, он следил за ним и Цэреном еще в Лабране. Жаль, что они его там не видели. И вообще им казалось, что, фотографируя тамошние святыни, они были совершенно одни. Какая неосторожность! Отныне уже не удастся играть роль темного провинциального ламы... Что же делать? Конечно, и образованный человек может оставаться буддистом, хотя это и подозрительно. Но что сказать одноглазому?

— Почему ты молчишь?

— Не знаю, как ответить тебе, чтобы ты понял. У нас в Бурятии, а Бурятия входит в состав Российской империи, есть много чудес, которые принесли оросы. Это одно из таких чудес. Больше я ничего не могу сказать тебе.

— А это чудо не от злых демонов?

— Нет, оно от милосердных богов.

— Оно портит наши святыни.

— Нет. Оно лишь увеличивает их силу. Оно сделает так, что люди, которые не смогли пойти на поклонение, тоже приобщатся к святыням Тибета, — до сих пор Цыбиков говорил чистую правду.

— Почему же ты, залезая головой в ящик, накрывался черной материей?

— Разве у вас в Амдо не чтят одинаково лам различных сект? — он сделал вид, что очень удивлен. — Буряты в каждом ламе видят святого. Вот и это чудо, которое доверили мне в черношапочном монастыре, для меня свято. Поэтому я обращаюсь с ним по черношапочному уставу.

Одноглазый ничего не ответил и ушел. А лихорадка усилилась. Но он боялся спать, чтобы не проговориться случайно в бреду.

Тишина стояла такая, что слышно было, как на камни ложится игольчатый снег. Быстро темнело. Незаметно для себя он заснул. Утром встал совершенно здоровым. Сильное горное солнце растопило снег, а вода быстро впиталась в песок. Но на душе осталось щемящее чувство затаившейся опасности.

Караван спустился по небольшому распадку к реке, за которой тянулась холмистая песчаная равнина, поросшая твердыми стрелами горного лука — мангира. А рядом, в тени скал, медленно таял скопившийся за зиму лед. В синих студеных лужах падали в бесконечную глубину зубча-

тые твердыни Тибета. Когда лошадь вступала в такую лужу, страшно было даже глянуть вниз.

— Эта талая вода обладает большой целительной силой, — сказал Цыбикову знакомый лама-охотник. — Она помогает победить сур. — Он слез с лошади и, опустившись перед лужей на корточки, зачерпнул воду чашей своих рук. Караван остановился, и многие паломники последовали примеру ламы. Цыбиков тоже напился из лужи. Вода дышала запахом снежных вершин и гроз. Она казалась удивительно легкой. В груди стало свободно и холодно.

Река была глубокая, и погонщики стали искать брод. Целую версту прошли по берегу, часто останавливаясь и входя в воду. Наконец в самом широком месте, где поток разбивается на шесть отдельных русл, нашли хорошее дно. Лошади шли вплавь под грузом. Вьюки сильно подмокли. К тому же опять пошел снег. Пришлось разбить лагерь, хотя не было ни корма для животных, ни топлива.

От всего стада осталось не больше двадцати голов. И то за эту ледяную голодную ночь шесть баранов пали. Пришлось выступить на ранней заре с непросохшим грузом. Идти собирались до первой травы. Баранов решили заколоть на ближайшей стоянке. Думали лишь о том, чтобы сохранить лошадей. На Тибетском нагорье растет лишь жесткая, с твердым прямым стеблем трава бухачигирик — «сила яка». Только молодым животным удается прожевать ее. Старые быстро теряют зубы и погибают. Паломники убедились в этом довольно скоро. Те из них, кто поскупился в летниках на молодых лошадей, горько раскаялись. Им пришлось оставить большую часть груза. Хорошо еще, что над ними сжалились более удачливые товарищи. Цыбиков тоже отдал им одного верблюда.

15 июля сильно поредевший караван подходил к перевалу Дан-ла. Здесь впервые за все время пути от Найчжи встретили людей. Они выбежали из своих черных палаток — банаков и с любопытством уставились на потрепанный караван. Это были играи, принадлежавшие к разбойничьему племени гологов. Но паломники не опасались нападения. Стойбище насчитывало не более 50 банаков. Гологи же любят воевать лишь при сильном численном превосходстве.

Каменистый Дан-ла лежит на высоте в 16 700 футов (здесь тоже бывал Пржевальский). Но разреженный воздух тут особенно сильно дает о себе знать. Многие богомольцы так и не пережили Дан-ла. Недаром, завидя идущий над перевалом караван, слетаются грифы. Они редко остаются голодными. На каменных алтарях можно видеть пятна ко-

поти от сожженных здесь жертвоприношений отлетевшим душам.

Паломники приближаются к этому месту со страхом. Задолго до того, как начнется подъем, стараются умилостивить здешних духов. Никто не решается даже назвать перевал его настоящим именем. «Убаши хайрхан», — шепотом говорят богомольцы, одним лишь взглядом указывая вверх. «Убаши хайрхан» — «милостивый мирянин с духовным обетом».

Груда камней — обо, украшенная рогами яков, цветными лоскутками и хадаками, символизирует начало владений «милостивого мирянина». Все спешились здесь и зажгли курения. Каждый молился про себя.

Вдруг один из лам-охотников заметил приставшую к баранам чужую овцу. Он так обрадовался, что позабыл о грядущих опасностях и тут же хотел ее забить. Но какой-то благочестивый амдосец заплатил ему богатый выкуп в два лана. Привязав на шею овце цветные ленточки, он прогнал ее назад в горы. Теперь ей суждено было либо приспособиться к дикой жизни, либо околеть. Никакой буддист не решится убить животное, у которого привязан цэтар — охранение жизни.

Так ознаменовалось начало восхождения. Потом пошел дождь и загасил огни на каменном алтаре.

К вечеру дождь сменился мокрым липучим снегом. Он тяжело оседал на крыше палатки, и было слышно, как стекают талые ручейки. Эта ночь стала роковой для доброй половины измученных животных. Словно ища у людей защиты, бросались они на палатки и тут же околевали. Последний крик и стук упавшего тела, и каждый мысленно повторял: «Еще один». После этой ночи у Цыбикова остался один верблюд, четыре мула и три лошади. Стоя у входа в палатку, он смотрел, как его люди перераспределяют груз. Тут кто-то окликнул его. Он повернулся и увидел своего недруга.

Выгадывавший каждый чох, одноглазый потерял всех своих мулов. Теперь он пришел к Цыбикову.

— Вели своим людям взять мой груз, — сказал он, глядя на бурята мутным от злобы глазом.

— Сочувствую твоим несчастьям, — ответил Цыбиков, — и охотно возьму часть твоей поклажи, хотя это вынудит меня оставить кое-что из моих вещей. Но, как ты сам понимаешь, все взять я не смогу. Попроси еще кого-нибудь помочь тебе.

— Нет, ты возьмешь мой груз, хотя бы тебе пришлось для этого бросить все свои тюки.

— Тогда я не возьму ничего, — сказал Цыбиков и отвернулся.

— Хорошо же! — зашипел амдосец, подходя с другой стороны. — Только не жалей потом! Я пойду сейчас к начальнику каравана и скажу ему, что ты русский шпион. Мы сдадим тебя пограничникам в Донкоре. Они знают, как обходиться с такими, как ты!

— Убирайся! — закричал Цыбиков, тщетно пытаясь унять охватившую его ярость. — Я сам пойду сейчас к начальнику и...

Но что «и»? С чем он мог пойти к начальнику каравана? И все же другого выхода не было. Он заставил себя успокоиться и, лихорадочно отыскивая спасительную мысль, пошел к палатке начальника.

Войдя внутрь, он поклонился и, достав из-за пазухи хадак, расстелил его перед казначеем святого «перерожденца». Сверху положил три лана серебра.

— Пришел искать у тебя защиты, господин, — сказал он с поклоном.

Тот милостиво принял дар и разрешил говорить.

— Ты знаешь, начальник, — начал Цыбиков издалека, — как много я сделал, чтобы выбрали именно тебя. И ты знаешь, господин, что я поступил так, совершенно не зная, кто ты. Только слепой может не увидеть твоей храбрости, только невежда не сумеет почувствовать исходящую от тебя великую мудрость. Поэтому я сразу понял, что только такой человек может стоять во главе столь большого каравана. И я сумел убедить в этом всех алашанских монголов, которые сами быстро уверились в твоем превосходстве. Ты знаешь об этом, начальник.

— Я знаю об этом, — он в свою очередь поднес Цыбикову хадак, положив на него медное колечко с бирюзой. — Говори, кто обидел тебя. Мой долг защищать святых лам.

— Я сказал, что только слепой может не увидеть твоих достоинств, господин. В нашем караване есть такой человек. И хотя он слеп всего на один глаз...

— Так это одноглазый посмел обидеть тебя? — Казначей с гневом вскочил с одеяла.

— Это так, господин, — сказал Цыбиков, печально кивая головой. — Зная, что это я добился твоего избрания, он затаил на меня злобу. Боги покарали этого человека, который наверняка был в прошлом собакой или крокодилом. Ночью он потерял своих животных. Поэтому он хочет забрать себе моих, угрожая в случае отказа оболгать меня перед тибетскими пограничниками.

— Какая пустая тревога, — рассмеялся казначей. — Что может сказать этот вздорный человек, обреченный стать слепым кротом?

— Он хочет сказать, что я шпион русских, а ты, за которого я так горячо стоял на выборах, знаешь об этом.

— Это опасный оговор, — нахмурился казначей. — Ты ведь бурят, и земли ваши принадлежат русскому царю. Пограничники же не станут особенно разбираться. Они считают, что всегда лучше задержать правого, чем пропустить виновного. Поэтому одноглазый может причинить тебе неприятность.

— Потому и пришел я к тебе, что он может причинить нам неприятность. Ведь слава о тебе, господин, твое влияние...

— Конечно, в Лхасе меня хорошо знают, — не очень уверенно протянул казначей, — но здесь, на местах... Чего можно ждать от простого солдата? Конечно, я скажу, что все это ложь, что ты правоверный буддист-бурят и посвященный лама... Ты ведь действительно лама?

— Чжу-ше! — торжественно произнес Цыбиков самую священную в Тибете клятву, что значит: «Будда знает!»

— Ну вот. И еще я подговорю моих людей сказать, что этот одноглазый — лгун и обманщик, совсем помешавшийся от выпавших на его долю несчастий, которые он сам накликал на себя нечестивой жизнью.

— Как ты мудр, господин! — восхитился Цыбиков. — Недаром твоя мудрость сразу бросилась мне в глаза! После твоих слов я понял, что этот злобный обманщик действительно помешался от горя. Более того, у меня закралось подозрение, что он сам шпион! И правда, господин, вспомни, как он хвастался на выборах, что девять раз ходил в Лхасу! Да он повторяет это при каждом случае! Возьми хоть тот раз, когда мы выбирали дорогу. Помнишь, господин?

Начальник кивнул, не понимая еще, куда гнет бурят.

— А зачем он девять раз ходил в Лхасу? — спросил Цыбиков и замолк.

— Действительно, зачем? — все еще неуверенно улыбаясь, повторил казначей.

— В том-то и дело. Видишь, как хорошо изучил он все дороги? Девять раз побывал в Лхасе! Подумать только, какой святой! Много мы знаем настоящих святых в монгольских дацанах, которые столько раз отправлялись на поклонение? И похож ли одноглазый на святого? Где же вся его святость, которую он должен был обрести от многократного посещения святынь? А боги? Разве они станут так карать человека, который... Что же тут говорить... Суди сам, господин, на то и дана тебе великая мудрость. А я все сказал. Ударяя меня, этот шпион метит в тебя, к которому преисполнен низкой зависти. Но ты, могущественный чело-

век, а где искать защиту скромному бурятскому ламе? Знаешь, господин, я ведь даже не снял с себя обет на время пути, как это делают ваши амдоские ламы. Поэтому я не могу защищаться от гонений и клеветы. Смиренно приму я все, что пошлют мне боги. Даже гибель. Жаль только, что не сумею исполнить мечту всей жизни — удостоиться лицезрения живого бога.

— Никто не причинит тебе зла! — сказал казначей. — Я обещаю тебе, что ты достигнешь Лхасы. Я даже сумею помочь тебе испросить аудиенцию. Что же касается этого одноглазого...

В палатку протиснулся одноглазый.

— Я нарочно пришел к тебе, господин, — сказал он, кланяясь, — чтобы при тебе задать этому человеку несколько вопросов.

— Убирайся отсюда! — закричал казначей. — Я хорошо знаю этого человека, святая жизнь которого могла бы служить примером для тебя. Ты же осмеливаешься клеветать на него. Убирайся и не смей даже мысленно оскорблять святого ламу, иначе я прогоню тебя из своего каравана.

— Хорошо же! — прошипел одноглазый и выполз из палатки.

Первый натиск был отражен. Но Цыбиков знал, что основные испытания впереди. Следовало готовиться к самому худшему. Понимал это и казначей. Хотя он и уверял, что все обойдется, призывая при этом гнев богов на одноглазого, Цыбиков видел по насупленным бровям его, что и он опасается всяких неприятностей.

Последние события только лишний раз укрепляли казначея в уверенности, что одноглазый действительно шпион. Доверенный человек, которого лхасское правительство или же китайские власти заслали в караван для выявления лазутчиков.

— Ладно, что-нибудь придумаем! — сказал казначей, прерывая тяжелое молчание. — А сейчас пора собираться в дорогу.

Конечно, у одноглазого нашлось немало верных приверженцев. Ни один из его вьюков не остался на стоянке. Кто-то даже одолжил ему сильную молодую лошадь, хотя раньше этот скупец ехал на муле. Он больше не подходил ни к буряту, ни к начальнику каравана. Но все время держался где-нибудь поблизости. Не выпускал Цыбикова из виду.

Дан-ла прошли удивительно счастливо. Никто из паломников не хворал. Пришлось забить на мясо двух захромавших лошадей. Внизу растянувшийся караван вновь собрал-

ся, и, дав отдых животным, паломники направились к реке Санчу.

Гнет надвигающейся беды тяготил и Цэрена. Он совсем ушел в себя и перестал замечать, что творится вокруг. Но внезапные выстрелы прервали его невеселые мысли.

Он вздрогнул и огляделся. Посреди равнины караван сбивался в темную испуганную кучу. Сзади были горы, а впереди, вздымая облака пыли и стреляя на скаку из ружей, караван окружили какие-то всадники.

В караване началась паника. Одни рванулись к горам, другие шарахнулись в стороны, но быстро вернулись, внося еще большую смуту. «Гологи! Гологи!» — кричали паломники. И впрямь, это были разбойники-гологи. На всем скаку неслись они к каравану, стреляя беспорядочно в бесцветное предвечернее небо. Разбойники здесь тоже буддисты. Они стараются не отягощать без надобности свою душу убийством. Убивают редко. Чаще грабят дочиста. Паломники могли особенно не бояться за свои жизни, но, потеряв деньги, им следовало забыть о Лхасе и благодарить богов, если они помогут возвратиться домой. Может быть, эта мысль вселила мужество в сердца некоторых. Сначала кто-то робко выстрелил, потом загремели нестройные залпы.

Но гологи подошли уже слишком близко. Они разрезали караван надвое и с гиканьем закружились. С обеих сторон не утихала пальба. Ржали бившиеся в испуге лошади. Где-то кто-то упал, на него наскочили другие, и скоро все смешалось в беспорядочный клубок.

Постепенно, словно по воле невидимого режиссера, накал «боя» стал стихать. Гологи перестали стрелять и, отъехав немного поодаль, вновь растянулись по равнине. Словно чего-то ждали. И, видимо, недаром. Вскоре от каравана отделились три всадника. В одном из них все узнали казначея. Ружье и пику он потерял в пылу битвы. Очевидно, делегация ехала сговориться о выкупе. Цэрен не взял с собой никакого оружия и во время всей этой сумятицы старался держаться в стороне. Поэтому он видел, как протекала баталия, и с не меньшим интересом следил теперь за тем, как идут переговоры. Издали они напоминали яростный базарный торг.

Руководители каравана проявили чудеса героизма. Когда они возвратились, все узнали, что назначен выкуп в одну треть лана с человека. Это означало, что караван потерпел поражение в битве и должен теперь платить контрибуцию. Впрочем, не слишком большую, поскольку, надо понимать, героическое сопротивление произвело на противника должное впечатление.

Получив свое серебро, гологи с гиканьем ускакали. Паломники же стали осматривать раны и считать убытки. Кто-то сказал, что одного человека убили. Двоих немного придавили упавшие лошади. Пока никто не знал имен жертв.

Цэрен поскакал узнать, что случилось. Крики, стоны и смех торжества, казалось, могли бы заглушить даже шум недавней битвы. И вдруг то, что он увидел, заставило его рвануть поводья и поднять коня на дыбы. Ламы-охотники несли одноглазого.

Это он был тот единственный, кого потеряли в битве. Пуля вошла в его невидящий глаз и разнесла ему затылок. Мертвое лицо его как-то разгладилось. Рябины выступали не так заметно, на концах губ исчезли складки, придававшие лицу выражение лютой злобы. Пристально и долго смотрел Цэрен в мертвое лицо. Он испытывал огромное облегчение, к которому примешивалась и легкая жалость к убитому. От гнета же, который давил его весь день, не осталось и следа.

А Цыбиков, когда узнал о том, кто именно был сегодня убит, подумал, что одноглазый и впрямь был большим грешником.

— Какой святой человек погиб! — убивался начальник каравана. — Девять раз лицезрел он лик живого бога! Девять раз коснулся лбом святых рук большого и малого Чжу! Не иначе душа этого праведника сама уже нашла выход из тела.

С этой мыслью все согласились. Поэтому церемония погребения заняла немного времени. Еще не отпылал закат, как все уже поставили палатки и принялись готовить пищу.

Начальник каравана к Цыбикову на подходил.

Тот же старался не думать больше об одноглазом. Впереди была река, а за ней граница. Следовало хорошо подготовиться к ее переходу.

Паломники остановились на берегу реки как раз напротив банака тибетской стражи. Еще в Гумбуме Цыбиков узнал, что именно отсюда было послано донесение в Лхасу о подходе большой русской экспедиции. Он сразу понял, что речь шла об отряде П. К. Козлова.

Тибетское правительство строго приказало всем местным жителям сторожить границу и немедленно сообщать в Нагчу, а оттуда в Лхасу о каждом появлении русских. Конечно, будь сейчас с ними одноглазый, Цыбикову, а может быть, и Цэрену не пришлось бы переправиться через Санчу. Вполне понятно, что Цыбиков с волнением разглядывал большую черную палатку, стоящую на зеле-

ном холме. Мысленно он готовился к долгим расспросам, испытаниям по ламаитским уставам. Но все оказалось значительно проще.

Только они стали лагерем, как тибетские пограничники поспешили навестить их. Конечно, они спрашивали начальника каравана, что за люди, откуда и куда идут. Но по всему было видно, что пограничники относятся к таким расспросам чисто формально и не питают ни на чей счет никаких подозрений. Основной целью их визита была продажа масла, которое они захватили с собой. Взамен они брали тибетские деньги, материю и главным образом китайскую водку. В поисках этой водки они учинили маскарад таможенного досмотра. Равнодушно взирая на явную контрабанду, они остервенело набрасывались на каждую стеклянную бутылку. Обнаружив водку, они не отставали до тех пор, пока владелец не соглашался продать ее.

Глядя на все это, Цыбиков совершенно успокоился.

Пришел и его черед подвергнуться досмотру. Он указал пограничникам свои вьюки и отошел в сторону, чтобы не мешать. Тут-то они и обнаружили фотокамеру, штатив и запас сухих пластинок.

— Что это? — спросил предводитель отряда.

— Наш монастырь посылает это в подарок великому ламе, — сказал Цыбиков.

— Но все-таки что это? — не отставал пограничник.

Цыбиков установил штатив и направил камеру на пограничный банак.

— Поглядите сами, — сказал он, накрывая голову пограничника черной накидкой.

Увидев в матовом стекле перевернутое изображение палатки, тот вскрикнул.

— Великое чудо! Конечно, его нужно показать великому ламе.

После этого Цыбиков подарил ему бутыль с медицинским спиртом. У них установились великолепные отношения, и все бы сошло прекрасно, если бы... Цыбиков почувствовал на себе чей-то взгляд и обернулся. Сзади стоял начальник каравана. Цыбиков ничего не сумел прочесть в его глазах. Казначей повернулся и ушел. И снова вернулось тоскливое ощущение тревоги.

После осмотра все получили дозволение следовать дальше. Переправа прошла благополучно, и караван стал подыматься на хребет Бум-Цзэй. Сразу же после перевала к Цыбикову подъехал начальник каравана и отозвал его в сторону.

— Я должен огорчить тебя, — сказал он, — со смертью одноглазого не умерли мои подозрения на твой счет.

Среди наших монголов прошел слух, что в бурятской общине едет ученый человек с русскими привычками. Конечно, они не знают еще, что это именно ты, но подозревают каждого бурята. Если слухи дойдут до властей в Нагчу, всей бурятской общине придется повернуть обратно.

Тайный смысл его слов был понятен: «Покамест я один подозреваю (или знаю), кто ты есть на самом деле, и, если ты не сделаешь (или не дашь) то-то и то-то, я раскрою твою тайну». Цыбиков не сомневался, что ему предложат какую-то сделку, иначе зачем было тянуть до Нагчу. Казначей давно мог донести на него пограничникам.

— Ты сам знаешь, начальник, насколько безосновательны такие подозрения. Но я согласен, что всякий дурной слух может повредить. Поэтому я полагаюсь на твою мудрость и заранее согласен со всем, что ты придумаешь. Ведь не может быть, чтобы ты не сумел найти выход из положения? Да по тебе видно, что ты уже нашел его! Говори же, господин. Осчастливь своей мудростью твоего приверженца.

— Не скрою, — сказал тот, сокрушенно разводя руками, — что я долго думал об этой новой неприятности. Думал, потому что хотел помочь такому достойному человеку, как ты. Но так ничего и не придумал, — казначей замолчал на минуту и вдруг стал говорить шепотом: — Мне кажется, есть лишь один выход. Надо вручить при моем посредничестве — меня, как ты понимаешь, хорошо знают в Нагчу — хотя бы 50 ланов серебра тамошнему хамбо. После моего доклада ты и еще кто-нибудь из бурят нанесете хамбо визит.

И тайный смысл этих слов тоже был ясен. Хитрый казначей хотел получить крупную взятку, не становясь при этом соучастником. Более того, прикарманив предназначенные для хамбо 50 ланов, он готов был даже намекнуть тому, что в караване есть человек, внушающий некоторые подозрения. Иначе зачем тогда нужен визит? Да еще вместе с поручителем! Если хамбо задержит Цыбикова, то он, казначей, здесь ни при чем; если разрешат следовать далее, то вся ответственность ложится на того же хамбо.

— Нет, господин, — сказал Цыбиков. — Твой план слишком мудрен для столь простого дела. Если уж мне надо показаться хамбо, то лучше я сам и отдам ему подарок. Кроме того, столь большая сумма может внушить хамбо подозрения, что дело здесь нечисто. Мне же нечего скрывать, господин! Вся душа моя, как на ладони. Поду-

май сам, господин, все подозрения на мой счет проистекают лишь оттого, что я получил некоторое образование. Но я и не думаю скрывать того, что учился в русской гимназии. Разве это так уж плохо для буддиста? Или от этого я меньше привержен к вере, хуже знаю традиции? Совсем напротив! Так не лучше ли будет, если я чистосердечно все расскажу хамбо? Про одноглазого, про нелепые слухи... Попрошу у него помощи и совета. Как ты полагаешь, господин?

— Я не согласен с тобой. Конечно, если ты лично вручишь хамбо 50 ланов, он может что-то заподозрить. Иное дело, если это сделаю я, человек известный и уважаемый. Не надо и рассказывать хамбо про одноглазого. Вся эта история может произвести неблагоприятное впечатление. Поступим лучше так: я сам представлю тебя хамбо, а уж потом вручу ему твои 50 ланов.

— Это уже лучше, господин. Ты представишь меня хамбо в качестве бурятского ламы, коим я и состою, который интересуется святынями местных монастырей. Хорошо бы при этом испросить у хамбо разрешение на осмотр монастырских музеев. Согласись, господин, что такое стремление весьма естественно для буддийского ламы. А вручить пожертвование... ну, скажем, в десять ланов, ты сможешь уже наедине.

— Не стоит обременять хамбо просьбой осмотреть монастыри. И ни в коем случае нельзя дать ему меньше 30 ланов.

— Буряты нашего дацана затем и снарядили меня в путь, чтобы я, приобщась к святости тибетских монастырей, смог принести эту святость в родные места. 20 же серебряных ланов вполне могут сгладить неловкость такой просьбы.

— Ты умный человек, — сказал казначей, трогая поводья. — И мне приятно покровительствовать тебе.

Пустив лошадей, они быстро догнали караван.

— Когда ты намереваешься передать мне подарок для хамбо? Теперь или в Нагчу?

— Сразу же после Нагчу. Как ты знаешь, там обычно продают тех животных, которых не берут с собой в Лхасу. Вырученные от этой продажи деньги я благоговейно передам тебе.

— Тогда ссуди мне сейчас десять ланов. А после Нагчу ты добавишь еще десять.

На том они и поладили.

Караван между тем уже достиг южной подошвы хребта. От широкой равнины Нагчу-Цонра их отделял теперь один дневной переход в 35 верст.

Хамбо жил в двухэтажном доме тибетской архитектуры. Перейдя через быстрый ручей по горбатому мостику, паломники вышли прямо к резиденции. У входа ее висели ременные плети для наказания виновных.

Казначей покосился на них и опять предложил Цыбикову немного подождать, пока он, как свой человек, поговорит немного с хамбо с глазу на глаз.

— Это будет выглядеть неприлично по отношению ко мне, — сказал Цыбиков, — ученому буддисту.

По наружной каменной лестнице они поднялись на второй этаж. Казначей толкнул украшенную изображением священного колеса дверь и первым вошел в комнату. Цыбиков поспешил за ним. Справа у окна сидел старенький лама в потертой красной одежде. Перед ним стояли письменный прибор китайской работы и большой серебряный чайник, от которого подымалась струйка пара. Рядом с ним стоял писец с бамбуковым пером в черных засаленных волосах.

Они с поклоном вручили хамбо подарки. Он принял их, не глядя, продолжая о чем-то беседовать с писцом.

— Я слышал, в вашем караване убит один паломник? — внезапно спросил он, легким кивком отсылая писца. — Кто он?

Казначей побледнел. Цыбикову тоже было не по себе. Он не мог понять, каким образом весть о смерти одноглазого опередила их. Никто из паломников еще не навещал хамбо. За это можно было ручаться. А они поспешили сюда сразу же по приходе в Нагчу.

— Это так, это так, — залепетал казначей. — На нас напали грабители. Они стреляли. Все перемешалось! И надо же, чтобы пуля сразила самого святого, самого уважаемого человека, девять раз совершившего паломничество.

— Как вам это стало известно, святой отец? — решился спросить Цыбиков.

Тот удивленно взглянул на него.

— Разве это такое чудо для вас? — спросил он. — Или в бурятских монастырях никогда не слышали об астральном колокольчике Тибета?

— Конечно, слышали, святой отец, — ответил Цыбиков. — Но разве подобные чудеса совершаются и теперь? Наши старики говорили, что только в прежнее время святые буддисты...

— Я вижу, вы лама новой формации, — прервал хамбо бурята, — предпочитающий все приписывать лишь естественным причинам. Это, может, и не так плохо само по себе. Но подобный образ мыслей разрушает веру у народа. Тем более что чудеса совершаются и по сей день.

И тут раздался звон, пронзительный, как от медного гонга, и чуть дребезжащий, как от надтреснутого колокола. Цыбиков вздрогнул и огляделся. Никого, кроме них, в комнате не было. Но он мог дать клятву, что звонят у него над самым ухом.

— Когда еще раз услышите астральный колокольчик, — сказал хамбо, — припомните мои слова.

Казначей трясся от страха.

— Пространство — не преграда для посвященных, — продолжал хамбо. — Но посвящение достигается созерцанием, отречением и верой. Смотрите не потеряйте веру. Вы, я вижу, получили светское образование.

— Он у-учился в ру-у-сской гимназии, — пролепетал казначей. — Я говорил, что ему лу-у-чше не идти дальше...

— Отчего же? — удивился хамбо. — Франги много знают и многое умеют. Правоверный буддист не должен закрывать глаза на окружающий его мир. Только тогда он сможет нести свет блуждающим во тьме душам. Но знания, каков бы ни был источник их, должны служить на укрепление веры, а не на расшатывание ее. Ваше образование, — обратился он к Цыбикову, — не может служить препятствием к достижению святых целей. Вопрос лишь в вашей вере, в вашем соответствии священному сану ламы.

На миг Цыбикову показалось, что этот седой, почти высохший старик знает о нем все. К счастью, так показалось только на миг.

— Кто мог бы поручиться за вас? — спросил хамбо. — Причем имейте в виду, что я снесусь с поручителем вашим гораздо скорее, чем идут караваны из Монголии в Тибет.

— Лама Чойнжон Аюшев, известный святостью и благочестием далеко за пределами нашей родины, — твердо ответил бурят.

— Этого достаточно, — сказал хамбо. — Я знаю о святом ламе. Рад буду услышать от него хорошие слова о вас. — Это было сказано так просто и буднично, что Цыбиков опять ощутил сомнение и страх. Словно и впрямь отсюда можно было мысленно перенестись через стены, горные перевалы и бурные потоки в скромную обитель ламы Аюшева, который и не подозревал о его существовании. Неужели такое возможно? Господи, какой вздор!

И сейчас же вновь задребезжал у него над ухом невидимый колокольчик.

Казначей опять затрясся.

— Правду-у, правду-у надо говорить в этих святых стенах! — завыл он.

А Цыбиков подумал, уж не сами ли разбойники-гологи донесли хамбо о перестрелке, в которой был убит одноглазый? Какая-то шторка приподнялась в его сознании. Брызнул ослепительный свет, и он испытал предчувствие откровения. Сейчас он поймет, что случилось тогда, и почему лишь один одноглазый нашел смерть в той взаимной перепалке в воздух, и откуда обо всем этом узнал хамбо, и почему он... Но он не смог додумать, не сумел удержать мысль. Вопрос хамбо спугнул ее. Она ускользнула, оставив в груди чувство недоумения и досады.

— На что надеются правоверные ламаиты в ваших степях? — спросил его хамбо.

— На пришествие Майтреи, который отведет их в блаженную страну Шамбала, — рассеянно ответил Цыбиков, все пытаясь схватить что-то навсегда ускользнувшее, припомнить мучительно знакомое, но непокорное, провалившееся в черноту.

— А вот интересно, — оживился хамбо, — как вы, человек, так сказать, просвещенный, понимаете эту как будто мифическую страну? Где она, по-вашему? Как ее можно достичь?

Цыбиков решил ответить ему в соответствии с философской традицией буддизма.

— Шамба, или, точнее, Чамба, это по-тибетски Майтрея, — сказал он. — Ла — означает перевал. Как же можем мы видеть в перевале Майтреи нечто иное, кроме как превращение его в Будду. Для святых буддистов это последний перевал, за которым лежит нирвана, за которым исчезает двойственность мира и кончается цепь перерождений.

— Так я и знал, что вы являетесь фи-ло-соф-ствующим ламой! — пренебрежительно протянул хамбо. — Вы идете опасным путем, который ведет к неверию. Вам остался лишь один шаг до страшного заблуждения увидеть в нирване простую смерть. Поймите же, пока не поздно, и передайте мои слова другим, люди тянутся к свету веры, потому что хотят уйти от смерти. Поэтому преступно даже намекать на то, что и в конце этого пути их ждет смерть. Людям надо проповедовать о Западном рае Амитабы, а не о нирване. Нирвана — удел избранных. Это эзотерическая тайна, которая должна оставаться лишь среди нас, посвященных. Бедному же человеку нужен рай! Запомните это... Я не имею намерения воспрепятствовать вашему дальнейшему продвижению. Там, где иные, — он метнул взгляд на казначея, — могут усмотреть злую волю, я вижу лишь заблуждения юности и плоды просвещения франгов. Помните же, юный лама, что образованность

ваша ни на шаг не приблизит вас к конечной цели существования. Раскройте сердце навстречу вере, ищите ответы внутри себя.

С этими словами он весьма милостиво отпустил их. Очевидно, Цыбиков правильно повел себя в беседе с ним. Изображай он из себя догматичного фанатика или просто невежественного бурятского ламу, его быстро разоблачили бы. А так налицо оказался европейски образованный лама-вольнодумец, только и всего.

Согнувшись в глубоком поклоне, они попятились к двери.

— Нет ли у вас каких-нибудь просьб ко мне? — спросил хамбо, когда они уже достигли двери.

Казначей отрицательно затряс головой, продолжая отбивать поклоны.

— Можно мне осмотреть библиотеку и музей в Нагчугомба, святой отец? — спросил Цыбиков.

— Тайные наши святыни предназначены для посвященных, — назидательно сказал хамбо, — лицезреть их можно лишь сообразно со степенью посвящения. Но пусть вам покажут все. Вы увидите, что время чудес не миновало, и это послужит вашей вере!

Цыбиков молча поклонился ему.

— Помогайте этому молодому ламе, — сказал хамбо, обращаясь к казначею. — Талант и знание оживают лишь под четкими гранями веры. Тибет рассеивает многие заблуждения. — Он крутил настольное молитвенное колесо. — И еще одно... Скромный наш монастырь не нуждается в богатых подарках. Приберегите их до Лхасы. И помните, что боги принимают подношения только из первых рук.

Казначей буквально зашатался. Это был прямой удар. И в третий раз Цыбикову почудилось, что хамбо знает о них все. Конечно, здесь могло быть и случайное совпадение, но он все же был склонен считать, что хамбо просто исключительно проницательный человек. Двух-трех фраз, произнесенных казначеем, очевидно, оказалось достаточно для него, чтобы читать в душе этого человека, как в открытой книге. Но что сказать тогда о самом Цыбикове, о его душе?

Он вышел отсюда в сильном смущении.

— Все равно, начальник, — сказал он казначею, — ты получишь обещанные десять ланов. Я знаю, что ты сумеешь обратить их на благочестивые цели.

Эти слова, синее весеннее небо и блестящая молодая трава на заваленном обкатанными ледником камнями дворе вернули казначею прежнее жизнелюбие. Он глубоко вздох-

нул, поежился, словно стряхивая с себя темное наваждение, и сказал:

— Теперь ты видишь, что я желал тебе добра, когда настаивал на посещении святого хамбо. Вот все и уладилось. Никто не станет больше распространять о тебе лживых слухов. До самой Лхасы охранит тебя благословение хамбо. Что же касается 20 ланов, то я их все же передам ему. Но, конечно, не сейчас, а потом, наедине.

Цыбиков рассыпался в благодарностях и, отделавшись от казначея, поспешил в монастырь, о котором с благоговением говорят все буддисты. До него надо было проехать верст десять к северу от реки, вдоль каменистой лощины, которая приютилась меж отвесных склонов. Дорога постепенно забирала все выше, и он вскоре остался наедине с горами. Внизу грохотал в галечных берегах стремительный поток. Над лошадиным скелетом все еще кружил гриф, словно никак не мог позабыть о вкусном угощении. Искалеченный абрикос тянулся к небу всеми лепестками полураскрывшихся цветков. Горные осы гудели над ним, а в ветвях трепетал запутавшийся бумажный конь. Может, ветер занес его сюда, а может, в священный праздник приношения коней счастья его выпустили с этого обрыва вместе с табуном таких же вырезанных из красной бумаги коней, которые спасут застигнутых непогодой путников.

Значит, кто-то не дождался своего счастья. Оплакивает злую судьбу, не догадываясь, что его красный конь запутался среди ветвей абрикоса.

Сразу же за абрикосом открылся мэньдон, сложенный из серо-коричневых сланцевых плит. На нем были нарисованы мани и вертикальные полосы желтых и красных уставных цветов. Потом показался и суровый, величественный, как сами горы, субурган, на котором застыл в небесном полете красный облачногривый конь. Это было трудное горное счастье, которое никогда не прилетает само. А там пошли заросли кизила, сквозь которые, извиваясь, уходила в поднебесье тропа. Пришлось спешиться и повести лошадь на поводу.

Сотни ручейков сбегали по складчатым этажам. Рыжие и фиолетовые подтеки рисовали на скалах насыщенные солями воды. Звоны и шелестящие вздохи принес сюда теплый ветер. В синем ослепительном небе метались черные хвосты яков. Тихо раскачивались струганные тополевые шесты. И только субурганы стояли недвижно и бесстрастно, неподвластные времени и настроению тибетские потомки древних индийских ступ, олицетворяющих, согласно тайным учениям, пустоту.

Но почему-то не вошел в монастырь Цыбиков, раздумал и повернул назад. Может, тайные думы его смутили, а вернее всего, заметил он на кустарнике свежие изломы. Что-то такое особое сказали ему тонкие надломленные веточки. Только что? Об опасности предупредили? Или просто сообщили, что этим путем уже прошел тайный друг, ученый монгол Цэрен?..

Смиренно склонившись, вошел Цэрен в горную обитель. Его ожидали, и он не удивился этому. Акустические эффекты в горах позволяют иногда передавать сообщения на несколько верст. Ламы часто строят свои монастыри вблизи таких акустических фокусов. В такой точке явственно слышен далекий шепот, тогда как стоящий вблизи абсолютно ничего не слышит. Все монголы и буряты знают о таком свойстве гор. Правда, они считают, что свойство это горы обретают благодаря святому влиянию монастырей. Следствие здесь, как это часто бывает, принимается за причину. Ламы провели его по всем помещениям, показали библиотеку, музей, трапезную, рассказали о местных святынях. Библиотека оказалась довольно бедной. Он не обнаружил в ней ни одного действительно интересного сочинения. Зато собрание ритуальных масок буквально потрясло его. Прежде всего он обратил внимание на маску-череп с третьей пустой глазницей над переносицей.

— Скажите, святой отец, — спросил он настоятеля, — как следует понимать третий глаз, буквально или аллегорически? Я до сих пор полагал, что это лишь символ присущей богам мудрости, недоступного нам провидения внутренней сущности вещей.

— Вы глубоко заблуждаетесь, вознесенный, — ответил настоятель. — Санскритские источники утверждают, что богам физически присущ третий глаз. У святых архатов глаз этот как бы обращен внутрь, чем и достигается удивительная сила самопознания и отречения от действительности. Зато охранители учения должны быть особенно зоркими именно к проявлениям внешнего мира. Третий глаз у них развит поэтому столь же хорошо, как и два других. Больше того, как вы знаете, у некоторых охранителей глаза расположены еще и на каждом пальце многочисленных рук.

— Судя по этим тигровым клыкам, трехглазые черепа принадлежат охранителям учения?

— Да, это слепки с черепа охранителя, душа которого покинула тело и воплотилась в более высокой сущности.

— Вы говорите — слепки, святой отец, — весьма непритворно удивился Цэрен, — значит ли это, что где-то

хранятся подлинные мощи охранителя? Может быть, в вашем музее?

— Сие есть истина недоказуемая и тайна непроизносимая, — сухо ответил настоятель. — Пройдемте лучше вниз, и я покажу вам скелет великана.

По наружной лестнице они спустились на монастырский двор. Там шли приготовления к какой-то тантрийской церемонии. Ламы раздвигали длинные медные трубы, благоговейно извлекали из чехлов оправленные в серебро трубы из человеческих берцовых костей. Пробовали флейты и барабаны. Легкий ветер лениво прокручивал молитвенные колеса, трепал пестрые хоругви. Они прошли через весь двор к стене, примыкающей прямо к скалам.

Согнувшись, пролез Цэрен вслед за настоятелем в черную дыру. Неровные, сглаженные временем ступени вели в темноту. Лама спускался легко и уверенно. Видно, ходил сюда часто, а может быть, просто умел видеть в темноте. Цэрен же, цепляясь за шероховатые стены, осторожно нащупывал ногой ступеньку и только потом так же осторожно ставил другую ногу. Вероятно, этот слепой лаз в монастырской стене вел внутрь горы. Ступеньки были разной высоты, и Цэрену иногда казалось, что под ногой пропасть.

Все же он одолел этот спуск и медленно пошел вдоль узкого коридора. Идти приходилось, пригнув голову и на полусогнутых ногах. Внезапно в затхлый мрак подземелья просочилось дуновение свежего воздуха. Он шел навстречу этой холодной струе, напряженно вслушиваясь в могильную тишину. Больше всего ему хотелось сейчас услышать шаги своего проводника. Но настоятель словно сквозь землю провалился. Жарким удушьем опалила мысль, что он добровольно сошел в заготовленный для него склеп. На секунду он потерял всякий контроль над собой. Что-то в нем сорвалось и полетело, и понеслось, как валун по отвесному склону. Страшная мысль, подобно начавшейся лавине, обрастала лихорадочными подробностями. Он уже не сомневался в том, что разоблачен и идет теперь на вечное заточение. Неведомо куда завело бы его это минутное замешательство, если бы он не ударился лбом о каменную стену. Острая боль пронзила насквозь. Лунная вспышка прорезала темноту и рассыпалась холодными, медленно затухающими искрами.

Подземный ход делал крутой поворот. Задыхаясь от боли, он повернул навстречу потоку свежего воздуха. Резкий удар и холод погасили лихорадочный жар. Расходившееся сердце медленно возвращалось к привычному ритму. Вперед

ди колыхался ржавый огонек. Очевидно, настоятель запалил какую-то плошку.

— Здесь находятся кельи тех, кто избрал для себя полный отход от мира, — прошептал настоятель, когда Цэрен подошел.

Он увидел темные пятна замурованных лазов и черные дыры под ними, куда, верно, просовывали чашку с цзамбой и кувшинчик воды.

— Когда душа покидает кого-нибудь из этих свитых, — вздохнул лама, — мы узнаем о том лишь по нетронутой чашке с едой. И то не сразу... Они порой не едят много дней. Довольствуются глотком воды.

В шепоте настоятеля почудилась искренняя зависть. Они шли вдоль этих каменных могил навстречу бьющему откуда-то ледяному потоку. В подземелье было так холодно, что Цэрен с трудом сдерживал дрожь. Лишь темные пятна более свежей кладки свидетельствовали об ужасных могилах, в которых добровольно заточили себя архаты, мнящие превзойти в подвижничестве самого Будду.

Он вспомнил того голого отшельника, которого видел недавно сидящим на льду, когда по следам Цыбикова ездил в Лабран, и подумал, что замурованные за этой стеной продвинулись куда дальше по пути избавления от страданий. Здесь никогда не бывает лета. Всегда только ночь и холод. Холод и ночь. Уход от мира, умерщвление плоти, изуверство — они присущи, наверное, всякой религии. Но только в ламаизме эти стремления определенной части людей обрели законченное выражение. Только у ламаитов монах-отшельник вознесен над богами. Недаром само слово «лама» означает «выше нет». Бесстрастный холод и высота Гималаев.

Ламаитское учение делит все стоящие над обычным человеком существа на восемь классов. И к первому классу причисляются ламы. Они первые в великом стремлении к спасению. Ламами были и Будда-Сакья-Муни, и восемнадцать его ближайших учеников. Потом на Землю спустились и другие ламы, чтобы напомнить людям о законе, растолковать им великое учение. Это были проповедники и основатели сект: создатель махаяны Нагарджуна и его любимый ученик Адиша, распространивший буддизм в Тибете, реформатор Цзонхава и другие высшие ламы. Ведь, строго говоря, рядовое духовенство нельзя относить к ламам. Лишь из уважения людей в желтых или красных шапках именуют столь высоко. И даже это чисто формальное употребление титула ламы как бы приобщает священнослужителей к миру высших существ. Но простой народ не подозревает о таких тонкостях догматики, а сами ламы не стремятся их ему растолковать.

Второй класс составляют «юдамы», или «охраняющие божества». Главный юдам — непостижимый Адибудда, «первейший из будд и господин и хранитель всех тайн».

Третий класс объединяет многочисленный пантеон «специализированных» будд — будд врачевания, покаяния, желания, созерцания, 1000 будд текущего мирового периода, будд, предшествовавших Сакья-Муни, и грядущего Будду-Майтрею.

Затем следует класс бодисатв, класс женских божеств, класс хранителей закона — чойджинов, которых тибетцы именуют «драг-шед» — ужасные палачи. Ламаиты считают, что все чойджины были когда-то богами других религий, которые обратились в буддизм и стали ревностными его хранителями.

Второстепенные местные боги чужих народов тоже вошли в тибетский пантеон. Они составляют седьмой класс — юлла. Последний, восьмой класс объединяет сабдыков — хозяев земли. Это духи-божества рек, гор, лесов, источников, стран света и деревень.

Вот как высоко вознесены ламы! Лишь где-то в самом низу под ними находятся будды и бодисатвы, ужасные устрашители, некогда грозные Брама и Индра, духи пустыни и духи гор.

Столь же строгой иерархии подчиняется и закон перерождения. Магическое тело будды или бодисатвы — это нить, на которую нанизываются жемчужины жизней их человеческих воплощений.

Первоначально право на божественное перерождение принадлежало лишь главам желтошапочников. Но вскоре оно распространилось и на духовенство второго ранга — настоятелей знаменитых монастырей, заместителей далай-ламы в провинциях, высших красношапочных иерархов. Тибетское название таких «перерожденцев» — ринпочэ, что значит «великая драгоценность». К этому титулу часто добавляют еще и слово «пагба» — благородный, возвышенный. Монголы называют «перерожденцев» — хутухту.

За ринпочэ-хутухту следуют тулку-ламы, или хублиганы по-монгольски. Это «перерожденцы» настоятелей крупных монастырей. И если ринпочэ почитаются как воплощения будд, бодисатв, юдамов и знаменитых индийских проповедников, то тулку рассматриваются в качестве «перерожденцев» более «простых» богов и святых. Наконец, сравнительно недавно возник и четвертый ранг «перерожденцев». Теперь уже всякий влиятельный лама мог рассчитывать на то, что его станут рассматривать как воплощение какого-нибудь прославившегося благочестивой жизнью монаха.

Одним словом, ламы стремятся придать реальный смысл высокому своему званию. Те же, кого будущее воплощение заботит куда больше, чем нынешнее, уходят в ледяной мрак этого коридора.

Они медленно шли вдоль страшной стены. У одной из келий настоятель поставил светильник на пол и опустился рядом с ним на колени. Знаком он предложил Цэрену последовать его примеру. Потом распластался по земле и далеко задвинул шаткий огонек в какое-то отверстие. Стало темно. Тот сначала не мог понять, чего от него хотят, но вдруг увидел впереди какое-то светлое пятно — крохотное оконце в кладке, освещенное снизу светильником. Цэрен заглянул туда и чуть было не вскрикнул от удивления. В красноватом сумраке он разглядел исполинский скелет. Он вытянулся на полу во всю длину кельи. Тускло блеснули истлевшие лоскутья желтой ткани. Оловянная чаша. Колокольчик.

— Это великан! — прошептал настоятель. — Когда-то их было много в Тибете. Они восприняли учение из уст первых проповедников и спят теперь в тайных пещерах. Некоторые из них восстанут, когда придет время.

Цэрен чувствовал, что коченеет от пронизывающего холода и этого сумасшедшего шепота. Напрасно он мысленно заставлял себя вспомнить трехглазые маски. Напрасно уверял себя, что скелет в масляном полумраке всего лишь жалкий муляж.

— Давайте уйдем отсюда! — попросил он. — Мне что-то нездоровится.

Когда они вышли наконец на солнечный свет и в уши ворвался рев труб и рокот барабанов, он подумал, что настоятель сделал все, что мог, для возвращения ламы-вольнодумца на путь истинный. Он хорошо сыграл свою роль.

А на другой день караван тронулся в дальнейший путь. Паломники прошли мимо того горного монастыря с подземельем и верст через восемь опять вышли к реке Нагчу. Таковы уж дороги в горах. Они обматываются вокруг хребтов, как нитки вокруг катушки. Уводят и возвращают назад. Простые дороги ведут либо вперед, либо вспять, горные еще подымают и опускают. Они и проложены для того, чтобы поднять к перевалам и опустить вниз. И не столь уж важно, сколько надо идти такой дорогой к перевалу. Лишний десяток верст не принимается во внимание. Только бы не были слишком круты подъемы и спуски.

Спустившись к реке, решили не торопиться с переправой. Вода стояла еще очень высоко. Ожидая ее убыли, провели на берегу и весь следующий день. Только 27

июля, когда уровень немного упал, решились перейти реку. Вода доходила до седел лошадей. Малорослые же мулы шли вплавь. Но за последние дни животные отъелись, отдохнули и хорошо перенесли переправу. В тот день смогли сделать еще 30 верст. Столько же удалось пройти и на следующий день. Всех подстегивало желание скорее добраться до Лхасы. Впрочем, кроме понятного утомления от долгой и трудной дороги и, конечно, благочестия, многими руководили и чисто корыстные соображения. Суть в том, что лхасские торговцы стараются скупить первых же лошадей и мулов, чтобы поскорее выполнить заключенные с Индией контракты. А так как конкурирующие друг с другом торговцы не могут знать заранее, сколько животных прибудет в данный год из Амдо, то наперегонки набрасываются на первые партии. Понятно, что и паломники стремятся опередить друг друга и подороже сбыть своих лошадей. Ведь чем больше животных приводят другие караваны, тем ниже упадет цена. Поэтому караван после короткого отдыха, уже на закате отправился дальше. Лишь ночью остановился он на лугу санчунской казенной станции, где разрешается пастись только станционным табунам. Паломники тихо развьючили животных и заночевали, не разжигая огня.

Тайно потравив казенный луг, выступили, когда только-только занимался перламутровый рассвет и иней не таял еще на лошадиных потниках. В то утро вода в реках казалась особенно холодной. Медленно разгоралось латунное солнце. Животные долго не хотели входить в воду. Но караван перешел реку Рачу и еще одну, названия которой никто не знал. В тот день одолели перевал Чог-ла и вышли к восьми субурганам. Идти дальше было уже невмочь. Сон буквально валил с ног. Цыбиков заснул сразу, будто провалился под лед в черную застывшую воду. Но среди ночи внезапно проснулся от чьего-то душераздирающего крика. И долго потом не мог уснуть. Всю ночь где-то рядом ревели дикие ослы, у которых была сейчас самая пора свадеб. Лошади тоже вели себя тревожно, отзываясь на ослиный рев испуганным ржанием.

30 июля вошли в узкое ущелье, в устье которого стоит покинутый домик с колесом, в котором заключено сто тысяч «мани». Потом стали попадаться отдельные банаки, дальше пошли пахотные поля и деревни тибетцев. Утром достигли реки Помдо — одного из главных притоков Уя. А на Уе, как известно, стоит Лхаса. Цель, казалось, была уже близка. Из-за высокой воды опять пришлось погнать животных вплавь. Груз надо было перетаскивать на себе через мост. Но что это был за мост! Две железные цепи, натянутые на

расстоянии в полтора аршина друг от друга между береговыми опорами. К этим подрагивающим цепям ремнями кое-где привязаны жалкие дощечки и жердочки. Вот и весь мост. За один раз по нему может пройти только один человек. Да и то ежеминутно рискуя свалиться в воду. Только страхом перед этим мостом можно объяснить возникновение легенды, что переход по нему очищает от всех грехов.

После этой переправы целый день отдыхали вблизи старого красношапочного монастыря.

Зато 2 августа, перевалив через высокий хребет Чаг-ла, паломники спустились в долину реки Пэнбо. Это одно из наиболее густонаселенных мест Тибета. Отныне они оказывались под полной юрисдикцией далай-ламы. Пройдя еще верст 30 — благо дорога оказалась хорошей — вдоль Южной пади, поднялись к Гола — перевалу Головы.

Отсюда в ясную погоду можно увидеть Лхасу! Ее розовые дома, золоченые крыши храмов, белый дворец далай-ламы на Красной горе... И Цэрен, и Цыбиков еле дождались утра. Но окутавший гору густой туман не растаял. Накрывшее караван облачное одеяло не позволило насладиться лицезрением города небожителей.

Но несмотря на это паломниками овладел экстаз. Они распростерлись на земле, простирая руки в туман, смеясь и плача. Вставали, чтобы совершить троекратный поклон, и вновь растягивались на холодных камнях, мокрых от сгустившегося на них облачного тумана. Люди целовали эти камни и все тянулись, тянулись вперед, словно видели уже сверкающие крыши священного города. Порой казалось, что они и впрямь видели его тайным каким-то зрением экстаза и веры.

Цыбикову тоже трудно было сдержать нахлынувшие вдруг чувства. Много лет и еще восемь с лишним месяцев этой тяжелой дороги стремился он к таинственному городу. И вот он близок, совсем близок! Цыбиков мог бы даже увидеть его, если бы ветер сдул это белое с провисшими серыми краями одеяло, окутавшее гору.

Ламы затянули священные молитвы. Кто-то пытался жечь курения, но они не хотели разгораться в облачном киселе. Цыбиков верил, что уже ничто не помешает ему добраться до Лхасы. И в самом деле, что теперь могло ему помешать?

Паломники принесли жертвы на каменном алтаре, расстелив розовые хадаки, оставили по горсти чохов.

До Лхасы оставалось лишь несколько верст...

Прости, мой друг Но нам пора
Уже сова в окно влетела,
И ожиданьем топора
Тоскует и томится тело
Прости за то, что так врасплох,
Прости за муку и смятенье.
Но в нашем теле не взросло
Смиренье перед той метелью,
Что гонит в сумеречный свет
Равно покорных и упрямых.
Сомкнется в черных водах след
Под скорбною улыбкой Ямы
Но не прощайся, не тужи.
Пора прозреть от глупой лжи,
Что есть разлуки и потери
Ты ничего здесь не нажил
Все кончилось у этой двери.

Дхаммапада, XVIII, 237

За смех, за буйства наши — кара
Трещит огонь. Спасенья нет.
И не дано сквозь тьму пожара
Увидеть настоящий свет

Там же, XI, 146

Бурятский лама и пандит-индиец вошли в Лхасу в один и тот же день. Их пути пересеклись у цели и вновь разошлись, чтобы опять сблизиться по прихотливому велению случая.

В темных очках, с красным пагри вокруг головы вошел пандит в город через западные ворота, именуемые Парго-калин-чортэнь. Два погонщика с конями гнали за ним навьюченных лошадей. А он ехал, покачиваясь в седле, от усталости уронив голову на грудь. Полицейские — корчагпа — приняли его за уроженца Ладака и, ни о чем не спросив, пропустили маленький караван в столицу.

Но когда он проезжал мимо китайской кондитерской, кто-то крикнул в толпе:

— Смотрите: вот прибыл еще один больной; оспа поразила его глаза. Город полон больных. Что за страшное время для Тибета!

Караван монголов вошел в Лхасу через восточные ворота. Верстах в четырех от города его встретил лама, который подробно расспросил каждого, кто он, есть ли у него земляки в Лхасе и где намерен остановиться. Узнав, что с караваном идут и буряты, он порекомендовал им

сразу же по прибытии в город навестить бурятского ламу Гончока. Поэтому, когда сопровождаемый ламой караван поравнялся с полицейскими постами, его беспрепятственно пропустили.

Бурятский лама и пандит-индиец ехали навстречу друг другу по грязным, запруженным паломниками улицам. Они встретились в шумном квартале, где сосредоточились китайские, непальские и кашмирские магазины. Здесь торговали фарфором, шелковыми материями, чаем всех сортов, бронзовыми фигурками и ювелирными изделиями.

Они медленно ехали, пробиваясь сквозь толпу, друг другу навстречу. Они узнали друг друга, хотя каждый был уверен, что никогда раньше другого не встречал. И, стараясь избавиться от назойливой слежки, совершали невольные ошибки, которые привлекали к ним внимание.

В один из самых священных дней лунного календаря, в праздник сага-дава, когда Учитель отошел в нирвану, толпы паломников устремились к главной святыне Лхасы — Большому Чжу. На вершинах всех холмов, в каждом святилище, монастыре, в каждом доме и каждый часовне зажгли курения. Удушливый аромат можжевельника синими струйками потянулся к безоблачному небу Лхасы. Мужчины, женщины, дети, калеки, старики, тибетцы, тангуты, китайцы, монголы, кашмирцы, непальцы, сиккимцы, ламы, князья и нищие — все спешили в священный храм, чтобы сделать пучжа перед Большим Чжу и получить его благословение. Все несли с собой связки курительных свечей, чашки с маслом, разноцветные хадаки и кошельки с деньгами.

Длинной змеей обтекала толпа высокий тополь у западной стены храма, который вырос, как говорят, из волоса самого Будды, или, как его здесь называют, Чжу. Паломники целовали белую кору священного дерева и кланялись установленной рядом каменной плите, воздвигнутой еще в IX веке в память о победе тибетцев над войсками китайского императора.

Отсюда начиналась прямая дорога в храм. Он стоит в самом центре города, трехэтажный дом-колодезь под четырьмя золотыми китайскими крышами. Перед огромными его воротами гора из рогов баранов и яков, над которой вьются по ветру разноцветные флаги. Все этажи этого храма с глухими наружными стенами разделены на множество комнат, где в тусклом свете горящих фитилей блестят бронза и красный колокольный металл статуй. Здесь собраны все будды, бодисатвы и охранители, в которых только верят тибетцы. Но главная святыня хранится в центральном зале. Там, у восточной стены, сидит на троне под роскошным

балдахином Будда-Сакья-Муни, которого тибетцы называют Чжур-риньпочэ. Перед ним на низком и длинном столике день и ночь горят золотые светильники с топленым маслом.

Согласно легенде, знаменитую статую отлил скульптор Васвакарма, которого бог Индра вдохновил сделать сплав из пяти «драгоценных веществ» — золота, серебра, цинка, железа, меди — и «пяти драгоценностей неба» — алмаза, рубина, ляпис-лазури, изумруда, индранила. Статую изготовили в Магаде еще при жизни великого Учителя. Потом ее доставили из Индии в столицу Китая. Когда же тибетский царь взял в жены дочь императора Тайцзуна, то получил священную реликвию в качестве приданого. Реформатор Цзонхава украсил ее браслетами и диадемой из кованого золота и драгоценных камней.

Один за другим подходили паломники к трону прекрасного принца, звоном колокола увеселяли они будду, целовали его колени и, добавив коровьего масла в золотые светильники, уступали место следующим. А Большой Чжу каждого одаривал необыкновенной своей улыбкой. Бронзовый лик его сверкал золотым порошком недавней покраски, тени и отблески перебегали по нему, и казалось, что статуя всякий раз оживает, когда от новых порций масла вспыхивают светильники. Бурятский лама в последний раз взглянул на улыбающегося будду и обогнул одну из поддерживающих балдахин сине-зеленых колонн, сделанных в виде золотых драконов.

Теперь ему следовало воздать почести сидящим по обе стороны Большого Чжу грядущему будде Майтрее и первому из явившихся в мир будд — Дипанкаре. Оставив перед каждой статуей хадак и несколько серебряных монет, он направился к изображению Цзонхавы. Трон его был установлен возле большого небесного камня, который желтошапочный реформатор нашел в одной из пещер. На камне стоял колокольчик с большим рубином в ручке. На эту реликвию, принадлежавшую главному ученику будды — Маудгалье, разрешалось только смотреть. Лишь высшие ламы могли звонить в этот колокольчик.

Бурятский паломник вошел в покой Цзонхавы сразу же после того, как их покинул индийский пандит. Вновь сближались их смыкающиеся круги.

В сопровождении служителя храма пандит проследовал в покои Авалокитешвары, которого в Тибете называют Шэньрэзиг чу-чиг-цзал.

Говорят, что однажды царь Сронцзан-гамбо услышал голос, повелевший ему сделать статую Авалокитешвары в человеческий рост, после чего исполнятся все желания царя.

Лучший непальский мастер взялся за изготовление статуи милосердного бодисатвы. Он взял ветку дерева мудрости бо, под которым Сакья-Муни достиг состояния будды, и песка с берега реки Найранчжана, в которой он купался после того как обрел всезнание, немного земли с острова великого океана и земли из восьми священных мест Индии, частицу сандального дерева и еще десяти других священных веществ. Все это он измельчил в порошок и смочил затем молоком красной коровы и козы. Так была получена мягкая масса, из которой и слепил он статую, внутри которой поместил сандаловое изображение Авалокитешвары, привезенное с Цейлона. «Не я лепил ее, — говорил потом мастер, — она сама возникла из драгоценной массы». А еще рассказывают, что статуя поглотила души царя и его супруги.

Индийский пандит воздал почести Авалокитешваре и всем окружающим его богам и богиням. Он посетил покой царя Сронцзан-гамбо и других тибетских святых, возложил связки свечей к лотосовым тронам будд прошедшего, настоящего и будущего времен. Служитель показал ему и знаменитую статую Ваджрапани. Иконоборец Ландарма велел уничтожить ее. Но слуга, который привязал ей на шею веревку, внезапно потерял рассудок и упал. Изо рта его хлынула кровь, и он умер. Статуя же осталась стоять.

Служитель проводил пандита во внешний двор, где стояли устрашители, охраняющие Сронцзан-гамбо и обеих его жен. Но пандит уже устал от богов и святых. Рассеянным взглядом окинул он раскрашенные фигуры и увидел вдруг лежащие у ног одного из устрашителей исполинские рога яка.

— Я никогда не видел таких больших рогов, — сказал он служителю. — Откуда они?

И служитель поведал ему волшебную историю, которую вот уже в тысячный раз рассказывал любопытным паломникам:

— Ученик странствующего святого и поэта Миларапы отправился как-то в Индию, чтобы изучить там все тайны веры. Через несколько лет он возвратился на родину, исполненный гордости своими великими познаниями. Миларапа тепло встретил любимого ученика и взял его с собой в очередное паломничество в Лхасу. И вот, когда они ехали по безлюдной пустыне, Миларапа увидел эти самые рога. Провидя все наперед, он решил дать гордому и спесивому ученику хороший урок. «Принеси мне эти рога», — сказал он. «Зачем они тебе? — спросил ученик. — Их нельзя съесть, они не дадут нам воды в этой пустыне, из них не

сошьешь одежду». Про себя же он подумал, что учитель совсем спятил. «Ему нужно все, что только он ни увидит. И все он раздражается, ворчит, словно старый пес, а то совсем впадает в детство». Миларапа, конечно, догадывался, что думает о нем ученик, но не подал виду и только сказал: «Кто знает, что может произойти? Только мне кажется, эти рога еще нам понадобятся». С этими словами он поднял рога и понес их сам.

Через некоторое время путешественников настигла сильная буря. Ревел ветер, громыхал гром, больно хлестал крупный град. А кругом не было даже жалкой мышиной норки, где бы можно было переждать непогоду. Ученик закрыл голову руками и сел на песок. Он не надеялся дожить до скончания бури. И вдруг он заметил, что Миларапа забрался в один из рогов и спокойно ждет там, пока уляжется непогода. «Если сын таков, как его отец, — сказал святой ученику, — то пусть он тоже заберется внутрь рога». Но в роге не умещалась даже шляпа бедного ученика, который утратил всю свою спесь. Тут небо прояснилось, ветер утих, и Миларапа вылез из убежища. Ученик же Миларапы принес рога в Лхасу и пожертвовал их Чжу.

Пока пандит слушал эту назидательную историю, паломники один за другим следовали своим благочестивым путем. Всего лишь на несколько минут задержался пандит во внешнем дворе и увидел здесь бурятского ламу. Они встретились вновь, отвели глаза и уже почти что вместе проследовали в темное помещение страшной богини Лхамо.

Грозное лицо охранительницы верховных иерархов Тибета было закрыто, но кунер — служитель — раздвинул занавес, оказав тем самым высокое уважение щедрым и благочестивым паломникам. И они увидели мула, рожденного от красного осла и крылатой кобылицы, которого преподнесла охранительнице богиня моря. Они увидели седло из кожи чудовищного людоеда, змей, которые служат мулу уздой, унизанную черепами веревку и кости, на которых ведется роковая игра на жизнь или смерть. Они увидели лик Лхамо.

Потрескивали плавающие в масле фитили, и тихо шуршали ручные мыши. Их было так много, что занавес, обычно скрывающий богиню, шевелился, как живой. Они перебегали по плечам служителя, взбирались к нему на голову. Священные мыши, в которых воплотились души лам. Пандит и лама-бурят добавили масла в лампады и покинули комнату Лхамо. Потом они разошлись в разные стороны, с тревогой сознавая, что новой встречи не избежать.

Бурятский лама направился к знаменитому храму Рамочэ, где находилась вторая по значению святыня Лхасы — древняя статуя Малого Чжу. Пандит же, сопровождаемый шумной толпой нищих певцов, поспешил к главному оракулу.

Обоим был назначен один и тот же день, который приходился на второе число седьмой луны по местному календарю. Они внесли чиновнику по восемь ланов и вышли на улицу, где их сразу же разлучила орущая и танцующая толпа.

Государственный оракул Карма-шяр совершал традиционное шествие вокруг квартала Чжу. Его сопровождали вооруженные пиками и саблями разряженные слуги и ламы-музыканты. Двое телохранителей почтительно поддерживали оракула с обеих сторон. На нем были яркие парчовые одежды, опутанные четками и ожерельями из священных колес. На голове покачивался пышный шлем, украшенный белыми черепами и разноцветными лентами. В правой руке был крепко зажат меч. Лицо оракула ежеминутно корчилось в ужасных гримасах. Карма-шяр высоко подпрыгивал и, шатаясь, как пьяный, отталкивал своих благоговейных прислужников. Вырвавшись, он делал внезапный прыжок вперед, но телохранители вновь подхватывали его под мышки. Казалось, у оракула вот-вот начнутся судороги.

Дойдя до южной границы квартала, он завизжал и шарахнулся назад, свалив одного из телохранителей в зловонную канаву. Толпа в испуге замерла и в страшной панике разделилась надвое. Оракул остался один в этом рассекшем толпу коридоре. Он вновь отчаянно завизжал и швырнул меч в толпу. Опять возникла паника. Давя и опрокидывая друг друга, люди бросились врассыпную. Новый пустой коридор образовался в том месте, куда должен был упасть меч. Там, в десяти шагах друг от друга, стояли пандит и бурятский лама. Они одни только остались на своих местах. С жестяным стуком упал между ними меч.

Этот сделанный из тонкого медного листа меч никого не мог поранить всерьез. Но горе тому, чьей головы он коснулся бы! Тибетцы верили, что если в толпе скрывается какой-нибудь враг религии, то он будет насмерть поражен мечом. Так было всегда. И если почему-либо меч оказывался бессильным, его карающую роль брала на себя сама толпа.

Пандит и бурятский лама посмотрели друг другу в глаза. Они ничего не знали друг о друге. Вокруг неистовствовала приплясывающая толпа. Вспышкой необузданной радости

встретила она падение меча. На сей раз боги были довольны обитателями города небожителей. Все смеялись, радостно поздравляя и приветствуя знакомых и незнакомых.

«Надо выяснить, кто это, — подумал бурятский лама, — иначе может случиться что-нибудь непредвиденное».

«Так может смотреть только интеллигент, — мысленно рассуждал пандит. — Как это я сразу не разглядел в нем образованного человека? Интересно, какие цели он преследует... Конечно, он не лама и не настоящий паломник. Кто же он?»

Пандит сложил пальцы в мудру «священного колеса». Немного поколебавшись, бурятский лама ответил ему мудрой «колесницы». Тогда пандит сложил ладони в знаке «намаскар», означающем приветствие. Лама ответил сложной фигурой, символизирующей ясность, определенность. «Встреча», — показал индус. «Встреча», — ответил бурятский лама.

Ликующая толпа разделила их. Но они отыскали друг друга и пошли рядом.

— Что, если после аудиенции? — тихо спросил пандит по-монгольски.

— Когда взойдет луна, — на том же языке ответил бурят.

— Где? — прошептал пандит.

— У дворца Шадда, — ответил лама.

Они еле заметно кивнули друг другу и разошлись.

В тот же день Цыбиков посетил Цэрена и все рассказал ему об индийце, который так беспокоил их своим тайным и зловещим соперничеством.

— И все же это может быть ловушкой, — сказал Цэрен. — Пойду я. Вы и так слишком на виду. К тому же мне легче будет оправдаться...

Когда Цэрен прошел через Бирюзовый мост, сзади него возникли две тени. Бесшумно выпрыгнули они из черного сумрака галереи на лунную дорогу. Но что-то звякнуло вдруг в тишине. Может, это оружие задело о кольчугу, а может, просто упала серебряная монета на каменную плиту. Монгол вздрогнул и оглянулся, словно услышал, как резко зазвенел тот самый астральный колокольчик. Здесь-то и набросили ему на голову мешок.

Он не вскрикнул и покорно дал себя связать. Только подумал, что пандит все же предал их, заманил в ловушку. Недаром он следовал за ними, как тень. Недаром, улучив момент, вовлек Цыбикова в немую беседу посвященных. Но разве знание мудры — вина? Разве не может бурятский лама тянуться к истокам буддизма? К истокам индийского

света? К тому же они убедятся сейчас, что ошиблись! Не того взяли...

Его втолкнули в носилки и куда-то понесли. Он слышал, как шаркают по земле подошвы — торопливо и часто. Очевидно, его носильщики шли быстрым, сбивающимся на бег шагом. Носилки тяжело колыхались в их неловких руках. Вскоре похитители поставили носилки на землю, и пленник больно зашиб локоть от резкого толчка. Тихо пошептались о чем-то, отдыхая. Потом так же резко рванули носилки с земли, и опять по лунной пыли неведомых улиц зачастили шаркающие шаги.

Все чаще останавливаясь для отдыха, неизвестные похитители протащили его через весь город. Наконец, в последний раз бросив носилки, они выволокли его и куда-то повели. Потом был подъем по лестнице, спуск и опять подъем. Тепло, запах курительных свечей и горящего масла подсказали пленнику, что он находится в комнате. Его развязали, сняли с головы душный мешок.

Неяркий огонек в масляной плошке не резал привыкшие к темноте глаза. Цэрен огляделся. За низким лакированным столиком сидел лама в тоге, казавшейся почти черной. Рядом с ним стояли письменный прибор и глиняный, оправленный в серебро чайник. На полу лежала плетеная циновка. Перед бронзовой статуэткой Майтреи медленно дымилась красная точка курительной свечи. Лампадка оставляла лицо черного ламы в тени. Молча смотрел он из этой тени на Цэрена, неподвижный, как мумия. Даже пламя не шевелилось от его дыхания. Потом вдруг как-то совсем буднично сказал по-русски:

— Рад видеть вас у себя, милостивый государь. Прошу садиться. Не взыщите, что нет стульев. Сами понимаете, обстоятельства.

Цэрен молча стоял посреди комнаты. Перебегающими иголочками возвращалось кровообращение в освобожденные от веревок руки. Ослепительной вспышкой возникло в мозгу лицо пандита. «Где?» — спросил он Цыбикова по-русски в той праздничной толпе. «Где?» Значит, все было недаром. Слежка, тайная беседа на пальцах и это неожиданное русское «где». За ними наблюдали все время, их подозревали, может быть, многое знали о них. Припомнился одноглазый и смерть его в перестрелке, в которой все стреляли в воздух, и загадочное поведение хамбо-ламы в Нагчу.

— Для чего вы предприняли эту ночную прогулку и кто вас ждал у дворца Шадда? — опять по-русски спросил его черный лама.

«Нелепый вопрос. Уж это-то они знали точно, — кто и зачем ждал его».

— Молчать бессмысленно, дражайший. Вас взяли рядом с условленным местом. Вы шли на тайное свидание, это установлено. С кем?

А он подумал, что молчание тоже выдает его. Бурятский лама должен хоть что-то знать по-русски. И раз его принимают за Цыбикова...

— Я плохо говорю на этом языке, — по-монгольски ответил Цэрен.

— Да ну? — казалось, искренне удивился черный лама. — С каких это пор? — и, переходя на монгольский, со вздохом сказал: — Подчиняюсь вашей причуде. Но должен вам заметить, вы сами вскоре откажетесь от нее.

«Почему делами лхасской полиции ведают черношапочные ламы? Или это не полиция? А может, он вовсе не черношапочный лама?»

Пленник чувствовал, что очень многое зависит от правильного ответа на эти вопросы. Отчаянно необходимо было знать, где он и кто этот человек в черном, который так легко и свободно говорит по-русски и по-монгольски.

— Кто вы? — спросил он. — Зачем меня похитили? Где я?

Черный лама тихо рассмеялся.

— Прошу понять одно, — сказал он. — Вас арестовали, когда вы шли на тайную встречу. Этого вполне достаточно, чтобы... Но неужели вы сами не понимаете? Право, ваше запирательство похвально, но не надо впадать в излишнюю наивность. Какие дела могут быть у монгольского монаха с индийским пандитом?

«Да, шел на встречу с пандитом! Это так. Отрицать не приходится... Но какая в том крамола? Сам факт не может еще служить обвинением. Но, с другой стороны, он вызывает ряд весьма серьезных вопросов. Все дело в том, как лучше ответить на них. Ответ должен снять все подозрения. Нужно придумать безупречное объяснение!.. Правда, остается еще сам пандит. Но что он может добавить к тому, что было? Нет, нет! Ответ должен вмещать в себя все: и сговор о тайной встрече, и мотивы, по которым бурятский паломник мог на такую встречу пойти».

— Мне жаль напрасно расходуемой вами мыслительной энергии, — тихо сказал черный лама, вновь переходя на русский. — Все это впустую. Допустим, вы найдете сейчас более или менее удовлетворительное объяснение вашей ночной прогулки к дворцу Шадда. Что с того? Или вы полагаете, что здешнее правосудие руководствуется римским правом? Никакие слова не могут снять подозрений. А что, кроме слов, сможете вы положить на алтарь истины? Итак, о чем собирались вы говорить с пандитом?

О чем собирались с ним говорить? — по-монгольски повторил черный лама.

— Весь долгий и тяжелый путь сюда, — сказал Цэрен, садясь на циновку, — я страдаю от того, что получил некоторое образование в светской школе. Да, меня интересуют святыни Лхасы. Что в том плохого? Почему я не могу встретиться с образованным человеком из далекой страны? Почему мне нельзя побеседовать с ним?

— Ночью? В темных арках заброшенного дворца?

— Да, ночью, в уединенном месте. Всех здесь в чем-то подозревают! Так неужели понятное желание избежать лишних подозрений тоже может быть поставлено в вину?

— В вину можно поставить все, что угодно. Вы это прекрасно знаете. Даже отсутствие всякой вины может быть расценено как изощренная ловкость преступника. Не в вине суть. Кто следил за вами?

— Да хотя бы тот же пандит! Я видел в нем назойливого шпиона. Когда же он подошел ко мне, я даже обрадовался возможности поговорить с ним и уладить возникшее недоразумение.

— Чего же хотели вы достичь нынешней ночью: усыпить подозрения шпиона или найти ответы на вечные вопросы в беседе с ученым пандитом?

— И того, и другого. В зависимости от обстоятельств.

— Прошу пояснить.

— Я и до сих пор не знаю, кто этот индиец. Может быть, он такая же жертва всеобщей подозрительности, как и я. Не исключено также, что это именно он заманил меня в ловушку.

— Прямота и отлично разыгранная наивность ваших ответов может, согласен, растрогать такого человека, как я, всегда готового отдать должное партнеру, — черный лама вновь заговорил по-русски. — Лхасская полиция же этого просто не оценит. Вы взяли неверный тон. Или с полицией вы предполагаете говорить иначе? Я не хочу изнурять вас дальнейшим допросом, так сказать, втемную. Почему вы взяли на себя роль Цыбикова? Давайте говорить откровенно, где Гонбочжаб Цэбекович? Зачем вы пришли вместо него?

«Все кончено. Разоблачены. Теперь действительно все кончено. Но как они могли узнать? Непостижимо... Может быть, кто-то из знакомых бурят увидел его здесь?»

— Не ломайте понапрасну голову. Все в мире имеет естественное объяснение. И даже здесь, среди молитвенных колес Тибета, самое простое объяснение будет и самым разумным. Я узнал вашего друга. Это Гонбочжаб Цыбиков.

— Узнали?!

— Вот вы и заговорили по-русски! Я же предупреждал, что вы сами прекратите бессмысленную игру. Похвально-с!

— Разве я сказал это по-русски? Впрочем, теперь это не имеет значения. Теперь...

— Вы правы, это не имеет теперь значения. А я действительно узнал его. И вас тоже.

Черный лама снял шапочку и, взяв лампадку, приблизил ее к своему лицу.

Цэрен наклонился, напряженно вглядываясь в резкие черты совершенно незнакомого лица. «Нет, я никогда не встречал его. Никогда. Он не тибетец, не бурят, не монгол. Похож на корейца или на японца».

Вдруг лицо черного монаха неуловимо изменилось. Шире раскрылись черные щелки глаз, выпятилась нижняя губа, щеки разошлись в доброй и глуповатой улыбке.

— А господина не хосит лазве больси лапси?

«Свист в ушах. Как астральный колокольчик. Поймать. Ухватить. Так, так... Поезд. Колеса. Белая струя пара. Все не то, не то. Китобойная шхуна. Прогорклый запах ворвани. Самоходный корвет. Две мачты со снастями. Дым из трубы. Параллельно горизонту. Или трехтрубный крейсер? Нет, не то, но где-то рядом, где-то совсем рядом. Надо возвратиться, возвратиться... Куда? Забыл! Флотские офицеры? Духовой оркестр на разряженной барке. Китайские фонарики. Фейерверк. Военный оркестр. Тамбурмажор. Полонез. Штабс-капитан Цикламенов. Офицерское собрание! Бильярд!! Повар-китаец!!! Вот!!!»

— Ли-хуэнь!

— Ай-я-яй, дорогой Цэрен! Забыли старого знакомого. А я так вас сразу узнал. Нехорошо, ученый господин, право, нехорошо! Но я на вас не в обиде.

— Как прикажете именовать вас теперь? — спросил Цэрен.

Он припомнил повара-китайца, у которого столовался в бытность свою в далеком русском городе Владивостоке.

— Перед вами настоятель одного очень древнего буддийского храма, расположенного в уединенной долине страны Ниппон.

— Что же вы делаете здесь, в Тибете, святой настоятель?

— Э нет, так не годится, милостивый государь. Я уже достаточно пришел вам на помощь. Не стремитесь пока к большему. Спрашивать буду я... Для начала позволю себе спросить вас и о господине Цыбикове, и о господине пандите. Я хочу знать, когда и где вы познакомились с ним? Что у вас общего?

— Сегодня должна была состояться первая наша встреча.

— Вот уже несколько дней индийца и Цыбикова видят вместе. Не надо глупой лжи. Иначе не рассчитывайте на пощаду. Своих-то встреч с Цыбиковым вы, надеюсь, не отрицаете?

— Самое смешное, святой настоятель, что я говорю правду. И теперь, и ранее я сказал чистую правду об индийце.

— Прошу запомнить, — тихо сказал черный лама, — что я не остановлюсь ни перед чем, чтобы заставить вас сказать все. Мне нужно знать, что связывает вас с этим пандитом. И я узнаю это, невзирая ни на что. Пандит уже заговорил. Сейчас я только уточню у него некоторые сведения. После этого вы будете отвечать мне вдвоем. Обдумайте пока свое положение. А где теперь господин Цыбиков? И не создавайте себе сладких иллюзий. Я располагаю абсолютными методами узнавать правду. Встать! — закричал он, подымаясь из-за столика.

Цэрен встал.

— К стене!

Подошел к стене.

— Вытянуть руки!

Уперся ладонями в стену.

Черный лама быстро провел руками по его одежде.

— Можете сесть, господин Цэрен, — спокойно заметил он, не найдя оружия.

Взяв с письменного прибора ножички и тушевые иглы, он вышел из комнаты. Дверь за ним закрылась. Звякнул тяжелый тибетский замок.

Цэрен быстро огляделся. Окон в комнате не было. Медленно обвел всю ее внимательным, сосредоточенным взглядом. Циновка из рисовой соломки, чайник, расписной столик, светильник, Майтрея — все. Свечка у Майтреи обратилась в тонкий столбик серого пепла. Он встал и потянулся к бронзовой статуэтке, но тут же опустил руку. Сломанный столбик пепла мог выдать. Осмотрел столик. Внимание его привлек маленький, позеленевший от времени субурган, который, как пресс-папье, прижимал бумажную стопку. Он взял его в руки и повернул основанием к себе. Тонкий лист меди закрывал круглое отверстие. На металле ни вмятины, ни царапины. Субурган никогда не открывали. Выгравированные на медной крышке скрещенные ваджры охраняли чьи-то святые останки. В центре эмблемы был мистический знак Янь и Инь, символизирующий единство противоположных начал в природе. Цэрен перевел взгляд на лампаду. Подумал, что и запах паленого может

выдать. Поискал, чем бы открыть субурган. Взял со столика кисточку с острой костяной ручкой и попытался поддеть крышку. После некоторых усилий она отлетела с тихим печальным звоном. Субурган был набит можжевеловой хвоей, в которой покоились цилиндрики с молитвами. Осторожно поставив крышку на место, но не закрепив, он вдрузил субурган на столик. После этого той же костяной ручкой вспорол подкладку своего халата и достал оттуда похожие на хранящиеся в субургане цилиндрики. Засунув их поглубже в можжевельник, закрыл субурган и поставил на место. Потом положил кисточку в лакированный черный пенал. Теперь можно было не опасаться обыска.

Пандита схватили, как только наблюдатели донесли, что бурятский лама вступил на мост. Связанного, с мешком на голове, принесли его в тот же самый трехэтажный дом с окнами во внутренний дворик, который стоял на глухой окраине Лхасы. Владея высокой культурой йоги, пандит, оказавшись в носилках, легко освободил руки и проделал дырку в мешке. Поэтому он знал, куда его принесли.

В комнате, где с него сняли мешок, не было ничего, кроме циновки, чайника и лампады. Его оставили здесь одного, и долго никто к нему не приходил.

«Допустим, этот мнимый бурятский лама оказался шпионом, — рассуждал пандит. — Его подослали ко мне, чтобы завлечь в уединенное место. Но зачем? Разве трудно арестовать меня дома или на улице? Что-то я не заметил, чтобы тибетская полиция практиковала тайные аресты. Тогда зачем все это? Может быть, агенты, которым поручили арестовать меня, просто поторопились? Не дождались, пока мы встретимся, пока лжелама не вытянет из меня неосторожных слов. Все это слишком неуклюже, чтобы быть правдой. Очевидно, за кем-то из нас следили и, выяснив, что мы как-то связаны, решили арестовать. В таком случае должен быть арестован и этот бурят. Наконец, последнее время мы часто оказывались рядом, а это тоже могло внушить подозрение...»

Брякнул бронзовый замок, и дверь, скрипя, отворилась.

— Здравствуйте, господин пандит. Рад вас вновь видеть у себя, — сказал, входя в комнату, лама в черной тоге.

Пандит сразу узнал его.

— Вот уж не думал, что вы станете прибегать к столь недостойным методам, святой отец, — сказал он.

— Вы тоже обманули мое доверие, господин пандит.

— Зачем вам понадобилось это похищение, эти носилки? Неужели...

— Я выдам вас китайской администрации, господин пандит, — перебил его черный лама, — если вы не расскажете мне о себе все. Не кажется ли вам, что роль агента несколько не вяжется с вашей глубокой ученостью и утонченным гуманизмом?

— Вы ошибаетесь, святой отец, я...

— Для вас я уже не лама! — повысил голос японец. — Я самурай и слуга императора! Если вы не дадите нужных мне сведений, то завтра же вас передадут в руки амбаня! Надеюсь, мне не надо объяснять, что с вами сделают китайцы?

— Не надо запугивать меня, господин самурай. Вы слишком тонкий человек, чтобы не понимать этого. Ни угрозой, ни пыткой вы не узнаете от меня больше, чем я захочу сказать. Вы же знаете, что я сам смогу остановить свое сердце. Давайте говорить как здравомыслящие люди. Однажды мы сумели договориться...

— Однажды я просто пощадил вас... Хорошо, давайте говорить как разумные люди. Мои агенты поторопились схватить вас и этого русского.

— Он русский?

— Вы знаете лучше меня, кто он.

— Я скажу вам всю правду. Этот человек слишком часто появлялся на моем пути, чтобы я мог его не заметить. Сначала я решил, что он следит за мной. Потом понял, что он выполняет какую-то миссию. Тогда я решил встретиться и поговорить с ним. Очевидно, это навело вас на его след, и вы, решив, что мы связаны, предприняли эту акцию. Она неразумна, святой отец.

— Допустим. А зачем вы решили встретиться?

— Чтобы, по меньшей мере, не мешать друг другу.

— Довольно, господин пандит! — Японец раздраженно махнул рукой. — Я по горло сыт разговорами о гуманизме. Я обращаюсь к вам, как разведчик к разведчику: мне нужны доказательства, что вы не связаны с русской секретной службой. Вот и все. Либо я получу их, либо... Мне нет дела до того, как вы именуете свою миссию, но она на этом закончится. Вы понимаете меня?

— Я не разведчик, святой отец, по крайней мере не такой, как вы, но я понимаю вас. Боюсь только, что, кроме честного слова, у меня не найдется других доказательств.

Раскрылась дверь, и в комнату вбежал молодой монах в такой же, как у японца, угольно-черной тоге.

Он что-то прокричал по-японски. Пандит разобрал только два слова: «англичане» и «сэнсэй».

Черный настоятель сразу же поднялся и, чуть наклонив голову, сказал:

— Я покину вас на некоторое время, господин пандит.

Японцы ушли, заперев за собой дверь...

Загрохотал замок, и в комнату Цэрена в сопровождении черного ламы вошел пандит. Он по индийскому обычаю сложил ладони на груди и поклонился, Цэрен ответил на поклон.

— Садитесь, господа, — сказал по-английски японец, указывая на циновку, — я свел вас здесь не для допроса. Произошло событие, резко изменившее все мои намерения и планы. Надеюсь, что оно затронет также и вас. Только что получено известие, что английская армия перешла индийско-тибетскую границу.

Пандит тихо вскрикнул и беспомощно развел руками.

— Да, господа, — продолжал японец. — Несколько кавалерийских эскадронов и дивизион горной артиллерии движутся уже по дороге к Лхасе. Это вторжение! Артиллерия жестоко подавляет всякое сопротивление. Не сомневаюсь, что страна будет оккупирована. Китай вряд ли вмешается... Вы не ожидали этого, не правда ли, господа?

Цэрен молча затряс головой. Пандит все так же беспомощно развел руками.

— И я, признаться, не ожидал, — японец опустил голову, — хотя ничего неожиданного тут нет. Все в порядке вещей. Теперь вся наша возня становится бессмысленной. Для меня по крайней мере. Я не питаю к кому-либо из вас личного зла. Посему и отпускаю вас, господа... На свой страх и риск. Советую поскорее покинуть Лхасу.

Он встал. И они тоже поднялись со своих мест.

— Торопитесь, господа, — сказал японец, открывая дверь.

— А вы? Что будете вы делать, господин настоятель? — нерешительно спросил пандит.

— Мне надлежит сделать то, что положено японцу, который не оправдал доверия своего императора, — спокойно сказал он, освещая им лестницу лампадой. — Прощайте, господа.

Они спустились во внутренний двор и длинной, как тунель, подворотней вышли на улицу. Над Лхасой уже занимался зеленый рассвет.

Они молча поклонились друг другу и разошлись. Цэрен поспешил к Цыбикову, который уже давно ждал его и, наверное, волновался.

Индиец же, сосредоточенно глядя себе под ноги, пошел куда глаза глядят.

Он принял весть о вторжении как личное крушение. Нет, дело было вовсе не в том, что его обманули. Его никто не обманывал. Он знал, что по его следам рано или поздно пойдут солдаты, но не хотел этого знать. Пусть даже это не он, а те безымянные пандиты, которые побывали здесь до него, проложили дорогу горной артиллерии. Но что это меняло для него лично? Разве не взял он на себя определенную миссию, которую даже наедине с собой не решался назвать подобающим словом? И разве английский полковник снисходительно не подыграл ему в этом стыдливом умолчании? Тот самый полковник, который послал в Тибет его и еще многих до него и который ведет теперь на Лхасу войска...

Есть неумолимая логика поступков. Именно она, а не тайные благие желания людей, управляет событиями.

Все желания и все мысли, которые родились в тот день, когда он дал свое согласие, так и остались в нем. И так же молчаливо они умрут. Их просто нет для мира, поскольку они не воплотились в деяния. Но между той необратимой минутой согласия и страшной вестью о военном вторжении уже установилась беспощадная, ничем не прикрытая связь. И в том увидел пандит проявление неумолимой логики поступков, которые, как часто оказывается потом, противоречат первоначальным желаниям.

Когда взошло солнце, в небе закружился сухой колючий снег. С тихим звоном падали на холодную землю крохотные льдинки. Казалось, что где-то далеко-далеко, в пещере отшельника, звонит астральный колокольчик. Лхаса проспала последнюю мирную ночь своей истории. А бронзовые боги все улыбались неповторимой улыбкой отрешенности и всезнания.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА

Специалисты-тибетологи легко узнают в главном герое этого повествования реальное историческое лицо: Гонбочжаба Цэбековича Цыбикова, замечательного русского путешественника, успешно завершившего героические исследования Пржевальского, Козлова, Роборовского. Кто же тогда Р. Н.?

Цыбиков действительно встретил в Лхасе тайного агента англичан — индуса, о котором нет почти никаких сведений.

Англичане несколько раз засылали под видом паломников хорошо обученных индийских пандитов в недоступные области Гималаев. Наиболее известен среди них Сарат

Чандр Дас, оставивший после себя интересные путевые дневники. Но Цыбиков и Дас посетили Тибет в разное время. Пандит Р. Н. выступает, таким образом, как своего рода собирательный образ. В лице пандита Р. Н. автор хотел показать особый род разведчика — высокообразованного и любознательного путешественника, так сказать, разведчика поневоле, что, конечно, не помешало английским колониальным властям провести детальную разведку дорог и послать военную экспедицию. Английское вторжение в Тибет состоялось через два года после путешествия Цыбикова, но как раз в тот момент, когда в Лхасе еще находился последний из разведчиков-индийцев — пандит М.

Дневники Даса и Цыбикова содержат ряд невосполнимых пробелов. Именно это обстоятельство и поставило автора перед проблемой логической реконструкции некоторых событий. Конечно, автор расспрашивал специалистов, рылся в архивах, даже совершил поездку по следам своих героев. И все же главным орудием по восстановлению утраченных звеньев повествовательной цепи было воображение — по сути основное орудие писателя. И хотя автор исходил из характеров героев, конкретной исторической обстановки, опирался на многочисленные документы, все же только с помощью вымысла удавалось перебросить мосты через провалы незнания.

Есть, конечно, некоторая опасность в столь откровенных признаниях. У читателя может возникнуть соблазн провести слишком резкую и определенную границу между авторским вымыслом и исторической правдой. Так поступать не следует. Реальность иногда бывает более фантастической, чем любой вымысел, а фантазия позволяет воссоздать исторические события с большей полнотой, чем подробная летопись.

Итак, автор постарался показать читателю «закрытый» Тибет в кульминационный момент истории.

В 1904 году английская военная экспедиция пересекла границу Индии с Тибетом и вторглась в страну. Сопротивление слабой и плохо вооруженной тибетской армии было подавлено огнем горной артиллерии. Овладев перевалами, англичане взяли под контроль все дороги и начали наступление на Лхасу. Вскоре столица далай-ламы была оккупирована иностранными войсками.

Книга непосредственно подводит читателя к этому эпизоду. Это тоже не случайно. После оккупации маленькой свободолюбивой страны уже нельзя было говорить о «закрытом» Тибете. Военная экспедиция как бы подвела своеобразный итог многолетним исследованиям Тибета. И как бы ни

обманывался на свой счет один из героев этой книги, пандит Р. Н., он, безусловно, облегчил путь английским войскам. Но для нас более существенно другое: пандит и бурятский лама были последними, кто видел Тибет перед оккупацией, наложившей роковой отпечаток на судьбу страны.

Поэтому вполне закономерно закончить повествование именно на этом событии.

Автор прощается с читателем и желает ему благополучия: «Сарва мангалам».

## СПИСОК ЧАСТО УПОТРЕБЛЯЮЩИХСЯ ТИБЕТСКИХ, КИТАЙСКИХ, МОНГОЛЬСКИХ И САНСКРИТСКИХ СЛОВ

**Абидарма** — метафизическое учение о высшем разуме *(санскр.)*.

**Авалокитешвара** — бодисатва (десятиликий Арьяболо, Львиноголосый и т. п.). Далай-ламы считаются «перерожденцами» Авалокитешвары (*санскр.*).

«**Авеста**» — священная книга древних персов.

**Адибудда** — создатель мира (*санскр.*).

**Алун** — серьга в виде кольца с бирюзой. Носят в левом ухе.

**Амбань** — китайский наместник.

**Амдо** — область, населенная преимущественно монголами.

**Ани** — монахиня.

**Ара** — китайская водка, спирт.

**Аргал** — сухой помет, служит для топлива.

**Архат** — святой отшельник (*санскр.*).

**Арьяболо** — см. **Авалокитешвара**.

**Асана** — поза (*санскр.*).

**Ахимса** — принцип, запрещающий причинять вред живому (*санскр.*).

**Багаван** — см. **Будда**.

**Балины** — символические жертвы из теста.

**Банак** — тангутская черная палатка.

**Бардо** — время между смертью и новым перерождением.

**Бо (Бонь)** — шаманство (*монг.*).

**Богдыхан** — китайский император.

**Бодисатвы** — класс буддийских божеств.

**Бой** — курительные свечи.

**Бонь-по (Бон-па)** — древняя религия Тибета, см. **Бо**.

**Брама** — один из верховных богов брахманистов (*санскр.*).

**Брахманы** — высшая каста индийских жрецов.

**Будда** — буквально «осененный истиной» (*санскр.*). Так стал называться Гаутама (Сидраккха, Шакья-Муни) после просветления. По-тибетски — Чжу.

**Будды** — класс буддийских божеств.

**Бхава-чакра** — колесо жизни.

«**Бхагавад Гита**» — священная древнеиндийская поэма.

**Бутии** — племя.

**Ваджра** — священный жезл, символ грома.

**Ваджрапани** — последний из пантеона 1000 будд. Изображается с **ваджрой** (см.).

**Ван** — князь.

**Веды** — древние санскритские тексты.

**Вишну** — бог созидания (*санскр.*).

Виная — правила монашеской жизни (*санскр.*).

Габал — чаша-череп.

Гадам-побран — дворец в Ташилхуньпо.

Гологи — кочевое племя.

Гуань-инь — женское китайское божество, аналогичное Авалокитешваре (см.).

Гуру — учитель (*инд.*).

Гэлугпа — господствующая в Тибете «желтошапочная» секта.

Гэсер-хан — легендарный герой монгольских и тибетских сказаний.

Далай-лама — верховный лама, правитель Тибета.

Дацан — религиозный центр, факультет.

Джайнизм — религия в Индии, близкая к буддизму.

Долма-Тара (Белая и Зеленая) — женское божество.

Дорин — длинный камень, колонна.

Дрилбу — священный колокольчик.

Дун-ингши — придворный писец (*тибет.*), высокий чин.

«Дхаммапада» — памятник раннебуддийской литературы.

Дэмчок — страшное божество-хранитель.

Еграи — племя.

Ира — кушак.

Кали — супруга Шивы, богиня смерти (*санскр.*).

Кам — провинция Тибета.

Ла — перевал (*тибет.*).

Лама — буквально «выше нет» (*тибет.*) — монах.

Лан — единица веса (*кит.*), равная 37,3 грамма.

Ландарма — царь, гонитель буддизма.

Лимбу — племя.

Лин — дворец хутухту (см.).

Линхор — круговой обход лхасских святынь.

Лхамо, Палдан-Лхамо — страшная богиня, покровительница Лхасы.

Майтрея — бодисатва, будда грядущего мирового периода (*санскр.*), Чжамба-Гонбо (*тибет.*).

Манджушри — бодисатва, «милостивый Будда» (*санскр.*).

Мандал — символическое изображение мира.

Мани — молитва (*санскр.*).

Мэньдон — священная стена.

Мара — бог смерти, демон зла (*санскр.*).

Махаяна — «великая колесница», направление в буддизме (*санскр.*).

Мудра — исполненное смысла положение пальцев (*санскр.*).

Мурва — просо (*тибет.*).

Нагарджуна — основатель махаяны (см.).

Нгари — провинция Тибета.

Накорпа — паломник (*тибет.*).

Обо — священная куча камней (*монг.*).

Орос — европеец (*монг.*).

Падма-Самбава — проповедник буддизма в XI веке.

Паньчэнь-лама — (паньчэнь-ринпочэ) — второй высший иерарх Тибета.

Патра — нищенская чаша.

Потала (Вудала) — резиденция далай-лам.

Риньпочэ — великая драгоценность (*тибет.*), хутухту (*монг.*) — «перерожденец» великого ламы.

Рупия — индийская монета.

Сакья-Муни (Шакья-Муни) — см. Будда.

Салары — китайские татары.

Санскара — цепь перерождений (*санскр.*).
Секты: гелукпа — господствующая;
каргидпа; карма;
нинма — старая красношапочная;
сакья — красношапочная;
сангоспа;
сарбо — новая.
Сронцзан-гамбо — царь, легендарный основатель Лхасы.
Субурган (ступа, чайтья, чортэнь) — буддийское культовое сооружение.
Сутры — поучения Будды (*санскр.*).
Сэрбум — золотая урна, куда кладутся билетики с именами кандидатов в далай-ламы.
Тантра, тарни-чжюд — мистическое учение.
Тарни — см. тантра.
Тулку — «перерожденцы» настоятелей крупных монастырей (*монг.*).
Упанишады — древние санскритские тексты.
Хадак — шелковый шарф для подношений.
Хамбо — духовный глава дацана.
Хара-сульта — вид антилоп (*монг.*).
Хинаяна — «малая колесница», направление в буддизме.
Хутухту — см. риньпочэ.
Цандан — сандаловое дерево.
Цзамба — поджаренная ячменная мука.
Цзонхава — реформатор буддизма в Тибете.
Цинпонь — китайский чиновник.
Чан — тибетское пиво.
Чжу — см. Будда.
Чойчжоны — страшные духи, хранители учения.
Чох — китайская медная монета.
Шакти — женское божество.
Шакья-Муни (Сакья-Муни) — см. Будда.
Шэньрэзиг — см. Авалокитешвара.
Шива — бог разрушения (*санскр.*).
Юдам — охранительное божество.
Ямантака — страшный дух-покровитель.

# ПУТЬ ДАЛАЙ-ЛАМЫ

*(Послесловие к «Бронзовой улыбке»)*

Настоящее — следствие прошлого и причина будущего. В буддизме эта тривиальная истина возведена в ранг абсолюта. Ее олицетворяет колесо закона, осеняющее пагоды и монастыри.

В одной из поездок по Индии я посетил «Тибетский дом» — нечто среднее между храмом, постоялым двором и представительством далай-ламы, проживающего в курортном местечке Дармасала, где после восстания 1959 года нашли приют многие из бежавших вместе с ним тибетцев.

Я заполнил специальный листок, где требовалось указать обычные анкетные данные и цель предполагаемого посещения первосвященника. Внимательно изучив анкету, управитель сказал, что его святейшество охотно встретится со мной, но это будет не ранее, чем через две недели, когда он вернется из дальней поездки.

— К сожалению, срок моей командировки заканчивается несколько раньше. — Я не сумел скрыть огорчения.

— Ничего, — управитель попытался утешить. — Вы родились в год Деревянной Свиньи, как и его святейшество. Звезды благоприятствуют встрече.

И она действительно состоялась — ровно через пять лет — в столице Монголии Улан-Баторе, куда далай-лама приехал, чтобы принять участие в Пятой Азиатской буддийской конференции за мир (АБКМ).

Гандантэгчинлин — внушительный комплекс храмов, монастыря и духовной школы, основанной в 1838 году, — сверкал свежей краской и позолотой наверший. Трепетали на ветру флаги пяти стихий, придавая происходящей церемонии некий надмирный, космический смысл. Обширный двор обегала ковровая дорожка, застланная желтой широкой лентой, символизирующей путь ламаизма, на который высокий гость ступил сорок четыре года назад.

В главном храме было не протолкнуться. Желтые, красные, красно-желтые сангхати монахов казались при ярком электрическом свете языками пламени. Ухали барабаны, звенели серебряные колокольчики, голоса лам, читавших

священный ганчжур, сливались в однообразный рокочущий напев.

Он сидел у северной стены на высоком троне, принадлежащем хамбаламе С. Гомбожаву, президенту АБКМ, главе монгольских буддистов, члену Всемирного Совета Мира. Перед ним стояли украшенная кораллами мандала — символ вселенской мощи, сосуд с амритой — напитком бессмертия, заткнутый кропилом из павлиньих перьев. Сзади, освещенные лампадами, сверкали позолоченные фигурки богов, впереди выстроилась очередь лам с голубыми шарфами — хадаками — в руках. Это был одновременно и молебен, который служил сам далай-лама, и аудиенция, которую высший иерарх ламаизма давал монгольскому духовенству, связанному с его покинутой родиной давними и сложными отношениями.

Я следил за плавными и очень точными жестами далай-ламы и невольно любовался искусством и быстротой, с которыми он касался склоненных голов. В его прикосновениях ощущались ласка и дружелюбие, его улыбка всякий раз была неожиданной и глубоко личной, словно предназначенной именно для того человека, который вручал в данный момент голубой шелк привета.

Как и другие, он был очень коротко острижен, его красное с желтыми концами монашеское платье открывало, по уставу, правое плечо, как у Будды Шакья-Муни на свитке, осенявшем «львиный» с пятью подушками трон. Смуглое, красивое, очень живое лицо, простые, чуть притемненные очки, и всякий раз, как нежданная вспышка, подкупающая улыбка на точеном скуластом лице.

На церемонии присутствовали только ламы, немногочисленные паломники и местные журналисты. Ни один иностранный гость, прибывший на конференцию, а тем более корреспондент, несмотря на все ухищрения, не был сюда допущен. Мне не стыдно признаться, что я испытывал суетную мирскую радость при мысли о том, что одно-единственное исключение все же было сделано...

Я стоял в четырех шагах от трона, преисполненный ликования, жгучего интереса, словом, чего угодно, но только не смирения, как этого требовали обстоятельства, нет. Впервые посторонний, да еще заведомый атеист, открыто, не таясь, мог присутствовать на богослужении живого бога. Да и сам Четырнадцатый далай-лама молился на монгольской земле тоже впервые.

На другой день, выступая с трибуны, украшенной знаком скрещенных громовых стрел, он скажет:

— Чудесный цветок расцвел на прекрасной земле Монголии, издавна связанной с моей страной. Если мир

станет высшей целью каждого человека, не будет войн на земле.

Познав войны и беды, он понял, что из всех высоких истин самая высокая — мир. Я видел, как служки бережно расправляли ту желтую ленту во дворе, на которую он должен был ступить, как разглаживали на ней каждую морщинку. Старый, согбенный лама, поддерживаемый с двух сторон, не решился даже выйти на воздух присесть, потому что не имел сил перешагнуть эту неприкосновенную трассу, на которой не мог быть оставлен ничей посторонний след.

Как все же разнятся отвлеченная аллегория и реальность. В жизни Четырнадцатого далай-ламы не часто выпадали прямые безоблачные пути. Разве что в раннем детстве, если только было оно у человека, рожденного стать богом.

В синонимическом ряду «живой бог», «великий лама», «второй кормчий» последнее определение представляется наиболее точным. И вот почему. В священных текстах Тибета говорится: «Хороший друг подобен проводнику при отправлении в неведомую страну ужасов, подобен рулевому при переправе в лодке через большую реку... Хотя бы ты был исполнен всех достоинств и вошел бы в лодку великого учения, но если не будет ламы, то ты не будешь в состоянии спастись от санскары круговорота причин и следствий. Поэтому необходимо опираться на хорошего друга, как на рулевого». «Хорошие друзья» в ламаизме подразделяются на четыре ступени: лама, бодхисаттва, будда, воплощенный в человеческое тело, и, наконец бестелесный, пребывающий в совершенном блаженстве будда. Несмотря на то что лама занимает в этой иерархии лишь начальную ступень, его именуют самым полезным и важным «другом», способным направить человеческий дух на пути к совершенству в мрачном лабиринте грубой материи. Первые среди лам — паньчень и далай — «Великие кормчие»; хотя китайская пропаганда в недавнем прошлом присвоила сей предикат совсем иному лицу...

Название «лама» дословно означает «небесная матерь» и толкуется как «выше нет». И действительно, ламы безраздельно главенствуют в сложной иерархии северного буддизма. Лишь где-то в самом низу под ними находятся божественные бодхисаттвы, ужасные стражи веры, могущественные боги соседних народов, духи рек и духи гор.

Столь же строгой последовательности подчиняется и закон перерождений. «Магическое тело» будды или бодхисаттвы — это нить, на которую нанизываются жемчужины человеческих воплощений. Наиболее чтимым божеством из разряда бодхисаттв — существ, заслуживших нирвану, но

оставшихся помогать людям, — является Авалокитешвара, перерожденцами которого и считаются все далай-ламы.

«Вода эта — слезы мои, а ты их замутила, — говорится в тибетской сказке «Волшебный мертвец», — трава эта — волосы мои, а ты их рвала, земля эта — мясо мое, твои кони его топтали...»

Чтобы чужие лошади не подняли пыль на дороге вокруг Поталы, чтобы не замутили священные источники и не сожгли посевы чужие воины, были врыты в землю магические камни, обагренные кровью по обрядам древнего черношапочного тенгрианства. Китайскими иероглифами и тибетскими буквами высекли на них тексты мирного договора с Китаем, заключенного еще в 822 году, когда Тибет пребывал на взлете славы и могущества. До самых последних дней один такой камень стоял у входа в храм «Большого Чжу» — главной святыни Лхасы.

Тибетский текст — отрывки из него приводятся ниже — дает четкое представление о взаимоотношениях обоих государств в древности и столь же ясно отвечает на вопрос, вполне естественный, почему ныне у храма «Большого Будды» уже нет упомянутой стелы. Обратимся к тексту:

«Великий государь Тибета, Священный государь чудодейственных сил и Великий государь Китая, правитель Китая, Хуанди [император], племянник и дядя совещались друг с другом с целью сблизить их государства, и они заключили великий договор и пришли к такому соглашению... Тибет и Китай остаются в границах тех территорий, которыми они в данный момент владеют... Между двумя государствами не должно быть видно ни клубов дыма, ни столбов пыли, не может быть никаких внезапных подъемов войск по тревоге, и даже само слово «враг» не должно произноситься... [Мы] положив начало тому великому времени, когда Тибет будет счастлив на земле Тибета, а Китай на земле Китая, для того чтобы это клятвенное соглашение никогда не было нарушено, призвали в свидетели три сокровища (буддийской веры), все божества, солнце, луну, планеты и звезды».

Даже поверхностный анализ позволяет прийти к заключению, что обе стороны выступают на равных началах. И в этом смысле государь Тибета ни в чем не уступает императору Китая как суверенный монарх. Правда, поскольку китайский владыка считается обладателем некой трансцендентальной силы «дэ», то он претендует поэтому на известную божественность, что и указано в титулатуре. Но чисто юридически подобная декларация ничуть не ущемляет права Тибета. Тем более что через несколько веков тибетских царей сменят далай-ламы — «живые боги» и в этом отно-

шении установится полный паритет. Иное дело императорский титул. В феодальной иерархии он пользуется безусловным предпочтением. Поэтому в договоре, не затрагивая юридического равенства сторон, больший пиетет воздается владыке Срединного государства — «Сыну Неба». Всего лишь протокольная вежливость, не более. Отсюда и распределение «светил». Император, естественно, — солнце, а царь — луна, император — дядя, царь — племянник. В целом же древний насчитывающий одиннадцать столетий документ характеризует обе державы равно могущественными и равно преисполненными благих намерений. Существовала, впрочем, и еще одна вполне реальная сила: крупные феодалы, на которых работали тысячи крепостных. Государственные должности в Тибете, Бутане, в гималайских княжествах занимали всегда двое: лама (он был главным) и представитель одной из могущественных семей.

Монгольские завоеватели, особенно хан Хубилай, поддерживали влияние буддизма на души людей. Настоятеля самого влиятельного сакьянского монастыря сделали даже наместником императора. Точно так же поступили императоры Минской династии. Может быть, с той лишь разницей, что, проводя политику дробления страны, они не давали одним монастырям усиливаться за счет других. Поэтому буддистские секты в Тибете множились.

Против этого восстал легендарный реформатор Цзонхава — основатель секты гэлуг-па. Решив возродить древнебуддистские строгость и чистоту нравов, он ввел железную дисциплину и заставил монахов вновь надеть желтую одежду нищеты. Секту гэлуг-па за ее желтые тоги и головные уборы прозвали потом «желтошапочной», в отличие от ранее преобладавшей в Тибете «красношапочной» секты сакья.

Цзонхава написал комментарии к системе йоги, названные йога-ламой. Ее сущность в «беспрерывном и продолжительном почитании друга добродетели, безошибочного вожатого». «Другом добродетели», равным Будде, владыка желтошапочников назвал ламу.

Так Гималаи были поделены между «желтой» и «красной» верой. В Тибете и дореволюционной Монголии больше чтили Цзонхаву, к югу от Трансгималаев — Падма-Самбаву. Их изображения стоят рядом с образом Будды, а порой и первенствуют в ламаистских храмах. В Ладакхе, Сикриме, Бутане и горном Непале статуя Падмасамбхавы, держащего жезл с нанизанными на него мертвыми головами, всегда занимает главное место на алтаре, а в Гандантэгчинлине перед храмами сидит на высоком троне Цзонхава в желтой остроконечной шапке тибетского ламы.

Основное достижение реформы Цзонхавы касалось, однако, не форм религии, а, что гораздо важнее, создания иерархии. Он установил единую власть над всеми общинами и монастырями, которая была разделена между паньчень-римпоче и далай-ламой. Оба они были объявлены воплощениями самых чтимых божеств: паньчень — Будды Амитабхи, далай — Авалокитешвары.

Когда в Китае утвердилась Маньчжурская династия, во главе светской власти Тибета был поставлен один из главных желтошапочников — далай-лама, хотя в нем жила всего лишь душа бодхисаттвы, а не Будды, как у паньченя. Такое положение желтошапочной секты позволило ей завоевать ведущее положение. Другие секты сблизились с желтошапочной, сохранив немногие из прежних отличий. Ныне они разнятся друг от друга лишь собственным богом-покровителем. Ну и, разумеется, духовенству древнего толка попрежнему разрешается жениться. Это не курьезные исторические мелочи. Вплоть до недавнего времени они играли важную политическую роль в судьбах стран Центральной Азии. И продолжают играть теперь, хотя Тибет утратил самостоятельную роль, а от былой ламаистской «метрополии» осталось лишь одно независимое королевство да несколько чисто номинальных княжеств. Уже в нашем веке духовный и политический глава дореволюционной Монголии богдо-геген, несмотря на титул живого бога и высший монашеский ранг, взял в наложницы женщину княжеского рода, которую объявил своей шакти и воплощенной «Белой Тарой».

В 1911 году, когда в Халха-Монголии было свергнуто маньчжурское владычество, он провозгласил себя ханом и учредил феодально-теократическую систему правления. Свидетелями этих событий являются два столба: для государственного и религиозного флагов у парадных ворот зимнего дворца на окраине Улан-Батора.

В надежде нажить политический капитал богдо-геген обещал освободить всю страну от иноземных поработителей с помощью «Тары», ставшей год спустя его женой, но не прошло и десяти лет, как это совсем иным путем сделала революция... Как и далай-ламы, последний богдо-геген был «найден» в тибетской семье по приметам, известным лишь оракулам и астрологам, сумевшим разыскать младенца, в которого вселилась душа усопшего предшественника.

Уже с середины семнадцатого столетия новое воплощение почившего святого отыскивали в Тибете при помощи золотой урны — сэрбума.

Когда истекали три года со дня смерти воплощенного ламы, приступали к составлению списка детей, в которых

предположительно могло переселиться «магическое тело». Если речь шла о выборе далай-ламы или паньчень-ламы, то список предварительно направляли регенту. После тщательного изучения достоинств и прав различных кандидатов бумажки с их именами закатывались вместе с полосками, на которых было написано «да» и «нет», в шарики из ячменной муки. Далее эти шарики опускались в урну, поставленную на престол главной святыни Лхасы. Семь дней шли потом непрерывные моления божествам. На восьмой день чашу несколько раз встряхивали и приступали к жеребьевке. Тот, чье имя трижды выпадало вместе с шариком, в котором лежала бумажка «да», становился истинным воплощением.

К младенцу направляли специальную комиссию, которая устраивала ему небольшой экзамен. Чаще всего будущий святой должен был найти среди десятков однородных предметов (чаши, четки, кольца и т. п.) те, которые принадлежали усопшему ламе. Подобная система давала возможность регенту возводить на престол угодных лиц. Не было случая, чтобы намеченный на роль далай-ламы младенец не выдержал испытания, призванного утвердить сделанный выбор в глазах общественного мнения. Глубоко религиозные и восторженно настроенные тибетцы ждали чуда и всякий раз оно было явлено им.

Когда юному предшественнику нынешнего далай-ламы предложили найти среди нескольких, священных колокольчиков тот единственный, он долго и сосредоточенно молчал, а затем, нахмурившись, обратился к оракулу:

— Где мой любимый колокольчик? Почему я не вижу его?

И тут обнаружилось, что колокольчик прежнего далай-ламы «забыли» принести, за ним срочно послали, и юный наследник тотчас признал принадлежавшую ему в прошлой жизни вещь. Пораженные свидетели распростерлись перед ним со слезами умиления и надежды.

Такова официальная история далай-ламы по имени Нгаван Лобсан Тубдан-чжацо (1876—1933), чья душа воплотилась в ныне живущего Четырнадцатого. Волею случая, как мы увидим далее, ему было суждено возглавить древний, почти неведомый широкому миру религиозный институт.

Первым далай-ламой по традиции считается Гэндун-дуб (1391—1474). За ним непосредственно следовали: Гедун-чжацо (1476—1542) и приглашенный в Монголию победоносным Алтан-ханом Соднам-чжацо (1543—1588). Когда последний прибыл в лагерь хана, могущественный завоеватель назвал его монгольским именем «далай-лама», ибо по-монгольски «далай» означает то же, что по-тибетски «чжацо» — океан. Случайно это слово входило и в имя

предшественника Соднама-чжацо, и хан принял его за родовое, фамильное. С тех пор воплощенцев великого ламы стали называть далай-ламами, океанами мудрости.

Если история собственно далай-лам насчитывает более пятисот лет, то культ божественных перерожденцев утвердился значительно ранее, во времена расцвета «красношапочной» секты. Эту своеобразную эстафету вечной божественной эманации, воплощающейся со смертью бренной плоти в избранного младенца, толкуют обычно весьма примитивно, как последовательный переход души из одной оболочки в другую. Далай-ламы, ведущие свой мистический род от Авалокитешвары, не являются, однако, прямыми воспреемниками нетленной сущности бодхисаттвы. Каждый последующий далай-лама повторяет в себе лишь непосредственного предшественника, и лишь вся цепь подобных повторений восходит к Авалокитешваре. Первый далай-лама считается, таким образом, лишь пятьдесят первым воплощением «Магического тела», которое живет в каждом своем перерожденце, как невидимая сила в намагниченных кусочках железа.

Но как бы там ни было, благодаря чисто лингвистической ошибке хана, Третий далай-лама, Соднам-чжацо, сделался первым официальным носителем этого высшего ламского титула. В 1547 году он наследовал Второму далай-ламе на посту настоятеля монастыря Дрепуг, а летом 1578 года получил в Голубом городе из рук Алтан-хана манифест, в котором законы и обычаи Лхасы распространялись на все подвластные монголам земли.

Тогда-то и была вручена далай-ламам пайцза с изображением пучка молний и надписью «дорджечанг» — «носитель громового скипетра». Дух Соднама-чжацо воплотился, видимо, в знак благодарности, в царственного внука самого Алтан-хана, который стал Четвертым далай-ламой, а пепел его по сей день благоговейно хранится в монастыре Дрепуг. Духовный же руководитель Четвертого ламы Лобсан-чайч-жан-чжалцан из монастыря Ташилхуньпо в Шигацзе, нареченный «Великим Учителем», стал основателем новой династии высоких перерожденцев — паньчень-лам.

Четырнадцатый далай-лама родился в 1935 году, что соответствует году Деревянной Свиньи по тибетскому календарю, близ озера Кукунор в Китае, через восемнадцать месяцев после смерти своего непосредственного предшественника. В первоначальном списке возможных претендентов он стоял далеко не на первом месте, и лишь выбор тогдашнего (Девятого) паньчень-ламы, пребывавшего в добровольном изгнании в провинции Цинхай, выдвинул его в число трех ведущих кандидатов. Далее сыграли свою роль

чисто внешние приметы. Большие торчащие уши, похожие на уши усопшего далай-ламы, и два пятна по бокам грудной клетки, которые истолковали как следы добавочной пары рук, присущих четырехрукому бодхисаттве. Для проверки истинности перерождения был послан оракул, надевший для конспирации убогое платье мирянина. Но не успел он вступить во двор скромного крестьянского домика, как к нему навстречу кинулся голый малыш с криком: «Лама, лама!»

Это явилось решающим обстоятельством для государственного оракула и верховных лам, а далее мальчик блестяще выдержал и публичный экзамен на узнавание. Безошибочно выбрав среди множества посохов и четок из священного дерева бодхи вещи, принадлежавшие Тринадцатому далай-ламе, он был признан официальным перерожденцем. Божественного младенца поручили опеке специально отобранных жрецов, а членам его семьи были пожалованы богатые наделы из государственных угодий и высокие титулы.

С этого дня началось воспитание будущего правителя и первосвященника. Его обучали грамоте, искусству держаться на людях, науке слова и жеста, тренировали на бесстрашие и невозмутимость, приучали к лицезрению тантрических образов ламаизма: демонов, пожирающих трупы, скелетов, пляшущих на могилах, вырванных глаз, наполненных кровью черепов, огневолосых ведьм и чудовищ.

Едва перешагнув трехлетний рубеж намеченной ему удивительной жизни, маленький воплощенец был зачислен в качестве рядового послушника в монастырь. В течение года он должен был выучить наизусть без единой ошибки 125 листов священных текстов для сдачи первого экзамена, открывающего дорогу к заоблачным вершинам священной мудрости. В стране снежных гор, невообразимо далекой от любого из морей нашей планеты, ему был уготован «львиный трон» живого бога и титул «океана премудрости».

Трон он занял в год Железного Дракона, когда ему минуло пять лет. Экзамен на третью, высшую степень ламской учености выдержал позднее, и выдержал с блеском. Духовное образование, полученное им в Лхасе, стало основой, на которую легли впоследствии знания, совсем не предусмотренные для воплощенных лам. Но таковы оказались природные задатки любознательного, быстрого разумом ребенка и так непредсказуемо, даже для астрологов тайного факультета тантр, сложились судьбы: личная и целой страны.

Перенесемся вновь в прошлое, на сей раз недавнее и строго документальное, ибо события новой истории Тибета

стали известны далеко за пределами этой еще недавно закрытой, погруженной в созерцательный сон горной цитадели. Но прежде чем обратиться к дипломатическим архивам, я хочу привести текст, опубликованный в тибетском альманахе на роковой год Деревянного Дракона (1904):

«...Первая часть года покровительствует молодому властителю; потом надвигаются грабители, они враждебно наступают и дерутся; является очень много врагов; большие беды от оружия и тому подобное; властитель, отец и сын будут драться. В конце года примирительно говорящий человек победит войну».

Среди бесчисленного множества подобных, но не оправдавшихся предсказаний это запомнилось потому, что, по крайней мере в основной своей части, сбылось. Год Деревянного Дракона стал переломным в истории Тибета и роковым для правления далай-лам, а событиям, разыгравшимся в это время, суждено было (причем в масштабах куда более значительных) повториться спустя более чем полвека, при нынешнем далай-ламе, унаследовавшем не только посох и четки, но и беды предшественников.

В 1896 году китайские переселенцы начали прибирать к рукам тибетскую провинцию Кам, вытесняя номадов с раздольных пастбищ. Одновременно боевые отряды стали активно вмешиваться и в феодальные распри тибетских аристократов, примыкая то к одной, то к другой стороне. Чем бы ни закончилась очередная схватка между князьями и военачальниками горцев, в выигрыше всегда оставалась Срединная империя. Так, используя вражду, вспыхнувшую между правителями Ньяронга и Чакла, амбань Тан Ли занял Дерче. Не прошло и нескольких лет, как новый китайский гарнизон разместился в Гартхаре. Когда же ламы забросали камнями очередного пекинского эмиссара, досаждавшего им высокомерной грубостью и мелочными придирками, в Кам из Сычуани вступила уже целая армия. Это была откровенно карательная акция. Сотни монахов были арестованы по подозрению в убийстве амбаня, монастырь сровняли с землей, собственность конфисковали. Это событие, ужаснувшее весь Тибет, произошло в роковом 1904 году и явилось закономерным финалом изощренной политики «давления и всасывания».

Почти одновременно, словно по согласованию, начался натиск и на южные границы Тибета, зажатого между «драконом» и «львом». Британская империя пребывала тогда в зените могущества, и ее настойчивые попытки взломать стены запретной страны тоже становились все более угрожающими. Поглощая одно гималайское государство за другим, она вплотную приблизилась к ее заповедным воротам.

В 1865 году англичане силой орудий навязали кабальный договор Бутану, в 1890 году поставили под свой протекторат Сикким. Действуя из Индии, «Сикрет интеллидженс сервис» засылала в Тибет под видом буддистов-паломников одного разведчика за другим. Пряча в молитвенной «мельничке» кроки и компас, отсчитывая по четкам, где вместо традиционных 108 зерен было лишь 100, шаги, они все глубже проникали в недоступную, овеянную легендами страну лам. Пандиты Нен-Сингх и А—К, лама Учженьчжацо собрали сведения о дорогах и высоте перевалов, составили карты для последующей тщательно спланированной военной акции.

Затем настала очередь заключительного броска. «Тибетская экспедиция», как изволил выразиться в своей книге «Лхаса и ее тайны» полковник Уоддель, один из участников вероломного вторжения, началась чуть ли не на следующий день после усмирения китайцами Кама. 6 ноября отборные войска под командованием генерала Макдональда и полковника Янгхазбенда получили долгожданный приказ выступить. Вскоре они взяли под контроль всю долину Чумби, открыв путь в центральные районы, и спустя четырнадцать месяцев сломили упорное сопротивление тибетцев, вооруженных кремневыми ружьями да пушками, свернутыми из ячьих шкур.

В знак протеста Тринадцатый далай-лама покинул страну и укрылся в одном из монастырей соседней Монголии. Он не хотел мира любой ценой и не принимал унизительных условий, выдвинутых оккупантами.

Вскоре англичане оставили Лхасу и под дипломатическим давлением России вынуждены были дать заверения, что не преследуют целей аннексии. Вступив в переговоры с тибетским правительством, они подписали с ним двустороннее соглашение, согласно которому Тибет обязывался признать границу с Сиккимом, открыть рынки для торговли в нескольких городах и выплатить контрибуцию в полмиллиона фунтов стерлингов. Только после этого англичане должны были окончательно отвести войска из Чумби.

Но прежде чем все это осуществилось, генерал Чжао Эрфын предпочел повторить карательную экспедицию и вступил в Кам. Рейд англичан серьезно обеспокоил Пекин, и Цинское правительство поспешило «застолбить» вожделенные области. На сей раз огню предали сразу несколько монастырей, свыше тысячи лам были порубаны саблями, а бронзовые статуи будд пошли на переплавку. Может быть, именно из этого металла и были отчеканены монеты, предназначенные для выплаты англичанам. Чжао-мясник, как

прозвали генерала жители Кама, кончил тем, что основал на отвоеванных территориях новую провинцию Сикан и присоединил ее к Китаю.

Тринадцатый далай-лама, возвратившийся было в Лхасу после ухода британцев, вынужден был вновь покинуть свою резиденцию в Потале. На сей раз в столицу Тибета вошли из разоренного Кама китайские войска.

Итак, властитель и живой бог Тибета бежал от китайских оккупантов. Запомним это событие, происшедшее в 1910 году. Отметим для себя и характерную, как увидим далее, подробность, что далай-лама нашел временное убежище в монастыре близ индийской границы. Зато паньчень-лама не покинул свою вотчину в Шигацзе и даже согласился принять на себя исполнение ряда религиозных обязанностей мятежного иерарха ламаистов. Возьмем на заметку и сей весьма знаменательный факт.

Заручившись, таким образом, поддержкой одного из двух высочайших авторитетов церкви, китайцы решились на беспрецедентный шаг и объявили о низложении далай-ламы.

Вот выдержка из манифеста, отпечатанного от имени амбаня Лу 5 сентября 1910 года:

«Ранг далай-ламы на время уничтожается, и на его место назначается лама Теши[1]. Более 200 лет Тибет находился в феодальной зависимости от Китая, и далай-лама всегда пользовался благами со стороны этого великого государства, но в отплату он не остался охранять свое собственное государство. Благодаря его нерадению к вопросам веры, боги и духи-охранители рассердились. Он потерпел поражение, породил много неприятностей, а потом... бежал далеко в неизвестную сторону. Во время войны были убиты тысячи и десятки тысяч тибетцев; тех же, которые бежали и не могли сражаться, он упрекал... Эти многочисленные преступления показывают, что он такой человек, которого следует наказать. Ввиду того, что у него дурной дух, что он угнетал всех своих подданных и грабил их, ясно, что министры не могут очень его уважать; он преступил законы буддийской веры и причинил беспокойство великим державам».

Последняя фраза словно заимствована из знаменитой басни «Волк и Ягненок». Оказав стойкое сопротивление империалистическим притязаниям Великобритании и Цинского Китая, тибетцы, оказывается, причинили им «беспокойство». Какая циничная терминология, какой поразительный на фоне общепринятых дипломатических условностей инфантильный лексикон. «Следует наказать», видите ли. Со-

[1] Паньчень-лама.

временное «преподать урок» явно заимствовано из того же арсенала.

Но возвратимся на вехи тибетской истории. Если пророчество на год Деревянного Дракона и оправдавлось по части британской агрессии, то конца китайской оккупации не предвиделось ни в этом, ни в последующем году, ни даже в новом десятилетии. Лишь революция 1911 года, в результате которой была низложена маньчжурская династия Цин, разрушила на время четко отработанные планы великоханьских гегемонистов и резко изменила ситуацию. Китайцы были вынуждены убраться восвояси, население Лхасы встретило возвратившегося далай-ламу как победителя. На сем я заканчиваю исторические экскурсы и перехожу к событиям, непосредственно связанным с именем Четырнадцатого властителя. Совершив прыжок через четыре десятилетия, мы столкнемся с разительными совпадениями и поистине убийственными аналогиями.

Все это время Тибет оставался практически закрытым для остального мира.

После создания 1 октября 1949 года Китайской Народной Республики настала пора коренных, но еще не ясных до конца перемен. Первым отреагировал на знаменательное событие в истории великого китайского народа паньчень-лама, в ту пору еще девятилетний мальчик, лишь несколько месяцев назад официально признанный перерожденцем Будды Амитабхи. Вероятно, не без подсказки со стороны он обратился к правительству КНР с просьбой освободить Тибет. Это неожиданное, но симптоматичное заявление вызвало резкий протест в Лхасе. Кашаг (правительство) далай-ламы попыталось вступить с Китаем в переговоры, но 7 октября 1950 года началось военное наступление. Немногочисленные, но очень активные английские агенты сделали все для того, чтобы организовать сопротивление местного населения китайской армии, которая 9 сентября 1951 года вступила в Лхасу. Незадолго до этого далай-лама перенес свою резиденцию в монастырь Донг Кар на границе с Индией. С 1951 по 1955 год власть в Тибете совместно осуществляли центральное правительство и главы ламаистской церкви — далай-лама и паньчень-лама. Они вместе с колоном Нгаво Нгагван Джигмедом, отпущенным из китайского плена, куда он попал после того, как китайская армия сломила сопротивление непокорного Кама, были избраны членами Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета.

Играя на исконных противоречиях между китайцами и тибетцами, между далай-ламой и паньчень-ламой, империалистическая агентура стремилась обострить и без того

взрывоопасную обстановку в «сердце» Азии. В среде высшего духовенства и феодалов не раз вспыхивали мятежи против новой администрации, составлялись различного рода петиции об отделении и так далее. Все это, однако, не получало широкой поддержки народа, поскольку наиболее активное население Кама еще не оправилось от шока поражения, а соглашение от 23 мая 1951 года, предусматривающее тибетскую автономию, пусть чисто формально, но все же учитывало традиции и социально-экономические особенности древней страны. В этом соглашении из семнадцати пунктов прямо говорилось о том, что центральные власти не будут изменять политическую систему Тибета и с уважением отнесутся к религиозным верованиям и обычаям тибетцев.

Правительство далай-ламы отдавало себе отчет в том, что соглашение было лишь временным, компромиссным. Но если бы китайцам не было дано согласие разместить в Тибете войска, они бы сделали этой силой. В Лхасе и без того находился уже внушительный гарнизон. Не прошло и года, как по приказу Пекина был создан Тибетский военный округ и началось спешное строительство стратегических дорог Яань—Лхаса и Сикан—Лхаса. Была открыта и регулярная линия воздушных сообщений. Юрисдикция далай-ламы была ограничена центральной областью Уй, область Цзан полностью отошла к паньчень-ламе, а район Чамдо управлялся непосредственно из Пекина. И вообще весь Тибет оказался разделенным на несколько самостоятельных автономных округов.

К 1956 году все было готово для образования Тибетского автономного района. В июне 1958 года в Лхасе были открыты отделения Верховного суда и Прокуратуры КНР. Работы им хватало. Стихийные восстания вспыхивали одно за другим почти повсеместно. На сей раз агентам зарубежных спецслужб не приходилось разжигать недовольство. Забегая вперед, приведу одно из признаний далай-ламы, сделанное в частной беседе четверть века спустя:

«Я верил в обновление жизни и не боялся перемен. Я даже подумывал о вступлении в коммунистическую партию, но жесткая и оскорбительно грубая политика ассимиляции, которую начали очень скоро проводить китайцы, настроила меня отрицательно».

Свой побег он задумал давно, но долго не мог решиться покинуть страну, где все было знакомо и дорого до боли: вещие камни с заклинаниями, бурные реки, вращающие молитвенные колеса, косматые яки, несущие через заснеженные перевалы вьюки отпечатанных с древних досок священных книг. В Индии, куда он прибыл по религиозным

делам в середине пятидесятых годов, он все же принял решение не возвращаться. Но Чжоу Эньлай, спешно прилетевший за ним на специальном самолете, заверил его, что эксцессы и трения — явление временное и «поток скоро войдет в свои берега». Двадцатилетний юноша, для которого сама мысль о долгой разлуке с родиной казалась нестерпимой, дал себя уговорить и вернулся. Существенных изменений, однако, не последовало. «Поток» же действительно вскоре обрел точно очерченное русло традиционной великоханьской политики.

Об автономии, обещанной по соглашению «О мероприятиях по мирному освобождению Тибета», более не упоминалось. Представитель центрального правительства в Лхасе туманно высказывался насчет специфических условий Тибета, которые не благоприятствуют скорейшему введению «демократических преобразований».

Положение ухудшалось с каждым днем. В Лхасе, где по-прежнему пышно справлялись ламаистские праздники, далай-лама стал чувствовать себя пленником. В роскошной, не похожей ни на одно строение в мире Потале, в ее центральном Красном дворце, суровом и неприступном, как скалы, он почти физически ощущал, как затягивается ловко наброшенная петля. Душит Страну снегов, сдавливает его собственное горло. С двух лет приучали будущего властителя не отделять себя от Тибета, от ламства, от всех живых существ, вовлеченных в круговорот буддийского колеса. Он так и мыслил, так и чувствовал. Когда ему было весело, он думал, что смех звучит в каждом тибетском доме; когда приходило страдание, то и оно мнилось всеохватным. Меркло невероятное, разрывающее душу закатное небо в узких окнах Поталы, вместе с черно-зеленой ночью на землю изливалась печаль.

Так его воспитали, так он привык думать и ощущать.

Лишь потом, на чужбине, пришло прозрение, и властитель судеб и душ понял, что он лишь лист, оторванный от родимого дерева, простой тибетец.

В марте 1959 года его пригласили посетить штаб-квартиру Тибетского военного округа. Одного, без свиты, без сопровождения дворцовой гвардии. Даже понаслышке знакомый с историей пекинских властителей человек и тот едва ли усомнился бы в истинном смысле подобного приглашения. Далай-лама был горд, и его воспитали в бесстрашии. Он склонялся к тому, чтобы пойти. Разумеется, с подобающим положению эскортом. Не ради безопасности, ради чести.

Поделившись соображениями с членами своего кошага, он натолкнулся на решительное «нет».

— Вам не следует идти туда, ваше святейшество, — выразил общее мнение один из колонов. — Отнюдь. Всем нам необходимо как можно скорее бежать отсюда. Более не откладывая ни на минуту, мы должны привести в действие наш план.

План действительно был разработан и, насколько можно было, выверен. Успеху не благоприятствовало лишь время года: перевалы на индо-тибетской границе еще были прочно забиты снегом, и яки — удивительные полудикие звери, способные идти по голому льду, — превращались по весне в озлобленных демонов упрямства и неповиновения. Но положение требовало мгновенных решений: либо одно, либо другое — третьего не дано.

И далай-лама решился. 17 марта он вместе с приближенными тайно оставил Лхасу и предпринял свой беспримерный пятнадцатидневный переход через Гималаи.

Я был приблизительно в этих местах со стороны Индии и видел заледенелую мертвую планету. Даже синие клубы тумана в ущельях казались оцепеневшими от стужи и безмолвия. Впрочем, безмолвие давило уши лишь днем, когда в разноцветном дыму поднималось над сверкающими вершинами разбухшее пунцовое солнце, окруженное венцом ложных двойников, бросающих на снег невероятные тени, порождающие фантастические миражи. Но стоило ему закатиться, упасть в лиловый провал за восьмитысячники Непала, как космическая, прорезанная немигающими звездами ночь оглашалась зубовным скрежетом, стоном и воем. Казалось, все устрашающие демоны ламаизма, вырвавшись на свободу, витали над тускло синевшими кручами, похожими на лунные цирки. Это стенали терзаемые подвижкой льды, корежа устоявшийся наст, и выли заметавшие трещины вьюги.

За несколько дней до бегства далай-ламы жители Лхасы подняли вооруженное восстание. Оно было жестоко подавлено в ходе кровопролитных уличных боев. Следом за духовным руководителем двинулись к индийской границе около ста тысяч тибетских беженцев. Почти все они и поныне живут на чужбине, мечтая когда-нибудь вернуться в родные долины, где птицы и те вскормлены плотью далеких предков.

Во время поездок по Гималаям мне удалось посетить лагеря и поселки, в которых жили тибетские беженцы. Из бесед с ними я многое узнал об упорном сопротивлении гордого, дорожащего своей самобытностью народа.

Накануне открытия конференции китайское посольство в Улан-Баторе обновило стенд, вывесив подборку снимков под заглавием «Освобожденные рабы Тибета». Счастливые,

смеющиеся лица, безупречные национальные одежды, словно только что взятые из костюмерной, и дети, склонившиеся над букварем.

— Как вы расцениваете теперешнее положение в Тибете? — спросил я далай-ламу.

— Трудное. Долетающие оттуда вести свидетельствуют о том, что если и произошли какие-то перемены к лучшему, то незначительные. Нами движет тревога за судьбу нашей культуры, религии, самой нации.

— Как вам конкретно рисуется будущее вашего народа?

— Мы должны стать современной и динамичной нацией. Когда это произойдет, сказать трудно, но это произойдет.

— Короче говоря, вы взираете на будущее с оптимизмом?

— Безусловно.

Я подарил ему свою книгу «Бронзовая улыбка» — о старом Тибете и далай-ламах. Увидев на обложке яка, он буквально озарился:

— Это як! Мои несравненные горы!

— Теперь я знаю улыбку далай-ламы, — сказал я, когда он попросил перевести название. — Могу лишь сожалеть о неточном заголовке.

— Вспоминая о прошлом, не угадать будущее. — В его приветливых, теплых глазах мелькнуло мальчишеское озорство. — Но зная будущее, можно не вспоминать о прошлом. Не все далай-ламы были похожи на Шестого, поэта и весельчака.

— Читая теперь его любовные песни, я все-таки буду вспоминать улыбку Четырнадцатого... Напишите мне что-нибудь на память, если возможно.

Он взял красочную литографию с призывом о мире, на которой в традиционно буддийском стиле была изображена рука с чудесным цветком в удлиненных пальцах.

«Пусть все, поднявшие мечи, побратаются с цветами в руках», — было написано на небесной голубизне.

— Не достигнешь цели, если не пройдешь до нее необходимого пространства, — то ли прокомментировал далай-лама, то ли просто привел народную поговорку.

Беглым тибетским шрифтом он написал благопожелание.

— Это, — объяснил, ставя внизу автограф, — означает «далай-лама», а это — имя: Нгаван Лобсан Донцзан-чжацо.

На аэродроме его провожали верховные ламы Монголии, Ладакха, Бурятии, бутанцы, тибетцы. Ветер развевал алые тоги. Сомкнув пальцы рук, ламы шептали о благополучии в пути. Вдали, как та желтая лента, простиралась выжжен-

ная степь, а над ней синело безоблачное небо. Не хватало только руки с цветком. Но был самолет, который, оторвавшись от желтого, нырнул в голубое.

Я следил за ним, сколько мог, стараясь запомнить пословицу, которую слышал от Тхубтена Джигме Норбу, старшего брата далай-ламы, видного лингвиста из университета в Индиане.

«Мышь с сильным сердцем может поднять слона».

Необоримая сила сердца...

# Корона Гималаев

**Повесть**

## ВОРОТА В ЛЕГЕНДУ

И в этом пространстве он встретил женщину великой красоты, Уму, дочь Химавата, и спросил ее: «Кто этот дух?» («Кена упанишада» IV, 12)

Химават, или Хималая, зовется хозяин величайшей горной страны. Так же называют древние веды и упанишады Гималайские горы — прекраснейшую из корон, возложенных природой на чело Земли.

Невероятны трагические переливы заката в горной стране Химавата. Словно длится и длится кровавая битва богов и асуров. Словно сами горные пики ставят нескончаемый грандиозный спектакль из «Махабхараты». Послушаем же, что шепчет нам бессмертная эпическая поэма.

Грозный Рудра, подобный языку испепеляющего пламени, взметнулся к небу, выйдя из чела миросоздателя Брахмы. Порожденный гневом величайшего из небожителей, в ком заключены все боги и все имена богов, одинокий, свирепый и мрачный, он избрал путь отшельника и устроил себе жилище в царстве вечной зимы. Похожий на дикого охотника, скитался он по горным ущельям, с черным луком в руках блуждал по кедровым лесам. Закутавшись в лохматую ячью шкуру, жег костры среди ледяной пустыни, и лик его принял багровый оттенок огня. Хищные звери, ласкаясь, ползли перед ним на брюхе и целовали его следы, ибо дана была ему великая власть над всеми животными. Пашупати — владыка зверей звали Рудру.

Но не только над миром бессловесных существ простиралась могучая рука Гневного. Вездесущий, он оставлял горные долины, ослепительные снега и летел на крыльях траура над миром. Его огненные стрелы не знали промаха, болезни и мор невидимым дождем опадали на села и города. Но в сердце его всегда теплилось сострадание. Внимая мольбам о пощаде, он не только казнил, но и миловал; посылая болезни, сам же давал исцеление от них. Поэтому люди все чаще стали называть его Шивой, что значит Милостивый. Долгое время он был безраздельным хозяином Гималаев.

Боги Индии и по сей день живут в обители вечной зимы. С ледяных сверкающих пиков следят они за неподвластным даже божеской воле бесконечным вращением колеса причин и следствий.

Порой кажется, что сама вечность потерянно бродит по замкнутому кругу в этих горных дуарах, где окоем сокрыт зубчатым снеговым ожерельем.

Спит занесенное песками время фараонов, календарные стелы толтеков и майя поглотила зеленая тьма сельвы и только маятник Гималаев все еще отстукивает секунды и века полузабытых, почти легендарных эр.

В незапамятные времена родилась здесь великая цивилизация, о которой мы знаем куда меньше, чем о греческих полисах или династиях Саиса. А ведь она существует бок о бок с нами. Здесь и сегодня еще молятся небу, хотя реактивные лайнеры прочерчивают в нем белые инверсионные полосы, приносят жертвы Луне, ставшей частью нашего мира.

Говорят, что в Гималаях не знают колеса. Французский этнограф Мишель Пессель тоже отдал дань этой выдумке в своей последней книге «Хождение в затерянное королевство». Колесо пришло в эти края еще с первыми буддийскими проповедниками как символ мирового закона. У каждого храма стоят сотни молитвенных колес, которые прилежно вращают монахи и прихожане. Здесь неведома всего лишь повозка, потому что нет для нее дорог.

Только миг, только шаг отделяют меня от давней мечты. Застывший миг и растянутый, как при замедленной съемке, плывущий по воздуху шаг. Я парю над вращающейся Землей. То ли радужные крылья сновидений возносят в желтое от пыли небо, то ли излюбленная фантастами машина времени ворвалась в иную эпоху, в иную индуистскую калпу, которая неумолимо следует за уничтожением очередного мирового периода. Что сон и что явь? Где жаркий июньский день 1974 года? Куда он провалился? Помните, у Пастернака: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?» Впрочем, я знаю, какое. На дворе год 2031 эры Бикрама, согласно официальному летосчислению королевства Непал. Или год Синего Зайца — по-древнекитайскому циклическому календарю. Еще совсем чуть-чуть, и я проскользну в эти недоступные временные заводи. То ли в ту, то ли в другую, если только они не перетекают друг в друга, как сообщающиеся сосуды, или как сны, над которыми не властны законы причинности. Перемахнув через Памир и Гималаи, Ту-154 заходит на посадку.

«Характерные признаки круга сердца Будды: от середины мандала сердца до горла и пупка половина меры, или 12,5. От горла до пупка мера 25 — таковы признаки поясняемой мандалы тела». (Данджур. Отдел комментариев к тантрам).

Настала пора познакомиться с роковым колесом. Западный мир узнал о нем, как ни странно, от Киплинга. В его «Киме» таинственную диаграмму якобы открывает старый лама. На самом же деле эта нагляднейшая из мандал издавна украшала стены бесчисленных монастырей, дворцов и самых захудалых молелен, разбросанных на неоглядных просторах Азии.

В дореволюционной Монголии картинка «сансарыин хурдэ» — «колеса мира» висела чуть ли не в каждой юрте.

Оно и понятно. Пиктографический рисунок о нравственном учении буддизма, о воздаянии за добрые и злые дела могли «прочитать» самые темные люди, ни разу не державшие в руках книгу.

Диаграмма составлена из трех концентрических кругов. Центральный представляет собой эмблему трех зол, коренящихся в человеческом сердце. Свинья — символ невежества, змея — олицетворение гнева и курица — воплощение сладострастия образуют дьявольский хоровод, кусая друг друга за хвосты. Средний круг четырьмя радиусами разделен на пять миров. В самом низу размещается мир ада, состоящий из двадцати отделов. Там восседает синий якоглавый Яма, вершащий загробный суд. В его магическом зеркале отражены все добрые и худые деяния, которые будут точно взвешены. Куда склонится чаша весов, туда и отправится трепещущая душа в белом наряде смерти. Добрый и злой гений, сопутствовавшие ей в течение жизни, тоже вели подробный учет всех деяний и помыслов. Они присутствуют на суде, чтобы самая малость, могущая подчас решить судьбу грешника, не укрылась от владыки ада.

Несмотря на зеркало, весы и свидетельские показания гениев, каждый обязан рассказать о себе сам. Это первое наказание Ямы. На рисунке изображается как раз такой момент. Коленопреклоненная душа, молитвенно сложив руки, ведет свое печальное повествование, а гении, черпая из мешков, сыпят на чаши весов белые и черные шарики. Просто и понятно. Если белых шариков окажется больше, душа сможет покинуть скорбные своды первого отдела. Из остальных девятнадцати выхода нет. Там живописуются жутчайшие пытки, которым подвергают грешников черти, точнее, прислужники Ямы, ибо ламаизм не признает абсо-

лютной полярности мира, присущей христианству. Тем не менее «Ад» Данте или православная икона «Страшный суд» могут дать исчерпывающее представление и о преисподней Ямы.

Другие миры «колеса жизни» изображают царства биритов — мерзких скелетов с безобразно всклокоченными волосами, животных и людей, а также рати тенгриев и асуров, ведущих между собой беспрерывную войну. Асуры ощетинились луками, копьями и мечами, а тенгрии обрушивают на них с облаков ваджры — стрелы небесного огня.

«Небесный бой» Рериха, где нет ни тенгриев, ни асуров, а только мятущиеся тучи и вещая нахмуренная земля.

Последний, третий круг или обод «колеса мира» разделен на двенадцать нидан. Учение о ниданах — причинах в цепи бытия приписывается самому Шакьямуни. «Тогда он припомнил связь своих многочисленных прежних перерождений, — говорится в "Лалитавистаре", — и перерождений других существ».

Короче говоря, кольцо нидан призвано напомнить верующим основное учение буддизма о причинах и следствиях, объясняющее происхождение материального и духовного начал и тайну перерождений.

Первая нидана, в образе старика, едва стоящего на ногах, говорит о закате жизни.

Вторая — о начале ее: на рисунке показана роженица с младенцем.

Далее следуют аллегорические картинки, говорящие о греховности материального мира и тщете человеческих желаний: курица, высиживающая яйца; крестьянин, собирающий плоды с дерева; пьяница с чашей вина; ослепленный стрелой человек, безуспешно пытающийся вытащить ее из своего глаза; мужчина и женщина в любовных объятиях.

Восьмая нидана представлена видом опустевшего дома. В буддийской символике это означает оболочку, живое тело. Человек, словно дом без хозяина, куда забрались воры, действующие по собственному произволу. Под ворами подразумеваются пять чувств, отвлекающих дух от сосредоточенности.

Девятая аллегория рисует лодку посреди реки, десятая — обезьяну, бессмысленно мечущуюся от предмета к предмету, одиннадцатая — горшечника, вылепившего три сосуда, символизирующих людские деяния: благие, греховные и непоколебимые.

Все завершается фигурой слепой старухи, которая сама не ведает, куда и зачем бредет.

Даже не зная буддийской символики, легко уловить основную идею мандалы. Она наглядно убеждает верующего

в том, что видимый мир призрачен и лишен смысла. Одно лишь невежество может придавать хоть какую-то цену его обманчивым соблазнам. Они — ничто. Привязываясь к миру, к его призрачным ценностям, человек лишь увеличивает свои страдания, ибо приверженность эта влечет за собой перерождение и новые муки.

«Колесо мира» держит в зубах и когтях чудовищный красный мангус — прислужник повелителя смерти. Но над головой демона нарисованы космические знаки луны и солнца и лама в монашеской тоге, объясняющий тайный смысл колеса пыток.

Единственная надежда ослепленного страдающего люда...

Когда в Непале вблизи гигантской ступы Боднатх я рылся в лавке, завешенной сотнями больших и малых свитков с рисунками колеса, то думал, что обязательно начну книгу с этого эпизода. Но автор не всегда властен над собственным замыслом. Ослепительное великолепие Гималаев, их полнокровная хмельная сила властно перекроили мои намерения. Чистота снегов и ликующая зелень альпийских лугов взывали к исконной праязыческой мощи старика Химавата, породившего, быть может, и славянского Перуна, и Перконса прибалтов.

Бомбей... Ворота Индии находятся в Бомбее. Монументальная символическая арка стоит у самой воды, бурой от мазута и нефти. Под ее сенью дремлют фокусники с обезьянами, продавцы открыток и бус из раковин каури. Шумит, грохочет прославленная Мариндрайв с ее белыми многоэтажными отелями, пальмами и фешенебельными магазинами, а здесь тишина.

Сооруженные в 1911 году в память визита Георга Пятого и королевы Мэри, ворота должны были символизировать незыблемость величия метрополии, властно распахнувшей двери Индостанского континента. Но двери захлопнулись. Именно здесь английским солдатам было суждено бросить прощальный взгляд на Индию. Перед тем как ступить на трап океанского транспорта, последний оккупационный отряд вышел из этих ворот. Навсегда.

Музе Клио не чужда ирония.

Легендарный император маратхов Шиваджи стоит на страже у памятной арки. В его лице многонациональный и не имеющий долгой истории Бомбей чтит своего покровителя.

У меня было много интересных встреч в этом великом и горьком городе, который справедливо называют «жемчужиной Индийского океана». Я беседовал с учеными и литераторами, заходил в джайнистские, индуистские и сикхские

храмы, безуспешно пытался проникнуть в святилище парсов, где горит негасимый священный огонь. Сильное впечатление произвел на меня «святой» джайн, единственным одеянием которого была марлевая повязка вокруг рта. Две старушки, одетые в белое, мели перед ним пол, дабы паче чаяния святой не раздавил какое-нибудь насекомое.

Принцип ахинсы, доведенный до крайности. По аналогии вспомнились гималайские сапоги без каблуков и с загнутыми кверху носками. Сколько усилий и ухищрений, чтобы не потревожить землю и обитающих на ней малых сих!

Но я не стану описывать свои бомбейские впечатления, хотя бы потому, что они требуют специального разговора.

Прямое отношение к теме имел лишь музей принца Уэльского с его уникальными археологическими коллекциями и роскошными залами, полными замечательных памятников индийской истории и искусства. В те дни там как раз экспонировались гималайские редкости из собрания миллиардера Тата, принадлежащего, кстати сказать, к древнейшей религиозной общине парсов. Но храм с крылатым Ахурамаздой, солнцем, луной и звездой Иштар — Венерой на фронтоне, несмотря на мощную протекцию, так и остался тайной за семью печатями.

— Сожалею, — объяснил мне жрец, — но сюда могут войти только парсы — дыхание человека чужой веры оскорбит огонь.

— Я атеист, ваше преосвященство.

— Тем хуже.

— Может быть, вы разрешите мне только войти? Обещаю, что даже близко не подойду к занавесу святилища.

— Не могу исполнить вашу просьбу. В противном случае нам пришлось бы заново очищать храм. А времени для этого нет. Завтра праздник.

Посмотреть башню молчания — дагобу, в которой парсы оставляют своих мертвых, мне тоже разрешили лишь издали. Жизнь, неотделимая от смерти, предстала передо мной на зеленой горе, окруженной высоким каменным забором. Сотни грифов кружили над траурным силуэтом дагобы, дожидаясь поживы.

Сейчас, вспоминая Бомбей, я вижу сначала эту гору, а потом уже пальмы, гостиницы и дворцы. Город представляется мне вечным, мудро застраховавшим себя от смерти, которую уносят на своих крыльях могильщики-птицы.

Разумеется, это всего лишь попытка передать обманчивое впечатление, капризный отбор памяти. Человеческая жизнь не зависит от способа захоронения мертвецов. Да и

община парсов, несмотря на все ее финансовое влияние, одна из самых немногочисленных в городе, вобравшем в себя чуть ли не все верования земного шара. И не дагоба, а скорее стодесятиметровая башня университетской библиотеки могла стать его символом. Но пора расставаться. Прощайте, мечети и атомные реакторы, узорная парча Джавери-базара, парк на холме и королевское ожерелье красивейшей набережной мира. Прощайте, белые исполины и слоны джайнов, крылатые быки зороастрийцев, цветы и фонтаны ботанического сада, уличные обезьянки, кобры и буйная роскошь даров океана, щедро выплеснутая на прилавки Нариман-Пойнта и Татароуд. Я спешу к Воротам Индии, где нетерпеливо трубит катер, отправляющийся на остров Элефанта. Крепкий норд гонит довольно-таки крутую волну, и нас заметно покачивает. Бурая вода Бомбейского залива с грохотом обрушивается на камни, защищающие набережную. Маслянистой накипью оседает на них мазут. Но, как ни странно, море еще живет. Прыгая по камням, перепачканные мальчишки зорко выискивают в расселинах крабов.

Все дальше уплывает Марин-драйв, чьи круглые матовые фонари и впрямь напоминают жемчужное ожерелье. Когда мы будем возвращаться, они встретят нас жесткой желтизной кадмиевого сияния. Не считаясь с энергетическим кризисом, богатый Бомбей озаряет свои ночи миганием исполинских реклам, огненной рекой набережной, молочным свечением гостиничных башен. Впрочем, это только так кажется. За пылающим приморским фасадом таится вкрадчивая бархатистая мгла.

Город давно уже утонул в бензиновой дымке, а я все еще ощущаю его неотвязный призыв. Не могу отключиться от тоскливого шелеста ночных автострад, неясного шепота во мраке, гула и грохота международного аэропорта, перезвона велорикш, призывных кликов торговцев бетелем. Рассветы и ночи Бомбея закабалили мою память. Мне трудно настроиться на созерцательное спокойствие острова Элефанта, еще далекого и невидимого в створе запирающих гавань фортов, возведенных англичанами прямо посреди моря. В отличие от арки на площади эти ворота надежно замыкали стальные стволы береговой артиллерии.

Вспомнилась казнь сипаев: пушки из бирмингамской стали на высоких лафетах и люди в белом, привязанные к стволам. Они выстрелили в самое сердце Индии, пока настороженно молчали нацеленные «вовне» орудия бомбейских фортов.

Угрюмые, непрозрачные волны разбиваются о скалы. Гудят суда у топливного причала, осененного зеленой рако-

виной «Барман шелл». То ли грозное эхо истории, то ли зов бомбейской наяды, трубящей в дунгхор.

От бетонного пирса на остров ведет длинный деревянный мост, перекинутый над жаркой, вскипающей зловонными пузырями мангровой. Зеленые лакированные деревца неудержимо наступают на море, роняя в жирный перегной стреловидные отростки, созревающие прямо на кромке твердых восковых листков. Неправдоподобно пунцовые и ярко-голубые крабы шныряли меж стволов по бурой трясине, угрожающе пощелкивая правой разросшейся клешней. На облепленных илом воздушных корнях принимали воздушные ванны пучеглазые колючие рыбы.

У крутой лестницы, ведущей к лесистой вершине, клубилась оживленная сутолока. Новоприбывших атаковывали вездесущие мальчишки, оглушительно требовавшие «бакшиш», фотографы и всевозможные разносчики туристских мелочей. Здесь же к услугам туристов, не желающих тратить силы на долгий подъем, были деревянные носилки. Две или три изнеженные леди воспользовались этим лифтом эпохи Маурием.

Шутя и посмеиваясь, мы незаметно одолели подъем, опередив процессию с носилками. Благоуханная тень манго и тамариндов, продуваемая легким ласковым бризом, звала, как писали сентименталисты, к «заслуженному отдохновению». Но, как всегда, было жаль времени. Испив охлажденного кокосового молока и вдосталь налюбовавшись на садху, закаменевшего под украшенным пестрыми лоскутками священным деревом, я пошел к последней лестнице, ведущей к пещерам.

Элефантой, то есть Слоновым, остров нарекли португальцы, потому что в те времена здесь стоял гигантский каменный слон. Впоследствии, если верить гиду, статую перевезли в Раджхат. Слон, равно как и многие другие уникальные изваяния Элефанты, сильно пострадал от огня португальских пушек. Об этом невольно думаешь, когда глаза останавливаются на каверне, изуродовавшей строгий лик многорукой Дурги, на обезглавленных статуях и барельефах с отбитыми конечностями. Камень — вечен, и его язвы кровоточат непрестанно.

В прохладной тишине пещер вздыхает печальное эхо. Вспархивают и шарахаются в непроглядный сумрак сводов стаи летучих мышей. Удушливый и сладковатый запах помета режет глаза. Холодные капли, срывающиеся с базальтовых складок, тяжело и всегда неожиданно ударяют по темени, пробуждая в памяти детские рассказы об изощренной восточной пытке.

Шесть пещер, населенных многорукими богами, одна за другой раскрывают передо мной свои сумрачные, исполнен-

ные затаенной мощи недра. Особенно неизгладимое впечатление оставляет исполинское изваяние верховного властелина Махемурти, трехглавого Махадео, соединившего в себе создателя Брахму, Шиву, разрушающего миры, и Вишну, стража миропорядка. Эта завораживающая фигура являет высший взлет индуизма, воплощение в образах искусства самых усложненных и отвлеченных его идей. Оно же знаменует и апогей славы хозяина Шивы. Некогда второстепенный горный божок, он представлен здесь центральной фигурой во всем своем победном величии. Увенчанный черепом, Брахма слепо взирает на прошлое с его правого плеча, а грезящий Вишну смежил веки на левом, проницая дали будущих времен. Сам Шива тоже прикрыл очи, словно ограждая от внезапной вспышки неистового гнева наш теперешний суетный мир. Некоторые исследователи считают, что исполин изображает не триаду главных богов, а единого могучего Шиву о трех головах.

Философской символикой, отражающей единение противоречивых начал бытия, проникнуты многие образы скальных храмов Элефанты. Сложные многофигурные композиции пещер рассеивают и одновременно приковывают внимание, заставляя человека всматриваться в глубины подсознания. Изваянные в восьмом веке, эти скульптурные рельефы сделались эталоном для многих поколений индийских мастеров, воплощавших в образах богов буйные силы мироздания.

Так, древнейший культ плодородия обрел здесь отражение в четырехрукой фигуре Ардханаришвары. Изобразив божество с мужской (правой) и подчеркнуто округлой (левой) женской грудью, древний скульптор выразил все ту же извечную идею «линга-йони». Лежащее в основе древнеиндийской философии слияние духов Пуруша и Пракрити.

Обогнув остров, я попал в широкий извилистый каньон. На дне прыгал, теряясь в нагромождении камня, ручей. В долине, которая открывалась за скалами, зеленела буйная тропическая растительность. Метелки непролазных бамбуковых зарослей чередовались с широколопастными опахалами банановых пальм. На расчищенных заплатках росла кукуруза, желтели соломенные кровли хижин. До самого горизонта расстилался замшевый ковер тамариндового леса.

Но все это я заметил лишь некоторое время спустя. Вначале мой взор был прикован к пологим склонам, на которых правильными прямоугольниками чернели провалы. Это был целый пещерный город, соединенный прихотливой горной тропинкой, которая то и дело терялась в скальном хаосе, пропадала, перерезанная нешироким провалом или гремучей осыпью.

Перепрыгивая с камня на камень и петляя по склону, я добрался до первого яруса пещер, а там дело пошло легче, потому что кельи нависали одна над другой, как сакли в горном ауле. Все они, в отличие от главных каверн, были высечены рукой человека. Гладкие стены, изукрашенные орнаментом, правильные контуры входов и световых окон. Ступа, рельефно вырезанная на стене, и характерные «лотосовые» асаны буддийских божеств явно свидетельствовали, что здесь искали уединения последователи Гаутамы. Незатейливо украшенные «одиночки» — рисунок зачастую был только начат, но не закончен — чередовались с более или менее обширными помещениями, где между пилястрами виднелись изображения Будды и его первоначальных символов. Возможно, тут размещались чайтьи — храмы, или вихары, где собиралась монашеская братия. Но если индуистские скульптуры показывали брахманизм на взлете, торжествующий, несокрушимый, победный, то невыразительный, зачастую плоский, буддийский рельеф свидетельствовал скорее о бессилии или об упадке творческого духа.

Я «обосновался» в одной из келий, откуда открывался вид на всю долину. Что и говорить, монахи умели выбирать места для уединения. Ароматные ветры пролетали над ущельем, колебля сухие травы склона. Пахло океанской солью, лавром и совершенно упоительным цветом лимонного дерева. Сквозь ветви старого абрикоса, чуть ниже вцепившегося в скалу вздутиями корней, зеленели, переходя в полынную голубизну, манящие дали. Возможно, тут сказалась известная «запрограммированность», но открывшаяся глазу мягкая прелесть чаровала душу, переполняла созерцательным спокойствием и отрешенностью. Наверное, здесь хорошо было грезить о вечности или размышлять о ничтожности мирских соблазнов. Все казалось таким далеким и нереальным, словно вся жизнь была как долгий, но скоро изгладившийся сон, приснившийся в этих каменных стенах, у этого входного выреза, наполненного зеленью и голубизной.

Старательно переплетя ноги, чтобы пятки покоились на коленных чашечках, я принял «падмасану» и попробовал вообразить себя аскетом. Но ничего не получилось. Две заботы смущали мой дух. Одна из них условно называлась «Колодец» и «Белый конус» — другая.

В квадратной шахточке слева от входа действительно темнела и пахла тиной вода. Конденсируясь из воздуха на виртуозно спланированных каменных плоскостях, она по многочисленным желобам и канальчикам стекала в эту защищенную от солнца ловушку. Точно такие же колодцы, полные жаб, обнаружились у всех келий. Это был не просто

«водопровод, сработанный еще рабами Рима», но настоящая установка для конденсации атмосферной влаги.

Прошли сотни или даже тысячи лет, а она все так же исправно работала, хотя уже давным-давно ничьи уста и ладони не тянулись к благодатным резервуарам праны — жизненной силы. И еще пронесутся века, исчезнут и возникнут на новом месте города, а здесь по-прежнему будет журчать по лоткам вода, к которой никто не припадет алчущим ртом. Необитаемые, заброшенные пещеры будут жить своей неестественной заведенной жизнью, словно дом в рассказе Бредбери «Будет ласковый дождь».

И ни птица, ни ива
Слезы не прольет...

И этот абрикос тоже.

Если мои размышления о воде хоть как-то соотносились с невеселыми грезами риши, то жгучее любопытство по поводу «Белого конуса» сводило на нет все жалкие успехи первой аскезы.

Странное сооружение, сверкающее золотым острием над зелеными дебрями, не давало мне покоя. Не знающее стыда, суетное, кощунственное писательское нетерпение толкало меня поскорее разрушить пусть мнимое, но все-таки очарование. Лучась, как сахарная голова, таинственный конус возвышался над лесом и, как магнит, притягивал взгляд.

Если бы я мог совладать с собой и не пойти на его властный зов! Может быть, я сумел бы тогда написать рассказ в духе лондоновского «Красного божества» или придумать еще какую-нибудь совершенно фантастическую историю. Но я знал себя и ни минуты не сомневался в том, что не успокоюсь, пока не разведаю, что там такое и почему.

Меня удерживало лишь видимое отсутствие каких-либо путей, ведущих к «Белому божеству». Сидя в лотосовой позе на базальтовой плите, я уже давно не воображал себя монахом, а лихорадочно изыскивал способы пролезть в чащу, казавшуюся непроходимой. Именно «казавшуюся»!

По опыту, приобретенному во Вьетнаме, я знал, что пробиться нельзя только через бамбуковую поросль. Прикинув все «за» и «против», я взобрался на вершину и, пройдя по гребню, спустился по заросшему колючим кустарником подветренному склону. Лес, подступавший к самой подошве, просто и естественно принял меня в свое пряное лоно. Как и следовало ожидать, это был вполне проходимый окультуренный массив, где на залитых солнцем полянах зрели фрукты и овощи. Лесная тропа, хотя и напоминала

джунгли скользким ковром перегнившей листвы, была тем не менее заботливо расчищена тесаком. Огибая бамбуковый частокол, она уводила все дальше в низину, где прела жаркая духота.

Не стану описывать свой довольно долгий и утомительный путь, на котором, кроме гигантских жаб, спарившихся возле замшелого колодца, не встретилось ничего замечательного. Скажу только, что, дав изрядно лишку, я выбрался все же на поляну, где стоял «Белый конус» — то ли маленький храм, то ли часовня. По примеру двух смешливых молодых индианок, я заглянул в замочную скважину — двери были на запоре — но, как и следовало ожидать, ничего интересного не увидел. Променяв прохладу и спокойствие горных высот на изнурительное подвижничество, я не удостоился благодати. Наградой мне было сознание исполненного, удовлетворение, которое достигается ценой преодоления, и воспоминание о щедрой красоте почти первозданного леса.

Недалеко от «Белого конуса» находилась крестьянская хижина, крытая рисовой соломой, и пристроенный к ней навес на бамбуковых шестах. Заметив стоявшего там человека, я подумал, что не худо будет купить кокос или просто спросить холодной воды.

Но, подойдя ближе, я понял, что едва ли дождусь чего-нибудь от лохматого, обросшего волосами существа, замершего под навесом. Передо мной предстал шиваит-подвижник. Маленький острый трезубец, пронзивший высунутый язык и нижнюю губу, обрекал его на вечное молчание, а свисающая с потолка трапеция, обернутая подушкой, свидетельствовала о том, что «святой» не должен ни сидеть, ни лежать, а может лишь изредка облокотиться.

Взлет силы и величия трехглавого Махадео, словно исчахнув в жаркой лихорадке низины, обернулся жутким самоизуверством. Закатившиеся глаза, застывшая идиотическая улыбка.

Словоохотливый крестьянин, услужливо подставив кружку для подаяний, дал необходимые пояснения:

— Вот уже тридцать лет, как стоит, — довольным взглядом собственника окинул он фигуру подвижника, в котором не осталось почти ничего человеческого. — Мы и кормим его, и ходим за ним. Так и стоит все время, молча... Великий подвиг!

Не приходилось сомневаться в справедливости слов крестьянина. Всякий, кто хоть сколько-нибудь знает Индию, поймет, что это «чудо» чистое, без обмана. Но, право, лучше бы это был обман, ибо нет здесь ни чуда, ни чистоты, а лишь одно надругательство над природой. Куда приятнее

было бы сознавать, что по ночам, когда считанные посетители неотмеченной в путеводителях долины «Белого конуса» мирно покоятся в своих постелях, заросший столпник вытаскивает изо рта булавку и отправляется в дом почивать.

Шиваизм сегодня — это живая религия, насчитывающая сотни миллионов приверженцев. По сей день в тысячах храмов творятся ежедневные обряды в честь Трехликого, равно как во многих деревнях, особенно на юге Индии, почитают его энергию под видом змей. Именно там, на юге, можно увидеть так называемые «хиростаунс» — изображения актов страшного жертвоприношения — самоотсечения головы. И это тоже не только дань древней истории. В 1967 году в промышленном городе Джамшедпуре два брата-рабочих, уповая на то, что Шива освободит их от кабалы ростовщика, отсекли друг другу головы.

Чуда, разумеется, не произошло. Великий Разрушитель не прирастил их обратно.

Так закончилось мое нисхождение в брахманистский шеол, под базальтовые своды. Но мой рассказ о пещерах еще не закончен, потому что подземные храмы Аджанты имеют самое непосредственное отношение к повествованию.

Их фрески связали концы и начала...

В записках об Индии, принадлежащих перу путешествующего буддийского монаха Сюань Цзяна, есть одно любопытное место:

«На востоке этой страны был горный хребет с кряжами один над другим, с ярусами пиков и с чистыми вершинами. Здесь был монастырь, нижние помещения которого находились в темном ущелье. Его величественные залы и глубокие пещеры высечены в отвесе скалы, а ряды его зал и расположенных этажами террас имели отвесную скалу позади, выходя передними фасадами к лощине. Этот монастырь был построен Ачалой из Западной Индии... Среди обителей монастыря был большой храм, свыше 30 метров высоты, в котором находилось каменное изображение Будды, более 21 метра вышины. Его увенчивали балдахины в семь ярусов, не прикрепленные и ничем не поддерживаемые, с промежутками между ними почти в один метр. На стенах этого храма изображены события из жизни Будды как бодхисаттвы, включая обстоятельства достижения им «бодхи» и его ухода; все великое и малое было здесь начертано. За воротами монастыря, на обеих сторонах — северной и южной, было по каменному слону...»

Это первое письменное свидетельство о пещерах прославленной ныне Аджанты. Европейцы узнали о ней со слов одного английского офицера, который, преследуя раненого

леопарда, забрел в узкое ущелье. Каменные стены его зияли темными провалами входов.

Монастырь, о котором писал в VII веке Сюань Цзян, к тому времени уже давно не существовал. Только бродячие садху самых разных вер забредали сюда время от времени, чтобы задержаться ненадолго в одной из келий, вырубленных в горе.

В составленном в 1843 году отчете археолога Дж. Фергюссона впервые были перечислены сокровища скульптуры и живописи, найденные в храмах Аджанты, в ее вихарах и сангхармах, вырубавшихся в течение восьми столетий начиная с первого века до нашей эры.

Считается, что этот беспримерный труд далеко перекрыл рекорд пирамиды Хеопса. Если вытянуть в линию одни только кружева тончайшей резьбы, что покрывают стены, потолки и колонны двадцати девяти пещер, то ее достанет до снегов Джомолунгмы. Что труд Сизифа перед этим тысячелетним терпением и упорством? Что крепость базальтового монолита, дрогнувшего перед жалким ударом простого кайла или зубила?

До сих пор археологи ломают голову над тем, как ухитрялись работать древние живописцы в полумраке пещер. Как смогли расписать их многокрасочными тончайшими рисунками? Возможно, они пользовались для этого зеркалами? Ловили солнце и посылали его во тьму, как это делают мои новые друзья, фотографируя неведомые сокровища Гималаев.

Теперь к услугам многочисленных туристов в пещеры проведено электричество. В его резком, бестеневом озарении предстает цветная застывшая пантомима далекого прошлого. Уцелевшие фрагменты фресок, как осколки зеркала, в котором навеки застыли картины далекого прошлого: посольство персидского царя, разъяренные боевые слоны, топчущие поверженные рати, умирающая принцесса, юный Сиддхартха, тоскующий в роскошном дворце... Легенда и быль, переплетенные в сложном узоре. Блестки света, вспыхнувшие в водах летейской реки, остановленные в губительном полете метеоры.

Но чудо, позволившее заглянуть в щелку запретных покоев минувшего, не может длиться вечно. Пещеры, ставшие прибежищем летучих мышей, подтачивает неизлечимый недуг. Осколки минувшего тускнеют, отслаиваются, смертная известковая бледность наползает на нежные ланиты прелестных куртизанок, мутная пелена заволакивает их золотые глаза. Убранные драгоценностями и цветами, еще вершат свой бессмертный полет красавицы апсары, услаждающие взоры царей совершенством и щедростью форм, опьяняю-

щие любовников искрометной пантомимой танца. Их изощренные пальцы, не ведающие стыда, еще посылают во тьму веков откровенный и страстный призыв. Но никто не придет на ночное свидание. И зовущая ручка, устав от тысячелетнего ожидания, рассыпается прахом.

Пир у Воланда. Золото ведьм, превращающееся утром в золу. На выставке в Дели я долго стоял перед витриной, где был представлен разбитый на стадии кропотливый процесс консервации фресок. За шприцами с антибиотиками, за флаконами освежительных эликсиров и синтетических клеев, за целительными бинтами и влагопоглощающим порошком мне мерещился аркан Махакалы. Единоборство с демоном всеразрушающего времени. Величайшая из битв, которую ведет человек с самой колыбели.

Бесценны ее победы и стократ горьки невозвратимые потери. С надеждой следя за усилиями реставраторов, биологов, химиков и прочих людей знания спасти шедевры прошлого, мы невольно забываем, сколько всего сами, о том не ведая, потеряли за горами лет. И только внезапный удар, ибо встреча с чудом подобна удару молнии, приоткроет глубину окружающего мрака.

Неисповедимы пути познания.

Представьте себе, что вы стоите посреди одной из пещер — пусть это будет знаменитая «Рангмахала» с житиями Сиддхартхи или вихара № 1 с двумя красавицами — и бездумно любуетесь дивным совершенством полногрудых прелестниц. Вы можете думать при этом о чем угодно: о тех̀нике росписи на сухой штукатурке, о тайне чуть капризных губ, сохранивших жар и усталую припухлость бессонных ночей, об улыбке Моны Лизы по ассоциации или о том, зачем понадобилась в монашеской обители такая греховная, такая возмутительная красота. Затем вы уйдете, унося с собой свои впечатления и неразрешенные вопросы.

Таков обычный путь, но он не раскрывает душу Аджанты. Но вот внезапно гаснет электричество и, когда глаза свыкаются с мраком, вы приобщаетесь к сокровеннейшей тайне. Происходит нечто необъяснимое. Плоские фигуры на стенах наливаются призрачной жизнью, обретают объемность и цвет алебастровых статуй. Таинственное свечение древних красок набирает полную силу, освобожденные от покровов пленительные тела обретают прозрачность залитого лунным сиянием Тадж Махала. Еще мгновение, и они, получив движение и свободу, сойдут с базальтовых стен. И никто не знает, что случится тогда с ними, с вами, со всем светом!

Но тут свечение начинает ослабевать, меркнуть, и уставшие, дряхлые краски вновь погружаются в первозданную мглу.

Фрески Аджанты служили образцом для всей Восточной Азии. Даже в стенных росписях старинных храмов далекой Японии легко отыщется неизгладимый их след. Но вечные цвета солей земли невидимы во мраке. Только краски Аджанты, не зная сна, живут странной призрачной жизнью.

Если вас привлекает очарование тайны, не читайте приведенный ниже абзац. Эту короткую выдержку из книги А. Короцкой «Сокровища индийского искусства» я привожу лишь в качестве «информации к размышлению»:

«Росписи в Аджанте, как и вся древнеиндийская стенопись, делались по сухой, а не по сырой штукатурке. Поверхность скалы вначале покрывалась составом, содержащим клей, коровий помет, тонко-измолотую рисовую солому. Сверх него накладывался тончайший слой (толщиной в яичную скорлупу) штукатурки, которая тщательно полировалась. Возможно, поверхность стен на ночь смачивалась, судя по очень скудным следам, также тончайшим слоем штукатурки и раскрашивалась».

Для человека, знакомого с основами физики, не составит труда построить на такой базе гипотезу. Я же, вместо ученых рассуждений об энергии возбуждения, сульфидах металлов и радиоактивности, приведу коротенький миф.

Подобно Шиве Вишну, воплощенный в боге Нараяне, предавался в гималайских долинах аскетическому созерцанию. Небесные апсары, видимо, не без влияния шалуна Камы, задались целью свернуть доброго бога с изнурительной, хотя и благочестивой дороги. В отличие от вспыльчивого Трехглазого, Нараяна снисходительно отнесся к милым шалостям соблазнительниц. Взяв свежий сок дерева манго, он нарисовал обнаженную нимфу такой потрясающей красоты, что апсары пришли в уныние и оставили свои шашни. Так, с нимфы Урваши, ставшей идеалом женской прелести, началась история живописи.

Нараяна передал секреты мастерства небесному зодчему Вишвакарме, а тот, в свою очередь, поведал о них людям — предкам бессмертных художников Аджанты.

Именно в этих пещерах и было обнаружено древнейшее изображение «Колеса мира».

Как многолика Индия! Страна «Махабхараты» и «Рамаяны», «Упанишад» и «Вед», страна атомной энергии и спутника «Ариабата». Этот спутник, созданный руками индийских ученых, был назван в честь древнего математика и мудреца. Но на околоземную орбиту его вывела ракета, запущенная с космодрома, расположенного на нашей земле. Знаменательное совпадение и отнюдь не случайное! Вспомним хотя бы «Русь-Индия» Рериха:

«Если поискать, да прислушаться непредубежденно, то многое значительное выступает из пыли и мглы. Нужно, неотложно нужно исследовать эти связи. Ведь не об этнографии, не о филологии думается, но о чем-то глубочайшем и многозначительном. В языке русском столько санскритских корней... Пора русским ученым заглянуть в эти глубины и дать ответ на пытливые вопросы. Трогательно наблюдать интерес Индии ко всему русскому... Тянется сердце Индии к Руси необъятной. Притягивает великий магнит индийский сердца русские».

Читая эти строки, я думаю об индийском гении, который устремился в космическую дверь, распахнутую мощью и дружбой нашей страны. Не это ли смутно грезилось мудрецу и художнику среди вечных снегов гималайских?

## ЗАОБЛАЧНАЯ ТВЕРДЫНЯ

Индийцы справедливо считают, что ни одна горная система в мире не оказывает такого глубокого и всестороннего влияния на жизнь сопредельных стран, как Гималаи на Индию. Великий горный барьер оплодотворил дыханием своих высот одну из наиболее замечательных мировых цивилизаций. Тесно связаны с Гималаями не только религии, мифология, литература, искусство, но климат, история и даже политическая жизнь Индии. Сверкающие вершины являются объектом неустанного восхищения и преклонения. Они — наглядный символ торжества жизни не только для обитателя гангской долины, но и для народов многоязычного Юга, удаленного на две с лишним тысячи километров от обители снегов, для кочевников раджастанской пустыни, рыбаков побережья, лесных жителей Голубых скал. Зарождающиеся высоко в горах священные реки несут на равнины плодотворящую энергию Химавата, его неистребимую силу, щедро дарующую новую жизнь. Видимая издалека, обнимающая весь горизонт, ледяная корона вечно пребудет эталоном космического величия и совершеннейшей красоты.

От Сринагара до Леха — главного города Ладакха «всего» 430 километров. Но еще год назад это была гималайская дорога, проложенная через перевалы Малого Тибета. Нормальное шоссе кончалось где-то за Гандербалом на берегу грохочущего Зинда, прыгающего по рыжим обкатанным валунам. Змеясь вдоль галечного русла, в котором среди каменного хаоса и вывороченных с корнем стволов беснуется, неистовствует, гневно клокочет мутный поток, дорога сворачивала к долине Инда, ныряла в котловины, наполненные влажным застойным жаром, взлетала под облака. Бесконеч-

ные «ла» — перевалы, увенчанные каменными горками и выцветшими полосками материи, сурово отсчитывали отрезки изнурительного пути.

Буйные ветры проносятся над Цоджи-ла, Намике-ла и Фоту-ла, вознесенными на высоту в три и четыре километра. Колючая пыль и снег, сухой, как наждак, шлифуют выбеленные, истонченные до ломкого целлулоида кости лошадей и баранов, верблюжьи остовы и рогатые черепа яков. На подходе к Цоджи-ла небольшое кладбище. Камнем с блестящей прожилкой, рогом архара, а то и морской раковиной отмечены могилы безымянных путников. Быть может, они везли шерсть и соль с далеких северных плоскогорий, или гнали мулов, навьюченных пряностями и кашмирскими тканями? Направляли караван яков, груженный священными книгами лехских монастырей Лама-Юру, Хемис, Спитуг? Тайно переправляли золото на сринагарские рынки? Этого никто не узнает... Снега, которые на долгие месяцы закрывают перевалы, год за годом заносили следы, и талые воды смывали память. Святой ли проповедник схоронен в неведомой могиле или горный лихой разбойник-грабитель караванов — не стоит задумываться. По привычке путники бросают кто камешек, кто монетку и проезжают мимо.

Горы Ладакха — не пустыня. В укромных, защищенных от буйной игры стихий ущельях стоят сложенные из сланцевых плит хижины анвалов, естественные и прекрасные, как скалы. Извивы каменных стен поддерживают террасы, где ячменные зерна наливаются буйной силой высотного солнца. В ямах, выдолбленных в твердых пластах, медленно вызревают упорные бледно-лазоревые клубеньки картофеля.

Ладакх, входящий в штат Джамму и Кашмир, наверное, самая «заоблачная» страна в мире. Люди живут тут даже на высоте 4500 метров, где скудная земля не выращивает ни злаков, ни клубней. Так же высоко укрылись от мирских тревог и многочисленные монашеские общины, живущие грезами прошедших времен.

Сам Лех — крохотная столица, насчитывающая что-то около девяти тысяч жителей, расположен на отметке 11 500 футов (3450 м). Примыкая к Тибетскому нагорью географически, Малый Тибет сотни лет находился под юрисдикцией далай-лам. Не удивительно, что Лех с его старинным замком и монастырями тибетской архитектуры напоминает Лхасу в миниатюре. Те же белые стены, наклоненные внутрь, и плоские крыши. Почти такие же многоэтажные фронтоны с узкими окнами, которые издали кажутся Т-образными из-за нависающих над амбразурами обширных

карнизов. Поразительное смешение красоты и уродства, роскоши и убожества. Многочисленные тибетского толка чортэни и мэньдоны охраняют подступы к стране Красных Лам, как именуют Ладакх древние рукописи. Восьмиметровая статуя Майтреи задумчивой улыбкой приветствует караваны на подходе к «Маленькой Лхасе». Чело будды грядущего мирового периода увенчано чортэнем, а в цветах, что он держит в руках, священные атрибуты: колесо-чакра и кувшинчик с амритой. Скальный конус, в котором высечена статуя, символизирует гору, где уже тысячи лет пребывает бодхисаттва. Когда исполнятся сроки, он выйдет на белый свет и пройдет тем же самым караванным путем в Лхасу. Ламаистские памятники и мани на придорожных камнях укажут ему дорогу в Ладакх и на Тибет, как они испокон веков направляли туда путников.

Вспыхнет небо над Гималаями. Красный всадник Ригден Джапо, как объятое огнем облако, пронесется над снежными вершинами. И вспыхнет небесный бой, победная «северная война» и откроется путь в сказочную страну счастливых праведников, где сядет на небесный престол Красный всадник — двадцать пятый царь Шамбалы.

Шамбала! Загадочное название. А что если это Чампала? Перевал Майтреи, так как ла — перевал, а Чампой, королем возлюбленным, зовут в Гималаях грядущего учителя веры. Если это действительно так, то Шамбала не более чем наглядный символ веры. Это внутренняя страна, которую каждый может открыть в себе на вершине восьмеричного пути к совершенству. Но не будем вдаваться в тонкости буддийской метафизики. Кочевые племена Гималаев сотни лет ждали пришествия Майтреи. Для них Шамбала стала символом воздаяния за все несправедливости жизни.

Рерих воспел легендарного Ригден Джапо, или Эрэгдындогбо-хана. В 1926 году он написал свое знаменитое полотно «Красный всадник», которое подарил правительству Монгольской Народной Республики.

Я видел эту картину в Улан-Баторе. Прообразом ее послужила тибетская танка:

«На красном коне, с красным знаменем неудержимо несется защищенный доспехами красный всадник и трубит в белую раковину. От него несутся брызги алого пламени, и впереди летят красные птицы. За ним горы Белухи, снега, и Белая Тара шлет благословение. Над ним ликует собрание великих лам. Под ним — охранители и стада домашних животных как символы места.

Эта замечательная старинная тибетская картина принесена нам в последний день жизни в Ладакхе».

Ветер играет лохматыми хвостами яков, знаменами, обесцвеченными до белизны тряпками. Отполированная ладонями паломников лоснится медь больших молитвенных цилиндров перед воротами монастыря. Темно-красные тоги и высокие, гребенчатые, словно у героев Троянской воины, шапки лам ярко рдеют на плоских каменных крышах.

Время словно пронеслось мимо заповедного места, как река, огибающая скалу, протекла по обе стороны горной цитадели, напружив пенный бурун далеко на севере, где вновь сомкнулись струи.

Войдем же в один из этих обветшалых храмов, возведенных в строгом соответствии с каноном. Не знаю, можно ли по одному-единственному дереву судить о всем лесе, но внутреннее убранство любого ламаистского святилища даст довольно полное представление о храмах Тибета и Монголии, Бутана и высокогорного Непала, Бурятии и Сиккима.

Ворота стерегут стилизованные львы, скорее похожие на широкомордых курчавых собак. Их так и называют львы-собачки Будды. Сразу же за воротами большая бронзовая курильница, в которой пылают связки можжевеловых палочек. Их благовонный дым отгоняет всякую скверну. Перед тем как войти внутрь, богомольцы подставляют лицо и грудь дымным прядям. Вход всегда расположен с южной стороны, а главная сокровищница — на севере, где находится Шамбала и пребывает в нирване будда Шакья-Муни. Через позолоченное навершие в виде полумесяца и увенчанного языком огня солнечного диска храм как бы проникается творческой силой космоса. Предстает в облике миниатюрной, но законченной Вселенной, замкнувшей в себе основные стихии.

В центре крыши помещают ганьчжир — позолоченный сосуд, наполненный священными текстами. По-тибетски он так и называется «полный сокровищ» — цзу-тан. По углам возвышаются вазы поменьше — «знаки победителя», в которые кладутся не только мани, но и оттиски сочинений буддийского проповедника Адиши. Пройдя от Индии до Тибета, он всюду оставлял за собой «знаки победителя». Проповедовал учение, взывал к отрешенности помыслов и чистоте поступков.

Над дверями, на которых обычно рисуют устрашающие охранители или маски чудовищ, сверкает восьмирадиусный круг с двумя оленями по бокам. Четыре локапалы — хранителя стран света стерегут преддверие святилища. Космическая символика, пронизывающая все индо-буддийские вероучения! Красные четырехугольные колонны обычно расписаны золотыми фантастическими фигурами: драконами, птицами-гарудами, змеями-нагами. Так под видом ор-

наментов посланцы Вишну и Шивы проникали в оплоты буддизма.

Места лам распределяются в зависимости от степени и чина. Чем значительнее, тем ближе к святыне. Самым почетным считается место на северной стене левее от алтаря. Его обычно занимают святые перерожденцы хутухту. Степень старшинства ламы можно установить по количеству подушек на сидении: от одной до семи. Причем нижняя — для многих она единственная — обязательно плетется из трав. Эта циновка бхикшу — нищего, который отрекся от мира ради познания высших истин, должна повседневно напоминать об аскетических заветах буддизма. О том же свидетельствует и ромбовидная заплатка на монашеском тюфячке. Когда по прошествии шести лет такой тюфячок заменяют, заплатка аккуратно перешивается на новый, напоминая о нищете, о высоком благе довольствоваться только самым необходимым.

Я не раз беседовал с ламами о символике храмовых атрибутов. Мало кто из них знал об истинном смысле заплатки. Почти все полагали, что это просто украшение. Так оно и есть в теперешнее время.

Перед старшими ламами (в Таиланде они различаются по веерам) обязательно стоит низенький, увитый драконами столик, куда ставятся колокольчик с ваджрой, барабанчик или набор чайных чашек, прикрытых узорными крышками из серебра. При богослужениях столик убирают цветами. На нем могут лежать стопки священных страниц Ганжчура, музыкальные инструменты. Перед статуями богов — бурханов на северной стене находится жертвенник, на котором постоянно стоят восемь счастливых драгоценностей: белый зонт, парные рыбы счастья, талисманы из озера Яндок, белый лотос, сосуд с амритой — бумба, хитроумно закрученная нить счастья, победный бунчук и тысячерадиусное колесо.

На этих традиционных жертвах стоит остановиться особо. Рожденные в Индии, эти символы разлетелись далеко за ее пределы, утратив зачастую конкретный смысл и превратившись в элемент орнамента. В Гималаях они встречаются повсеместно: в резных наличниках окон и чеканном узоре сбруи, на вышивках и детских игрушках, женских платках, табакерках, оружии. Они составляют основу затейливых узоров в жилищах, одежде и утвари монголов, калмыков, бурят, тувинцев.

Они проникли даже туда, куда не забирались буддийские проповедники. Характерное сплетение нити счастья («балбэ» по-монгольски) я встречал на фресках церквей в Ростове Великом, на каменном саркофаге мусульманского

святого в Хиве, на царских банкнотах, даже на стальных немецких латах в «Рыцарском зале» Эрмитажа. Эту эмблему, указывающую счастливый путь в лабиринте перерождений, тибетцы не совсем почтительно именуют «кишками Будды».

Многое в гималайской действительности осталось бы для меня тайной за семью печатями, если бы не эти знаки. Они раскрывали смысл ритуалов, предназначение раскрашенных киноварью камней, сложную символику танцев, брачных церемоний, праздничных подарков.

Читая сочинения иных авторов, я с грустью понимал, что они взирали на Гималаи незрячими глазами. Не владея тайным кодом, они буквально пропускали чудеса, проплывавшие перед их глазами.

«Звезды появятся — небо украсят, знания появятся — ум украсят», — говорят монголы.

«Сколько наизусть выучишь, столько и знать будешь; сколько земли выроешь, столько и воды добудешь», — вторят им непальские шерпы.

В народном узоре всегда записана история. Орнаменты Гималаев это еще и живая быль.

За рядом «счастливых драгоценностей» часто ставится еще один символический набор, известный как «сокровища хана Чакравати»: восьмирадиусный круг; камень чандамани, испускающий радужные лучи на восемь углов Вселенной и дарующий исполнение желаний; прекрасная царица; мудрый министр; слон, несущий на себе 84 000 священных книг; конь с чандамани на седле и храбрый военачальник.

Перед жертвами постоянно стоят семь бронзовых чаш на лотосовых ножках: две с водой, одна — с цветком, одна с курительными свечками, одна с коровьим маслом, в котором плавает горящий фитиль, затем еще одна с водой и, наконец, последняя — с яствами.

Это дары привета. Они позволяют нам воскресить древнейшую церемонию встречи царей. Не так уж трудно представить себе, как склоняется перед усыпанным бриллиантами махараджей прекрасная индианка в багряном сари, как подает ему воду сначала для ног, потом для лица, посыпает цветами путь и ложе, окуривает благовониями светелку, поит и кормит.

В Гималаях осталось только два короля: непальский шах-бог и бутанский «король грома». Хотя мне и доводилось наблюдать некоторые королевские церемонии, я не знаю, как привечают сейчас высочайших особ в частных домах и храмах. Возможно, в полном соответствии с традицией. Но простые смертные могут лицезреть воскрешение древних обрядов.

Когда мне случалось забираться на горные кручи по вырубленным в скале ступенькам, чтобы осмотреть затерянные монастыри «затерянных королевств», то первым делом служка подносил таз с горячей подсоленной водой для ног и кувшин для умывания. Приходило отдохновение, спадала усталость, ровнее становилось дыхание.

Перед чашами привета зажигают еще одну негасимую лампаду с коровьим маслом и фитилем, сделанным из дерева гуша. Как правило, ее окружают сеткой, чтобы мошки, летящие на огонь, не сгорали перед ликом Будды. Подобная предосторожность соблюдается и в других случаях. Курительные палочки, изготовленные из сердцевины можжевельника и ароматических веществ, не должны содержать мускуса, дабы не отпугивать змей, которые часто заползают в храмы.

Отдельную группу составляют «жертвы очищения»: металлическое зеркало «мелон», кувшин с кислым молоком и дунг — поющая белая раковина. С культом верховных будд созерцания связаны жертвы «пяти органам чувств»: тот же дунг, освящающий слух, то же зеркало — зрение, мускатный орех — обоняние, сахар — вкус и желтый блестящий шелк — осязание.

Еще среди храмовой утвари можно увидеть мечи и стрелы для особых церемоний в честь бога войны Бегче, черную глиняную патру нищего аскета и хорсил — посох странствующих учеников Будды.

На почетном месте стоят реликварии в виде чортэней, часто хранящие пепел благочестивых лам, а также кованная из золота или серебра, украшенная самоцветами мандала — символ мироздания. На нее в праздник мандалы сыпят монетки, пшеничные и рисовые зерна. На ежедневной церемонии принесения в жертву Вселенной ее торжественно выносят из храма. Это поистине космическая церемония, лишенная, однако, каких-либо примет реального космического пространства. Рядом с мандалой может лежать серебряное зеркало для освящения вод и бумба с кропилом из павлиньих перьев. В тантрийских служениях, посвященных страшным богам, употребляется габал, который всегда ставится напротив мандалы. Для изготовления габала берут черепную крышку человека, который умер естественной смертью, остался девственником и сознательно не убил ни одного живого существа. Кроме того, на темени должно находиться ясное изображение ваджры. В крайнем случае его специально вырезают. Точно так же извилистые швы на внутренней поверхности крышки должны образовывать особый, известный лишь избранным ламам, узор. Знатоки примет еще на живом человеке определяют, годится

его череп на габал или же нет. Если годится, то к отмеченному самим богом избраннику отправляется целая депутация с просьбой пожертвовать после смерти свои кости храму. Это считается высокой честью и обеспечивает удачное перерождение, поэтому отказов не бывает.

Из человеческих костей делают еще музыкальные инструменты, четки, орнаментальные украшения для тантрийских церемоний. Поскольку отвечающие всем необходимым признакам черепа довольно редки, габал разрешают отливать из серебра или бронзы.

Мне посчастливилось купить такой бронзовый сосуд с ваджрой на крышке, копирующей черепную, в предгорьях Аннапурны. Тибетец, уступивший мне это сокровище, сказал, что оно изготовлено неподалеку, в Мустанге.

На жертвеннике мандала и габал располагаются справа, а мэлон и бумба — слева от центрального будды. Сверху над богами свешиваются сшитый из пяти драгоценных материй бадан, прославляющий пятью цветами будд созерцания, и многочисленные цилиндры, изготовленные из материй трех цветов — желтого, красного, синего, выражающих три отдела учения. Кроме того, с колонн и потолка свисают бесчисленные иконы, многоцветные ленты с шариками из стекла, бирюзы, сердолика и приветственные шарфы — хадаки желтых, черных, белых и сиреневых тонов.

В озарении лампад, всевозможных фонарей и курительных свечек сверкает, переливается красными искрами позолота бурханов. Ароматный тревожный дымок колеблется и тает перед многоцветными завесами свитков и лент. Там же висят двойные барабанчики, шары, сшитые из мешочков, наполненных одиннадцатью благовониями, музыкальные инструменты.

В полном соответствии с доктриной дхьяни — будд храм нажимает на все пять чувственных клавиш, заставляя звучать шестую струну, интуитивно протянутую между человеческим сердцем и мирозданием.

Изощренная практика «обработки душ», торжественность обрядов, чин и бьющая в глаза роскошь внутренних убранств сближают ламаистскую церковь с католической. На это обращали внимание еще первые иезуитские миссионеры.

Интересно привести в этой связи свидетельство полковника Остина Уоддела, одного из организаторов британской военной экспедиции 1904 года, закончившейся оккупацией Лхасы:

«Вышло около 100 монахов в красных одеяниях, все они сели на подушки, разложенные вдоль средней части храма; главный священник, в желтой шапке (остальные были с

открытыми головами), занял более высокую подушку во главе ряда, с левой стороны, подле алтаря; служки зажгли несколько сот добавочных маленьких ламп. Когда все было готово, монахи запели гимн, который очень напоминал католическую службу у нас. Глубокий, похожий на орган, бас певцов, усиление и падение звука, серебристые колокольчики, время от времени глухой грохот барабанов во втором ряду, — все вместе придавало величественный и священный характер службе. Огни дрожали, фигуры священников выходили из тьмы и, закрытые тонкими облаками дыма ладана, казались тенями живыми, но туманными и производили сильное впечатление. Католические миссионеры ранней эпохи, так же как и Хук, заметили поразительное сходство многих ламаистских обрядов со службой римской церкви; Хук даже воскликнул, что дьявол в своей злобе на христианство предупредил его появление».

Не берусь судить о дьяволе, но ревность достопочтенного Хука обернулась откровенной злобой. Как и многим другим, ему было невдомек, что демоническая внешность тантрийских божеств символизирует душевные качества прямо противоположного свойства. Да и стоило ли доискиваться потаенного смысла «чудовищных дикарских» обрядов, если их очевидный дьяволизм лишний раз оправдывал «цивилизаторскую миссию» британской короны?

Я читал отчеты о деятельности католических и протестантских миссионеров в Гималаях. За редким исключением, все они с особым старанием, я бы даже сказал, смакованием стремились выявить темные «омерзительно-непристойные» черты ламаистского культа. Когда же речь заходила о поразительной общности обеих церквей, то тут же срабатывал принцип нетерпимости: «тем хуже» и повторялись проклятия Хука.

Мне вспомнилась превосходная побасенка Карела Чапека, где кролиководческий, простая душа, не скрывает своего недоумения: «Не понимаю, как это можно быть голубеводом». Интересно, что ответит на это голубевод?

Насколько мудрее и, главное, честнее была реакция доньи Бланки в гейневском «Диспуте»:

Ничего не поняла
Я ни в той, ни в этой вере,
Но мне кажется, что обе
Портят воздух в равной мере.

Отдав дань юмору, я хочу вновь обратить внимание на своеобразие гималайской культуры. Путешественника, исследователя, туриста здесь на каждом шагу подстерегают большие и маленькие ловушки, основанные на кажущемся сходстве. Словно Майя, коварная богиня иллюзий, нарочито

подбрасывает знакомую приманку, которая, едва вы успели клюнуть, оборачивается досадным промахом. И долго слышится смех Майи, ускользнувшей за туманную занавесь.

Несмотря на тьму внешних аналогий, сопоставление ламаизма с римско-католической церковью едва ли заслуживает серьезного внимания.

Тот же Уоддел, например, пишет о «дыме ладана». Но ламы вообще не знают ладана! Они окуривают свои кумирни дымом травы аваганги или можжевельника. Уоддел просто сделался жертвой иллюзии, оказался в плену аналогий.

Возьмем, наконец, путевые заметки такого интересного и популярного автора, как Бернгард Келлерман.

Описывая святыни Леха, он отмечает:

«Молитвенные барабаны непрерывно гудят: ни один лама не пройдет мимо без того, чтобы не привести их в движение. На всех стенах длинных переходов стоят ряды их, и монахи ударяют по ним одной рукой, проходя мимо».

Как будто бы все верно. Такие барабаны — количество их доходит до сакрального числа 108 — действительно окружают храм, и богомольцы, прежде чем войти внутрь, приводят их в движение.

Зрение не обмануло писателя. Над ним подшутил будда Вайрочана, ответственный за слух. Молитвенные барабаны не могут гудеть. Это, так сказать, барабаны только по форме — цилиндры, наполненные мани. Они предназначены для «прочтения» молитв, которое достигается вращением, а не для музыкальных эффектов.

На то есть плоские «турецкие» барабаны и катушкообразные дамару с двумя шариками.

Вновь подвела кажущаяся очевидность.

Но коль скоро речь зашла о музыке, скажу несколько слов об экипировке ламского оркестра. Благо те же самые инструменты, во всяком случае большая их часть, используются и мирянами.

Кроме колокольчика дрилбу (гханта — на санскрите и хонхо по-монгольски) с ваджрой и головкой богини Тары на ручке, в богослужении используется еще и барабанчик дамару. У них, так сказать, ведущие партии. Кроме того, монашеская капелла располагает украшенным переплетенными драконами «турецким» барабаном «бхери»; медными тарелками «цан» и «цэльнин» с магическими буквами внутри; маленькими тарелочками «дэншик», которые держат в одной руке за связывающий их ремешок; дудармой (двенадцать тарелочек в клетках на деревянной раме), раковиной «дунг-хор»; свирелью «бишкур» из раковины или рога и «ганлином» — берцовой костью, оправленной в серебро.

Эта труба, согласно канону, «должна напоминать ржание коня, уносящего праведников в рай Сукхавати». Для изготовления ганлина берут кость девственницы, умершей в юности ненасильственной смертью.

В звенящей меди оркестра, пусть неявно, но должен присутствовать мотив смерти. Безнадежная мелодия, отрицающая привязанность к соблазнам преходящего мира. Вечная тема буддизма. В чинном строе храмовых скульптур и ярком хаосе рисованых свитков она тоже оставила свой отпечаток.

Я говорю о Читипати — хранителях кладбищ. Образ супружеской пары скелетов, лихо отплясывающих на озаренных потусторонним светом могильных плитах, на самых законных основаниях дополняет ламаистский пантеон. Оскаленные в бесшабашной улыбке Читипати стоят в одном ряду с духами мест и демонами, вроде владыки Данкана из почитаемой в Тибете группы «великих царей», гарудами, нагами. Это низшая ступень неоглядной пирамиды, чья вершина купается в сиянии непостижимого Адибудды.

Медленно и постепенно приобщаются Гималаи к ритму современной жизни. Оно и понятно. В том же Лехе едва ли не самую многочисленную группу населения составляют монахи. Очень много и пришлых людей: стариков, обходящих гималайские святыни, и молодых послушников, которые, подобно школярам средневековой Европы, бродят от монастыря к монастырю. Постигая глубины метафизики, они принимают участие в диспутах или учатся под руководством старших наставников музыке, врачеванию, живописи.

Прожив в монастыре с полгода, они без особой на то причины снимаются с места и перекочевывают в другую общину. Одни уходят в Бутан, другие в Сикким, третьи навсегда оседают в Дарджилинге или Калимпонге. Как и наиболее рьяные богомольцы, они живут за счет общины, или, точнее, на доброхотные даяния прихожан, и уходят, не благодаря за приют. Да и не ожидают от них благодарности. Любой из монахов Спитуга тоже может в один прекрасный день отправиться в странствие, чтобы набраться мудрости в далеком Непале. И точно так же его радушно встретят и приютят в Сваямбхунатхе или в Лумбини, где родился Будда. Если проявит особое прилежание и понятливость, ему могут предложить постоянное место, не проявит — его дело. То же благожелательное равнодушие встретит он и по возвращении. Ни отчета о командировке, ни экзаменов начальство с него не потребует.

Да и какой может быть отчет? Командировочных ему дали, что называется, только-только, едва на проезд хватило, и то в один конец. И жил он не в отелях Обероя с пятью

звездочками, а в полуразрушенных, обветшавших галереях, в продуваемых всеми ветрами кельях.

Почти не видно внешних перемен в гималайских городах-крепостях, городах-монастырях. Но одно ощущается ясно: их время безвозвратно уходит. Подобно тому как заглохли некогда шумные базары, на которых встречались три мира — Индия, Туркестан и Тибет, пустеют монастырские кельи. Разбредаются кто куда молодые послушники, скудеет доброхотное подношение мирян.

Низкий и захламленный Лама-Юру навевает тоску и уныние. В мерцании редких лампад тьма кажется еще гуще. Отчетливый запашок тления и настороженная тишина довершают общую картину. Обвешанные истлевшим шелком, пыльно золотятся лики восемнадцати учеников будды, прославленных проповедников, канонизированных настоятелей этого некогда процветавшего монастыря. С облупленных фресок, с капителей колонн скалятся клыками звериные головы и трехглазые черепа из папье-маше. Старая краска растрескалась и шелушится, словно и будды и чудовища страдают от кожной инфекции.

Только тысячерукий Авалокитешвара, как и сотни лет назад, стремится заключить всю землю в свои спасительные объятия и сверкают вечной позолотой колеса закона в его изящных перстах.

Милосердный бодхисаттва не заметит, когда окончательно опустеет его стареющий храм. Как не заметил этого гигантский Майтрея, оставшись в полном одиночестве. Даже редкие туристы, украдкой выколупывающие кораллы из ножных браслетов, не пробудили его.

Даже Дуккар с ее четырьмя тысячами глаз проглядела, как разрушился замок Сенте-Намгьял с его заживо сгнившими залами, гулким лабиринтом обрушенных лестниц и пустотой переходов, не ведущих более никуда.

По-прежнему идет служба в монастыре «желтой веры» Санкар, исполняют танец масок в «красношапочном» Спитуге, печатают с древних досок религиозные тексты в Хемисе. Но время прежнего Леха, который и по сей день живет по календарю шестидесятилетних циклов, прошло. Полнокровная жизнь сменилась неизбежной старостью, которая может продлиться неопределенно долго. Ужас перед мучениями на том свете сотни лет заставлял ладакхцев кормить и обслуживать тех, кто избрал для себя путь святости. Крошечная страна работала на лам и жила только для того, чтобы поддерживать их жизнь. В монастырях была сосредоточена вся общественная деятельность: школы и типографии, в которых печатались священные книги, иконописные мастерские и литейные дворы, где изготовлялись

бронзовые будды. Врачи, астрологи и тантрийские заклинатели, без которых нельзя было ни родиться, ни умереть, — тоже были ламами. Вся социальная система держалась только на вере. Больше всего боялись кроткие ладакхцы перевоплотиться после смерти в какое-нибудь животное. Постоянная угроза перед низким перерождением заставляла их терпеливо сносить все тяготы жизни. Впрочем, существовала и еще одна, вполне реальная сила: крупные феодалы, на которых работали десятки тысяч крепостных. Государственные должности занимали всегда двое: лама (он был главным) и представитель одной из семей. Перед главным священнослужителем трепетал даже местный раджа.

Англичане сохранили этот порядок в неприкосновенности. Новые руки взяли старые рычаги власти. Это всегда надежно и, главное, не требует рискованных перемен.

«Над городом материально и духовно господствовал монастырь, — еще в сороковых годах писал некто Форд, агент "Интеллидженс сервис". — Он был самым крупным землевладельцем района, а арендаторы, которым сдавались участки, фактически были, как повсеместно в Гималаях, его крепостными. Для того чтобы нанять слугу, мне пришлось испрашивать официальное разрешение у владельца поместья, на земле которого родился этот слуга... Монахов обслуживало местное трехтысячное население, которое поставляло им все необходимое. Монахи не работали, можно сказать даже, что они решительно ничего не делали. Несколько женщин от зари до сумерек носили шестнадцатилитровые баки с водой на самую вершину холма. Жили эти женщины у подножия, рядом с радиостанцией, и я не мог высунуть носа за дверь, чтобы не увидеть их — они то поднимались на холм, то спускались с него. Местный житель выпивает в день по крайней мере пятьдесят пиал чая. Если бы к тому же монахи еще и мылись, этот отряд женщин пришлось бы намного увеличить».

Английский разведчик нарисовал довольно верную картину, хотя многое и проглядел за «тибетским чаем». Он не заметил того, что ламы подчинялись весьма строгому уставу, что помимо службы занимались врачеванием, благотворительностью и т. п. Жизнь рядового монаха едва ли была легче жизни крестьянина. В праздности пребывали лишь перерожденцы, посвятившие себя медитации. Но присущий Гималаям дух неизменности Форд уловил верно.

Но на неподвижном фоне особенно ясно замечается любое движение. Отрадно было видеть свежий асфальт, проложенный в каньоне Зинда. Только пережив все тяготы и превратности лэма, можно понять, что значит для Гималаев хорошая дорога. Особенно такая, как эта, неразрывно свя-

завшая Сринагар с почти недоступным заоблачным Лехом! Незадолго до моего приезда в Кашмир Ладакх посетил премьер-министр штата Сайед Мир Касим, чтобы лично рассказать жителям о намеченной правительством новой пятилетней программе развития и реконструкции.

Через министра, ведающего вопросами культуры, я обратился к господину Касиму с просьбой ознакомить меня с текстом его речи, произнесенной на митинге в Лехе. В тот же день я получил отпечатанную на ротапринте брошюру со множеством таблиц и графиков.

— Всего две декады назад, — сказал премьер, — у меня появился наглядный повод вспомнить о том, с какими трудностями в течение многих недель добирались люди из Сринагара до Леха. Это было тяжелое путешествие по рискованному маршруту со многими остановками. Сегодня такой путь можно совершить всего лишь за несколько часов. Сгинули в прошлое трудности и неудобства, связанные с суровым климатом Леха. Одна из многих высотных дорог нашего штата. Но она знаменует собой прогресс во многих областях: образования, здравоохранения, животноводства, градостроительства, новый взлет наших достижений. Сегодня талантливый народ Ладакха располагает собственными учителями, техниками, врачами, агрономами, инженерами. Это их руками будет осуществляться развитие и реконструкция важнейшей области нашего обширного штата.

Порой цифры бывают убедительнее всяких слов.

Встречные машины, прежде чем разъехаться, останавливаются, и шоферы обмениваются приветствием.

— Салом-алейкум! — прижимают руку к сердцу кашмирцы.

— Джух-ле![1] — приветливо высовывают язык ладакхские горцы.

Однажды я увидел за рулем девушку. Ее черные волосы были заплетены в косички, удлиненные шерстяными шнурками, а на лбу широкая ременная повязка, унизанная бирюзой. По обычаю, все свое богатство она носила с собой: и эту бирюзу, и серебряные гау на шее. Но это была современная девушка. Она водила автомобиль с красным знаком медслужбы, и рядом с ней на сидении лежала заложенная бамбуковым листиком книга. Современная книга, а не завязанная в цветной шелк стопка листов с магической вязью мантр.

Ее крепкая маленькая рука уверенно передвинула рычаг скоростей. Словно качнула замерший маятник.

---

[1] Ваш слуга.

Юная женщина, пробудившая время Гималаев.

Новая интерпретация неисчерпаемого сюжета о «Матери мира».

## СПЯЩЕЕ БОЖЕСТВО

«На священной горе Кайлас, среди вечных снегов, отдыхает от забот и треволнений мира великий бог Шива — покровитель Непала». В этой фразе, почерпнутой из одной средневековой рукописи, запечатлена неразделимая триада, без которой не обходится ни одно описание Гималаев: горы, божество и Непал — жемчужина в ледяной короне, живое и вечно прекрасное сердце величайшей из каменных твердынь планеты.

Эта удивительная страна снискала странную славу «мировой загадки». Еще каких-нибудь лет двадцать назад Белые ворота Катманду были закрыты для чужеземцев. Достаточно сказать, что вплоть до 1951 года взглянуть на Непал смогли считанные иностранцы. Специалисты говорят, что таких счастливцев было всего пятьдесят. И это за две с лишним тысячи лет писаной истории! Протянувшись восьмисоткилометровой лентой вдоль южного склона Гималаев, загадочное королевство пребывало в вековом оцепенении меж Индией и Китаем. Далекое от остального мира, недоступное, исполненное скрытой духовной силы. Санскритское слово «непала» означает буквально «жилище у подножия гор». И по сей день оно живет по своему особому времени, встречая (в момент, когда написаны эти строки) 2035 год эры Бикрама. Окруженная ледяной короной величайших восьмитысячников мира, эта удивительная гималайская страна ведет счет времени сразу по трем календарям — официальному индуистскому, китайскому (высоко в горах) и григорианскому. Здесь почитают индуистских богов, учителей ортодоксального буддизма и ламаитских волшебников, но не совсем так, как в Индии или Тибете. Непал — это Непал. Его знамя — два острых треугольника — напоминает о горных вершинах. В его гербе Джомолунгма, Луна и Солнце, символизирующие индо-буддийский космос, Вселенную, замкнутую в кольце гор. Эта сложнейшая из эмблем, кажется, включает в себя все мироздание: священную реку с божественной коровой и птицей по берегам, королевскую шапочку, широкий нож-кукри, храброго гуркха с карабином и горца с копьем.

Ее сердце — древняя долина Катманду — хранит почти неизвестные миру памятники величайшего искусства наро-

дов, которые вот уже третью тысячу лет населяют эту благодатную землю, небо над которой не знало дыма заводских труб.

Я хочу начать рассказ о непальских достопримечательностях со встречи — иначе не скажешь — с рукотворным чудом, воплотившим в себе древние представления о времени и духе Гималаев.

Посреди центральной площади Ханумандхока стоит грубая базальтовая стела, на которой высечен рельеф страшного шестирукого божества, увенчанного короной и перевязью из черепов. Потрясая мечом и трезубцем, он пляшет на слоноголовом Ганнопатхи — собственном сыне Ганеше — и прихлебывает из черепа-чаши дымящуюся кровь. Недаром губы и подбородок черно-синего гиганта всегда окрашены ярким кармином. Индуисты чтут эту ипостась разрушителя Шивы под именем Кала Бхайрава, что означает ужасное, всепожирающее время. Буддисты поклоняются ему, как юдаму Махакале, те есть, Великому времени. Еще живы старики, которые хранят память о человеческих жертвах, приносимых ужасному демону в черные дни стихийных бедствий и опустошительных эпидемий. Ведь пока Шива-Бхайрава пляшет на трупе Ганнопатхи, время как бы замедляет свой бег и перестает перемалывать жизни. Здесь очень сложная и глубокая символика, передать которую можно лишь в объемистом научном исследовании. Даже не все ламы высшего посвящения разбираются в ней, а тем более простые непальцы. Им вполне достаточно знать, что время в стране, охраняемой Махакалой, течет не столь разрушительно, как везде. В известном смысле это соответствует истине. Впрочем, любая истина двойственна, диалектична. Это понимали еще древние составители вед и пуран, это проповедовали великие гуру и риши. Шиве — разрушающему началу — противостоит, одновременно дополняя его, созидающий Вишну — Брахма. Один пожирает время, другой ткет его. Подобная двойственность находит подтверждение всюду.

В десяти километрах к северу от Катманду, у подножия великой стены Гималаев, покоится спящее божество — Будханилакантха. В храмовом бассейне, наполненном ледниковой водой, вечным сном спит на ложе из переплетенных змей каменный колосс, изображающий бога Нараяну — инкарнацию (воплощение) созидателя Вишну. Еще совсем недавно львиные ворота храма были открыты только для индуистов. Ныне видеть божественный лик юного Нараяны возбраняется лишь одному человеку на Земле — непальскому королю, ибо он тоже считается инкарнацией Вишну. Спящий на водах гигант издавна олицетворял дух

гималайского королевства, созерцательный, невозмутимый, высокий.

Отрезанный от остального мира высочайшей цепью хребтов, «закрытый Непал» веками сохранял древние феодальные обычаи. Неизменный, как Гималаи. Вечно грезящий, как Нараяна. Остановивший время, как Махакала. Его базальтовые гиганты оберегали не столько тайны потустороннего мира, сколько переживший себя, одряхлевший уклад жизни.

Но возвращусь в храм под открытым небом, где видит сны тысячелетний Нараяна.

Я провел там целый день, наблюдая за тем, как брамины в белых одеждах отверзают очи божеству, раскрашивая их краской, омывают его прекрасный лик, ярким кармином оттеняют губы. Статую одевают гирляндами цветов, фиолетовых, алых и, конечно же, белых с желтой серединкой, цветов чампа, которые растут перед пагодами Юго-Восточной Азии: от Вьетнама до Шри Ланки, от Таиланда до Сингапура. Их запах, чуть горьковатый и как будто прохладный, навевает приятные сны. Я следил за тем, как кормят гиганта шафрановым рисом из разукрашенного цветами и фруктами блюда, как поят его молоком под звон колокольчиков и сандаловый дым кадильницы, которой размахивал юный служка. Но неподвижны были чуть раздвинутые в дремотной улыбке губы, и белая струйка молока, четко видимая на черном камне, стекала в воду. Сотни голубей кружились над местом трапезы, склевывая дымящиеся зерна, тритоны и лягушки сплывались на привычное пиршество. Только нищие смиренно дожидались в сторонке, когда настанет их черед доесть остатки с нездешнего стола.

Старый ведический жрец с тикой высшей касты над переносицей и шнуром на плече первым, после Нараяны, разумеется, поднес горсточку риса ко рту. Потом угостил меня. Из чистой вежливости, потому что неиндуиста все равно не коснется благо причастия. В отличие от всех мировых религий стать индуистом, так сказать, принять индуизм нельзя. Индуистом можно только родиться. Под сенью Гималаев, в лоне семьи и касты.

Я поблагодарил гуру и сказал, что понимаю, какую честь он мне оказывает. В Индии такое было бы немыслимо. Не потому, что индийцы менее гостеприимны. Просто индийские брахманы строже относятся к закону, который предписывает, в частности, не осквернять еду прикосновением к человеку низшей касты. Тем более к внекастовому существу.

— Не беда, — непальский священнослужитель понял намек с полуслова. — Надеюсь, ваша карма теперь улуч-

шится и в следующем воплощении вы родитесь здесь, у нас.

Слова жреца были продиктованы традиционной непальской терпимостью и безусловным влиянием буддистов, отрицающих всякую кастовость. Как и многие другие святыни Непала, Будханилакантха почитается не только адептами Шивы и Вишну, но и буддистами. Благо доктрина воплощений позволяет творить любые генеалогические чудеса. В недрах некоторых сект Будду, например, считают земным воплощением Вишну, равно как и королей Дева Шах.

Вообще Будханилакантха — синтетическое божество разных верований, представляет интереснейший объект исследований для этнографа. О нем можно написать замечательную монографию. Удивительно, что никто до сих пор не предпринял такой попытки. У старинного тибетского географа Миньчжул Хутукты (правильнее, очевидно, Хутухту, то есть перерожденец) я нашел прелюбопытное описание подобного памятника.

«Неподалеку от лежащего по дороге из Чжеронга в Непал города Наякота есть место в ложбине горы, называемое Гованаста, тут, посреди потока, подобного морю, есть нерукотворный каменный кумир, имеющий фигуру человека, у которого лицо закрыто желто-красным шарфом; он лежит навзничь, и из волос его высовываются 9 змеиных голов. Хотя это и есть весьма священный кумир святого, великого милосердца Голубогорлого, ... много индийских и непальских буддистов неблаготовейны к этому кумиру и, в особенности же, тибетцы, называющие его опрокинутым навзничь драконом или драконом-живодером. Глупое это название происходит оттого, что этот кумир по-индийски называется Нилакантха, а тибетцы знают, что слово Нила значит дракон, а канта — лежащий навзничь».

«Нилакантха» в действительности означает «Синегорлый». Но любопытнее всего, что относится этот странный эпитет не к Вишну и не к его воплощению Нараяне, а к Шиве. Именно гималайский хозяин Шива выпил, спасая мир, смертельный яд, отчего его горло стало синим, как горный лазурит. Но таков уж он, этот текучий эфир небожителей, что одно перетекает в другое, рождая причудливейшие сочетания, создавая невероятные инверсии.

Я уже говорил, что в пещерах Элефанты видел трехликого гиганта, вобравшего в себя черты главной триады: Брахмы, Вишну и Шивы. В пещерном храме близ столицы Малайзии Куала-Лумпур мне показали изображение Шивы — гермафродита: одна половина тела была мужской, другая — женской. Противоположности полов были выражены резче, чем на Элефанте. Элемент подобной идеи не-

сет и образ Натараджа — самое известное из шиваистских изображений, где грозный разрушитель представлен в образе четырехрукого повелителя танца.

И все же, несмотря на невероятное для рационального европейского ума смешение мифических образов, Будханилакантха являет собой именно миросоздателя Вишну, покоящегося в кольцах Змея Вечности Ананты, или Шеши, посреди океанских вод. Отсюда бассейн и непременный вишнуитский атрибут — раковина, которую пятиметровый исполин держит в левой руке.

Эту раковину мы встретим даже в самой бедной ламаистской кумирне от Монголии до Бутана, в любом индуистском храме увидим ее на алтаре. В сложной символике Гималаев дунхор — один из символов счастья. В ламаистском оркестре — главный инструмент. С хриплого, устрашающего рева белых раковин, оправленных в серебро, начинается утро в дзонгах Бутана, крепостях затерянного в горах Мустанга, на узких улочках Патана или обветшавшего Леха. Это голос Гималаев, непередаваемый хрип, треск и хохочущий рев движущихся ледников.

Одну такую раковину, изукрашенную резным узором лотоса, я купил в пестрой лавочке на бомбейской Маринд-райв. У меня едва хватает запаса воздуха в легких, чтобы пробудить в ней надрывное пугающее эхо горных долин.

Я где-то читал, что у древних майя был обычай нюхать сильно пахучее вещество в минуты важных событий жизни. Потом, даже через много лет, стоило им поднести к носу заветный флакон, как в памяти тут же оживала во всех ярчайших подробностях картина былой славы ли, скорби — не знаю.

Вспоминая Гималаи, я любуюсь неповторимыми танка, выполненными минеральными красками на тончайшем полотне, раскрашенной маской Бхайравы, тонким изящным Манджушри, отлитым некогда в Патане из уникальной непальской бронзы, дающей патину холодную и серебристую, как лунный свет. Перед мысленным взором проплывают города, дома, улицы, пестрая сутолока базаров, разноцветные флаги, стерегущие силы земли. Но если мне хочется увидеть со всей возможной для памяти яркостью белизну вершин и пронзительную фиолетовость неба, услышать шорох горного шифера, вдохнуть дым костра, в котором тлеют аргал и можжевельник, я беру в руки раковину. И пытаюсь трубить. Иногда это удается.

Жрец Синегорлого помог мне сосчитать головы кобр: их оказалось десять.

— Теперь я покажу вам одиннадцатую змею, — сказал он, увлекая меня за собой. Пройдя меж львов, охраняющих

вход, мы спустились по лестнице за пределы святилища. Под каменной стеной был темный провал, где среди сплетения древесных корней угадывались каменные кольца.

— Эта змея встала перед королем из династии Малла, когда тот хотел взглянуть на спящего Нараяну, и не пустила его. Ведь он сам воплощение бога и не должен видеть себя со стороны.

Мне хотелось узнать, почему, но я удержался от вопроса. Да и вряд ли мой необычный гид сумел бы дать вразумительный ответ. Только в научной фантастике допустима ситуация, когда путешественник в прошлое лицом к лицу сталкивается со своим двойником. Более молодым, естественно. Юное прошлое, как правило, тут же начинает одолевать расспросами пожилое будущее: что-де там у вас и как. Каменная змея, видимо, учла неловкость подобной ситуации и воспрепятствовала.

В королевском ботаническом саду есть еще один бассейн с Нараяной на Змее. Более скромных масштабов. В нем плавают великолепные радужные карпы, сине-зеленые, фиолетовые с желтизной, кроваво-черные. Детвора с увлечением кормит их печеной кукурузой. Король изредка тоже прогуливается по тенистым аллеям. Лицезреть копию ему не возбраняется.

По ночам в сад спускаются из горных джунглей леопарды. Когда мне сказали об этом, я сперва не поверил. Но сторож открыл сарай и поднял брезент. На земле, уже вонючей от застывшей крови, лежали два великолепных зверя, запрокинув усатые, мертво оскаленные морды. В прищуренных глазах поблескивала холодная фарфоровая белизна. Жуки ползали в нежном подшерстке горла.

— Утром убили, — сообщил сторож. — Приходили воду из бассейна лакать.

Вишну спал и не мог защитить прекраснейших из детей своих.

Уже в Москве я узнал из книг, что базальтовый колосс изваян в VI—VII веках.

Циклопической лестницей устремился Непал с заболоченных жарких низин тераев к разреженным высотам, где сверкают под жестоким солнцем вечные льды. Путь в горы — это беспримерное восхождение от тропических джунглей к арктическим пустыням. Пролеты высочайшей из лестниц мира. Каменные ступени ее были свидетелями переселений народов, смешения языков и религий, расцвета и заката цивилизаций. Здесь пересекались караванные тропы, здесь с незапамятных времен мудрецы и поэты искали вечные истины. В Непале, в садах Лумбини, родился Гаутама, учение которого распространилось потом по всей Азии. На

берегу непальской реки Гандак поэт Вальмики творил бессмертную «Рамаяну». В пещере «Коровья морда», откуда берет начало священная Ганга, отшельник Капила проповедовал четыре «высокие истины» Гаутамы, несущие живым существам избавление от страданий. По тропам Непала прошли чтимые в Гималаях Падмасамбава, Адиша и Милайрапа.

С той поистине легендарной поры в Непале высоко чтут звания философа и поэта. Многие непальские короли обогатили культуру своей страны нравоучительными трактатами, песнями, изящными стихами. Тонким лирическим поэтом был покойный ныне король Махендра. Его стихи неоднократно переводились в нашей стране и хорошо знакомы всем любителям непальского искусства. Таким образом, принадлежность к литературному миру во многом облегчила мне постижение уникальной гималайской страны. Традиционное уважение непальцев к писательскому ремеслу явилось магическим сезамом, открывшим передо мной такие двери, в которые я и не надеялся достучаться.

Я никогда не забуду теплый прием, который был оказан моему другу писателю Мариану Ткачеву и мне в Королевской академии. Вот краткий перечень присутствовавших на приеме лиц. Я выписал его из газеты «Райзинг Непал», давшей полный отчет о встрече: канцлер академии Сурья Бикрам Тивали, видный историк и языковед; вице-канцлер Бангдел, известный художник и искусствовед; Бахадур Малла, поэт, писатель, драматург; Ашар Читракар, скульптор; Мохан Койрам, поэт, новеллист; Чандар Прасад Горкали, ученый-биолог; Индранатх Бхаттарай Даршаначарья, философ; Сатья Мохан Джоши, писатель, поэт, секретарь Академии; Таулси Дивас, поэт, прозаик. Потом я узнал, что это был полный состав академии, состоящей, по традиции, из девяти членов.

В университете я познакомился с видным непальским дипломатом Бал Чандра Шармой, представлявшим свою страну в ЮНЕСКО, не раз занимавшим министерские посты. Мы беседовали с ним о духе Непала. Мысли, высказанные господином Шармой, я поспешил записать сразу же по возвращении в гостиницу. Когда же впоследствии в «Курьере» была опубликована статья моего собеседника «Чарующий пейзаж Непала», я вновь мысленно вернулся к нашей встрече.

— Гостеприимство, оптимизм, терпимость, взаимопонимание, творческий дух, способность довольствоваться малым, — считает Бал Чандра Шарма, — все это неотъемлемые черты непальского характера, и именно благодаря им, не говоря уже о благоприятном географическом положении

страны, Непал стал идеальным «местом встреч» разных культур и направлений мысли. Плодородная долина Катманду не знала тех бед и несчастий, которые обрушивались на соседние страны. Поэтому мыслители и художники находили здесь радушный прием.

В известной мере можно согласиться с тем, что Непал представляет собой уникальное явление в мировой истории. Непальцы, в частности, не знали опустошительных религиозных войн. На языке непали, равно как и на древнем неварском, не существует даже такого понятия. В долине Катманду относительно мирно уживались самые разные секты и философские учения. По подсчетам историков, общее количество убитых в битвах, которые вели непальские княжества, не превышало тысячи человек. Разумеется, кроме междоусобиц, история страны знала такие набеги, когда истреблялись целые селения, сжигались мирные города. Но недаром возвышаются ступы, воздвигнутые индийским царем Ашокой еще в III веке до н. э.!

Миролюбие неваров, населявших долину Катманду, приводило в изумление европейских путешественников. Дезидери, один из немногих счастливцев, побывавших в Непале в XVIII—XIX веках, оставил нам прелюбопытное описание неварских баталий: «То ли из сострадания ко всем живым существам, то ли из трусости, они ведут себя на войне крайне смешным и невероятным образом. Когда встречаются две армии, они начинают поносить друг друга всякими словами. После нескольких выстрелов, если никто не ранен, войско, подвергшееся нападению, возвращается в крепость, которых здесь много... Однако если кто-либо убит или ранен, пострадавшая армия просит мира и посылает к противнику растрепанную полураздетую женщину, которая плачет, бьет себя в грудь, просит пощады и умоляет прекратить резню и кровопролитие. После этого армия-победительница диктует условия побежденным, и война заканчивается».

Так и видится в этих словах пренебрежительная усмешка. Ценности, взращенные в долине Катманду, нелепо взвешивать на весах, где гирями служат пушечные ядра. Учение Гаутамы и антивоенные эдикты Ашоки, словно легирующие добавки, растворились в расплаве культур, языков, религий и рас. Они придали блеск и твердость сплаву — уникальному творению Гималаев, которое с честью может выдержать сравнение с любой из великих цивилизаций Земли.

Свободолюбие и гордость непальцев проявлялись не в междоусобицах. Когда дело касалось независимости родины, права непальцев на собственный образ жизни, они умели

постоять за себя. Достаточно сказать, что Великобритании так и не удалось установить в Непале колониальный режим.

— В этом нет ничего парадоксального, — объяснил Б. Ч. Шарма. — Мы по праву гордимся тем, что наша многовековая история — это история свободного и независимого государства. Непал никогда не был колонией. Неприсоединение, неприятие любых форм расизма, колониализма и эксплуатации, мирное сосуществование и дружба со всеми, кто предлагает нам дружбу, — таковы наши руководящие принципы.

Эти принципы во многом определяют и современную внешнюю политику гималайской страны, которая считалась «мировой загадкой», «государством-отшельником» хотя бы по той причине, что просто-напросто не пропускала иностранцев через границу.

В исторически короткие сроки непальцам удалось достигнуть заметных успехов в различных областях хозяйственной деятельности, но внешний облик затерянного среди гор, изолированного от мира королевства почти не изменился. Достаточно пройтись по узким улочкам Патана или Бхадгаона, где нечистоты выплескиваются прямо из окон и по каменным желобам стекают в застойную лужу на окраине, чтобы ощутить себя затерянным в средневековье. Разве не таковы были Париж времен мушкетеров, Москва при Василии Шуйском? Но приметы нови можно увидеть повсюду. В том же Патане устанавливаются новые электрические столбы, эксперты ЮНЕСКО руководят работами по реставрации дворцов и многоярусных пагод, а в небе со свистом проносятся реактивные лайнеры. Традиции и современность замыкаются здесь в кольце, подобно тому, как неразличимо переходят друг в друга следствия и причины в колесе санскары. Не случайно же эмблемой королевских авиалиний выбрана маска красного Бхайрава. Ужасный обликом охранитель пожирает ныне пространство и время на высоте нескольких тысяч метров, вполне соизмеримой, однако, с гималайской короной. Гималайские боги не протестовали. Все так же летел над площадью крылатый Гаруда — победитель змей, загадочно улыбался Вишну под балдахином девятиглавой кобры, покровитель знания Манджушри замахивался мечом на силы тьмы и невежества.

Трудно забыть игру электрических отсветов на позолоте этого пылающего меча. Я зажег перед Манджушри курительную палочку из благовонного сандала. Другую палочку я поставил на алтарь Ганеши, покровителя писателей, слонов и купцов.

Кого-кого, а божественного патрона здесь может отыскать себе каждый. Индуистский пантеон, наверное, самый обширный. Он щедро снабжает даже буддизм, который изначально вообще отрицал богов. Тем более что непальские индуисты и буддисты в основном принадлежат к тантрийской школе, почитающей ведических небожителей, женскую энергию, духов и демонов.

Странно, конечно, в последней четверти двадцатого века говорить о богах, магах и прочих трансцедентальных материях. Но религия в этой стране — нечто большее, чем просто вера в предвечных распорядителей судеб. Она, по сути, определяет весь образ жизни непальцев, равно затрагивает их духовную культуру и быт, этику и взаимоотношения, зачастую предопределяет те или иные поступки. Не удивительно, что еще английские путешественники, первыми проникшие в недоступное королевство, поражались обилию здешних храмов, которых не меньше, чем домов, и «идолов», которых не меньше, чем людей. Эта очевидная особенность непальских городов и впрямь достойна удивления. Но специфичность Непала в другом. Ведь и вся Индия, и вся Юго-Восточная Азия покрыты множеством культовых сооружений. Английские путешественники, по стопам которых шли солдаты Ост-индской компании, навязавшей Непалу вековую тиранию Ранов, заметили лишь внешнюю сторону вещей. А есть внутренняя, важнейшая. Последние сто-двести лет даже ортодоксальные брахманисты наряду со своими богами почитают и буддийские святыни, а последователи Гаутамы воздают почести индуистским богам. Можно надеяться, что буддисты — невары получат полное равенство и в светской жизни. Высоко в горах, где в фиолетовом небе сверкает острая, как плавник акулы, Мачапучхре, я встречал лам древней «красношапочной» секты, строгих «желтошапочных» аскетов и «черношапочных» адептов исконного шаманства «бон». Все они жили на доброхотное подаяние горцев и не вступали друг с другом в споры по поводу того, чье учение правильней.

Одним словом, не только «идолы» прячутся под каменными сводами шикхар и черепичными крышами пагод.

Подобного согласия, однако, не увидишь в мирской, так сказать, жизни. Беспощадная капиталистическая эксплуатация трудового населения в городах и полуфеодальная — в деревнях тоже составляют непальскую явь. Этим Непал, увы, не отличается от других стран капиталистического мира, потому что законы общественного развития равно справедливы для всех государств: и открытых, и закрытых.

Древние святилища Непала с их неподражаемой скульптурой и живописью, выполненной нестареющими мине-

ральными красками, поражают воображение. По своим художественным достоинствам они, наверное, не уступают памятникам цивилизации доколумбовой Америки или Древнего Египта. Но ступенчатые пирамиды Паленке давно поглотила сельва, и гробницы фараонов замели пески, тогда как тысячелетняя гималайская цивилизация — живая реальность нашего времени.

Непальские святыни можно встретить не только в густонаселенной долине Катманду. Древние как сама история, они спрятались в горных пещерах и лесных чащах, они высятся на вечно заснеженных перевалах и тихо дремлют у речных излук. Порой это камень, выкрашенный киноварью, посреди бушующего потока, порой простая землянка, символизирующая близость к материнской стихии, или одинокий лингам на зеленом холме, прославляющий производительную мощь природы. Как правило, все храмы удивительно тонко вписываются в ландшафт. Древние строители выбирали для будущих сооружений самые примечательные живописные места.

На берегах рек построены закрытые для неиндуистов храмы Пашупати и Гухешвари, Гокарна, Санкхунул и Гхобар, у священных источников, у водоемов стоят Будханилакантха, Баладжу и Годавари, с возвышенностей озаряют долину золотые шпили Сваямбхунатха и Чангунарайана. Только в долине Катманду насчитывается 2500 святилищ, 800 из которых считаются уникальными и включены в каталог ЮНЕСКО.

В священной рукописи XVI века я видел примитивный рисунок: змея на фоне горных пиков. Эта средневековая аллегория скрывала тайну происхождения долины Катманду. Любуясь чудесной панорамой с одного из скальных холмов, нелегко поверить в легенду о том, что некогда здесь находилось озеро. И тем не менее это так. Именно озеру, в котором, кстати сказать, водилась масса змей, и обязаны земли Непала своим плодородием. Согласно легенде, меч покровителя наук Манджушри рассек гору, и воды озера, увлекая за собой змей, хлынули в долину. Возможно, в древние геологические времена произошел разлом, в результате которого вода ушла из окруженной горами чаши. Право, есть высокий и очень современный смысл в мифе о том, как Манджушри, придя из Тибета поклониться будде Вайрочане, прорубил горную цепь огненным мечом знания. Именно знание лежало в основе того, что изначально считалось чудом. Вайрочана, кстати, является первым из будд, посетивших нашу грешную землю. В тайных книгах древнейшего на земле храма Сваямбхунатха — «Самотворящего» указано, что Вайрочана вышел из лотоса именно здесь,

посреди змеиного озера, миллиарды лет тому назад. Такой счет времени возможен только в Гималаях, где слово «вечность» является конкретным и обиходным.

Но недаром говорят, что ничто под Луной не вечно. Даже сами Гималаи, которые возникли на месте древнего моря Тетис и являются сравнительно молодой системой, вырастают ежегодно на несколько сантиметров. По крайней мере Джомолунгма за последние сто лет увеличилась на девять метров. Олимпийский чемпион, который постоянно улучшает собственные рекорды...

На сегодняшний день «планка» висит на отметке 8848 м.

Необоримый ветер перемен веет над Гималаями. И если сами заснеженные пики — от Дхаулагири до Кариолунга — высятся обелисками нерушимого постоянства, то в узких плодородных долинах, где сосредоточена жизнь, все более зримыми становятся приметы радикального поворота к современности.

Фабричные трубы пробуют конкурировать не только с дымами пастушьих костров, но и с вечерним туманом, который узкими полосами проплывает над вечной долиной, где некогда отнюдь не мирно сосуществовали целых три королевства. Ныне их столицы — Катманду, Патан и Бхадгаон прочно связали асфальтированные дороги. К древнейшим храмам и чудесным городам-памятникам ведут уже не горные каменистые тропы, а скоростные автострады. На перевалах, где раньше возвышались только молитвенные флаги и шиваитские трезубцы, выросли ажурные вышки высоковольтной передачи.

В Непале ныне претворяется в жизнь четвертая пятилетняя программа экономического развития. Отсталая феодальная система, которая искусственно культивировалась всесильным кланом Ранов, постепенно уступает позиции. Она медленно и неохотно — особенно это заметно в отдаленных высокогорных уголках — уходит в прошлое. Современный уклад проникает повсюду. Электрифицируются и радиофицируются даже храмы, а в горных монастырях, рядом с алтарем, часто можно увидеть часы с многодневным заводом. Подобное соседство патриархальности и модерна бросается в глаза на каждом шагу На городских улицах ухитряются уживаться между собой новенькие «тайоты» и священные коровы, которые с поистине божественным спокойствием игнорируют самые отчаянные сигналы водителей.

К очаровательным курьезам быта непальских городов можно причислить и громадных черных козлов, посвященных Кали, и обезьян, разгуливающих по крышам, откуда удобнее обозревать лакомства, зреющие в садах и огородах,

и грифов, которые, очевидно, видят в самолетах местных авиалиний нежелательных конкурентов. Недаром же они столь яростно пытаются атаковать идущие на посадку авиетки. Зато пасущиеся на летном поле буйволы и стада никому не принадлежащих коров с достоинством покидают посадочную полосу, едва прозвучит резкий зуммер, возвещающий о подходе очередной машины. Когда наш маленький двухмоторный самолетик снижался над долиной Покхары, впечатление было такое, словно мы собираемся приземлиться в центре зоопарка. Короче говоря, в Непале смена старого новым протекает мягко и постепенно, что вполне согласуется с характером самих непальцев, людей удивительно терпимых, жизнерадостных и приветливых. Надо видеть, как взирает продавец зелени на «священную» корову, которая забрела к нему в лавку! Он никогда не закричит на нее, не сделает даже попытки прогнать. Лишь отвлечет внимание незваной гостьи от наиболее спелых плодов и лениво предложит ей полакомиться ботвой или банановой кожурой. В этом нет особой религиозности, ибо так поступают не только индуисты, но и последователи Будды, которые не обожествляют ни коров, ни обезьян. Недаром говорят, что «бога мирские дела не трогают».

Спора нет, столь тесное соседство людей и животных мешает необратимому процессу урбанизации, привносит путаницу и хаос в транспорт. Но само по себе оно прекрасно. Как отражение души человеческой. Как древнейшая убежденность народа, что все живое имеет одинаковое право на жизнь.

Иное дело, когда под одним небом уживаются способы и средства производства, разделенные бездной времен. И если сложенная из валунов шерпская хижина, в которой жужжит старинная прялка, отдалена от столичной текстильной фабрики многими километрами трудных горных дорог, то кули с корзинами за спиной и велорикши снуют по тем же шоссе, что и могучие тяжелогруженые КрАЗы, а тракторы и мотыги рыхлят одну и ту же ниву.

## ЖИВАЯ БОГИНЯ

С переездом в Непал мой «базовый лагерь» переместился в небольшую гостиницу «Блу стар», расположенную в получасе ходьбы от городских ворот. Ее светлый, отделанный деревом холл украшали позолоченные райские птицы, фигуры бодхисаттв, стоящих на лотосе, и большое панно, на котором была изображена белая, с красным дворцом посередине, лхасская Потала. Прямо напротив ресепшен деск,

где сидела хорошенькая администраторша, висели портреты королевской четы, а кассовый отсек украшали изображения буддийских проповедников, выполненные в стиле танка. Тут же находился и маленький киоск, который мог бы дать сто очков вперед любому из антикварных магазинов Нью-Йорка. Полки буквально прогибались от тяжести бронзы. Не выходя из отеля, можно было составить себе довольно полное представление об индуистском и буддийском пантеонах. Ночью, когда переизбыток впечатлений и москиты не давали заснуть, я спускался в этот прелестный уголок и часами разглядывал отливки старинной и современной работы, украшения местных народов: киратов, лимбу, лепча и кхампа, доспехи и холодное оружие бхоте, шерпские валеные сапоги, тибетские раздвижные трубы и гонги, ладанки неварских женщин.

Лучшей гостиницы я бы себе не пожелал. Здесь, словно на суггестологических уроках иностранного языка, достигался эффект полного погружения. По карнизам, словно их специально ангажировали, разгуливали откормленные волосатые обезьяны. В ресторане подавали пряные, щедро приправленные имбирем непальские блюда, а в коридоре днем и ночью дымились курильницы. Молоденькие горничные в синих крестьянских сари, сидя на лестничных ступеньках, оживленно сплетничали или вполголоса напевали грустные задумчивые песни. Мой аскетический номер, без кондиционера летом и отопления зимой, тоже не нарушал общей гармонии. Первое, что я увидел в окно, были золотые грифоны причудливого шиваитского храма, удивительно похожего на старые владимирские церкви. Касаясь крыльями луковичного купола, они парили над опаловой цепью гималайских пиков. Признаюсь, что, любуясь горной панорамой, я размышлял отнюдь не о высоких материях. Окна, точнее, их внутренние, затянутые стальной сеткой рамы заставили меня насторожиться. После Вьетнама я мог понять, что означает этот зловещий признак. Действительность полностью подтвердила самые худшие опасения. В первую же ночь на меня обрушились эскадрильи оголодавших комаров. Без тени стыда признаюсь, что позорно бежал. Сдернув с кровати матрас, схватив подушку и одеяло, я попытался укрыться в совмещенном санузле, где кое-как ухитрился постелить себе на полу. Но жгучие кровопийцы нашли меня и там. Только заткнув щель под дверью и поубивав всех видимых врагов, я смог хоть как-то забыться. Задыхаясь от духоты, терзаемый электрическим светом, я едва дождался рассвета.

— Нельзя ли мне получить марлевый полог? — взмолился я поутру.

— Марлевый полог? — администраторша явно не знала, что это такое. — Вы бы не могли объяснить мне, для чего он понадобился?

— Комары, мадам.

— О, сэр! — она всплеснула руками. — Как я могла забыть! Вечером я пришлю человека опрыскать комнату.

— Мадам случайно не буддистка?

— Нет, моя семья исповедует индуизм.

— Все равно, пусть гибель комаров падет на меня. Какникак они начали первыми. Око за око, мадам.

Она взглянула на меня с некоторым недоумением. Очевидно, вспухшая, со следами расчесов физиономия несколько успокоила ее насчет моего рассудка.

— Еще раз извините. Ручаюсь, что следующую ночь вы проведете спокойно.

Так оно и случилось. С той поры уже ничто не мешало «полному погружению».

Вставал я с рассветом и, угостив сбереженным от завтрака бананом вожака обезьян, отправлялся к Белым воротам. Останавливаясь у витрин, где были выставлены оранжевые от специй бараньи туши, у обложенных лимончиками керамических котлов с горячим чаем, я бродил по сказочным улочкам средневекового города. Мне попадались харчевни, в которых подавали тибетские пельмени и пиво чанг, курильни опиума, открыто рекламировавшие марихуану, настой мухоморов и даже ЛСД, оружейные мастерские, магазинчики гималайской старины. Миновав строящийся стадион с бетонными трибунами, озаряемыми звездами электросварки, я ненадолго возвращался в XX век. Слева возвышался современной постройки почтамт (моя телеграмма пришла в Москву на следующий день), справа сверкала заправочная, осененная рекламой: «Пустите тигра в свой мотор». Причудливое смешение времен, ошеломляющее сочетание бытовых реалий с мифом.

Десятки праздных мужчин в пестрых непальских фесках, разинув рот, не спускали восторженных взглядов с жезла, мелькающего в руках тамбур-мажора. Другая кучка зевак окружила вездесущего факира с мангустой и коброй, а немного поодаль врач-венеролог продавал патентованные средства, демонстрируя красочные, подчеркнуто натуралистические таблицы. Здесь же можно было, присев на корточки, отдаться в искусные руки уличного брадобрея, обменяться марками или просто выпить стакан сока, тут же выжатого из сахарного тростника. Тибетские ламы предсказывали всем желающим судьбу по трещинам на бараньей лопатке, сричжанга из племени лимбу гадал по руке, а устроившийся в куцей тени акации брамин составлял горо-

скопы на неделю и даже на год вперед. Краткосрочный прогноз стоил много дороже долгосрочного и, соответственно, требовал бóльших усилий. Вообще в этом замечательном месте можно было приоткрыть завесы грядущего десятками самых разнообразных способов.

Лично мне довелось наблюдать искусство гадания по таблицам, бобам, камешкам, птичьим перьям, огню. Видел я и старичка с мартышкой, которая ловко вытаскивала билетики со «счастьем». Ему, наверное, очень подошла бы шарманка, да только не знают о ней в Гималайском крае. Привлекал меня и магический реквизит всякого рода исцелителей: всевозможные корешки, высушенные травы, скелеты лягушек и летучих мышей, баночки с тигровым жиром, мускусом и желчью медведя, черные камешки, толченый жемчуг, бумажные полоски с молитвами, обращенными к таинственной богине Гухешвари. Красноречивый венеролог, впрочем, тоже не брезговал союзом с трансцендентальными силами. К каждому флакону с антибиотиком полагалась, очевидно, как премия, напечатанная на рисовой бумаге магическая мантра.

Подобная двойственность (снова хочется это отметить) пронизывает все стороны жизни непальской столицы. Здесь каждый живет в том временно́м отрезке, который находит приемлемым, город обеспечит для этого полный набор соответствующих реалий. На одной улочке могут уживаться современный госпиталь и медицинский дацан, аптека, торгующая патентованными средствами лучших фармакологических фирм мира, и кружащая голову ароматом трав тибетская лавка. На центральных улицах, забитых бродячими коровами, бритоголовыми монахами, горцами в нагольных тулупах, арбами с овощами и сахарным тростником, к услугам покупателей реквизит всех эпох: туалеты от Диора или Баленсиаги и домотканое полотно, мыло и коричневые колобки речной глины, малость сдобренной содой, фотокамера «Поляроид» и рукопись с цветными рисунками, украденная из какого-нибудь гималайского монастыря. Любая вещь имеет тут своего первобытного двойника: зубную щетку заменяет ветка с бальзамическими листьями, термос — высушенная тыква, лондонский чемодан на колесиках — заплечная корзина или переметная сума. В зависимости от положения в обществе, образования, состоятельности и душевной предрасположенности вы можете вести жизнь богатого европейца или неимущего бхикшу, респа, которые голыми сидят на снегу, или неварского крестьянина, чей быт почти не переменился за последнюю тысячу лет.

Пустырь, куда я так любил приходить по утрам, лежал на перекрестке четырех дорог. Одна асфальтовая лента зва-

ла к Белым воротам, за которыми сверкали зеркальные стекла роскошных ювелирных магазинов, другие вели в грозящий тенями былого величия Патан, к святилищу Кали и к радиоцентру. Не хватает только богатыря с копьем, задумавшегося над придорожным камнем.

Пройдя же через деревянный мостик, забитый в часы пик фордами, газиками и арбами, запряженными зебу, вы вообще могли оказаться на другом берегу реки забвения.

На Бхагмати в миниатюре повторялась литургия гхатов Варанаси. Горели погребальные костры под навесом, на галечной отмели совершали ритуальное омовение сотни людей. Впрочем, и на эти определяющие моменты индуизма Непал накладывал свое ласковое смягчающее влияние. Ритуальные купания сопровождались беззаботным смехом, шутками и жизнерадостной возней. Даже последний в человеческой жизни обряд не носил того жесткого безжалостного оттенка спешки и деловитости, что так неприятно поразил меня в Варанаси.

Лениво лоснилось солнце на плесе, неторопливо уплывал в золотистую даль голубоватый слоистый дымок. Ничто тут не напоминало о смерти. Поднявшись на скалу, я увидел белую стену и причудливую, словно вырезанную из мехов гармошки, крышу Пашупатинатх. Лишь с высокого холма, где стоят безголовые линги, можно было наблюдать за жизнью запретного для иноверцев храма. Что происходило там в глубине, где мелодично звенели колокольчики, ухали барабаны и кадильный дым туманил позолоту быка Нанди? Недаром же садху со всей Индии стекаются к древнейшему святилищу Шивы, оставив перед воротами обувь, толпы босоногих богомольцев исчезают за его калиткой. Поднимаясь в заросшие буйным лесом горы, я все оборачивался и к храму, и к реке, чтобы еще раз увидеть, вместить в себя скалы, замшелые лестницы, строгие ряды стилобатов и жертвенников, на которых были прикручены проволокой бронзовые чашечки и каменные скульптуры богов. Проволока, конечно, не могла остановить похитителей. Она была лишь приметой времени, когда такое стало возможно. Прощаясь, наверное навсегда, с Пашупати, я вспомнил бесштанного мальчугана, игравшего колокольчиками у алтаря Кали. Искаженное гневом, выпачканное киноварью лицо богини зловеще сверкало в бронзовой нише, а он, не ведая греха, раскачивал колокола и, заливаясь смехом, вытирал испачканные красным пальчики о грязную не доходившую до пупа рубашонку. Люди, забегавшие по пути на рынок почтить хозяйку любви и смерти, не обращали внимания на шалости маленького проказника. А ему только это и надо было. Перепрыгивая через скульптуры богов, носился он по

святилищу, гоняя черную козочку с алой лентой. Кощунственно сверкая попкой, карабкался на колокольную арку, чтобы, повиснув вниз головой, показать кроткому животному дразнящий язык.

Неведение детства... В том храме без кровли, расположенном у пустыря, я подумал о дороге, которую изберет для себя неугомонный малыш. Рано или поздно он задумается о ней, быть может, на том же перекрестке, где вместо сказочного камня с предупредительной надписью висит дорожный указательный знак международного образца.

Медленный, но необратимый поворот к современности, который совершается ныне в Непале, часто сравнивают с «революцией Мэйдзи», преобразовавшей жизнеустройство Японии времен сегуната. Лично я вижу здесь лишь формальную, хотя и далеко идущую аналогию. Непальские короли, носившие и поныне действующий титул «Господин пять раз», действительно находились в такой же зависимости от премьера из семьи Ранов («Господин три раза»), как японский император от сегуна. Свергнув закосневший, противившийся любым переменам правопорядок, Япония первым делом поспешила распахнуть двери в мир, модернизировать свою экономику и политические институты. Это было продиктовано насущными нуждами страны и логикой самой истории.

Так же поступил и король Трибхувана — дед нынешнего монарха, когда, возглавив широкую антирановскую оппозицию, добился свержения диктатора, державшего его на положении пленника.

Но на этом и кончается сходство, потому что феодальный Непал 1951 года, многонациональный и многослойный, в корне отличался от однородной, иерархически централизованной страны Ниппон периода Эдо.

Перемены, которые переживает страна, по-настоящему заметны пока лишь в больших городах. Современные заводы, фермы, рыборазводные хозяйства, электростанции, больницы и школы, построенные при содействии многих стран мира, еще не наложили определяющего отпечатка на облик страны.

По-прежнему на нее взирают с высот недреманые очи бога. Не только в переносном, но и в прямом смысле, ибо характерной деталью непальских ступ как раз и являются эти самые «глаза лотоса», «очи Будды».

Только в одном Патане насчитывается три такие ступы, возведенные еще Ашокой. Их одетые камнем и гладко оштукатуренные полусферы венчают четырехугольные ступенчатые башни, на гранях которых и нарисованы «всевидящие глаза». Инкрустированные перламутром, они издалека видны

даже в густых сумерках. Как олицетворение вечности и неизменности мирового правопорядка, сверкают они отраженным сиянием ледяных вершин с облицовочных плиток.

Над ними изображен завиток третьего глаза. Другой иероглифический завиток, напоминающий знак вопроса, изображает нос божества. В нашей литературе распространено мнение, что подобные «всевидящие» ступы характерны только для Непала. За исключением Бутана, где такие чортэни известны еще с седьмого века, оно верно.

Знаменитый Боднатх как раз и представляет собой такую подкрашенную шафраном полусферу с «глазастой башней». И в центре Сваямбхунатха стоит точно такая же ступа.

Как и прочие чортэни и чайтьи, они образуют в плане мандалу, символизирующую космос.

Боднатх окружает своеобразный многоугольник из примыкающих друг к другу домов. В них живут тибетские паломники и всевозможные торговцы предметами буддийского ритуала: иконами, бронзовыми статуэтками, деревянными раскрашенными масками, амулетами и тому подобное. За этим внешним ограждением во всем своем великолепии открывается светлая ступа, расцвеченная, как линкор на морском празднике, тысячами треугольных флажков. Нанизанные на веревках, как с мачты свисающих с огненного символа верхушки, они трепещут в ликующем голубом небе.

В отличие от Сваямбхунатха, где центральная ступа окружена бесчисленным множеством культовых сооружений, среди которых задумчиво бродят обезьяны, эта шафрановая сопка символизирует идею Вселенной, очищенную от всего постороннего. Это ничуть не мешает темпераментной торговле в лавках, окружающих ниши с молитвенными цилиндрами. Яркие жизнерадостные краски Боднатха сами по себе наводят человека на веселые мысли. Смех здесь не считается кощунством и не может иметь никаких печальных последствий.

Иное дело чертог Живой богини. В этом сумрачном внутреннем дворике, где, затаив дыхание, люди ждут появления божества, едва ли кому придет в голову засмеяться.

Разве что вездесущим мальчишкам, которые непринужденно протискиваются в первые ряды. Но и они сохраняют подобающее выражение лица. Здесь все проникнуто ожиданием. Храня молчание, люди не сводят глаз с заветного окна, в котором должна появиться богиня. Впрочем, что значит «должна»? Боги никому ничего не должны. Захотят снизойти, снизойдут, не захотят — на то их высшая воля.

Заметив, что один особенно настырный парнишка так и вертится у меня под ногами, я дал ему пару рупий. Издав ликующий клич, он завертелся на одной ножке и в тот же миг куда-то сгинул. Но, очевидно, моя жертва была принята, потому что чья-то сухая старческая рука властно отдернула занавеску в заветном окне.

Когда мой переводчик Шарма сказал, что Живая богиня даст мне аудиенцию, я сначала обрадовался, а затем призадумался. Меня смущало полное незнание «небесного протокола». Я даже не мог сообразить, как надлежит титуловать богиню. Обращение «ваше святейшество», подобающее в беседе с такими высокими лицами, как далай-лама или римский первосвященник, казалось для данного случая не совсем подходящим. Нужно было спешно придумать что-нибудь рангом повыше. Но что?

— Пусть вас это не волнует, — пришел на выручку Мадхав Шарма, которого в память времен, когда он занимался в Московском университете, звали просто Мишей. — Вам вообще не придется с ней разговаривать.

— Вы так думаете?

— Разумеется. Кумари будет лишь присутствовать, а все ваши вопросы разрешат приближенные к ней жрецы. Впрочем, я не уверен, что они говорят по-английски.

— Веселенькая ситуация!.. Посоветуйте хоть, как называть богиню, обращаясь к жрецам.

— Просто дэви, богиня то есть.

— В самом деле просто... А какие существуют правила этикета?

— Понятия не имею. На всякий случай отводите взгляд в сторону, потому что в народе боятся ее третьего глаза.

С этим багажом я и отправился в чертоги Кумаридэви.

Что я вообще знал о ней? Ничего, кроме того, что непальцы почитают Кумари в образе маленькой девочки из плоти и крови, которая должна принадлежать к касте золотых дел мастеров. Ее культ находится в тесной связи с поклонением женской энергии. Это та же Шакти, но только невинная, юная, та же многоликая Дэви, вобравшая в себя разные ипостаси женских божеств, но еще не созревшая для кровавых приношений Дурги и Кали.

Девочка, предназначенная на роль богини, подвергается самому строгому и придирчивому отбору. Эта трехлетняя кроха воистину должна обладать сложением богини и не иметь ни малейшего изъяна. Если хоть один из восьмидесяти внешних признаков не отвечает твердо установленному стандарту, кандидатка не проходит. Избрание королевы красоты в сравнении с этим жалкая дилетанщина.

Счастливица, или, вернее, несчастная, претендующая на титул Кумари, обязана в самый короткий срок научиться владеть собой и ни при каких обстоятельствах не терять присутствия духа. В противном случае можно ожидать большого несчастья. Дело в том, что Кумари, которая считается покровительницей Непала, отводится хотя и номинальная, но очень заметная роль в жизни страны. Это к ней отправляется на ежегодное поклонение король, чтобы испросить соизволение на правление.

Если девочка испугается или вообще чем-нибудь погрешит против этикета, то это могут счесть зловещим знамением. Поэтому испытания на крепость духа, которым подвергается грядущая дэви, могут смутить даже бравых, видавших виды парней. Не каждому дано без дрожи следить за чудовищной рубкой козлиных голов, не каждый способен провести ночь в темном подвале, наполненном скелетами, рогатыми чудовищами и расчлененными трупами.

Та, которая вынесет все, и впрямь может претендовать на божественный титул. Остальное довершит воспитание. Вырванная из привычного круга семьи, девочка начинает новую жизнь в храме и вскоре свыкается со своим исключительным положением. Как говорится, входит в образ. Чтобы она целиком поверила в свое предназначение и позабыла смутные очертания прошлого, достаточно года строго регламентированной жизни.

Обязанности богини не слишком обременительны. В половине седьмого она пробуждается ото сна и сразу же попадает в заботливые опытные руки жрецов. Это они решают, сообразуясь с астрологическими указаниями, какого цвета одеяние выберет сегодня Кумари, чтобы явить себя почтительницам из своей золотодельной касты. После положенных, но всегда одних и те же дыхательных упражнений и ритуального омовения приступают к ежедневной процедуре «отверзания божественного глаза». Для этого на лобик богини кармином наносят широкий знак в форме григука — ритуального секача, рукоятью обращенного к переносице. Затем обводят по контуру желтым и тщательно прорисовывают в середине очень реалистическое широко раскрытое око и черной тушью далеко удлиняют уголки данных природой глаз. Теперь богиню можно облачить в указанные астрологами одежды, украсить драгоценной короной на манер старорусского кокошника, серебряными монистами, тяжелой кованой гривной, кольцами и браслетами. Чаще всего Кумари «предпочитает» наряжаться в алое платье, символизирующее необоримую власть женственности. Ее усаживают в специальное кресло с круглым подножием и выносят в приемную, декорированную в назначенные на

сегодня тона. Здесь, сидя у северной стены, словно бронзовый бурхан, она станет принимать жертвенные цветы и сласти, бесстрастно внимать звукам развлекающей ее музыки, не глядя, следить за прихотливыми фигурами танца.

Так незаметно пройдет день, ничем не отличимый от всех прошлых и будущих дней. Когда зайдет солнце, жрецы начнут готовить богиню к встрече ночи. Окурят благовониями, снимут серебряные вериги, смоют грим.

Лишь однажды в году — как у Дурги, Сарасвати, Лакшми и прочих дэви, у Кумари тоже есть свой праздник — ее вывезут на шумные, наполненные восторженными толпами столичные улицы. Это случится в августе—сентябре на восьмидневные торжества Индраджатра, в которых вместе с индуистами самое рьяное участие примут и буддисты.

В первый день праздника перед дворцом Ханумандхока воздвигнут высокий столб в честь бога-грозовика. Затем начнутся пляски огромных фантастических масок, которые заполнят все площади перед богато разукрашенными храмами и пагодами. Единодушным воплем восторга встретят жители Катманду маску Индры, которая появится перед золотой пагодой в разгар праздника. Если же по воле случая в один из дней прольется дождь, то накалу страстей не будет предела.

А на третий день придет черед Живой богини явить себя народу. Три хранителя — Кумари, Ганеша и Бхайрава совершают в течение трех дней объезд опекаемого ими города. И все три дня будут продолжаться доводящие до неистовства наэлектризованную толпу пляски. Сам король выйдет на площадь, чтобы на глазах у народа склониться перед таинственной властью маленькой девочки, чей нарисованный глаз страшит, как проклятие. В этот момент торжество достигнет кульминации. Перед храмом Нараяны, расположенным как раз напротив жилища Кумари, один за другим пронесутся фантасмагорические образы Махакали, Махалакшми и Даша Аватара — последнего воплощения Вишну.

Религиозный праздник незаметно перерастает в общегосударственный, когда танец Бхайравы отметит памятный день взятия Катманду войсками Притви Нараяны — объединителя.

Целый год будет помнить одинокая, разучившаяся смеяться и плакать девочка о сладостных минутах высшего своего торжества. Лишенная общества сверстников, не знающая игр, она будет хранить в сердечке надежду на новый праздник.

Но однажды все для нее неожиданно кончится. Достигнув двенадцатилетнего возраста, она уснет богиней, а проснется обыкновенной девочкой, в которой пробудилась жен-

ственность. Тихо и незаметно она покинет храм, чтобы вернуться в семью и попробовать научиться жить в человеческом облике. Войти в новую роль ей будет гораздо сложнее. Не каждая сможет забыть сияние гималайских вершин и опьяняющий фимиам поклонений. Редко кому из бывших богинь удавалось приспособиться к новым условиям. Несмотря на значительное приданое, которое они получали на прощание, их крайне неохотно брали в жены. Да и кому охота жениться на богине, приученной только повелевать? Недаром молва говорит, что живые богини приносят своим мужьям одни несчастья. Радость, любовь — это тоже наука, которую начинают познавать с колыбели. Ее постулаты записаны на грешной земле родительской лаской, смехом, играми, ссорами, дружбой, победами и поражениями. Всему этому не научили Живую богиню. Где же взять ей счастье для мужа, если не знает она, что это значит...

Ее удел одинокое прозябание, наполненное грезами и воспоминаниями о прежнем величии.

В праздник Индры она уже не выходит из дому, дабы не встретиться с той, счастливой и юной, что самовластно присвоила себе все атрибуты высочайшей власти. Без них разжалованная богиня бессильна. У нее нет даже третьего глаза, чтобы навести порчу на ненавистную соперницу. Ей самой нужно опасаться теперь темной силы этого широко отверстого ока.

Стоя перед окошком, в котором показалась богиня, я долго думал, о чем мне спросить сухощавого старца, который стоял по левую руку ее. Я размышлял над этим в течение долгих минут, пока Кумари, не замечая, смотрела на меня и на тех, кто стоял рядом. Впервые, хотя и не было переводчика, у меня появилась возможность хоть о чем-нибудь да спросить божество! Но я так ничего и не придумал.

И не раскаиваюсь, как не жалею о том, что, повинуясь правилам, не взял с собой фотоаппарат. Впрочем, цветную открытку Кумари-дэви я с собой привез.

Красивая и грустная девочка.

Любят праздники в Непале. С рассвета до заката под рокот барабанов, звон колокольчиков и хриплый рев трехметровых раздвижных труб по узким улочкам течет пестрая река карнавала. Она одинаково захватывает шиваитов, буддистов и последователей «черношапочного» шаманства. В карнавальных шествиях принимают участие представители всех этнических групп, многочисленных каст, на которые все еще разделено коренное население страны. Веселым гуляньем отмечают люди юбилеи королей и божественные мистерии. Празднуется день нагов, когда на двери домов наклеивают изображения змей, и месяц магх, в который

принято совершать омовение в водах Бхагмати, торжество Шивы и святость Трехъярусного Зонта. День Матери соседствует во времени с Махендранатх Джатра, отмечаемым в Патане, и буддийским праздником в Лумбини. Джаятра, или карнавал Коровы, знаменует собой начало празднеств, которые продолжаются вплоть до грандиозной Дурга Пуджа. Торжественно отмечаются дни лесной богини Банадеви, Ситалами, насылающей оспу, Гаруды и др.

Но самое многолюдное и красочное зрелище — несомненно коронация. К ней готовятся долго и обстоятельно. Она захватывает в свою орбиту все слои населения: придворных, военных, крестьян, поставляющих продовольствие, художников, архитекторов, жрецов и даже богов, потому что Живая богиня Кумари имеет самое непосредственное отношение к трону. 24 февраля 1975 года в Катманду состоялась торжественная коронация двадцатидевятилетнего Бирендры — сына покойного короля Махендры, скончавшегося в январе 1972 года. Понадобилось свыше трех лет, чтобы закончить затянувшуюся процедуру престолонаследия! Но в Непале это не вызвало удивления. Дело в том, что древняя и циничная формула феодальной Европы «Король умер, да здравствует король!» лишь ограниченно применима к гималайской стране. Сначала был год траура и поминальных церемоний, после чего пришел 2030 год (по индуистскому календарю), крайне неблагоприятный, по мнению брахманов-астрологов. Еще год потребовался на подготовку. Так и текло время Кала Бхайравы, прежде чем фактическое пребывание на престоле Бирендры получило официальное «оформление».

Торжественная церемония происходила во дворе старого королевского дворца при огромном стечении людей и в строгом соответствии с древними традициями. Даже час торжества был определен национальным комитетом астрологов. Вначале король совершил обряд посыпания своего тела землей, привезенной из различных уголков страны, что символизирует причастность монарха к нуждам и чаяниям подданных. Потом он был помазан на царство маслом, молоком, творогом и медом, после чего жрец окропил его священной водой. Преобладание «молочных продуктов» в ритуале объясняется тем, что корова — самое почитаемое существо, воплощение божественности, ее изображение — на государственном гербе. Даже непреднамеренное убийство этого животного карается пожизненным заключением.

Под пение древних гимнов короля возвели на трон. Стоя лицом к востоку, он принял корону, усыпанную драгоценными камнями, на гребне которой изображена птица с золотым оперением. С этой минуты он уже официально стал «королем-богом». На дворцовой площади его ожидало уже

не земное, а небесное царское кресло, осененное балдахином в виде девятиглавой кобры. Этот высокий трон Вишну символизирует основную обязанность короля — защитника страны и ее граждан.

## ЗНАКИ ЛУНЫ

На одном из озер в долине Покхары есть каменистый островок, заросший ивами и карликовым бамбуком.

От местного телеграфиста и самодеятельного поэта Прадхана мой друг Мадхав (Миша) узнал, что на острове есть крохотная подземная молельня и древний жертвенник, посвященный каким-то ныне забытым богам. Эту новость он притащил вместе с термосом, тазом и каким-то мешочком, источавшим сухой и горячий пар.

— Намечается большая стирка? — пошутил я, заинтригованный таинственными приготовлениями.

— Сейчас увидите, — довольно ухмыльнулся Миша.

Развязав мешочек и высыпав в таз черное дымящееся просо, он вылил из термоса весь кипяток и принялся деловито размешивать полой бамбуковой трубкой. Вода помутнела и окрасилась в темный цвет. На поверхности стала вскипать грязноватая мылкая пена.

— Надеетесь умилостивить духов озера? — я все еще ничего не понимал. — Или это варево предназначено мне?

— Вот именно. — Миша продолжал энергично размешивать. — Раз вам так нравится шерпский чанг, то должно прийтись по вкусу и это. Слышали что-нибудь о горячем пиве народа лимбу?

— Ничего.

— Значит, я приготовил для вас сюрприз... Насколько я мог понять, лимбу сбраживают просо полусухим способом и, когда оно разогреется, заливают горячей водой. Очевидно, чтобы не оборвалась эндотермическая реакция... Ну-ка, попробуем, — он довольно улыбнулся и приник к трубке. — Ничего, вкусно.

За какой-нибудь час мы выдули с ним весь таз.

— Хотите еще?

— Еще бы!

Миша сбегал в коридор и приволок новый термос.

— Доливать можно много раз, — объяснил он, ошпаривая струей черно-зернистый осадок. — Только придется подождать немного дольше. С уменьшением концентрации неизбежно падает скорость реакции.

Выпускник геологического факультета МГУ, Миша знал, что говорит. Во всяком случае, его глубокое понима-

ние законов химической кинетики позволило нам трижды за этот вечер наполнить и, соответственно, осушить таз.

Горячее и не слишком хмельное пиво народа лимбу оказалось довольно приятным на вкус. Не туманя сознания, оно тяжелой истомой ударяло в ноги. Как очень старый мед или очень молодое вино.

Я незаметно заснул, да так и проспал до утра, не раздеваясь, не чувствуя жгучих комариных укусов. Встал бодрый, чудовищно проголодавшийся и жадный до жизни. Мы с Мишей позавтракали, купили печеной кукурузы и поехали на озеро.

Все так же, как в Кашмире: долбленый челн, сердцевидная гребная лопатка, сверкающая ледяная корона, отраженная в купоросно-синей воде. Длинные серебряные полосы перерезали опрокинутую вершину Мачапучхре и переливались ленивым чешуйчатым мерцанием. Подожженные зарей, пылали и рушились руины воздушных замков. Босоногие девушки в синих с красно-белой каймой сари стирали белье на широком деревянном помосте. Ослепительно и жарко сияла медная посуда. Красная древесина лодок еще хранила ядреный кедровый дух.

Но все померкло, когда на нас пахнуло затхлой сыростью подземелья. Это был гоингханг, посвященный злым духам, обитателям мира демонов. Несмотря на сумрак и облепившую обмазанные глиной стены паутину, можно было различить истлевшие шкуры зверей, чьи-то зубы, рога, когти, ржавое оружие, пробитые щиты и порванные кольчуги. Стены и потолок были расписаны синими клыкастыми демонами, скелетами, отвратительными ведьмами. Грозные маги швырялись трупами, хлестали кровь из черепов, а в облаках кружились стервятники, несущие в загнутых клювах вырванные глаза.

Буддийское учение о цикле смертей и рождений нашло предельно жуткое, но примитивное выражение. Впрочем, именно примитивность и подбавляла изрядную долю ужаса. В основе своей страх прост, как атавизм. Много проще отваги. Он тормозит в человеке все высшее. Недаром ламы учат, что ничто так не вырывает человека из тисков обыденности, как ужас.

В этой землянке, отравленной тлетворным запахом медленного гниения, ламаитскую ваджраяну окончательно одолело шаманство. Космическая символика тантр и возвышенная эротика митхуны (тема любовников) были представлены на грубых фресках капища парой сплетенных скелетов. Какой разительный контраст с возвышенными озарениями картин Западного рая, какое чудовищное отрицание пленительных образов Аджанты!

Разглядывая рисунки, озаренные теплым огоньком свечи, я счищал жирную на ощупь паутину, и засохшие в ней насекомые обращались в прах, как перезрелые грибы-дождевики. Я понимал, что где-то должен быть исход из этой обители кошмаров, или по меньшей мере намек на нирвану, где наступает конец страданиям.

Так оно и вышло.

На гнилой скамье, заваленной полуистлевшим тряпьем, я обнаружил увитые красной лентой ячьи рога, к которым были привязаны образки с изображением Милайрапы. Это сразу же напомнило мне популярную в Гималаях легенду о незадачливом ученике великого поэта и проповедника. Он отправился в Индию, чтобы изучить там все тайны веры, и через несколько лет возвратился на родину, исполненный гордыни. Милайрапа тепло встретил ученика и взял его с собой в очередное паломничество в Лхасу. И вот, когда они ехали по безлюдной пустыне, Милайрапа увидел точно такие же рога. Провидя все наперед, он решил дать спесивому ученику хороший урок. «Принеси мне эти рога», — сказал он. «Зачем они тебе? — спросил ученик. — Их нельзя съесть, они не дадут нам воды в этой пустыне, из них не сошьешь одежду». Про себя он подумал, что учитель совсем спятил. «Ему нужно все, что только он ни увидит. И все он раздражается, ворчит, словно старый пес, а то совсем впадает в детство». Милайрапа, конечно, догадался о тайных мыслях ученика, но не подал и вида, а только сказал: «Кто знает, что может произойти? Только мне кажется, эти рога нам еще понадобятся». С этими словами он поднял рога и понес их сам.

Через некоторое время путешественников настигла сильная буря. Ревел ветер, громыхал гром, больно хлестал крупный град. А кругом не было даже жалкой мышиной норки, где бы можно было переждать непогоду. Ученик закрыл голову руками и сел на песок, не надеясь дожить до конца урагана. И вдруг он заметил, что Милайрапа забрался в рог и спокойно ждет там, пока уляжется непогода. «Если сын таков, как его отец, — сказал святой ученику, — то пусть он тоже заберется внутрь». Но в роге не умещалась даже шляпа бедного ученика, утратившего всю свою спесь. Тут небо прояснилось, ветер утих, и Милайрапа вылез из убежища. Ученик же принес рога в храм Большого Будды.

Мы вышли на воздух, пронизанный струями солнца, ароматный, кипящий. Рядом с белизной Аннапурны облака казались голубыми, а небо дымилось бездонной нахмуренной синевой. Кукурузные поля на ближних склонах и лиственные леса по берегам лоснились ликующим световым глянцем.

На каменном жертвеннике, который наполовину врос в землю, я увидел полустертую санскритскую надпись.

— Сома, — прочитал Миша.

В тот же день мы отправились к каньону Кали-Гандака. Но во второй половине дня погода стала заметно портиться, и мы уже начинали поговаривать о возвращении. Хотелось лишь добраться до главного перевала. Небо заволокли облака. Вершины гор плотно укутались в пухлые свинцово-белые одеяла. Шофер беспокойно ходил вокруг джипа и время от времени озабоченно пинал ногой колеса. Намек был яснее ясного: пора отправляться в обратный путь. Но спешить было некуда. До гостиницы было километров шестьдесят, не меньше. Все равно засветло не успеть. По берегам протоков, которые мы должны были проехать вброд, росли высокие сосны и папоротники, а у самой воды стеной стоял четырехметровый «тигровый» тростник. Всюду виднелись каменные осыпи и завалы валежника. С мрачных каменных стен молочными струями срывались далекие водопады.

Дорога вскоре пошла лесом. Каменные дубы, магнолии и сосны почти целиком закрывали небо. Похолодало. Остро пахло хвоей и прелью. Чахлый свет с обложного неба терялся в этом великом лесу, скользя и умирая на лакированных листьях. Стояла такая тишина, что было слышно, как падали длинные иглы сосен, устилавших землю желто-оранжевым дивным ковром. В опавшей хвое кишели черные маленькие пиявки, и она шевелилась, как живая, наполняя лес угрожающим неясным шуршанием. Мы опять пошли на подъем. Лес начал редеть, и вскоре открылся перевал. Белый чортэнь окружал замшелый мэньдон, на котором была высечена обычная шестисложная мани: ом-ма-ни-пад-мэ-хум!

Где-то далеко за густой завесой тумана лежал Мустанг. Темный и сумрачный под желто-белым облачным небом. К перевалу подтянулся небольшой караван, несколько груженых яков, отара овец, которые, тоже по местному обычаю, несли маленькие вьючки, да три загорелых до черноты погонщика в чубах тибетского покроя.

Здешние лимбу исповедуют «черную веру» — древнюю тибетскую религию бон. У них существуют пять классов жрецов. Но наибольшим почетом пользуются жрецы сричжанга — толкователи священных книг, хранители религиозных традиций.

Одного такого сричжангу по званию и откровенного шамана по существу мне довелось повидать в охранном лесу, посвященном богине Матери. На моих проводников сильное впечатление произвела его весьма банальная, даже несколько трафаретная проповедь. Меня же больше всего заинтере-

совала чашка с настоем мухоморов, к которой святой отшельник изредка прикладывался.

Я вспомнил о чаше с грибами, когда познакомился в одном из номеров «Природы» со статьей о действии мухоморов на человеческий организм. Там же приводились снимки енисейских писанцев, на которых рукой доисторического ваятеля были запечатлены люди-мухоморы в грибообразных шляпах и звери, неодолимо влекомые на их таинственный зов. Но всего более меня заинтересовала довольно спорная гипотеза автора, отождествившего мухомор с загадочной сомой древних арьев. «Сома» — было написано на алтаре.

Вся девятая книга Ригведы посвящена описанию загадочного божества Сомы. Подобно огненному богу Агни, Сома многолик и обитает в самых разных местах. И вообще он находится в тесной связи с Агни, которого до сих пор почитают и в Гималаях и даже в Японии.

Подобно тому как огонь является главным материальным проявлением божественной сущности Агни, Сому олицетворяло некое таинственное растение, о котором мы мало что знаем. Но если земное проявление Агни было многообразно — огонь согревал и освещал, на костре можно было приготовить пищу, огненные стрелы легко поджигали кровли осажденного города и так далее, — растение сома годилось лишь для одного: из него готовили опьяняющий напиток. Во время жертвоприношений молящиеся пили сому и поили священной влагой светозарного Агни, выливая остатки в пылающий перед алтарем жертвенник. Это была особая форма огнепоклонства, которое Заратустра распространил почти по всей Азии. Реликты его можно до сих пор обнаружить в фольклоре и обычаях народов Хорезма, Азербайджана, некоторых районов Таджикии. Не случайно священное растение огнепоклонников называлось хаома. Последователи Заратустры чтили в нем то же опьяняющее начало. Сома Ригведы и хаома иранской Авесты — одно и то же растение, одна и та же божественная ипостась. Видимо, правы те исследователи, которые считают, что культ сомы — хаомы предшествовал обеим религиям и вошел в них как своего рода древнейший пережиток. В Авесте, по крайней мере, есть одно место, которое указывает на то, что Заратустра разрешил употреблять хаому в жертвоприношениях, лишь уступая исконному обычаю.

Все, что связано со сбором сомы и приготовлением зелья, было окутано тайной. Лишь по отдельным, разбросанным в священных книгах указаниям можем мы, в самых общих чертах, реконструировать этот процесс. Ригведа говорит, что царь Варуна, водворивший солнце на небе и

огонь в воде, поместил сому на скалистых вершинах. Подобно огню, она попала на землю вопреки воле богов. Но если огонь был украден Магаришваном, индийским Прометеем, то сому принес горный орел. Распространение культа сомы по городам и весям Индостана требовало все больших и больших количеств этой травы, которая росла на склонах Гималаев и в горах Ирана. Сому, таким образом, приходилось возить на все большие и большие расстояния. Торговля священной травой становилась прибыльным предприятием. Но гималайские племена, взявшие это дело в свои руки, в отличие от арьев, не испытывали к своему товару священного трепета. Важнее всего для них было хорошенько нажиться на странном, с их точки зрения, пристрастии соседних народов к простому цветку. Цены на сому непрерывно росли. Вероятно, из-за этого гималайских торговцев стали считать людьми второго сорта.

Впоследствии, когда обычаи обратились в законы о кастах, торговцев сомой включили в одну из самых презренных вари. Они были поставлены в один ряд с ростовщиками, актерами и осквернителями касты. Им строго-настрого запрещалось посещать жертвоприношения, дабы одним своим присутствием не осквернили они душу растения. Древнее поверье гласит, что цветок громогласно кричит и жалуется, когда его срывают, а если совершивший столь презренное дело осмелится войти в храм, дух Сомы утратит силу. Не удивительно, что торговцев сомой туда не пускали. И вообще в глазах поклонника сомы всякий, кто, имея священную траву, не поступал с ней надлежащим образом, выглядел отщепенцем. Весь род людской арьи четко подразделяли на «прессующих» и «непрессующих». Те, кто не гнал из спрессованной травы опьяняющего зелья, не заслуживали человеческого отношения. Для арьев они были хуже, чем варвары для римлян. Даже случайная встреча с «непрессующим» требовала немедленного очищения. Постепенно выработался сложный церемониал покупки сомы у «непрессующих». Он может показаться до крайности смешным и нелепым, но надо помнить, что для арьев все было исполнено символического значения. Так, платой за арбу сомы служила обычно корова, причем обязательно рыжая, со светло-карими глазами. Торговца, вероятно, меньше всего интересовали масть и цвет глаз полученной коровы, но покупателю было важно представить сделку в виде своеобразного обмена одной божественной сущности на другую.

Строгая канонизация цветов как бы символизировала золотистый оттенок сомы. Вот и получалось, что обычная купля-продажа обретала вид сакральной церемонии. Покупали-то не просто траву, а душу бога, которого, согласно

гимну, «не должно вязать, ни за ухо дергать», иначе говоря, обращаться непочтительно.

Гимны Ригведы описывают процесс приготовления сомы в таких причудливых, нарочито затемненных выражениях, что почти невозможно ничего понять. Нечто вроде алхимических рекомендаций. Виндишман перерыл целые горы литературы, пока разобрался, наконец, что к чему: «Растение собирают в горах, в лунную ночь, и вырывают с корнем, — говорит он в своей монографии. — Оно доставляется к месту жертвоприношения на повозке, запряженной парой коз, и там, на заранее подготовленном месте, которое зовется «води» или «сидение богов», жрецы прессуют его между двух камней. Потом, смочив образовавшуюся массу водой, бросают ее на сито из редкой шерстяной ткани и начинают перетирать руками. Драгоценный сок по каплям стекает в подставленный сосуд, сделанный из священного дерева ашваттха — фикус религиоза. Далее его смешивают с пшеничной мукой и подвергают брожению. Готовый напиток подносится богам три раза в день и испивается брахманами, что является, бесспорно, самым священным и знаменательным приношением древности. Боги, которые незримо присутствуют при изготовлении напитка, жадно выпивают его и приходят в радостное, возбужденное состояние. Сома очищает и животворит, дарует бессмертие и здоровье, он открывает небеса».

Судя по описаниям Ригведы, сома содержала наркотические вещества, близкие к ЛСД или мескалину, добываемому из мексиканской агавы. Все, кто хоть однажды испил сому, превозносили огненный животворный напиток, поднимающий дух и веселящий сердце. Но те же веды утверждают, что, кроме священнослужителей, сому дозволяли попробовать очень немногим. Желавший причаститься к соме прежде всего должен был доказать, что у него в доме есть запас продовольствия на целых три года. С одной стороны, тут давал себя знать имущественный ценз, с другой — воздействие сомы на отдельно взятого человека было труднопредсказуемо и могло оказаться весьма продолжительным. Человек рисковал, повидимому, многим. Он мог надолго потерять трудоспособность. Для того и требовался гарантированный запас пищи. Жрецы, таким образом, сводили до минимума отрицательные последствия питья. Умереть с голода человек не мог, а остальное уже воля божья.

Из известных препаратов столь продолжительное остаточное действие может вызвать только ЛСД. Гофман, синтезировавший это вещество и попробовавший его на себе, пишет, что влияние ЛСД на организм может ощущаться в течение многих месяцев.

В одном из гимнов соме говорится следующее:

«Вот думаю я про себя: пойду и корову куплю! И лошадь куплю! Уж не напился ли я сомы? Напиток, как буйный ветер, несет меня по воздуху! Он несет меня, как быстрые кони повозку! Сама собой пришла ко мне песня! Словно теленок к корове. И песню эту я ворочаю в сердце своем, как плотник, надевающий на телегу колеса. Все пять племен мне теперь нипочем! Половина меня больше обоих миров! Мое величие распространяется за пределы земли и неба! Хотите, я понесу землю? А то возьму и разобью ее вдребезги! Никакими словами не описать, как я велик...»

Как поразительно это напоминает рассказ Гофмана о действии ЛСД. Долгое время эту исполненную бахвальства песнь толковали в качестве откровения бога воителя и громовержца Индры. Но сам строй ее, примитивный набор изобразительных средств и сравнений заставляет в том усомниться. Нет, не бог, усладивший себя сомой, вещает свои откровения, а именно простоватый деревенский житель. Недаром Берген приводит слова другого любителя священного зелья, который говорит: «Мы напились сомы и стали бессмертны, мы вступили в мир света и познали богов. Что нам теперь злобное шипение врагов? Мы никого не боимся». Совершенно очевидно, что сказать так мог только смертный человек, а не бог. Тем более что в других гимнах люди, пьющие сому и выливающие опивки в жертвенное пламя, откровенно завидуют богам, особенно тому же Индре, который поглощает чудесный напиток целыми бочками. И здесь мы подходим к самому интересному моменту. Возникает вопрос: зачем богам пить сому, когда у них есть амрита — истинное питье небожителей, дарующее мощь и бессмертие? В чем здесь дело? Без амриты боги не только утратили бы бессмертие и могущество, но и саму жизнь. Мир сделался бы необитаемым и холодным, бесплодным, как мертвый камень. Ведь амрита — питье бессмертия — есть не что иное, как дождь и роса, одним словом — влага с большой буквы, влажное начало, насыщающее всю природу, питающее жизнь во всех ее проявлениях.

Но амрита — стихия, отвлеченное понятие индуистской философии, тогда как сома — нечто реальное. Ее можно даже попробовать. Человек, вкусивший сомы, легче может вообразить себе, что чувствуют боги, пьющие амриту.

Жертвоприношение в честь сомы на земле символизирует животворное распространение небесного Сомы, иначе говоря, амриты. Шкура буйвола, на которую ставят каменный пресс, это туча, чреватая дождем, сами камни — громовые стрелы, или ваджры, грозовика Индры, сито — небо, кото-

рое готово пролить на землю священный напиток, лелеющий жизнь. Таков потаенный смысл всего действа приготовления сомы. Это закон подобия, без которого нельзя понять образ мысли древнего человека. Это мандала бога Сомы, в освящении которой сома-напиток выступает как земное подобие амриты. Одно подменяет другое, как шкура тучу, камень — молнию, а сосуд, в который собирают млечный сок, — поднебесный водоем Самудра.

Подобный символизм позволяет понять целевую направленность самых, казалось бы, непостижимых и странных действий. Возьмем, например, следующее заклинание: «Пей бодрость в небесном Соме, о Индра! Пей ее в том же соме, который люди выжимают на земле!» Здесь проявляется действие закона подобия: «Что внизу, то и вверху, как на земле, так и на небесах». Изумрудная скрижаль Гермеса Трисмегиста. Отождествление Сомы с водами и растениями позволяет уже иначе взглянуть на его родство с Агни. Сома являет собой того же Агни, иначе говоря, он олицетворяет все тот же огонь, но только жидкий. В этом главное, священнейшее таинство брахманизма. Суть его в том, что огненное, или жизненное, начало проводится в сердцевину растений, в их семя, в человеческий организм, наконец, только посредством воды. Здесь проявляется главный принцип индийской натурфилософии, ее стихийная диалектика, утверждающая борьбу и единство противоположных начал: огня и влаги. На нем построены религиозные учения, этика и повседневный обиход. Он целиком вошел в практику йоги и в основы индо-тибетской медицины.

Героем культа, героем народного эпоса может стать только личность. И, подобно неистовому Агни, олицетворяющему жаркое пламя, людская фантазия создала Сому — бога жидкого огня, одухотворителя жизни. Но если Агни часто ассоциировался с Солнцем, то Сому пришлось повенчать с Месяцем. Луна почти у всех народов являлась синонимом плодотворящей влаги. И действительно, в мифологии позднейшего, эпического периода Сома есть именно Месяц. В Пуранах Месяц прямо называется ковшом амриты. Когда он прибывает и ночи светлеют, боги пьют из него свое бессмертие, когда идет на убыль, к нему приникают питри, или бириты, — души умерших — и высасывают до дна. В ту минуту, когда питри выпьют последнюю каплю, ночь делается непроглядной. Упанишады, которые древнее Пуран, прямо говорят: «Месяц есть царь Сома, пища богов». Таким образом, культ Сомы имеет еще одну грань, астральную. Подобная многозначность не является исключением. Астральные тенденции легко прослеживаются в мифологии Египта и Двуречья.

Увиденный нами жертвенник был поставлен здесь жрецами лунного бога. Это маленькое открытие Миши (сейчас он вновь в Москве и учится в аспирантуре) таинственным предвидением художника предвосхитил Рерих.

Картина «Мехески — лунный народ»...

С каким изумлением следил, наверное, первобытный человек за эволюцией лунного диска в ночи! Луна росла и убывала, как живое существо, тучнела и усыхала, исчезала совсем и неуклонно вновь возрождалась в звездной черноте неба. В этой поразительной смене была неуклонная закономерность, которая проявлялась от века, которая останется неизменной до скончания лет. И когда люди поняли, наконец, что между двумя новолуниями лежат четыре четверти, они сделали важнейший шаг от краткой меры времени — дня к более продолжительной — месяцу.

Периодическая смена лунных фаз вошла в плоть и кровь наших представлений о мире. Наблюдение это было надежнейшим и достовернейшим в сокровищнице первобытных знаний. Здесь проявлял себя великий порядок Вселенной, столь отличный от хаоса не поддающихся учету землетрясений и ураганов, ливней и гроз, лесных пожаров и речных наводнений. Пусть нельзя было предвидеть опустошительные набеги стихий, но зато появилась реальная возможность измерить ход самого времени, неуловимого, непостижимого, дарующего жизнь и смерть всем существам. Впервые в сознании человека мелькнула смутная идея о начале и конце, о вечности и продолжительности. Изменчивая царица ночи стала великим учителем, мерой времени, которое никому не подвластно, которому подвластно все. Не случайно Луна на санскрите называется «мас», то есть измеритель, не случайно латинское «мензис» — месяц находится в тесной связи со словом «мензура» — мера.

Вот почему именно Луна, а не Солнце сделалась первым объектом поклонения. У народов Центральной Америки издавна существовал лунный год — мера времени, предназначенная для установления религиозных праздников. Это «топаламатль», которым пользовались жрецы в тайных магических обрядах и при составлении гороскопов «Топаламатль», обнимавший 260 дней, включая в себя девять синодических месяцев, ничего общего не имел с солнечным годом, продолжительность которого майя определяли с точностью, ставшей доступной для современной науки лишь в самые последние десятилетия.

Лунным календарем пользовались и народы, населявшие Месопотамию, где Луна тоже почиталась ранее Солнца. Глиняные клинописные таблички донесли до нас слова древнего гимна:

О Луна, ты единая проливающая свет,
Ты, несущая свет человечеству.

Халдейские жрецы также в своих астрологических вычислениях предпочитали Луну. По пятнам на серебряном лике ее судили они о судьбах властителей и народов.

От той эпохи мы унаследовали многое. В том числе и семидневную неделю, тесно связанную с культом семи планет. Кроме Солнца, Луны и Венеры, халдейские жрецы признавали движущимися еще четыре светила: Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн. Каждому из них был посвящен один день недели, который и получил соответствующее планетное имя. В ряде языков имена эти сохранились и по сей день: зоннтаг, или солнечный день, — воскресенье, монтаг, или лунный день, — понедельник.

Еще во времена Тихо Браге гадатели взывали к вавилонским богам. «О, Син! Ты предсказываешь богам, которые тебя просят об этом!» — говорится в одном заклинании. От вавилонян лунная мера времени перешла к другим народам Средиземноморья. При определении церковных праздников лунным календарем руководствуются магометане и иудеи, которые определяют по нему наступление праздника Пасхи, и буддисты, которые связывают с фазами Луны рождение и уход в нирвану Шакья-Муни. В одном из христианских псалмов прямо говорится: «Он (бог) создал Луну, чтобы определять времена».

Надо ли удивляться тому, что у многих народов земли Луна почиталась как главное божество? Совпадение ее фаз с самыми разными проявлениями живой и мертвой природы: приливами и отливами в морях, понижением температуры и обильными росами, которые обычно выпадают в ясную лунную ночь, усилением роста некоторых растений и лунной периодичностью жизненно важных функций человеческого организма — все это издавна волновало людей. О Луне было сложено гораздо больше всевозможных мифов, чем о Солнце. Впоследствии фазы Луны связали с концепцией смерти и воскресения. Она стала носительницей идеи вечного вселенского круговорота, подчиняясь которому, погибают с наступлением осени травы и возрождаются вновь, когда приходит на Землю весна. Недаром с прибыванием месяца в новолуние связывают не только произрастание злаков, но и благополучие стад, и здоровье детей. Так, у центральноафриканского племени баганда при появлении нового месяца матери выносят своих младенцев и показывают их возрожденной луне. Аналогичные обычаи, если верить Плутарху, существовали и у древних греков, и у армян, и у персов. Считалось, что молодая луна способствует приросту денег и вообще удаче во всех начинаниях. В

Германии многие столетия приурочивали к новой луне посевы и свадьбы, закладку нового дома и покупку земли.

Когда же луна входила в последнюю четверть, волшебное воздействие ее, напротив, считалось неблагоприятным. Новых дел лучше было не начинать. Особенно не рекомендовалось выходить на охоту и отправляться в военный поход. По свидетельству Геродота, спартанцы именно по этой причине вовремя не послали свои войска против персов в битве при Марафоне, что, как известно, чуть было не погубило Грецию.

С новолунием были связаны пышные ритуальные праздники, сопровождаемые плясками, пением и молитвами. Готтентоты и кельты, иберы и галлы встречали новорожденную богиню ночного неба рокотом барабанов, хриплым ревом раковин и рогов, древние евреи ежемесячно читали по этому случаю особую молитву.

На всем земном шаре у земледельцев существует поверье, что сеять надо, когда луна нарастает, а жать — когда она на ущербе. Во Франции вплоть до великой революции существовал закон, согласно которому рубить лес можно было только после полнолуния, когда он особенно сух и хорош. В Бразилии до сих пор драгоценные породы дерева заготавливают именно в этот период. Существуют даже специальные клейма, удостоверяющие, в какой лунной фазе срублено то или иное дерево. Считается, что поваленный после полной луны лес не гниет и стойко сопротивляется древоточцам.

В определенный период культ Луны занимал главное место во многих религиях. Древнейшим центром лунного культа были вавилонский Ур и Харапа в Месопотамии. В Вавилоне бог Луны Ану считался владыкой и всего неба, египетский бог Озирис почитался не только лунным богом, но и покровителем всего произрастающего на Земле, античная Диана тоже олицетворяла собой не только одну Луну, но слыла покровительницей охоты, богиней урожая и деторождения. Пережитки лунного культа встречаются и по сей день. В Кашмире, Западном Непале и Пакистане, например, в новолуние принято наполнять водой серебряные сосуды. Страдающие недугом люди ловят в них отражение полной луны и, закрыв глаза, выпивают воду. Считается, что это помогает от всех болезней. В других районах индийских Гималаев на крышу жилища кладут съестные припасы. Согласно древнему поверью, пища, впитав свет полной луны, становится целебной и способствует продлению жизни.

У народов Юго-Восточной Азии луна отождествляется с лягушкой, черепахой или рыбой. В буддийских пагодах на алтарях часто ставятся изображения этих животных. Это

дань древним забытым верованиям, которые побрала в себя одна из мировых религий на своем долгом пути из Индии к восточным пределам.

Чисто зрительно месяц ассоциируется с рогами. Это привело к тому, что луну стали отождествлять с быком. Известную роль сыграли здесь и представления о сакральном влиянии луны и быка на производительную силу земли и животных. Так лунный культ проложил себе пути не только в высшие формы религий — митраизм, зороастризм, но даже в сибирское шаманство, где символом лунного диска сделался бубен. Везде, где только люди изображали своих богов с рогами, существовало с незапамятных времен почитание Луны. Богини-матери вавилонская Астарта и индийская Парвати, рогатый Моисей и даже Александр Великий (Искандер Двурогий, как называли его на Востоке), Озирис и Изида равно получают лунные рога как атрибут высшей власти и святости, а знаменитое лунное божество Вавилона Син рисуется молодым двурогим тельцом, которого именуют, однако, быком могущественным и диким. Бычьи рога получает грозный владыка преисподней Яма (Эрлик-хан по-монгольски), тонкий серп украшает прическу вселенского сокрушителя Шивы — супруга милостивой Парвати, богини-матери, богини Луны. И наконец, как последняя дань лунной производительной силе, под власть Луны подпадают и культы божественных близнецов. Во дни полнолуния и новолуния близнецам приносят обильные жертвы. Все герои близнечного культа — Яма и Ями индийских вед, Леда, Деметра, Рея, Сильвия, Идас и Елена античности превращаются в лунные божества. Становится Луной еще одна великая богиня — мать Кибелла.

Это высшее торжество Луны, ее апогей, за которым последуют закат и победа нового бога — лучезарного дневного светила. И, словно провидя повсеместную победу Ра над Озирисом, Плутарх писал: «Луна с ее влажным производительным светом способствует плодовитости животных и росту растений, но враг ее, Тифон-солнце с его уничтожающим огнем — сожигает все живущее и делает большую часть Земли необитаемой своим жаром». У ацтеков лунная Койольшаухки — только младшая сестра Солнца.

Какой же путь должно было проделать человечество, чтобы суметь дерзновенной рукой сорвать таинственное покрывало Изиды! Не богиня и не мера исчисления времени, а планета-спутник стала объектом нашего исследования. Галилей навел на нее свой телескоп и вместо странных причудливых пятен обнаружил горные цепи и кратеры, Кеплер вычислил ее орбиту, наша ракета впервые облетела вокруг нее и выбросила на камни чужого мира звездный вымпел,

космонавт Армстронг оставил в ее первозданной пыли ребристые отпечатки своих подошв, трудяги-луноходы пробурили ее поверхность, чтобы взять пробы лунного вещества! Какой долгий, трудный и блистательный путь!

И едва ли не первой вехой на нем стала смелая мечта, впервые позвавшая человека в звездную бездну. Она положила конец религиозному почитанию Луны, она предвосхитила научное исследование вечной спутницы нашей Земли. Мы смело можем сказать, что стремление к Луне было фантастикой, может быть, даже научной фантастикой, потому что людей манил к себе уже серебряный остров в звездном море, а не бог; неведомый мир, а не Син и Диана.

Огненные волосы грозной Лхамо, охранительницы верховных иерархов Лхасы, тоже заколоты лунным серпом. Это ламаистское воплощение страшной Кали — жены хозяина Шивы — окружено в Гималаях особым почетом. Она издавна считается покровительницей беременных женщин, чья жизнетворная мощь, как заметили еще древние, находится в зависимости от лунных циклов. Палдан-Лхамо скачет на пегом муле, рожденном от красного осла и крылатой кобылицы. У нее под седлом кожа чудовищного людоеда, зеленые змеи служат мулу уздой. На таких же змеях висят срезанные головы и кости, на которых ведется роковая игра на жизнь и смерть.

Кали — Парвати — Лхамо. Так замыкается еще одно колесо повествования, где мир богов представлен хозяином Шивой и забытым Сомой древних вед.

## МАГИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК

«Дао рождает одно, одно рождает два, два рождают три, а три рождают все существа. Все существа носят в себе инь и ян, наполнены ци и образуют гармонию», — говорит Лао Цзы в книге «Дао дэ цзин».

На галечном берегу мутно-зеленой клокочущей Сети мы оставили наш безотказный джип, чтобы подняться в горы, где в узкой выгнутой седловине приютилась деревушка тибетского племени кхампа. Зеленое небо горело предзакатным пронзительным светом, в котором сочнее видятся краски, рельефнее — предметы. В центре большого маисового поля белел монастырь. Ухмыляющийся череп с трезубцем на темени охранял уединенную обитель от духов зла. Мелодично позвякивало при каждом обороте трехметровое колесо с молитвами, которое денно и нощно крутил слабоумный немой калека с блаженной улыбкой на черном от загара лице. Вокруг осененные тенью банановых опахал

были разбросаны каменные хижины. В подсыхающей луже плескались утята. Овцы на горном откосе пощипывали волокнистые корешки. Наверное, обитатели этого мирного поселка старались наладить свою жизнь так, чтобы она почти не отличалась от той, какую вели их деды и прадеды. Чисто внешне все выглядело так же, как там, за перевалами Трансгималаев. Резкая перемена была незаметна, но глубока и необратима.

На новом месте кхампа организовали кооператив, где все было общим: доходы и траты. Они построили школу и монастырь, чтобы молодежь училась на тибетском языке, соблюдала заветы предков. Организовали столовую, в которой всегда есть камские пельмени и рисовый чанг. Открыли сообща магазин, чтобы каждая семья могла обзавестись предметами первой необходимости. Деньги на территории кооператива не в ходу. Каждое утро молодые парни с рюкзаками за спиной спускаются в долину. Возле альпийских гостиниц прямо на траве они раскладывают свои сокровища. Словно приоткрывается окошко в призрачный мир. Вспыхивает чешуйчатая бирюза на серебряных гау с образками, переливаются на солнце коралловые перстни, один за другим появляются предметы, об истинном предназначении которых знают только старые ламы и ученые-тибетологи. Далеко за океан в чьи-то частные коллекции утекает тибетская старина: ножи для заклятия демонов-пурбу, янтарная перевязь из черепов, бесценная чаша гаданий. В белом монастыре уже ничего похожего не осталось. Зато беспрерывно звонит колесо и фрески на стенах по богатству и красоте почти не уступают амдоским. Своя система ценностей. Кажется, что важна не суть, а лишь форма.

— Мы сделали все, как на далекой родине, — объяснил настоятель Дуп-Римпоче. — Теперь у нас одна забота: закончить крышу.

Он жил и учился в знаменитом Лабране. Третью степень — по медитации — получил после того, как два года провел в темной пещере. Возможно, высшее искусство сосредоточения одарило его и приветливым этим спокойствием и этой удивительно бесстрастной доброжелательностью.

С безучастной просветленной улыбкой он рассказал о крушении привычного мира, о родственниках, которых отправили куда-то на перевоспитание.

— Мы все живем надеждой. Жить трудно. Но жить всегда трудно. Я думаю о вечном и мечтаю закончить крышу, — рассказывал он охотно и деловито, с какой-то сдержанной радостью, которая осталась для меня непонятной. Но будущее было закрыто и для него — ламы высшего посвящения, закончившего тайный факультет чжюд.

Ему было двадцать пять лет, когда, согнувшись, пролез он вслед за своим наставником в черную дыру. Неровные, сглаженные временем ступени вели в темноту. Наставник спускался легко и уверенно. Видно, ходил сюда часто, а может быть, просто умел видеть в темноте. Ученик же шел, цепляясь за шероховатые стены. Осторожно нащупывал ногой ступень и только потом так же осторожно ставил другую ногу. Этот узкий слепой лаз в монастырской стене вел внутрь горы. Ступеньки были разной высоты, и порою казалось, что под ногой пропасть.

Все же он одолел этот спуск и медленно пошел вдоль узкого коридора. Идти приходилось пригнув голову и на полусогнутых ногах. Внезапно в затхлый мрак подземелья просочилось дуновение свежего воздуха. Он шел навстречу холодной струе, напряженно вслушиваясь в могильную тишину. Больше всего ему хотелось сейчас услышать шаги наставника. Но тот словно сквозь землю провалился. На секунду он потерял всякий контроль над собой. Что-то сорвалось в сердце и полетело, и понеслось, как валун по отвесному склону. Слепой ужас, подобно начавшейся лавине, обрастал лихорадочными подкреплениями смятенного ума.

Смятение отхлынуло, когда впереди заколыхался ржавый огонек. Очевидно, наставник запалил какую-то плошку. На голой источающей слезы стене зияли небольшие черные дыры, куда можно было просунуть только руку. Немые кельи тех, кто избрал для себя полный отход от мира.

Когда душа покидала кого-нибудь из этих святых, монахи-служители узнавали о том лишь по нетронутой чашке с едой. И то не сразу, потому что созерцатели зачастую не притрагиваются к пище много дней подряд. Когда лаз, через который новый отшельник протиснулся в келью, замуровали, для Дуп-Римпоче настала вечная ночь.

Приняв надлежащую асану, он устремил взгляд туда, где должен был находиться большой палец правой ноги. Увидев его внутренним зрением, молодой созерцатель представил себе, как с пальца сходит кожа, отваливается гниющее мясо и обнажается белая кость. Так, последовательно освобождаясь от плоти, он из надзвездных бездн мог различать каждую косточку своего скелета.

Прежде чем узреть свет, ему предстояло пройти сквозь тьму собственной смерти. Таков был смысл испытания, к которому его никто не понуждал.

На прощание Дуп-Римпоче преподнес мне белый хадак — длинный шарф, без которого в Гималаях не обходится ни одна встреча. Выйдя проводить нас на плоскую

крышу, он поднял руку с четками, испрашивая у неба благополучную дорогу гостям. Его алое одеяние резко выделялось на белой стене, рядом с красной лестницей, ведущей на верхнюю, пока недостроенную крышу. Коралловые с двумя хвостиками четки в 108 зерен рябиновой гроздью рдели в безоблачной синеве.

Я хотел рассказать о магическом числе 108, но все откладывал на потом. Возможно, по той простой причине, что не знал, с чего начать. Но и теперь, когда представилась еще одна, уже последняя возможность, я по-прежнему нахожусь в затруднении.

Собираясь с мыслями, считаю до десяти. По ассоциации вспоминаю, что мог бы считать на санскрите. Тем более, что это совсем просто: эка, дви, три, чатур, панчан, шаш, саптан и так до бесконечности. Словно рукой подать до праязыка, а то и до тех былинных времен, когда имена вещей назывались впервые.

В Индии, как и в других культурах Востока, алфавит и числовой ряд, помимо основной роли, несли и тайную эзотерическую нагрузку. Это тоже своего рода звездные знаки. На языке посвященных ноль означал еще пустоту, небо, отверстие, бесконечность; единица (эка) — начало, Луну, Землю, тело, предка, брахмана; двойка (дви) — близнецов, ноздри, глаза, губы. Солнце в паре с Луной; тройка (три) — огонь, драгоценность, Шиву (Трехглазый), три мира, три времени (прошлое, настоящее, будущее) и т. д.

Теперь, вооруженные основами тайных знаний, доступных некогда лишь брахманам, попробуем разложить вездесущее число на простые множители: $108 = 1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$. Полученный результат можно представить в виде так называемого магического треугольника

1
2 2
3 3 3

Попробуем «прочесть» его, подставив вместо цифр сходные космические понятия. Вот что у нас получится:

Небо
Солнце и Луна

Огонь Три мира вселенной Три времени

Сколько зашифрованных посланий оставила нам сѐдая древность! Сколь многое мы не умеем, а то и просто ленимся прочитать.

Что же касается четок, то их придумали для подсчета молитв буддийские монахи. От них четки перешли к мусульманам и лишь потом мавры занесли их в Европу.

Пандиты, состоявшие на службе геодезического бюро, прикрывавшего «Интеллидженс сервис», отправляясь на разведку гималайских дорог, как и положено, брали с собой четки и молитвенную мельничку. Но вместо мантр в цилиндрах лежали кроки и компас, а четки насчитывали не 108, а лишь 100 зерен, чтобы легко было подсчитывать пройденные шаги.

Еще одна глубинная изнанка гималайских тайн.

Увлекательно было заниматься всем этим в Покхаре. Сюжеты для романов и повестей возникали на каждом шагу. Жаль, не было четок, чтобы вести учет. Может быть, поэтому они и позабылись, сюжеты.

Лишь незабываемое неизгладимым резцом провело по сердцу.

Спасибо, Покхара. Ты одарила меня мгновениями высочайшего взлета, рассказать о которых не хватит слов.

Совершив полный оборот, колесо вернулось на прежнее место. Назовем его ниданой приезда.

Это было первое мое путешествие по Индии и Гималаям с их сказочными королевствами и затерянными княжествами.

Дели-Бомбей-Варанаси-Сринагар-Лех-Катманду-Покхара-Москва.

1974 год

## СОДЕРЖАНИЕ

АТЛАС ГУРАГОНА. *Повесть* . . . . . 5
БРОНЗОВАЯ УЛЫБКА. *Повесть* . . . . . 121
КОРОНА ГИМАЛАЕВ. *Повесть* . . . . . 341

## УКАЗАТЕЛЬ
## ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЕРЕМЕЯ ИУДОВИЧА ПАРНОВА, ВКЛЮЧЕННЫХ В ТОМА 1—10 СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ


| | *том* | *страница* |
|---|---|---|
| Атлас Гурагона | 10 | 5 |
| Бог паутины | 7 | 5 |
| Бронзовая улыбка | 10 | 121 |
| Корона Гималаев | 10 | 341 |
| Красный бамбук — черный океан | 8 | 5 |
| Ларец Марии Медичи | 1 | 25 |
| Мальтийский жезл | 3 | 5 |
| Под ливнем багряным | 4 | 3 |
| Проснись в Фамагусте | 9 | 241 |
| Пылающие скалы | 9 | 5 |
| Рассказы о Востоке | 8 | 295 |
| Секта | 5 | 5 |
| Сны фараона | 6 | 5 |
| Третий глаз Шивы | 2 | 5 |